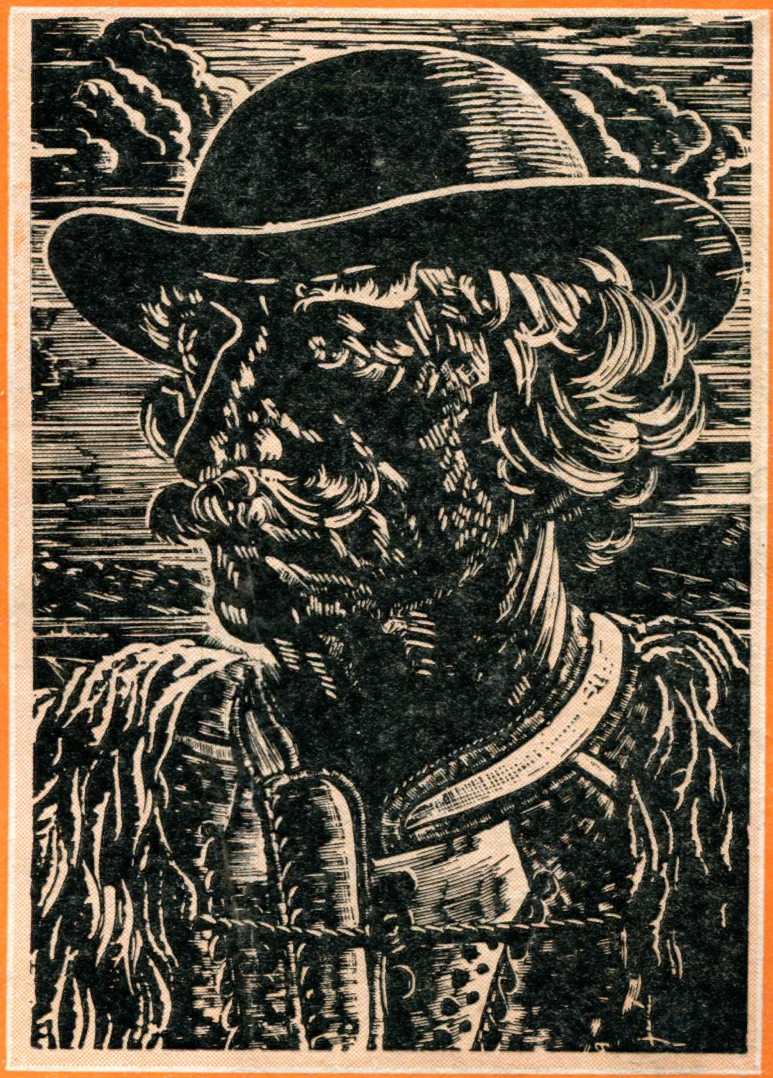
ИНОСТРАННАЯ *литература*



3
1958

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Гравюра румынского художника Георге Чеглакова «Крестьянин».

3

1958

МАРТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ" МОСКВА

Содержание

ДАШЦЕВГИЙН СЭНГЭЭ — Стихи 3

КЛАРА БИХАРИ — Жажда (Роман) 5

Из современной бельгийской поэзии

РОБЕР ВИВЬЕ — Вы были... 64

ЖОРЖ БУЙОН — Спряжение 64

РАЙМОН КИНО — Хор поэтов 65

ШАРЛЬ МУАСС — На земле, где живет человек. Незнакомка из Марамуреша. Варшава. Поэту, который стоит у своего окна 65

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — Визит старой дамы (Трагическая комедия) 69

ПЬЕР КУРТАД — «Дух Гакома». Профессиональное хладнокровие (Рассказы) . . . 121

ХАН ЮН ХО — Поезд дружбы (Стихотворение) 135

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Чочара (Роман. Окончание) 137

СПИРО ДЖАИ — Пять писем (Подлинная история) 174

КРИТИКА

БЕЛА КУН — Шандор Петефи — поэт мировой свободы 190

Р. ОРЛОВА, Л. КОПЕЛЕВ — Мифы и правда американского Юга 206

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Деятели культуры о совещании на высшем уровне

АЙВОР МОНТЕГЮ. ШОН О'КЕЙСИ. ЖОРЖИ АМАДУ. ТОЙН ДЕ ФРИС. ХАНС ШЕРФИГ. АБД АР-РАХМАН АЛЬ-ХАМИСИ. МУЛК РАДЖ АНАНД. БХАБАНИ БХАТТАЧАРИЯ. ДЖО УОЛЛЕС. ЛАО ШЭ. ТУДОР АРГЕЗИ. МИХАЙ БЕНЮК. ЭММАНЮЭЛЬ Д'АСТЬЕ ДЕ ЛЯ ВИЖЕРИ. РОБЕР МЕРЛЬ. ЖАН ЭФФЕЛЬ. ХИРОСИ НОМА. СУНАО ТОКУНАГА 221

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ЖАН ФРЕВИЛЬ — Встреча с читателем . . . 234

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Бела Иллеш — «Вышеградская улица» Йожефа Ленделя. ◆ Г. Богемский — «Эшелон через Бреннер». ◆ А. Мельников — Октябрьская революция в воспоминаниях. ◆ А. Брагинский — Роман о журналистах. ◆ С. Навашин — Новая книга Поля де Крайфа. ◆ И. Левидова — Ларегиб — сумасбродный городок. ◆ Ц. Кин — Письма итальянских детей. ◆ Т. Кокурина — «Гяур» Никоса Папапериклиса . . . 242

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Ш. С. ХОСКОТ — Индийский художник Хеббар 254

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

А. РУБИНШТЕЙН — В. Г. Короленко в Румынии 262

Испытанный друг советского народа . . . 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 268

Редкая фотография

Чарльз Диккенс 287

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 288

Дашцевгийн Сэнгээ

Стихи

Перевод с монгольского Ник. Ушакова

НАС ПОЗНАКОМИЛА МОСКВА

Нас познакомила Москва.
Фатмир в горах Албании
Был комиссар и воевал,
Был партизан Албании.
Бесстрашный Лазарь воевал
В другом конце Албании.
К фашистам в лагерь он попал —
Все испытал страдания.
Не снилась наша встреча мне,
Не знал я — сын Монголии,—
Что познакомимся в Москве,
А вот и познакомились.
Пословица такая есть,
В ней мудрость заключается:
От моря море далеко,
А тучками встречаются,
И люди разных дальних стран,
Если хотят, встречаются.
Так вот и поспешили в путь
Желающие знания —
Мы из Монголии своей,
Вы из своей Албании.
Вот в краснозвездную Москву
Мы и примчались весело,
Вот, как старинные друзья,
И повстречались весело.
Нам не знаком был ваш язык,
Монгольского не знали вы —
На ленинском мы языке,
На русском, разговаривали.
Не все давались нам слова,
Не все мы знали правила,
Но говорили мы: Москва
Друг другу нас представила.

ВЕСНА

Сколько света! Показался голубой цветок,
Сквозь скелеты трав прорвался молодой росток,
Только кое-где остался
Снега лоскуток.
Шелк лесов пригрет, запели птицы там и тут,
Веток пробуя качели, о весне поют.
Дни заметно потеплели
И любить зовут.
Дни с приветом расстилают все ковры весны,
И приметы умножают, и дары весны,
Наше сердце наполняют
Нежностью весны.
Кто ж это запел, могучий? Вторят почему
Первоцветы, птицы, кручи и ручьи ему?
Человек поет всех лучше —
Вторит всё ему.

«ЖАЖДА». Рис. П. Пинкисевича.

Клара Бихари

ЖАЖДА

РОМАН

Перевод с венгерского Е. Тумаркиной и Е. Терновской

Роман «Жажда», вышедший в Будапеште в декабре 1957 года, рассказывает о жизни простых людей Венгрии — работницы Илоны и ее дочери Или, молодого рабочего Иштвана, Анны Сабо, об их друзьях и товарищах. Знакомясь с жизнью этих простых тружеников, мы видим встающий за ними образ венгерского народа, впервые в своей истории строящего жизнь по-новому.

Центральный орган Венгерской партии трудящихся «Непсабадшаг» писал об этом романе:

«Простые люди несут великое бремя и, желают они этого или нет, являются творцами истории, следовательно их судьбы — общее дело. Это недостаточно только знать — им надо помогать. Такую цель и ставит перед собой писательница, берясь за необычный труд: писать на современную тему, пользуясь аналитическим методом».

Бихари описывает своих героев в обычной будничной обстановке. Их волнуют неудачная любовь, одиночество, людская черствость и жестокость. Но за широкой картиной семейно-бытовых отношений, обрисованных с глубоким знанием человеческой психологии, перед нами встают отношения общественные.

Действие романа в основном развертывается вокруг двух полярно противоположных друг другу людей — Карои и Иштвана.

Иштван — простой рабочий парень. Раннее сиротство и бесприютность отравили его детство. Он на себе испытал «свинцовые мерзости» эксплуататорского строя. Скромный и трудолюбивый, Иштван гордится тем, что он — рабочий, что создает вещи, необходимые людям, необходимые обществу.

«Я делаю полезные вещи, и они остаются. Это очень хорошее чувство. Такое же, как рисовать прекрасную картину или сочинять красивую музыку. И это дает человеку силы».

Все стремления Иштвана направлены на то, чтобы больше усилий, труда, знаний вкладывать в строительство новой Венгрии. Он твердо убежден, что «у каждого есть свое дело в мире». Он и в жизни такой же цельный, искренний, настойчивый, как и в труде. Для него любовь — большое и серьезное чувство, и он готов за нее бороться.

Карои, сын рабочего, всеми силами стремился вырваться из рядов простых людей, стать поближе к тем, кто при старых порядках принадлежал к «хозяевам жизни». Ему не было дела до судьбы своего класса — он хотел изменить свою собственную судьбу. Он шел на любые унижения, разыгрывал шута, продавал себя — лишь бы завоевать местечко за пиршественным столом богачей. Но рухнул старый строй, хозяева Карои сами потеряли свои привилегии, а их верному прислужнику и шуту пришлось всячески изворачиваться и приспосабливаться.

На вопрос Или о его занятиях он приводит слова Сийеса, ответившего, что он делал во время революции: «Я остался в живых».

Оставаться живым для Карои значит свободно предаваться своим мелким страстишкам, вести образ жизни паразита, произносить псевдозначительные речи, почитать себя существом высшего порядка, которому все дозволено.

Действие романа происходит ранее событий осени 1956 года. Но в образе Карои легко увидеть человека, вложившего оружие в руки молодежи, человека, отравившего

сознание венгерских юношей фразами о «свободе духа», за которыми кроется свобода для всех и всяческих спекулянтов. Лицо Карои — лицо врага, жалкого в своей бессильной злобе.

Героиня романа Или должна выбрать между Иштваном и Карои. Ослепленная своим безмерным самомнением, не разглядев за внешним изяществом Карои его внутренней пустоты, Или сначала совершает ошибку. Жизнь дает ей жестокий урок, жизнь беспощадно разоблачает Карои. Побеждает здоровое и бодрое, жизнеутверждающее начало, как побеждает оно и в самой Венгрии.

Герои романа Бихари жаждут, напряженно ищут одного — большого человеческого чувства, искреннего движения души, не связанного с корыстью и эгоизмом, злобой и завистью. Они жаждут подлинной любви, внимательной, заботливой, самоотверженной. Законы и предрассудки старого общества, основанного на том, что один человек угнетает и унижает другого, мешают, препятствуют этой человеческой любви.

Старая работница Селлнэ, умудренная жизненным опытом, попросту объясняет Илоне: дело не в людях, дело — в общественном строе.

«Прежде не могло этого быть... Люди образованные за позор считали физический труд, стыдились взять девушку низкого происхождения... Только рухнули теперь эти порядки, и толковать больше не о чем!»

Да, порядки рухнули, но толковать все-таки есть о чем. Старые порядки оставили глубокие следы в сознании людей, в их поведении, в их стремлениях и намерениях. Нужно было тяжелое испытание, чтобы Илона поняла: старые сословные преграды рухнули навсегда.

«Если человек не отталкивает других, а сам присоединяется к ним, — говорит Иштван, — он не одинок».

Илона вошла в жизнь заводского коллектива. Навстречу ее дружеским рукам, готовым помочь в беде, протянулись другие дружеские руки. Илона помогла другим людям — и они помогли ей; Илона, такая робкая и несмелая, теперь нашла в себе душевные силы для того, чтобы вырвать дочь из рук Карои.

Бихари так подытоживает жизненный опыт Илоны: «Как поздно, как обидно поздно, совершив столько непоправимых ошибок, поняла и узнала Илона, где ее место! Тот, кто отказывается от почвы, питавшей его корни, не может быть сильным». Только теперь, когда Илона обрела эту почву, пришло к ней, как награда, ощущение собственной полезности, чувство локтя, радость товарищества. Только теперь начала она постигать смысл собственного существования.

Написанный с искренним чувством, теплыми, свежими красками роман Клары Бихари, рисуя жизнь простых людей Венгрии, в то же время ставит большие общественные проблемы. Это — роман о судьбах молодежи, роман о человеческих чувствах, роман о победе нового над старым.

Перевод, с согласия автора, несколько сокращен.

Венгерская пресса положительно оценивает роман молодой писательницы. «Непсабадшаг» пишет: «Жажда» займет выдающееся место среди романов последних лет, написанных на современную тему. Мы с радостью приветствуем роман как одно из значительных произведений новой венгерской художественной прозы».

Сишева майского вечера опустилась на Будапешт. В сумерках центр города с его узкими, извилистыми улицами и сверкающими огнями витрин казался сказочным и все-таки знакомым, словно пейзаж, всплывший из глубины давних детских снов. Люди, неся сладкое бремя внезапно ворвавшейся весны, ступали непривычно медленно, с выражением какой-то внутренней радости на лицах.

Илона не спешила. Воздух, казалось, очистился от бензиновых испарений машин и автобусов, от запахов асфальта, дворов, магазинов. Ве-

сенний воздух напоминал о чем-то невыразимо хорошем и волнующем, будто знакомый аромат места, где ты раньше бывал и куда все же не хотелось бы возвратиться.

Илона встряхнула головой, повернулась и остановилась у витрины, словно этим могла отдалить момент, когда она вспомнит, почему так знаком этот запах. Ей представилась молодая двадцатилетняя Илона, стоящая в развеваемой ветром юбке у дощатого забора, из-за которого пробиваются грозди сирени. И видит она двадцатипятилетнего Лали, с веткой сирени, свесившейся ему на плечо, с лиловой звездочкой-лепестком, упавшей на светлые волосы, от которых она едва может отвести взгляд. Она видит его глаза, блестящие, синие, веселые глаза, и слышит голос, несущийся из дали минувших двадцати пяти лет. Она не понимает, что он говорит, но все отходит в сторону — мир, заботы, время. Ее пронзает испытанное тогда чувство: существуют только они двое, связанные нитями любви и желания.

Илона испуганно оглянулась вокруг, будто кто-то мог прочесть ее мысли, бегущие, загорающиеся и потухающие, как огненные буквы электрорекламы. Она стыдилась этих нежданно возникших, но таких свежих воспоминаний, которые не пристали ей, пожилой сорокапятилетней женщине. Больше двух десятилетий борется она с прошлым, а оно все еще сильнее ее. Видно, никогда, ни на мгновение не расставалась она с этим прошлым; но картины его только тогда оживали в ее памяти, когда она хотела этого. А теперь ее победил майский вечер и совершил чудо, на которое неспособно воображение. Как весенний воздух внезапно освободился от пыли, копоти и запахов улицы, так и она легко отбросила эти двадцать пять лет.

За стеклом витрины возвышались горы масла и сыра; из блестящего целлофана выглядывали розовые окорока, увенчанные зеленью молодого лука и красной редиской. Глядя перед собой, Илона внезапно ощутила во всем теле усталость целого дня — восемь часов простояла она над гладильной доской — и почувствовала, как напрягаются ее нервы, чтобы побороть власть майского вечера, вызвавшего странные воспоминания о былой весне.

Она рассматривала витрину: что купить Или на ужин? Как только она подумала о дочери, все тотчас же вернулось на свои места. Дочь! Как Илона могла забыть о ней! Но ведь она и не забывала. Она только подумала о чем-то таком, о чем дочь и догадаться не может. Матери нельзя думать ни о чем, кроме ребенка. И мать покраснела: что было бы, если б Или заглянула в ее мысли? Илону охватил стыд, когда она представила себе удивление дочери. Она быстро вошла в магазин, купила свежей брынзы, ветчины, редиски, сколько нужно для Или. Сама она выпьет только кофе, у доктора ее накормили обильным обедом, и ей не хочется есть.

Прижав к груди завернутый в папиросную бумагу пакет, Илона вышла на улицу. На сердце стало тепло: ведь она купила что-то вкусное для Или. Ценность покупки возрастала еще и потому, что она, мать, ни до чего не дотронется. Иначе это превратится в обычную, повседневную еду, доступную каждому. Однако в радость матери вкралось беспокойство: обрадуется ли Или? Трудно угодить ей, трудно обрадовать. Правда, это тоже подтверждает, что Или высшее существо. Хотя каждым своим нервом, каждой мыслью, будто мох к скале, приросла Илона к дочери, все же удивительно, что именно она произвела на свет эту девушку.

Илона всегда видела в дочери избранницу, которой полагается находиться среди тех, кому мать гладит кружевное белье, дорогие накидки для подушек и простыни из льняного полотна, среди тех, кто ее, Илону, дальше кухни не пускает.

Этому необыкновенному созданию уже двадцать один год, а около нее еще нет человека, который был бы достоин ее.

В сердце Илоны повеяло холодком, остужающим недавнее приятное тепло. Ей самой было двадцать три года, когда она вышла замуж за заводского слесаря Антала Мерли. В Лёринце ее уже не считали молодой, и, если б даже нашлись деньги, она не осмелилась бы пойти в церковь в фате и белом платье. Должно быть, в ее время девушки раньше созревали для законного брака или незаконной связи. Теперь люди обо всем думают по-иному, но все-таки обидно, что среди бывших школьных подружек Или уже так много жен и матерей. А Или, самая лучшая, с которой не сравнится ни одна из них, все еще ждет и ждет того, кто должен прийти.

Может быть, если бы мир был другим...

Эта беглая мысль промелькнула в голове Илоны, словно мелкая рыбешка, что ненароком блеснет над волнами серебристой чешуей, чтоб тотчас же погрузиться в глубину. Далеким, почти невероятным воспоминанием жило в ней время ее бунтарства. Двадцатилетняя Илона, пылающая в чистом и горячем желании, горько и мучительно страдающая... Теперь эта Илона казалась каким-то далеким, чужим существом, что, стоя в быстрой ладье, уплывает все дальше и дальше. Вот лишь слабый силуэт еле виднеется на неподвижной темно-зеленой воде, а безнадежный взмах руки с неумолимой жестокостью предупреждает, что невозможно перекинуть мост через разделяющее их пространство.

С того дня, когда Лали исчез из ее жизни, Илона больше не бунтовала: она примирилась, поняла, что от Лали, а значит от себя самой, надо отказаться, и отреклась от всех житейских радостей. Тот мир, в котором она родилась и который состоял из очень хорошо знакомой нужды и принадлежавшего другим благополучия, исчез. В старом мире прошли ее детские годы, в нем она была разносчицей на рынке, подносчицей кирпичей у каменщиков, прислугой, судомойкой в ресторане. В старом мире она стала женой, матерью, солдатской вдовой. То, что она своими тонкими, нежными руками ловко ухаживала за дорогими вещами богатых дам, едва затрагивало ее душу.

Новая жизнь, начавшаяся после войны, ознаменовалась для нее тем, что из полуразрушенного домишка в Лёринце она переселилась в квартиру на первом этаже одного из старых домов в центре города. В прошлом такое переселение было немыслимо. Но после войны многие потащили свои маленькие тележки из пригородов во дворы уцелевших больших жилых домов.

Это переселение как бы подчеркнуло все перемены, происходившие вокруг Илоны. А перемены привели к тому, что Илона стала жить в том же доме, где жила одна из ее заказчиц — жена главного инженера, — а Или стала учиться в школе вместе с детьми торговцев, врачей, адвокатов, даже бывших помещиков и банкиров. Однако смысл этих перемен не доходил до сознания Илоны. Много разного болтали вокруг: и никогда, мол, не восстановят город, и никогда не срастутся вздымающиеся с обоих берегов реки обломки мостов, и церкви позакрывают. Илона не пугалась, все это не задевало ни ее интересов, ни ее веры и принципов.

А дома́, между тем, медленно поднимались из руин, на улицах таяли горы обломков, на каркасах строящихся мостов трудились тысячи рабочих, в церквах, как обычно, патеры служили обедни. Но все это многообразное движение проплывало мимо Илоны. Случалось, она заходила в церковь, но ей не хватало той глубокой веры, которая заставляет людей снова и снова убеждать себя и других в истинном существовании бога. Она тихо сидела на скамье, точно только здесь могла отдохнуть, думая во время проповеди о расплывчатых, едва уловимых вещах. Она думала

о боге кротко и несколько снисходительно; поскольку люди в него так давно верят, нет оснований сомневаться в существовании этого невидимого и незаметного существа. С такой же снисходительной кротостью относилась она и к строительству нового мира, в котором — по слухам — хотят справедливости и одинакового благополучия для каждого и в котором больше не нуждаются в боге.

Для Илоны приход этого нового мира был отмечен тем, что редели ряды ее заказчиц. Сегодня жена коммерсанта, завтра жена помещика или вдовствующая аристократка говорили ей, вздыхая:

— С первого числа больше не приходите, Илона, мы теперь сами будем гладить платья...

Впрочем, вместо старых заказчиц появлялись новые, хотя их было и маловато. Илона удивлялась, узнавая то в одной, то в другой из них бывших работниц, даже своих родственниц, но никогда не напоминала им о родстве. Она обращалась с ними, как с больными, которым не следует говорить об их положении. Не то чтобы Илона льстила им, но, неизменно сохраняя обращение «сударыня», снисходительно думала о тех, кто занял место дам прежних времен. Она даже старалась поддерживать в них уверенность, что они именно таковы, какими были прежние заказчицы. Но, покончив с глаженьем их платьев и блузок, Илона тотчас переставала думать о своих заказчицах. С того дня, как родилась Или, девочка заполняла всю жизнь матери. По-настоящему Илону интересовал один вопрос: как она сможет дать этой, ни на кого не похожей, прелестной девочке все, чего та заслуживает и что — хоть мир перевернись! — Или должна получить. Все, что когда-то волновало Илону, все переживания ее девичьих лет поглотила теперь эта единственная страсть материнства.

Память Илоны сохранила образ человека, который первым приблизился к Или с серьезными намерениями. Дочери тогда исполнилось восемнадцать лет. Миновал уже год, как она оставила гимназию, не захотела больше учиться. Она решила, что будет парикмахером. Ее взяли в большой элегантный парикмахерский салон в центре города. Там молодой юрист, сопровождавший свою мать, увидел Или и не мог оторвать глаз от цветущей молодой девушки. Или нравилось его ухаживание, льстили бесчисленные букеты живых цветов, но она оставалась холодной и равнодушной. Молодой человек, сначала почти ежедневно слонявшийся возле салона, почувствовав вскоре безразличие девушки, стал появляться реже и в конце концов исчез совсем. Или не вспоминала о нем, однако Илона огорчилась. Не холодности Или, а чему-то другому приписывала она то, что чувство юноши быстро прошло.

Она умоляла дочь учиться дальше. Однако Или не хотела больше ходить в школу; впрочем, и желание заниматься парикмахерским ремеслом у нее прошло: было обидно заботиться о внешности других женщин, сунутые в карман или в руку чаевые унижали, оскорбляли ее гордость.

Она оставила парикмахерский салон и стала продавщицей в галантерейном магазине. Вскоре ее стал преследовать новый поклонник — красивый, худощавый шатен; он занимал небольшое положение в одном торговом предприятии, но носил историческое имя, и Илона трепетала при мысли, что ее дочь попадет в родовитую и известную семью. Правда, это скорее было бы заботой, чем радостью, но она чувствовала — пока у матери есть силы, молодым не надо ни о чем думать, она все для них раздобудет.

Была ли Или влюблена? Илона не осмеливалась спросить. Ей казалось, что нет, но она надеялась, что, может быть, ошибается. До тех

самых пор, пока от юноши не прибыло письмо, где он писал, что уезжает в Вену.

Затем последовал продавец галантерейного магазина, и Илона с тревогой следила: неужели она воспитала свою дочь для этого тощего, веселого, большерукого, сильно жестикулирующего молодого человека с хорошо подвешенным языком? Или, видимо, развлекал новый поклонник, который дурачился, чтобы поддержать интерес девушки к себе. Каждый раз, когда парень провожал ее домой, Или со снисходительным любопытством ждала: что он сделает, что скажет? Однако молодой человек исчез, и мать с облегчением вздохнула: вот и хорошо, Или нужен совсем другой жених, и он должен, наконец, появиться.

Последнее время за Или пытался ухаживать студент-медик. Это был коренастый, мускулистый, широкоплечий крестьянский паренек. Его маленькие умные глаза пылали, когда он смотрел на девушку. Но Или совсем не думала о нем, и через две-три недели студент перестал появляться. Илоне (она сама удивлялась, почему) нравился этот крепыш, но она обрадовалась, когда он больше не пришел. Правда, он будет врачом, но все-таки — сын крестьянина. Мать беспокоило только то, что все быстро отступались от ее красивой дочери. Она начала осторожно расспрашивать Или о ее планах, но та лишь пожимала плечами.

В это время Или уже жила в другом мире. Она обучилась стенографии и машинописи, работала в одном торговом предприятии. Илону от всего сердца радовала эта перемена. Ее дочь, наконец, попала на такое место, где ей подобает быть и где она может познакомиться с достойным ее человеком. Только бы дни и годы не пролетали так быстро! Казалось, девочка только родилась, а уже надо дрожать, как бы она не ошиблась в жизни или не упустила предложенного судьбой случая, которым надо воспользоваться, чтобы еще выше подняться над серыми и незначительными людьми...

Илона спохватилась, что уже свернула за угол и идет по улице Хаттю. У их дома, тесно прижавшись к тротуару, ожидала маленькая, серебристо-серая машина. Сама не зная отчего, Илона тотчас подумала о дочери — может быть, потому, что машина действительно была очень красива и элегантна. Такая машина подошла бы ее дочери. В самом деле, в двух-трех шагах от ворот стояли четверо: двое мужчин и две женщины; в одной из них Илона немедленно узнала дочь, хотя сумерки уже мягко окутывали улицу. Или так странно, как чужая, смеялась, что мать не сразу узнала ее голос. Илона остановилась, словно испугавшись чего-то, и прижала к груди маленький пакетик с ужином. Девушки, склонясь друг к другу, слушали высокого мужчину, который говорил так тихо, что Илона не могла разобрать ни слова. Она смотрела на зажатую в поднятых пальцах сигарету, горящий конец которой описывал в воздухе мягкие волнистые линии, и все эти огненные линии как будто тянулись к Или.

Тихая беседа и смех создавали между молодыми людьми интимность. Сердце Илоны встрепенулось: может быть, это и есть тот человек, что будет действительно достоин Или? Не ему ли принадлежит этот автомобиль?

Наконец она отважилась пройти. Она не хотела смотреть на Или; ведь тогда дочери тоже придется ее заметить. Все же, когда, подняв плечи, Илона тихо шмыгнула в ворота, она встретилась взглядом с дочерью. Лицо Или на мгновение потемнело, словно над ней пролетела большая черная птица, затем она едва заметно кивнула.

Выражение досады, промелькнувшее на лице дочери, заморозило на губах Илоны непроизвольную улыбку.

— Добрый вечер, — тихо произнесла она и, как бы спасаясь, быстро отворила кухонную дверь.

Или заметила мать только тогда, когда та подошла к дому. Она повернулась к Илоне, потому что почувствовала ее присутствие. Дочь ощущала присутствие матери всегда, начиная с детских лет, как бы неслышно та ни входила в комнату. Она не обратилась к Илоне, не остановила ее, чтобы представить своих знакомых, хотя знала, что мать каждым своим нервом ждала этого. Она вела себя так не потому, что стыдилась матери, хотя ее пальто и черные шнурованные ботинки казались особенно поношенными. Было в матери еще что-то такое, что вызывало неизменное раздражение Или и даже понуждало ее причинять Илоне страдания. Впрочем, отчета себе в этом Или не отдавала. Ее воспоминания об отце были очень туманными, но эта тихая, спокойная женщина всегда была рядом с ней. Она никогда ее не бранила, относилась к дочери как к какому-то высшему существу, стараясь выполнять все ее желания. Эта горячая, непрерывно изливающаяся любовь стала для Или естественной атмосферой. В школьные годы, когда по утрам Или появлялась в классе, как маленькая принцесса из сказочного королевства, более свежая и выхоленная, чем любая девочка из богатой семьи, она часто с гордостью повторяла, что ей дома все разрешается. Но в душе она завидовала тем подружкам, которые даже в двенадцать лет получали трепку.

Мать, которая никогда ничего не требовала, а только давала, непрерывно давала, казалось, ждет от нее чего-то. Много раз Или всем своим существом удивлялась этому. Молчаливое ожидание, постоянно написанное на лице матери, в тонких тенях и паутине морщин, окружающих ее синие глаза, все больше беспокоило девочку. Или считала, что одним своим существованием уже дала матери все, что только могла дать. В ней пробуждалась какая-то тайная мстительность; все скупее она отмеряла свою детскую нежность. Но в ответ на мелкие мучительства дочери любовь матери становилась все сильнее, только приобретала какой-то печальный оттенок.

Теперь, у ворот, когда мать боязливо, с надеждой, с блеснувшей в глазах мольбой взглянула на нее, у Или вспыхнула эта странная жажда мести. Она поглядела на бледное лицо матери, поражавшее странной моложавостью, спрятанной за страдальческими морщинами. Лицо это словно удивлялось и спрашивало, но сердце Или вдруг ожесточилось. Она хотела сказать: «Целую вас, мамочка!» — но губы не послушались ее, не разомкнулись. Или только кивнула и с холодным любопытством поглядела на мать. Она хорошо видела, как Илона сжалась, словно невидимый груз упал ей на плечи, но не окликнула мать, не позвала.

Илона молча возилась в квартире. Мысли ее были на улице, возле стоящей на тротуаре Или. Однако она машинально делала свое дело. Почистила щеткой пальто, повесила его в белый платяной шкаф, который следовало бы поставить в переднюю, но передней у них не было. Эта была странная квартира с выходящей во двор кухней и комнатой, одновременно предназначенная и для господ, и для простых людей. Комната была просторная, со сводчатым потолком, по стенам — белые секции центрального отопления; ванной не было, только у задней, узкой стены кухни стоял умывальник с горячей и холодной водой. Когда-то эти два помещения были мастерской старого сапожника, который во время осады умер от разрыва сердца. Между двух окон стояли широкая тахта Или, коричневый трехстворчатый шкаф, а сзади, в сводчатой нише, — старый диван матери. Над его спинкой висели детские фото-

графии Или. Сборная мебель делала комнату несколько холодной; новые вещи, казалось, стояли тут временно. Эту холодность увеличивала блестящая чистота и падающие жесткими, застывшими складками кружевные занавеси.

Илона поставила чайник на газ, когда кто-то тихо постучал в дверь и после минутной паузы вошел Иштван Ботонд.

Иштван Ботонд уже шесть месяцев жил в первом этаже дома номер четыре на улице Хаттю, у ворчливого старого пенсионера. Иштван воспитывался с детства в приюте и отличался от большинства сирот тем, что не только не знал своих родителей, но никакого представления о них не имел.

Его нашли завернутым в платок на пороге сиротского дома в день святого Иштвана и, потому что в маленьких ручонках он сжимал пестро раскрашенную игрушечную палочку, назвали Иштваном Ботондом *. Имя, следовательно, ему придумали, и никто не мог рассказать о тех, кто породил его на свет и равнодушно или под влиянием тяжелых обстоятельств оттолкнул от себя.

Пяти лет Иштван уже пас гусей в деревушке у озера Балатон. Он живо и ясно помнит, с какой завистью смотрел, как Янош Секе и его жена — приемные родители мальчика — каждый день перед сном ласкали и целовали свою родную дочь, худенькую девочку, его ровесницу. Он спал в кухне на старой шубе, но, перед тем как заснуть, всегда думал о том, что делалось в комнате. После долгих раздумий он с бьющимся сердцем понял, что все дело в резной кровати с матрасом: тот, кто в ней лежит, получает поцелуи. Однажды, пригнав гусей с луга, он заманил Марику в сарай и запер ее. Сарай находился далеко от дома, на другом дворе, и пискливый плач девочки не был слышен издалека.

Иштван забрался в кухню, оттуда, когда о нем забыли, в комнату и там, одетый, с грязными ногами, залез под пестрое пуховое одеяло.

Когда тощий, сухопарый человек стянул с него одеяло, мальчик подскочил, как пружина, поднял лицо и радостно, счастливо улыбнулся. Первую звонкую пощечину он принял с недоумением, удивленно оглядываясь, словно ожидая, что ошибку немедленно исправят. Но сомнений уже быть не могло. На него посыпались ужасные удары; большие кулаки приемного отца ходили, как цеп.

Со двора доносились плач и причитания женщины, отправившейся искать Марику.

С этого дня с ним стали обращаться как с бандитом. Ему запретили входить в комнату, запретили играть с девочкой, а она плакала из-за этого и издали, тоскуя, глядела, как он отправлялся с гусями в поле. Иштвана уже не тянули игры. В тот день, когда его страшно избили, что-то надломилось в нем. Теперь он не жаждал родительской ласки, а девочку, когда только удавалось, исподтишка толкал или щипал, будто она была виновата, что никто его не целует.

Иштван смутно помнит, как уехал оттуда. Его отвезли на поезде в другую деревню, в дом каменщика по имени Габор Кишш. У каменщика было три взрослых сына; двое работали с отцом в качестве учеников, один был подмастерьем. Иштвану надо было пасти свиней. Приемная мать, тощая, с больными ногами и большим животом, вечно ноющая женщина, не скупилась на еду, но не видела в нем ребенка и разговаривала с мальчиком, как со взрослым. Иштван, семилетний, недоверчиво шурящийся паренек с наголо остриженной головой, с ко-

* Бот — по-венгерски палка.

сым разрезом черных глаз, часами сидел в углу на маленьком стуле и угрюмо слушал.

Его губы и душа были сухими, словно потрескавшаяся от жары земля, а слова, сыпавшиеся на него, были совсем иными, чем те, которых он, трепеща, ждал, скрывая этот трепет и от себя самого.

— Обманывает, поверь, обманывает меня этот проклятый, как бы ни скрывал, обманывает. Есть у него кто-то в соседней деревне, знаю даже кто. Толстая большая баба, холера ей в бок, надо ей цепляться за пожилого человека с тремя детьми, будь она проклята даже в могиле... Никогда этот человек не любил меня так, как я заслуживаю, даже когда меня еще не съела работа...

Иштван понимал все, но враждебно молчал, неподвижно скорчившись на стуле. Он ждал от этой женщины других слов. Но однажды, когда хозяин после месячного отсутствия не сразу вернулся домой, а целых три дня провел со своей любовницей и весть о его разгуле донеслась до дома, женщина, к удивлению Иштвана, не охала, не проклинала. Съежившись, она сидела на краю постели, и на ее колени одна за другой падали слезы. Мутными глазами она молча, с упреком смотрела на мальчика, грызущего хлеб.

В тишине, когда не сыпались на него монотонной скороговоркой жалобные слова, Иштван вдруг понял, что она ждет от него того, чего он сам ждал от других — сочувствия и утешения.

Его словно толкнуло; не понимая себя, он шагнул вперед и, неловко подняв сжатые в кулаки руки, быстро провел по ее выцветшим волосам.

— Не плачьте,— хрипло сказал он,— он полюбит вас: ведь даже собак любят, если они верные. Ему надоест эта гадкая любовница... не плачьте, не лейте слезы...

Внезапно он отпрянул от женщины, бросился во двор, оттуда в мокрое поле, от которого веяло свежестью. Он остановился лишь тогда, когда уже не мог бежать дальше. Ноги его дрожали. В груди что-то шевельнулось, горячо рванулось наружу и сжало горло с такой силой, что он чуть не задохнулся. Тогда он еще не знал, что это жгучее ощущение, охватившее все его существо,— сочувствие. Он стоял удивленный, взволнованный и вдруг разразился дикими рыданиями. После того как его избили, он ни разу не плакал, и теперь так приятны были горячие слезы. Его охватила радость. Ведь он слышал, ясно слышал те слова, которых так жадно ждал, — слова любви. Это потрясало тем более, что их произнес он сам! В душе мальчика открылся родник, о существовании которого он до сих пор не подозревал. В этот день словно срослось то, что год назад сломалось.

Чудо больше не повторялось. Стареющая женщина со своим непрерывным нытьем становилась ему все более чужой; перед подрастающим юношей с бесстыдной обнаженностью раскрывалась запоздалая жажда любви. Спустя три года, когда она умерла, Иштван не испытал ничего, кроме какой-то туманной грусти, относящейся скорее не к ней, а к самой смерти. Но, когда он, радостно потрясенный, одиноко плакал в поле, он открыл в себе нечто такое, что вернуло ему силы и одним махом уничтожило чувство собственной ненужности. Иштван вдруг поверил в себя; эта вера не исчезла и впоследствии, когда жестокость сделала его нелюдимым и перевернула все его существо. Не исчезла, но глубоко запряталась и только после освобождения Венгрии медленно и постепенно вышла на поверхность.

Через четыре недели после смерти жены Габор Кишш женился на своей любовнице и переселился к ней. Иштвана снова посадили в поезд. Когда он ступил во двор Ференца Неки в селе неподалеку от Пешта,

ему и в голову не пришло, что только теперь начинаются его настоящие страдания.

Ференц Неки, одичавший пьяница, замучивающий уже третью жену, обрадовался новой жертве. Ни на минуту он не оставлял мальчика в покое, гонял его с рассвета до ночи. Ференцу доставляло какую-то жестокую радость то, что мальчик отчаянно боялся его и двух его сыновей-подростков, которые с мрачным и неутомимым торжеством вымещали на Иштване все побои, какие получали сами. У Неки Иштван отвык от человеческой речи — с ним никто не разговаривал, его односложно понукали. Он никогда не осмеливался пройти вблизи хозяина или его сыновей и, чтобы избежать встречи с ними, делал большой крюк. Приказаний он ожидал, пригнувшись вперед, как готовое к прыжку животное. Стремясь держаться как можно дальше от Неки, он переселился из конюшни на чердак. Старое тряпье, клепка для бочек, куски ржавой жести послужили ему материалом для настоящей маленькой крепости. Выстроил он ее потому, что его держал в постоянном лихорадочном страхе часто повторявшийся сон, как все Неки ночью нападают на него и забивают до смерти; он не мог больше выносить этого.

Еще когда он жил у Кишшей, его, правда с опозданием (ему шел девятый год), записали в первый класс начальной школы. Буквы кружили ему голову, словно крепкий напиток. Жизнь, которая до сих пор состояла из тянущихся до горизонта лугов, побеленного известкой дома, свиного хлева и птичника, расширилась, открыла перед ним такие недосягаемые, такие манящие дали, которые ошеломили его своими обещаниями. Когда он прочел первую сказку, он громко кричал от восторга. Это настоящая жизнь, думал он, а не та, что его окружает, не та, в которой он напрасно ищет себе места и счастья.

Живя у Неки, он гораздо реже попадал в школу. В грязном платье, блестя узкими глазами, одиноко сидел он на последней парте, как самый большой по росту и самый ничтожный по положению. Он чувствовал, что старый, усталый учитель, с беспокойством косившийся на него из-под белых ресниц, окаймлявших тяжелые, разбухшие веки, боится его. Редко обращаясь к Иштвану, он всегда задавал ему вопросы, на которые с легкостью мог ответить первоклассник. Это еще больше утверждало Иштвана в его ничтожности; не осмеливаясь жаловаться, он лишь ворчал, как затравленная собачонка. А учитель мелкими, быстрыми шажками спасался на кафедру, хватаясь старыми, жалко дрожащими руками за розгу. Иштван чувствовал, что учитель боится, и это только усиливало его гнев. Заранее считая Иштвана невеждой и спрашивая у других все хорошее и интересное, на что тот мог бы легко ответить, учитель оскорблял ученика, а вел себя так, словно обижали его самого.

Не раз Иштван отправлялся домой, сильно жестикулируя и выкрикивая будто застрявшие в горле слова урока. Над ним смеялись, а он еще больше размахивал руками — пусть смеются еще сильнее.

Он начинал бояться, что сойдет с ума. Ему минуло тринадцать лет. Внутри него бродило что-то новое и таинственное; по ночам его мучили тяжелые кошмары, а днем свинцовая тяжесть сковывала мозг и тело. До сих пор он безучастно, с тупостью привычки наблюдал окружавшую его жизнь природы. Теперь, услышав призывное ржание жеребца в поле, он бледнел, начинал дрожать, и сердце его дико колотилось. От пугающих вопросов не было спасения. Не помогали ни книги, которые он читал, ни газеты, подобранные в разных местах, не помогали и люди, которых он стал бояться еще больше.

Он обрадовался, узнав, что разразившаяся в далеком, неизвестном мире война приблизилась к стране. С диким торжеством он ждал бом-

бежек. Со стиснутыми зубами терпел побои и глядел на осыпавших его оплеухами Неки такими глазами, точно знал какую-то тайну, которую не откроет ни за какие сокровища. Он ожидал уничтожения не только Неки, а всего мира и представлял себе это в виде зрелища пугающей красоты, единственным зрителем которого будет он.

Когда бомбардировщики с устрашающим ревом проносились по ночам над домом, он сидел в своей чердачной конуре, бесстрашно и напряженно наблюдая. Удаляющийся, умолкающий гром всегда пробуждал в нем горькое разочарование. Однажды он даже зажег свечку, чтобы на дом бросили бомбу, но этого почему-то никто не заметил. Так Иштван разочаровался даже в войне, и в нем окончательно укрепилась уверенность, что весь мир объединился против него.

После войны в страну пришло освобождение, но сущность его Иштван начал понимать, только когда заметил, что Неки боится. Страх сказывался во всем: Неки закопал свою нилашистскую нарукавную повязку и никогда не выходил из дома в темноте; совершенно трезвый, он подглядывал теперь из-за забора за Иштваном и с вновь вспыхнувшей злобой колотил и пинал мальчика, где бы тот ему ни попадался.

Однажды вечером в дом пришли полицейские и увели Неки, но через два месяца он снова явился, обросший волосами, испуганный, сыплющий проклятиями,—и все началось сызнова. До этих пор у Иштвана не появлялось мысли о побеге. За пятнадцать лет жизни он ни разу не встретился с хорошим человеком; он был уверен, что мир населяли Яноши Секе, Габоры Киши и Ференцы Неки. Нет никакого смысла бежать от одного к другому. К тому же парализующий страх, что Неки повсюду достанет его, не покидал Иштвана. Даже во сне ему виделось, как тот нападает на него, чтобы забить до смерти, задушить. Когда Неки сидел в тюрьме, наваждение рассеялось. Иштвану пришло в голову, что те, кого Неки боится, те, кто его наказал, должны быть другими — лучшими людьми. Иштван решил, что уйдет к ним, а если и они ему не помогут, прыгнет в колодец или повесится.

Ранней осенью он ночью убежал из дому. Неслышными шагами, как спасающийся дикий зверек, обошел деревню и на рассвете стоял перед начальником хатсегской полиции.

Седовласый пожилой человек в форме всего год назад, обливаясь потом, полуголый, работал у наковальни. Теперь он задумчиво вслушивался в сбивчивую речь мальчика. Но взгляд, выражавший боязнь, надежду и темное подозрение, открыл ему больше, чем ломаные, лихорадочные междометия и фразы, прерываемые гневными выкриками. А когда он протянул руку и Иштван в ужасе отпрянул, пожилой человек понял — мальчика нельзя отправлять обратно.

Так Иштван попал в столичное промышленное училище. Он не знал, что значит стать токарем, но это слово звучало многообещающе. Когда, вместе с другими ребятами, Иштвана провели по цеху металлорежущих станков большого завода, он словно охмелел от сознания, что будет обладать властью над блестящими, замысловатыми, большими машинами.

В училище он встретился со многими славными людьми — воспитателями, мастерами, которые заботились о нем, старались проникнуть в его сердце. И все же в нем продолжало жить непреодолимое недоверие. В первые месяцы его не могли удержать в общей спальне. Ночами он убегал на чердак, где устроил себе убежище. Для эгоистичных мальчишек это оказалось веселым развлечением, а некоторым ограниченным или черствым педагогам давало повод для длинных и скучных проповедей.

Со временем Иштван избавился от страха, постоянно державшего его в готовности к защите. Постепенно он понял, что даже несправедливые учителя хотят ему помочь и не следует опасаться ни побоев, ни мучений. Учеба и работа восстановили его душевное равновесие. Сначала он, конечно, терялся и голова его кружилась в этом новом мире. Но затем, бурно радуясь, что, наконец, нашел самого себя, Иштван энергично налег на учебу. Он буквально дрожал, слушая объяснения мастеров, и желал тотчас же делать все, чему его учат. Чем больше он разбирался в машинах, постигал тайны мастерства, тем сильнее чувствовал свое торжество над приемными «родителями» и старыми порядками, вынуждавшими его вести животное существование.

Открытие музыки и литературы потрясло его. Без двух этих могучих сил, заключающих в себе всю печаль и всю красоту, ему было бы трудно выносить одиночество и сиротство среди кишашей вокруг ребячьей армии. Сначала поистине невыносимым мученнем были для него посещения родителей, любовь которых, будто какой-то волшебный плащ, окутывала то одного, то другого мальчика, но никогда не касалась его самого, страстно жаждавшего ласки. В родительские дни он с мучительным любопытством оставался в гостиной, неловко улыбаясь, словно калека, с которого упало платье, обнажив перед всеми вызывающие жалость увечья. Бессонными ночами, безмолвно терзаясь, он пытался представить себе, что такое родительская, материнская любовь. Он отдал бы полжизни за бледное воспоминание, но ничего и никого не мог вспомнить. Иштван никогда не мог полностью освободиться от странного, пугающего чувства, что он не принадлежит никому, что его родила не мать, а он просто появился на свет, как пускает корни трава или бурьян среди посаженной и заботливо ухоженной рассады.

От мальчиков он много слышал о любви. Их рассказы сопровождались таинственным шепотом или похабными словами. Это потрясающее, притягивающее и одновременно отталкивающее чувство было связано с женщинами, от которых он ждал больше всего материнской любви. Он был одинок, избегал девушек, никого не знал, но на улицах женщины окликали его, звали с собой. Он долго сопротивлялся, боясь и стесняясь последовать за ними. В конце концов он все-таки пошел. Разочарование было ужасным. Он и сам не знал, чего ожидал, когда первый раз в жизни остался наедине с женщиной. Несколько недель он жил растерянный, смущенный, по-прежнему одичалый, одинокий более, чем когда-либо. Но учеба, книги, музыка снова помогли ему. Этот особый мир прочно принял его, вернул ему душевное равновесие и призывал дальше, по открытому перед ним пути. Работа влекла его с огромной силой. На вагоностроительном заводе, куда Иштван попал после экзаменов, его тотчас отметили и обращались к нему с тем уважением, которым награждают умельцев. Теперь Иштван познакомился со славными, приветливыми людьми и впервые узнал дружбу. По совету товарищей он стал учиться дальше, записался в вечернюю школу, а потом в техникум. Ненасытная, неудовлетворенная жажда гнала его вперед, и лишь учение утоляло ее и заполняло в душе все уголки, где следовало бы поселиться другим чувствам.

Постепенно Иштван успокоился. На женщин он теперь смотрел по-другому. Бывали у него короткие связи, и все же он оставался одиноким — и не потому, что так хотел. В глубине души Иштвана все еще оставалась дверца, которую никто не мог открыть, даже он сам, как бы ему ни хотелось этого. Он ждал какого-то чуда, какой-то большой любви, которую и сам не мог себе представить. Впрочем, невольная замкнутость и обособленность не лишили его ни бодрости, ни людского общества. Они придавали юноше какую-то привлекательную серьез-

ность, заставляли людей внимательнее вглядываться в его глаза, замечать характерно выступающие скулы и сильную линию раздвоенного подбородка.

Только в двадцать пять лет, переселившись на улицу Хаттю в дом № 4, в одну из квартир первого этажа, Иштван узнал, на какие чувства он действительно способен.

Илона нерешительно замялась, когда в коридоре высокий смуглый юноша спросил ее, не возьмется ли она раз в неделю убирать его комнату и содержать в порядке белье. Она была неразговорчива и не знакомилась с теми, кто не был достоин ее дочери. Она не знала и нового соседа. Внешне он напоминал сыновей тех дам, к которым она ходила работать. Поэтому она не обиделась, а только удивилась, что ее — гладильщицу с тонкими руками — просят заняться простой уборкой.

Сама не зная почему, но, поколебавшись несколько мгновений, она согласилась. От этого юноши исходила неотразимая привлекательность. Он напоминал о чем-то таком, о чем вспоминать было и больно, и приятно. Впрочем, в первый же день, когда она зашла к нему со щеткой, совком и тряпкой, она узнала, что Иштван рабочий, и стала смотреть на него по-другому. Уважение к нему сменилось любопытством. Заполненные учебниками и тетрадями книжные полки, являющиеся органической принадлежностью знакомых ей господских квартир, здесь выглядели странно, словно Иштван собирался незаконно вторгнуться в недоступные для него круги общества. Илона и понятия не имела, что содержится в этих книгах с разноцветными переплетами, но почему-то считала, что они не для Иштвана. Однако серьезное спокойствие юноши и его пытливый взгляд вызывали в ней доверие и симпатию.

— Моя дочь тоже ходила в гимназию, — сказала она, опершись на ручку щетки,— но бросила, не захотела продолжать. Да, кажется, ей это и не нужно, — добавила она, как бы оправдываясь, потому что в глубине души чувствовала, что Или напрасно бросила школу ради парикмахерского салона.

— У меня очень красивая дочь,— вырвалось у нее несколько дней спустя, и тонкое увядшее лицо озарилось улыбкой.— Каждая мать была бы счастлива иметь такого ребенка. Ее любят на службе, секретаршей назначили. Посадили на такое место, где много людей ходит, ведь на нее и посмотреть приятно.

— Она очень любит меня,— сказала она в следующий раз, легонько вздохнув, словно во власти какой-то неясной заботы.— Ей было бы тяжело расстаться со мной. Может быть, поэтому она еще не вышла замуж. Нет, нет,— Илона резко встряхнула головой,— скорее потому, что не встретился до сих пор человек, который был бы достоин ее. Тем, которые до сих пор просили ее руки, я бы неохотно отдала ее.

— Знаете,— шепнула она, подойдя ближе к Иштвану и глядя на него так, словно ждала ответа на высказанные в первый раз мысли,— знаете, это трудное дело. Воспитываешь ребенка, лучше которого нет. Ждешь и... ничего. Совсем ничего! Неужели люди слепы? Нет, нет,— горячо воскликнула она,— ведь они восхищаются красотой! Но тот, для кого я ее растила, еще не появился. А ведь я ищу своими материнскими глазами. Но одна я не могу его найти. Много раз я уже думала, что бриллиант заметить труднее, чем камешек.

— Почему вы хотите во что бы то ни стало выдать ее замуж? — спросил Иштван.

— Почему? — Илона с недоумением посмотрела в смуглое лицо юноши, затем опустила глаза.— Такова уж судьба, такова жизнь,— с тихим упорством сказала она.— Женщине надо выходить замуж. А ина-

че чем она заполнит жизнь? — И добавила с упрямым убеждением человека, тысячу раз обдумавшего все и считающего свои выводы неопровержимыми: — Она должна выйти замуж за самого лучшего человека.

В другой раз юноша ошеломил Илону, спросив без всяких предисловий:

— Какой была ваша Или в детстве?

Илона не знала, чем вызван этот вопрос, но догадалась, что не обычным любопытством. Усевшись со сложенными на коленях руками, она начала рассказывать о маленькой Или. Она находилась во власти странного чувства, будто юноша — ее ровесник и его сердце, как и ее собственное, так же заполнено Или, и только Или. Имея дочь, она все же была одинокой, она не могла рассказывать Или о своих материнских чувствах так, как этому внимательно и серьезно слушавшему юноше. Она обращалась к нему, и ей казалось, будто уже много-много раз она ему об этом рассказывала, но он все-таки слушает, радостно удивляясь, как в первый раз.

Пока слова срывались с ее губ, сердце было наполнено трепетным наслаждением. В ее памяти вскрывались самые мелкие подробности. Как в первый раз Или расцарапала руку, как, радостная, прибежала, когда под кустом сада в Лёринце увидала ящерицу, как рассказала один из своих снов. Илона подробно описывала первые платья дочери с кружевами и оборочками, растущее очарование ребенка и вспомнила, как жена лёринцского начальника полиции остановила машину, чтобы полюбоваться на поразительно красивую школьницу.

— А вы... как жили вы? — внезапно перебил ее Иштван.

— Я? — Илона с недоумением уставилась на юношу, затем нахмурилась, силясь припомнить то, о чем никогда не задумывалась. Как она жила? Она видела лишь мутный серый поток катившихся дней, в котором не сверкнуло ни единого светлого часа. Словно ее жизнь без событий, наполненная постоянной работой и заботами, была всего лишь почвой, удобренной для другой, блестящей, созданной ради красоты жизни. После того как она рассталась с Лали, вышла замуж и во время войны стала вдовой, с ней ничего не случалось.

Разведя руками, она удивленно глядела в серьезные, внимательные глаза юноши, смущенно улыбалась, будто стояла перед многознающим старцем, которому нельзя лгать, потому что он все видит и все понимает.

— Я... только жила и работала... для нее... для моей дочери.

Иштван с глубоким вниманием слушал Илону. Она была единственной женщиной-матерью, которую он близко видел и знал. Долгие годы он сиротливо жил в общежитии, а когда начал хорошо зарабатывать, переселился оттуда, чтобы создать себе желанное уединение. Сначала он жил у высохшей молчаливой старухи, которая забыла, что когда-то была женщиной. Затем он поселился в квартире судорожно цеплявшейся за молодость вдовы, которая, наряду с квартирной платой, требовала прав на душу и тело квартиранта. Оттуда он сбежал в дом на улице Хаттю, где познакомился с Илоной. Слушая эту увядшую женщину с пепельными от седины волосами, он, потрясенный, пытался разгадать тайну материнской любви. Горячее, само питающее себя, дышащее вечным волнением чувство, словно ослепительно ясный и чистый свет, засияло рядом с ним, но его не коснулось. С удивлением наблюдая вблизи искры этого чувства, он вдруг ощутил, как оно недосягаемо, понял, что материнская любовь растет вместе с ребенком, окутывая его душу и тело. Эта догадка еще раз напомнила, что у него не было детства. Словно маленький старичок, жил он у своих приемных родителей, страстно тоскуя по настоящей родительской любви. Тем

ярче раскрывалось перед ним детство Или, образ которой засверкал в зеркале материнских воспоминаний. Собственно говоря, он полюбил ее уже тогда, когда еще ни разу не видел. Он знакомился с нею глазами ее матери, и не только с такой, какой она была теперь, не с цветущей девушкой, но с ребенком, каждое слово и движение которого дышало трогательной прелестью. Он видел и слышал Или, как человек, знавший и любивший ее еще девочкой; каждое ее слово отражалось в воспоминаниях, которые он заимствовал у ее матери.

Прошло два месяца, прежде чем Илона, с согласия Или, пригласила Иштвана в дом. Она усадила его в кухне; это значило и то, что его не считают значительным гостем, и то, что на него смотрят почти как на члена семьи. Когда шаги Или застучали по камням двора, Илона встала и, повернувшись к входившей девушке, смущенно указала на юношу.

— Это о нем я тебе столько говорила... Это он... Иштван.

Или смотрела на юношу, улыбаясь, немного подняв брови, что придавало ее и без того гордому лицу надменное выражение. Но несмотря на высокомерную улыбку, ее охватило приятное смущение, когда она взглянула в серьезные, внимательно устремленные на нее, лучистые глаза юноши. Сам Иштван испытал подлинное потрясение. Им овладело такое же чувство, как тогда, когда перед ним раскрылась непостижимая красота музыки. Его сразу захватила прелесть девушки, удивительная соразмерность ее изящной, гибкой фигуры и безукоризненно красивого лица. Когда он посмотрел на ее золотистые волосы, на слегка расширенные ноздри тонкого носа, на гордо и чувственно выпяченную вперед нижнюю губку — на эту пленительную неправильность, которая придавала ей такое очарование,— он тотчас же отказался от нее. Сознательно и добровольно, как человек, который этого не заслуживает и понимает свое несовершенство. Это вернуло ему спокойствие. Отречение позволяло ему любить Или и чувствовать ее все ближе в двойном сиянии материнской и собственной любви.

— Он тебя проводил? — робко спросила Илона, и Иштван понял, что вопрос относится к студенту-медику.

— Да,— нахмурясь, сказала Или и, поглядев в озабоченное лицо матери, почти грубо добавила: — Не бойтесь, и этот не женится.

— Я не боюсь, ведь он не для тебя... Только мне бы хотелось знать... Но поступай как хочешь,— прошептала Илона и пошла в кладовку, чтобы выложить из сумки лук, яйца и мясо, которые она принесла.

Или, с заложенными за спину руками, беспокойно кружила по кухне. Правда, она всегда первая отвергала юношей, отвергала хотя бы тем, что не могла отважиться отдать свое сердце, губы, тело. Но почему? Ей всегда казалось, что эти появляющиеся по очереди юноши недостаточно преданы ей, а она ищет, желает и заслуживает большего чувства. Хотя каждый раз именно она отвергала, в глубине души ее оскорбляло то, что они принимали разрыв, что они были способны потерять ее. Вот и этот студент-медик... распрощался с каким-то облегчением. Видно, что он рад вернуться к привычной жизни.

«Что же во мне такое, что притягивает и отталкивает одновременно?» — думала она удивленно и оскорбленно; это противоречило ее представлению о себе самой. Стоя у кухонного окна, она машинально глядела на двух по-деревенски сплетничающих толстых соседок, и невольно у нее вырвалось:

— И это все?

— О чем вы думаете? — спросил, побледнев, Иштван; он хорошо понял, она спрашивает о любви. Ему казалось совершенно немыслимым, что кто-то может дотронуться до руки этой девушки.

Или не ответила. Было бы странно рассказывать о себе этому рабочему парню из чужого, далекого мира. Тряхнув головой и не ответив на вопрос, Или упрямо, сердито, оскорбленно повторила:

— И это все? Этого очень мало, мало, мало!

Повернувшись, она вдруг улыбнулась Иштвану, как очень близкому существу, которое понимает ее всем сердцем и которому она может сказать, о чем тоскует.

Иштван после этой первой встречи около месяца не заходил в маленькую белую кухню. Он был слишком занят мыслями, которые девушка пробудила в нем, чтобы желать видеть ее вновь. Новое чувство затопило его и было так прекрасно, что даже безнадежность не могла отравить радости. Он вдруг почувствовал себя цельным человеком и за это был благодарен не себе, а Или. Наконец он уступил Илоне — она чувствовала в нем союзника, с которым может делить заботы, — и раза два в неделю стучался в ее дверь. Или снова приводила его в трепет; он находил это естественным. Он слишком много страдал в самом юном возрасте, чтобы не хотеть видеть в той, кого он любит, чрезвычайное, удивительное существо. Даже ее слабости казались ему прекрасными. Однажды, когда он восторженно заговорил о музыке, Или переглянулась с матерью, и обе улыбнулись. На их лицах появилось высокомерное сожаление, будто Иштван совершил в их присутствии какую-то неловкость. Иштван пришел в замешательство. Но, несмотря на свою гордость и впечатлительность, он забыл об этой минуте; все, что ни делала Или, было для него непререкаемо и прекрасно.

Так прошло несколько месяцев до того вечера, когда первый раз у ворот дома остановилось маленькое серебристое авто.

Вместе с Иштваном Илона прислушивалась к шороху легких, знакомых шагов. Или вошла с извиняющейся улыбкой — все-таки следовало окликнуть мать на улице! Увидев, что безмолвное извинение принято и что Илона отвечает своей хорошо знакомой, робкой, смиренной улыбкой, Или сразу ожесточилась.

— Что вы топчетесь, мама? — грубо спросила она. — Садитесь и отдыхайте. Терпеть не могу, когда вы встречаете меня, словно часами дожидались.

Пока Илона послушно садилась, Или дружелюбно кивнула Иштвану. Ее синие глаза, опушенные черными ресницами, просияли, будто она обрадовалась, что ее ожидает все привычное и знакомое. Сев на стул, она задумчиво смотрела на носки своих туфель. Затем, повернувшись к Иштвану со снисходительной, немного сожалеющей улыбкой — все, чего она не понимала, казалось ей смешным,— спросила:

— Были вы вчера на заводском концерте?

— Был,— ответил Иштван кратко; у него была привычка, слушая музыку, воображать, что Или рядом и переживает все так же, как и он. Теперь он боялся выдать себя.

— Наверное, было много народу? — продолжала Или, зачем-то подражая ироническому тону одного из своих знакомых.— Ведь теперь культура принадлежит рабочим.

— Нет,— сказал Иштван и покачал головой,— народу было не очень много. Тот, кто не понимает истинной красоты, боится ее. Да,— он с улыбкой кивнул головой, словно говорил с ребенком и хотел смягчить серьезность своих слов,— чтобы вынести красоту, нужна сила, а в ком этой внутренней силы нет, тот боится красоты и избегает ее.

Или невольно повернулась к юноше. Она не вполне ясно поняла скрытый смысл его слов, но ей показалось, что внезапно она получила

ответ на давно мучивший ее вопрос, касающийся ее собственной красоты. Приходилось признать, что речи Иштвана серьезнее и умнее того, что знает она сама. Это оскорбляло гордость Или; разве она не стоит выше того мира, к которому принадлежит юноша?!

Или встала и, напевая, сделала несколько танцевальных па по кухне; ее изящные движения были полны необъяснимого беспокойства.

Мать уловила это беспокойство, озабоченно, с любовью поглядела на дочь и, словно зная, о чем та думает, спросила:

— Это чья машина была?

— Того, высокого,— сказала Или и засмеялась.— Правда, красивая?

— Красивая,— мягко ответила Илона и тотчас добавила:— Все-таки остерегайся. Очень остерегайся.

Или посмотрела на нее расширенными глазами.

— Как вы обо мне думаете, мама? Какое вы имеете право предостерегать?! — в голосе ее зазвучал гнев.— Ведь я не делаю ничего другого, как только остерегаюсь, остерегаюсь, остерегаюсь!

— Я не для того говорю,— прошептала Илона и погладила руку Или.— Не сердись! Но я тебя так люблю, что ты...

Не окончив фразы, она повернулась к Иштвану.

— Видите, как она возбуждена... А я только хочу, чтобы она была самой счастливой на свете.

— Или очень хорошо это знает,— сказал Иштван со сжавшимся сердцем, потому что машина и беспокойство девушки пробудили в нем плохие предчувствия. Но так как он заранее отказался от мысли, что у него может быть какое-нибудь право на нее, он улыбнулся так же бережно и любовно, как Илона.

— Знаю,— сказала Или оскорбленно,— но я не ребенок. Зачем эти постоянные предостережения?

— Только потому...— ответила Илона, суетливо моргая, чтобы ее озабоченный и умоляющий взгляд не раздражал Или.— Ты не знаешь, что значит быть матерью. Как только спустишь ребенка с рук, чувствуешь себя такой беспомощной. Ты одна ходишь и на работу, и всюду, я не могу ни от чего защитить тебя. А такой красавице, как ты, угрожает много опасностей. Нет, нет,— добавила она в ответ на движение Или и подняла руку, — в тебя я верю больше, чем в бога, но есть на земле и другие люди, не такие, как ты. Мне хотелось бы уберечь тебя даже от их нехороших взглядов.

Она повернулась к Иштвану с неловкой, просящей помощи улыбкой.

— Правда, это нужно почувствовать? Мать всегда остается матерью.

Иштван кивнул. Ему захотелось, чтобы капелька этой любви упала на него, чтобы ему принадлежало хотя бы одно слово, одно движение! Горло его сжалось, он не мог ответить. Но Илона ничего не заметила, только смотрела на дочь, на лице которой мелькнуло страдальческое, раздраженное выражение. Обращаясь к Иштвану, Или сказала:

— Я думаю, пора поговорить о другом...

Она жалела мать, но не умела быть с ней ласковой. Первый раз в жизни она скрывала что-то от Илоны и потому чувствовала себя виноватой. Мать, которая своей смиренной любовью, умоляющим, ожидающим взглядом не давала забыть этой вины, еще больше раздражала ее.

Каждый раз, когда появлялся новый поклонник, между матерью и дочерью возникала тягостная напряженность. Илона всем существом ожидала и спрашивала, а если, познакомившись, не смела громко высказать свое мнение, то лоб ее омрачался, уголки рта страдальчески опу-

скались. Горькие вздохи ясно говорили, что она разочарована и не находит нового претендента достойным дочери. Или, сама не подозревая этого, с первого мгновения смотрела на своих поклонников глазами матери, и тотчас же между ними возникало расстояние, которого ни она, ни юноша не могли преодолеть. Необыкновенная красота и высокомерие Или делали юношей ее смиренными рабами. Или побеждала с легкостью, но эта победа не доставляла ей радости, за исключением, может быть, самых первых дней, когда она с восторгом наслаждалась властью своей красоты. Не от мужчин, а от себя самой ждала она чего-то, но чего, она не знала, хотя и испытывала чувство, похожее на жажду. Она хотела бы вести себя с молодыми людьми по-товарищески, но этому мешало сознание собственного превосходства. Надменность не позволяла ей спуститься с пьедестала, на который поставили ее любовь матери и тот простой факт, что сама она не знала ни любви, ни покорности. Она никогда не влюблялась в своих поклонников и все же страдала оттого, что они быстро загорались и столь же быстро оставляли ее после первого «нет». Так она оказалась внутри замкнутого круга, из которого никак не могла вырваться.

И себя и мать Или убеждала, что совершенно искренна и ничего не скрывает. На самом деле между ними все возрастала непреодолимая стена отчуждения. Или стеснялась и не могла говорить с Илоной о своей внутренней непонятной и беспокойной жажде. Ей казалось немыслимым рассказать матери, что от сознания своей красоты она была не так уж счастлива. Мать верила в нее, а Или была слишком слаба и горда, чтобы разбить эту слепую веру. Она считала мать простодушной, даже простоватой, не способной понять тяжелой внутренней борьбы. Все же в ней жило сознание вины — уже неделю она что-то скрывала от Илоны.

На работе Или искала дружбы тех, кто, по ее наивному представлению, был выброшен из привычного привилегированного образа жизни в обстановку сурового для таких людей строя народной демократии. Самоуверенность хорошо одетых, элегантных мужчин и создающих вокруг себя особый мирок кокетливых женщин манила и кружила голову. Новые знакомые с охотой приняли в свой круг девушку рабочего происхождения и принялись обучать ее своему особому жаргону — языку улицы, смешанному с несколькими иностранными выражениями. Но тут Или оказалась неожиданно робкой. Ее язык с трудом справлялся с новыми словами, и она, никогда об этом не думавшая, только в этом обществе вспомнила, что ее отец был слесарем. Воспоминание не порадовало ее; она думала о своем происхождении со стыдом и досадой.

Одна из ее новых знакомых представила ей Денеша Карои, и уже на следующий день его серебристая маленькая спортивная машина ожидала ее у ворот учреждения.

Сдвинув шляпу, он с глубоким поклоном растворил дверцу четырехместного авто.

— Прошу занять место, моя королева! — воскликнул он и ловким движением помог Или сесть.

— Мне надо идти домой, меня ждет мать,— сказала Или, хотя это было неправдой, потому что она собиралась к портнихе. Ей вдруг захотелось убежать, может быть потому, что он заставил ее сесть в машину, не интересуясь, хочет ли она этого.

Однако, сидя на упругом зеленом кожаном сиденье, глядя на раскрывающиеся перед ней улицы, на смешно сторонящихся машины или стремительно перебегающих дорогу людей, она победоносно подняла голову: в машине она острее и отчетливее ощутила свою свежую, торжествующую красоту.

Карои повернулся к ней. Или только теперь разглядела его густые, черные, серебрящиеся на висках волосы, мощные сросшиеся брови, большой, жадный рот с выступающими вперед желтыми редкими зубами, из-за которых губы его никогда полностью не смыкались. Кожа отлично выбритого лица казалась немного дряблой, а синеватый оттенок широкого подбородка смягчался кремом и пудрой.

Машина, подрагивая, замедлила ход, словно ее колеса запутались в синеве весенних сумерек.

— Ты красива, моя девочка, — прошептал Карои, и в глазах его мелькнули желтые огоньки.

Одну руку он держал на руле, другой обхватил плечи Или.

— Знаешь ли ты, какая волшебная сила заключена в тебе? Ты сделала меня львом! — сказал он и, забавляясь скрытым смыслом своих слов, тихо засмеялся.— Быть такой красивой — преступление... Я бы запер тебя, чтоб ты не возмущала общественного спокойствия, ты — гордая маленькая королева, ты...

Он придвинулся ближе к девушке, шепча ей на ухо:

— Ты идешь по улицам — и все видят твою красоту. А ты должна гордо закутаться; пусть только тот видит тебя, кто этого заслуживает, кто понимает... Красота — тупоголовым?

Он снова тихо засмеялся, большой рот задрожал, сверкнули выступающие вперед верхние зубы.

— Чепуха! Тебе надо жить в каком-нибудь чудесном замке, в уединении, среди рабынь и только тех принимать без покрывала, кто заслуживает чести тебя видеть.

Он наклонился к Или, его дыхание обдавало ее шею жаром и шевелило распустившиеся локоны. Он шепнул:

— Меня!

Или осталась неподвижной, не способная пошевелиться и прервать Карои. До сих пор она всегда была сильнее своих партнеров; никто никогда не осмеливался говорить с ней неуважительно. Но самоуверенность, с какой Карои вел свою атаку, отняла у нее все силы. Непонятные речи Карои, восхищение, за которым чувствовался опыт мужчины, усиливали его власть над нею. Каждое слово Карои как будто подтверждало то, что говорила мать. Она действительно лучше других, теперь она по-настоящему почувствовала это.

Молча они вернулись в город. Или сидела неподвижно, словно завороженная.

Карои снял руку с ее плеча, когда машина побежала по улицам, кишащим народом.

Перед домом на улице Хаттю он затормозил и помог Или выйти из машины. Кругом никого не было. Карои опустился на колено, прижав шляпу к сердцу.

— Моя королева! — сказал он с тихим смехом, и трудно было понять, шутит он или действительно восхищен.— Два дня меня не будет в Пеште, но затем я появлюсь. Нельзя меня забывать!

Одурманенная, взбудораженная Или несколько минут стояла в воротах, чтобы успокоиться, прежде чем войти в кухню.

Два дня спустя они встретились вчетвером. Или ждала странных, кружащих голову слов, но Карои говорил со всеми легко и весело. Однако глаза его смотрели на Или жадно, с восхищением, и он торжествующе улыбался, замечая, что девушка бледнеет и вздрагивает. Прощаясь, Или с тревогой думала: «А вдруг я не увижу его больше?» Прежде, под тяжестью его взгляда, ей хотелось убежать, теперь она с нетерпеливой тоской желала видеть Карои. Эту тревогу угадала в ней мать, но Или недоставало сил заговорить об этом.

Прогулки на машине повторились еще три раза, точно так же, как и в первый; только слова, которые Карои мурлыкал на ухо девушке, становились все более опьяняющими. Всякий раз Или с каким-то головокружением, онемев, выходила из машины; под цепким взглядом Карои ее движения становились неловкими, неуклюжими.

Илона мало знала о машине и о ее владельце. Но она сердцем почувствовала значительность нового знакомства. До сих пор Или, распрощавшись с провожавшими ее молодыми людьми, спокойная и ясная переступала порог дома. Теперь она была полна смятения, и чем бы ни занималась, делала это рассеянно, углубившись в свои мысли.

Под предлогом различных покупок Илона вечером то и дело выбегала на улицу и видела вдали от парадного Или, стоящую молча, с опущенными руками, и незнакомого, высокого, элегантного мужчину, который, наклонившись к дочери, все говорил, говорил, но так тихо, что, даже напрягая слух, мать не могла уловить ни слова.

Две недели продолжалась эта игра в прятки с Или, которая хорошо видела молчаливую тень, шмыгающую туда и обратно, жалела мать и стыдилась, что таится перед этим молящимся на нее существом. Но как только она взглядывала в тревожное, умоляющее лицо матери, в ней просыпалось упрямое торжество: она испытала чувство, не доступное для матери. Это чувство поднимает Или над бедным и тесным миром.

— Мне хотелось бы познакомиться с твоим новым поклонником,— неуверенно сказала Илона однажды вечером за ужином.

По тому, как Или вздрогнула, как ответила сдавленным голосом: «Я позову его завтра!» — мать поняла, что этот человек «настоящий».

На другой день Илона в воскресном платье, в полуботинках на шнуровке, в которых она годами ходила только в церковь и в гости, сидела у кухонного, накрытого белой скатертью стола с приготовленными для угощения лакомствами. Всеми своими нервами она почувствовала, когда к воротам подъехала машина. Она была одновременно счастлива и обеспокоена, потому что подозревала опасность, но на этот раз даже преуменьшала ее.

Когда Карои, слегка склонившись, шагнул в дверь, Илона чуть не отступила. Она едва смогла протянуть похолодевшую руку и пробормотать, заикаясь, слова приветствия.

Карои, тихо посмеиваясь, без стеснения рассматривал худую фигуру Илоны, ее плоскую грудь, тонкое, страдальческое лицо; затем с легкостью танцора, отбросив назад ногу, поклонился, приложив руку к сердцу.

— Сударыня, поздравляю! Вы родили королеву!

Или со смиренной полуулыбкой, которую мать впервые видела на ее лице, открыла дверь, чтобы пригласить его в комнату, немедленно наполнившуюся запахом духов, сигарет, сложным и удушливым ароматом чужой жизни. Мать тяжелыми шагами последовала за гостем и сразу опустилась на ближайший стул.

Молчаливость хозяек не смущала Карои, он закурил, пригладил пышные седеющие волосы и с любопытством огляделся вокруг.

— Это ваша постель, правда? — он кивнул на стоящий в алькове диван и с интересом поглядел на Илону.— Словно у монахини! — сказал он, и его рука быстрым, мягким движением описала полукруг.

— Если б я вас совсем не знал, все равно представил бы себе именно такой, едва взглянул бы на этот жалкий, маленький диван,— добавил он и тихо, удовлетворенно усмехнулся.— А это принадлежит Или? Конечно, и отсюда веет холодком, но это совсем другое... Хозяйка сама еще не знает, каким богатством она владеет.

Он взглянул на Или; Илона, у которой сердце билось с перебоями, увидала, как под его долгим, откровенным взглядом краснеет и начинает дрожать ее бедная маленькая девочка.

Давным-давно Илона приготовилась к самой большой и все же самой счастливой жертве материнства: отдать свое дитя кому-то, кто будет так же, как и она, любить Или больше всего на свете.

Но тогда Карои еще не переступал их порога. Теперь, в первое же мгновение, умиление рассеялось, Илону охватил ужас. Это был чужой, совсем чужой человек, даже на нее — мать —глядевший глазами опытного мужчины.

На обращенные к ней слова она отвечала лишь вымученной улыбкой. С отвращением она увидела, что Карои уже приобрел власть над ее дочерью. С необоримой антипатией следила за его высокой, сухощавой фигурой, мягкими движениями, в которых было что-то женственное. У него был большой жадный рот с выдающимися вперед зубами и длинные ресницы, из-под которых лучился мягкий, уклончивый взгляд. Его глаза, словно два рефлектора, обследовали, ощупывали ее, проникали в ее сердце и прочли отразившуюся на лице антипатию.

— Я вам не очень нравлюсь,— услышала она голос Карои.— И вы ревнуете меня к своей дочери, этой удивительной Спящей красавице.

Будто выведывая, он смотрел в застывшее лицо Илоны и с сожалением выдавил из себя:

— Бедняжечка! Что вы знаете о жизни? О прекрасной игре нервов? И о любопытстве, что ведет человека все дальше, выше обыденного и будничного? Вы как святая, но не настоящая, что становится святой в прекрасном и достойном зависти грехе, а как наивная олеография, что со смирением верующего может сама преклонить перед собой колени.

Он замолчал и, как всегда, тихо рассмеялся, наслаждаясь тем, что сказал нечто интересное и меткое.

Илона не уловила смысла его слов, но безошибочно почувствовала, что Карои на свой манер понимает ее и в этом понимании есть оскорбительное пренебрежение.

Она не знала, что сказать, что сделать, и сидела почти такая же подавленная, как Или в часы прогулок в автомобиле.

Неожиданно заговорила ее дочь тем по-детски застенчивым голосом, который Илона слышала очень давно, когда та сдавала экзамены в начальной школе:

— Мама, действительно, словно какая-то святая. Она готова на любую жертву ради меня, и я никогда не смогу отблагодарить ее. Она заслужила, чтобы перед ней преклоняли колени.

В этих словах, сказанных дрожащим голосом, мать с тяжелым сердцем услышала детское и жалкое усилие Или говорить так же, как говорит этот мужчина, показать, что она понимает его двусмысленный жаргон.

— Моя мать похожа на вас,— вдруг сказал Карои, повернувшись к Илоне.— Она ходила стирать к жене начальника станции. Отец мой был путевым сторожем: правда, невероятно? —и опять рассмеялся тонким голосом.— Отец хотел сделать из меня дежурного по станции. Знаете, который, поднимая флажок, приветствует поезда. Я выполнил его мечту, только на другой манер. Но он этого не понял и в сорок лет умер дряхлым, разбитым, забыв даже, что был когда-то мужчиной.— Карои сбил пепел с сигареты, и Илона ясно заметила, как его узкая, неприятная рука, походившая на лапу хищника, еле заметно дрожит.

Он откинулся на стуле. Сквозь извивающийся, стелющийся дым он поглядывал то на мать, то на Или, интересуясь и любопытствуя, какое произвел впечатление, словно заранее зная, что смутил их.

— Я стал дежурным по станции. Я вывесил свой собственный флажок и салютую жизни, потому что очень уважаю ее и знаю не только поверхностно. Мой бедный отец продолжает жить во мне — немного ошеломленный, немного удивленный, но, думаю, втайне очень довольный...

Странные слова проскальзывали мимо ушей Илоны. Она улавливала лишь голос, улыбку, мягкие движения, когда гость дрожащей рукой подносил ко рту сигарету. Она не знала, но безошибочно чувствовала, как много приключений пережил этот человек и насколько иное, чем она, содержание он вкладывает в слово любовь.

— Вам не тяжело так жить, двойной жизнью? — спросила Или, по лицу ее блуждала улыбка.

— Маленькая королева, маленькая античная статуя! — вскричал Карои, хотя знал, что Или по-детски наивно истолковывала его слова.— Вы высечены из мрамора и все же можете летать!

Или покраснела, выпрямилась, просияла от счастливого сознания, что ее очень любят. С упреком она посмотрела на мать: пусть она, наконец, заговорит с Карои, а не сидит молча!

Поздно вечером Карои распрощался, пожал руку Илоне, взглянул ей в глаза и засмеялся, довольный, что произвел такое впечатление на эту серьезную, простую женщину. Он сказал ей:

— Я такой, какой есть, и так меня надо принимать. Любите меня за то, что ваша дочь встретилась со мной, а не с каким-нибудь глупым мямлей, который до конца жизни позволил бы ей проспать.

Он шагнул к Или, внезапным движением склонился, схватил край широкой легкой юбки и поднес к губам.

— Ваш поклонник приветствует вас, моя королева!

Или осталась у двери, прислонив голову к стене. В ней было что-то покорное и все-таки вызывающе торжествующее.

Илона села на маленький стул в темной кухне, откуда Или в белом платье казалась мерцающим, светлым пятном, и заговорила дрожащим голосом:

— Или, кто этот человек?

— Ты видела,— ответила Или, голос ее тоже дрожал.

— Я надеюсь... ты не любишь его? — умоляюще спросила мать.

— Это мое дело,— резко оборвала Или.

Илона шагнула к дочери, взяла ее одеревеневшую, враждебную руку и лихорадочно зашептала:

— Иликэ, моя единственная, поверь мне... это нечистоплотный человек... Он уже... во всем вывалялся. И старый он... Ему лет сорок, по крайней мере, а может быть, столько же, сколько мне... Иликэ, не позволяй ему провожать себя... ведь ты так мало знаешь его; невозможно, чтобы ты успела полюбить.

Или отдернула руку, отступила. В голосе ее послышалась враждебная твердость.

— Оставьте меня, мама... Что вы знаете о жизни и о... По какому праву вы меня останавливаете? У меня было столько поклонников, что хватит... Оставьте меня в покое, хватит!..

Илона чувствовала, что с каждым мгновением растет непроницаемая стена упрямства Или, стена, от которой отскакивают материнские слова. Но она не отступила и в отчаянии начала снова умолять:

— Иликэ, поверь, он не для тебя! Лучше я отдам тебя любому другому, только не ему. Разве он действительно хочет жениться? — доба-

вила она с хитростью любви.— Ты даже не знаешь, чем он живет, чем занимается. Что он за человек, если и этого не сказал о себе!

— Он будет просить моей руки,— сказала Или упрямым, дрожащим голосом; глаза ее в темноте зло и торжествующе блеснули. Но ее охватила внутренняя неуверенность: как всегда, она не знала, увидится ли на следующий день с Карои. Она спохватилась, что действительно понятия не имеет, чем он занимается, и вряд ли осмелится об этом спросить; отношения между ними совсем другие, чуждые реальной действительности...

— Если и будет просить, не отдам!— сказала Илона.— Пойми, этот человек не для семейной жизни, не того он сорта! — внезапно воскликнула она, радуясь, что нашла такой серьезный довод. После долгой напряженной паузы мать тихо сказала: — Не приводи его больше, я не могу его выносить.

— Это я могу сделать,— пожала плечами Или. От облегчения, прозвучавшего в ее голосе, у Илоны на сердце стало еще тяжелее.

На другой день, когда Илона вернулась с работы, их красивая, чистая кухонька показалась ей холодной и пустой. В ней кого-то недоставало. И вовсе не Или, с которой теперь трудно было встречаться. Впрочем, об Или она сейчас не беспокоилась: Карои накануне сказал, что уезжает на несколько дней.

Беспомощно остановившись посреди кухни, Илона вспомнила, что давно не видела Иштвана. Обрадовавшись, что есть с кем поговорить, она проворно взяла тряпку, щетку и побежала к соседям.

После того, как маленькое серебристое авто впервые остановилось у дома, Иштван не бывал у Илоны. Самолюбие и такт не позволяли ему ходить туда с тех пор, как в жизнь Или вошел человек, к которому девушка потянулась сама. В душе Иштван окончательно отказался от Или, которую всегда считал недосягаемо прекрасной. Он лишил себя радости видеть ее хоть изредка, но не был несчастен. Новое, могучее чувство делало его жизнь полной, давало силу и спокойствие. Вместе со многими другими он шел к цели, которая все яснее и яснее вырисовывалась теперь в просторах будущего. Чтобы достичь этой цели, он жадно учился.

— Я боялась, что не застану вас дома,— задыхаясь, сказала Илона, войдя в комнату.

— Еще бы немножко, и я ушел, — удивленно отозвался Иштван. Впервые было заметно, что он ей не рад. — Я договорился встретиться с друзьями, и скоро мне придется уйти.

Илона не поняла, к чему он клонит, она слишком была занята собственными мыслями. Машинально она принялась вытирать мебель, затем вдруг обернулась к чертившему что-то в тетради юноше:

— Я не знаю, что с ней,— сказала она жалобно, не упоминая имени дочери, юноша и так поймет,— она не хочет меня слушаться...

Наступила тишина. Иштван ни о чем не спрашивал, смысл слов Илоны был для него ясен, и ему казалось, что они с грохотом падали в его душу.

— Кажется, она полюбила этого человека,—продолжала женщина, ломая тонкие руки и взглядом прося помощи, как будто он мог изменить то, чего изменить невозможно.— Если бы вы знали, как он ей не подходит! Он старый и очень противный, я сказать не могу, какой он противный!

Иштван встал из-за стола. Заложив руки за спину, он принялся ходить по комнате. Странно, что Или любит кого-то, что она похожа на других и для кого-то досягаема... Разумом он понимал, что так и должно

быть, что рано или поздно это должно было случиться, и все же это было трудно постигнуть. Он очень страдал. Но разве из этого следовало, что нужно говорить теперь об Или со злорадством? Он решил защитить девушку от чрезмерной материнской любви.

Он тряхнул головой и посмотрел на молча ожидавшую Илону.

— Или не может любить недостойного человека! — строго сказал он.

— Но это и ужасно, что она любит такого и потеряла способность судить здраво. Почему вы не хотите помочь мне? — спросила женщина с упреком.— Я боюсь, очень боюсь...— и умоляющими, испуганными глазами Илона поглядела на Иштвана.

— Не эгоизм ли это? Вам следовало знать, что Или когда-нибудь... да, вам следовало знать. Вы несправедливо возмущаетесь, будто тот факт, что кто-то другой любит Или, лишает вас возможности любить ее по-матерински. Полюбите и вы этого человека, тогда снова все будет в порядке... Я никогда не понимал, — страстно продолжал он, расхаживая по комнате и натыкаясь на мебель,— почему нельзя разделить любовь? Почему родители любят только собственных детей, а тем, кто изнывает вблизи, показывают лишь ужасную и пугающую изнанку любви? Безжалостную слепоту и равнодушие? Любите того, кого любит Или, — повторил он, хмуро глядя на женщину. — Полюбите его!

— Ему это не нужно, — испуганно возразила Илона. Она плохо понимала, о чем говорит Иштван, мысли ее кружились вокруг одного и того же.— С ним Или будет страдать! — сказала она и снова принялась ломать узкие, натруженные руки.

— Тогда поймите ее и не мешайте ей страдать,— сказал юноша.— От страданий, на которые человек обрекает себя добровольно, можно освободиться, как выплывают из глубокого озера на берег. Изнуряют и убивают лишь бессмысленные страдания...

Но Илона стояла с закрытыми глазами, разочарованная, что Иштван оставляет ее одну.

— Почему вы так защищаете Или? — с упреком спросила она.— Я знаю, что ей надо расстаться с этим человеком, и сделаю все, чтобы их разлучить,— вскричала она, с ужасом вспоминая, что отказала Карои от дома и тем самым приговорила себя к большим мучениям, потому что не сможет следить за ними.

Юноша склонился через стол, положил свою ладонь на ее руку и добродушно улыбнулся.

— Или двадцать один год, — сказал он серьезно. — Попробуйте понять, что она теперь чувствует... — Он замолчал на мгновение, потому что сам вполне понимал Или. Ее переживания казались ему большими, чистыми, прекрасными.— Матери надо как-то так поступать...— закончил он, улыбкой прося прощения за свои наставления. И удивился, что Илона глядит все более отчаянно и уныло.

— Или тоже сказала мне что-то в этом роде,— заговорила женщина после долгой паузы.— Будто я не знаю, не догадываюсь, каково ей теперь...— Она опустила глаза, и перед ней в расплывчатом, дальнем тумане юности появился улыбающийся и молодой Лали. Глядя на это незабываемое лицо, она вдруг подумала о Карои, и ее охватил еще больший ужас и непреоборимое отвращение.

Она махнула рукой.

— Значит, вы не поможете...

— Не знаю, как вы можете об этом думать, — вспылил Иштван.— Я никогда не помогаю ни в чем, что препятствует воле и желаниям другого. Я все готов сделать, но это... нет!

И, как будто непоследовательно, обратился к Илоне:

— Почему вы разрешили Или бросить в середине года гимназию?

— Почему? — Илона удивленно поглядела ему в лицо.— Я не радовалась этому, но она сказала, что учение утомляет ее и она не видит в нем смысла... Я не хотела ее принуждать к тому, что ей тяжело...

— Или все бросала на половине, — сказал Иштван, удивляясь, что это впервые пришло ему в голову.— А теперь она в первый раз настаивает на чем-то, что-то хочет довести до конца. Может быть, если б тогда ей не удалось так легко бросить учение...

Он не закончил ни фразы, ни мысли, так как чувствовал, что нехорошо нападать из-за угла на беззащитную девушку.

— А теперь вы должны разрешить ей... — снова обратился он к матери, которая, нахмурившись, пробовала разобраться в его неясных и беспокоящих упреках.

— Тяжела жизнь, тяжела,— вздохнула она и умоляюще взглянула на юношу.— Увезите, увезите Или отсюда хоть на один день, чтоб она не думала непрерывно об этом... Завтра как раз воскресенье, может быть, свежий воздух прояснит ее голову, и она не будет такой... такой неумолимой. Повезите ее на прогулку. Она сидит дома, ждет этого человека. Если б хороший воздух вернул ей разум...

— Как может помочь свежий воздух? — с сожалением спросил Иштван, словно он был старшим из них двоих. Но, взглянув в умоляющее лицо Илоны, в полные ужаса глаза, добавил: — Хорошо. Если Или поедет со мной, я повезу ее куда-нибудь в горы.

Или легко и охотно согласилась поехать за город. Много дней она жила в состоянии странного возбуждения. Вся она была полна мурлыкающим голосом Карои, его странными словами, от которых кружилась голова, как от вина. Ей казалось, что никого не любили так удивительно и прекрасно, как ее. Часами она сидела у окна с иглой в руке, но пальцы едва-едва делали несколько стежков. Взгляд ее опущенных глаз был прикован к какой-то невидимой точке; она вновь и вновь воскрешала в памяти слова Карои и одновременно то сковывающее тяжелое головокружение, которое охватывало ее, когда она их слышала. Теряя свою гордость и высокомерное спокойствие, которое всегда делало ее поклонников смиренно застенчивыми, Или робко думала, что не увидит его больше. Почтительно прощаясь с ней, Карои никогда не уславливался о следующей встрече. Она жаждала его странных слов и хотя не понимала их сути, они волновали ее и пробуждали неизвестные, бурлящие чувства.

— Этого я ждала! — повторяла она про себя, думая о жажде последних месяцев.— Да, я знаю, я всегда ждала именно этого!

Она и не подозревала, что в ней дремлют такие страсти. Она чувствовала свою вину, потому что знала, как страдает мать от немой, враждебной тишины. Хорошо было бы прижаться к ней, положить голову на колени и все рассказать. Все! Потому что, хоть она и скрывала это даже от самой себя, в речах Карои было что-то неясное и пугающее. Но уткнуться в материнские колени она не могла. Все поведение Илоны пробуждало в ней упорство; ей казалось, что ревнивая материнская любовь теперь хочет отнять у нее то таинственное и неизведанное счастье, которого сама мать желала своему ребенку, на которое так надеялась. Или боялась, что мать в своей простоте раскроет ей что-то постыдное и низкое не только в словах Карои, но и в ее собственных чувствах. Девушка молчала, упрямо избегая ищущего, умоляющего взгляда матери. Вот почему Или даже обрадовалась предстоящей про-

гулке с Иштваном. Не надо будет торчать все воскресенье дома, в квартире, где самый воздух полон напряженности.

Илона проснулась рано, нажарила мяса и пирожков, выгладила Или платье. Она надеялась, что тоже сможет поехать. Ей было бы приятно, сидя на траве, смотреть в небо. Со двора большого дома, где они жили, она могла видеть лишь кусочек синего неба величиной с ладонь. Ей казалось, что среди гор и деревьев между ними обеими что-то решится, пропадет пугающая тяжесть и отчужденность. Но Или не обратила внимания на робкие намеки.

— Я сейчас скажу Иштвану, что вы можете отправляться. Чего вы ждете? Я-то ведь не могу ехать, — смущенно лепетала Илона, словно Или настаивала на ее поездке. Чтобы обмануть самое себя, она засуетилась, как человек, у которого очень много дел. Но когда молодые люди ушли, забралась в кухню, и, хотя в плетеной корзине было много белья, снятого накануне с веревки, Илона, вместо того чтобы гладить, села у печки со сложенными руками.

Теперь, когда у нее шла молчаливая война с Или, вновь и вновь (напрасно она с этим боролась!) перед нею возникала минувшая молодость. То и дело приходилось сравнивать Карои с Лали, бунтарство Или с собственным молчаливым смирением.

И без того темная с окнами во двор кухня была защищена занавесками от любопытных взоров и потому рано погружалась во мрак. Илона вновь видела себя на узкой улице Буды с косынкой на голове, в красном ситцевом переднике. Ее шею и руки покрывает кирпичная пыль, к босым ногам пристал сырой песок. В то время ее уволили с маленькой картонажной фабрики, где она ловкими, тонкими пальцами клеила коробочки. Как всегда, безработица заставляла хвататься за любое дело. Илона пошла работать с каменщиками. Утром, подавая кирпичи, она поранила себе пальцы. И вот она стоит в сторонке, у дощатого забора, под свесившимися кистями сирени. Сквозь темно-зеленые листья на ее лицо, шею, кровоточащие пальцы просачивается бледный свет раннего утра.

— Больно? — мягко, участливо спросил кто-то сзади нее.

Она подняла голову. На краю тротуара стоял хорошо одетый молодой человек. Прежде всего она заметила, что он не принадлежит к ее классу. На нем был тонкий серый костюм, на ногах блестели красивые коричневые ботинки. Он жалостливо смотрел на ее руку, но в глазах его промелькнул тот знакомый мужской взгляд, одновременно обжигающий ноги, стан, грудь, который она столько раз чувствовала на себе в мастерской, где клеили коробочки, и здесь, среди каменщиков.

— Больно? — повторил юноша. — Надо высосать!

Было заметно, что он впервые видит такие раны вблизи. Он немного испугался и инстинктивно зажмурил глаза, но через мгновение наклонился и коснулся ртом ее пальцев.

— Теперь и во мне есть ваша кровь,— сказал он, смущенно рассмеявшись, с удивлением взглянул на тонкое лицо с правильным коротким носом и розовыми губами, которые едва заметно дрожали, на худенькую девичью фигурку Илоны, на крепкие ноги и спросил:— Я найду вас здесь завтра?

Так это началось. Илона приходила на стройку из многонаселенного, уродливого дома, расположенного в районе Пешта. Частая безработица сделала ее отца мрачным, неуравновешенным. Он был подсобным рабочим и страстно, но тщетно хотел изучить какую-нибудь специальность. Неудача за неудачей к зрелому возрасту ожесточили, озлобили его против всех и вся. Мать, тощая, с жилистой шеей, с отечными ногами и большим животом, несла на себе тяжесть домашнего хозяйства и,

непрерывно жалуясь, неистово набрасывалась на своих детей. В такие минуты Илона, в испуге, с тяжелым сердцем, смотрела на изменившееся лицо матери, на котором, точно слабый отраженный свет, проступала былая красота. У родителей Илоны было много детей, но все, кроме нее, были слабыми и больными. Некоторые умирали, ввергая семью в бесчисленные заботы, так как смерть стоила значительно дороже, чем жизнь.

Лали означал для Илоны не только первое, горячее, восторженное чувство, но и страстно желанную красивую, чистую, беззаботную жизнь. Во время долгих прогулок она восхищалась не только его милым, молодым лицом, синими глазами и светлыми волосами, но и тонкостью его барской одежды. Сидя с ним на скамье Маргитсигета, она со смиренным обожанием глядела на него, словно не в состоянии понять, как могло достаться ей такое счастье — любовь этого юноши. От полной солнечного тепла и восторга любви Илоны Лали терял невозмутимую уверенность; тронутый ее самоотверженным чувством, он наклонялся и, нежно целуя Илону, страстно шептал:

— Милая! Родная!

С самой первой минуты Илона относилась к Лали, как к незаслуженно полученному сокровищу, которое в любой момент можно потерять. Непрерывный поток ее преданной любви ослабил и без того нетвердую волю Лали.

Его отец, третий сын сельского трубочиста, приехал в столицу попытать счастья. Дальний родственник взял его мальчиком на побегушках в небольшую, но доходную мелочную лавочку. Из смышленого, ловкого мальчугана вскоре вышел приказчик, а затем и зять, расчетливо копивший деньги, чтобы увеличить и улучшить оставленное ему дело. Лали вырос в холе и достатке. Он ходил в коммерческое училище, и его заботливые родители мечтали о прекрасном гастрономическом магазине, в котором их сын, сидя в застекленной конторе с телефоном, будет распоряжаться быстрыми, расторопными, немногословными служащими в белых передниках. Родительская спесь, рожденная беззаботным благополучием и удачливостью в добывании денег, воспитала юношу как наследного принца. Его бухгалтерские обязанности отнимали всего несколько часов. Он жил, словно богатый аристократ, используя время по своему усмотрению до тех пор, пока не женится на красивой девушке с хорошим достатком, желательно из среды коммерсантов, и не начнет заботиться о своем собственном предприятии.

Когда, пораженный красотой Илоны, Лали остановился возле нее на улице, он даже не думал о приключении. Но девушка, осененная ветками сирени, казалось, ждала, чтобы ее заметили. Восторженный и удивленный взгляд Илоны неотразимо привлекал к себе. Лали был милым юношей, который желал любви и хотел, чтобы его любили. С него соскочили все расчеты, эгоизм, постыдная мелочность. Он словно поднялся над самим собой, но неожиданная сила чувства испугала его. Лали подумал об отце, который столько заботился о возвышении семьи. С точки зрения отцовских трезвых взглядов, это приключение, выросшее в угрожающе большую любовь, было непростительным легкомыслием. Лали знал, что отец никогда не согласится на его брак с Илоной, будет препятствовать или расстроит его, не поможет ни единым филером. Не зная бедности, Лали все же ценил преимущества украшающего жизнь достатка. Деньги не очень интересовали его, потому что доставались без труда, но и отказаться от них он не мог.

Он близко узнал обескураживающую, парализующую бедность, встретившись с девушкой, обладавшей щедрой и богатой чувствами душой. Кроме мелких подарков, Илона ничего не принимала от него. Она не хотела, чтобы любимый человек жертвовал хоть чем-нибудь ради

нее, и, с другой стороны, вечно стремилась доказать, что любит его только ради него самого. Она не ходила с ним в дорогие рестораны и кондитерские, стесняясь своей простенькой одежды и не умея себя вести в таких местах. Все это трогало Лали, но в то же время утверждало в уверенности, что он действительно стоит много выше девушки. В боязни Илоны истратить лишний грош он инстинктивно угадывал угнетающую силу честной бедности.

С наступлением зимы они уже не могли гулять под открытым небом. Начались блуждания по дешевым кинотеатрам и ресторанчикам, где Лали всегда чувствовал себя чужим. Его пугали грязь, скверные запахи, недвусмысленная печать бедности. И все же он не мог порвать с Илоной. Бьющая через край доверчивая любовь девушки, ее чистота, бескорыстие, заранее примирившие ее с неизбежным разрывом, удерживали его с огромной силой. Два долгих года ничто не могло разбить этого очарования. Лали никогда не чувствовал себя таким хорошим и честным, как в эти годы. Он всегда был беззаботен, весел и каждый вечер, около шести часов, так торопился на ежедневное свидание, как будто в первый раз ждал Илону. Казалось, эта чистая, сильная человеческая любовь возвысила его душу. Перед ним открылся новый, неизвестный путь, который вел в какой-то другой, волнующий, прекрасный мир.

Прошло два года, и отец двадцатичетырехлетнего Лали, которого давно беспокоило поведение сына, вынудил его во всем признаться. Он был умным человеком и не угрожал, а с красноречием, соразмеренным с величиной опасности, трезвыми и неопровержимыми доводами показал Лали, что́ он потеряет из-за брака с Илоной и в какую глубокую, безутешную бедность впадет. Одновременно он сказал, что через несколько дней хочет познакомить его с девушкой, которую выбрал ему в жены. Лали вяло сопротивлялся, как человек, знающий, что неизбежно уступит. Он испугался того, что придется оставить красивую, удобную квартиру, позволил, чтоб его познакомили с будущей женой, и постепенно привык к мысли, что обстоятельства сильнее его.

Илона инстинктивно почувствовала перемену, совершающуюся в юноше. Страдания любимого человека, казалось, умножили ее любовь. Она нашла новые нежные слова, новую спокойную улыбку.

В это время она уже жила у господ и ухаживала за их десятилетним ребенком-калекой. Когда Лали, запинаясь, опустив глаза, сказал, что им нужно поговорить так, чтобы никто не помешал, Илона обо всем догадалась. Она не возражала и поздно вечером, когда господа и прислуга легли спать, тихонько открыла перед юношей дверь своей комнаты. До сих пор она этого никогда не делала.

Первый раз они остались наедине. Когда дверь за ними захлопнулась, в свете их молодости, красоты и любви глупым и ничтожным показалось то, что их разлучает. Обнявшись, они сели на край узкой кровати, чувствуя счастливую дрожь.

— Если бы ты знала, что я должен сказать тебе,— проговорил, наконец, Лали, вспомнив о строгом и требовательном отце.

Илона прижала руку к губам юноши.

— Знаю, — сказала она и, поглаживая его по волосам, трезво и убедительно перечислила причины, непреодолимо препятствующие их браку. Улыбаясь, она смотрела на юношу и была действительно счастлива: ей казался прекрасным этот первый час их свидания наедине, и она была рада, что может сказать все вместо юноши, для которого эти слова были бы так мучительны.

Однако Лали не стало легче. Чем умнее и убедительнее говорила вместо него Илона, чем нежнее гладила его волосы, тем стыднее ему было. Он понимал, что это единственный случай освободиться из

сетей мелкой и лживой жизни, стать таким, каким его видит Илона. Но страх победил туманные стремления. Он положил голову на грудь Илоны и шепнул:

— Надо расстаться, родная, надо расстаться... этого хотят.

Но, глянув в сияющие любовью, широко открытые глаза Илоны, он вскочил и с неожиданным порывом воскликнул:

— Я, я сам этого хочу! Я люблю тонкие, хорошо пахнущие рубашки, красивую квартиру и беззаботность!

— Не обвиняй себя,— строго проговорила Илона.— Ты любишь родителей. Они хотят этого!

— Да, да, — бормотал юноша и, так как самое трудное было позади, постепенно успокоился, подошел к Илоне и обнял ее. Его невольно охватила зависть, он почувствовал душевную силу девушки, ее счастливую готовность жертвовать собой — и в первый раз увидел себя ничтожным, жалким, предугадал тоску грядущих лет. На его глаза набежали слезы, он почувствовал глубокую жалость к самому себе.

— Ты плачешь? — тихо спросила Илона.

— Плачу,— хрипло ответил юноша. Он снова склонил голову на грудь Илоны и, лаская ее разгоревшееся лицо, дрожащим голосом шепнул ей на ухо: — Ты не хочешь... на прощание... стать моей?

Илона положила обе руки на голову юноши и ответила, прося улыбкой прощения за непреклонность:

— Нет... Я хочу вспоминать тебя так...

На другой день она проснулась разбитой и опять упорно ждала юношу, но он никогда больше не появлялся.

Два года спустя она вышла замуж за молчаливого, большеусого тридцатипятилетнего вдовца, слесаря Антала Мерли. Она была ему хорошей женой, работящей, терпеливой, послушной. Образ Лали был запрятан глубоко в душе, но воспоминание о былой любви жило, притаившееся и неистребимое, во всем существе Илоны. Много, много раз по ночам она внезапно просыпалась и, лежа рядом с мужем, всматривалась в свою загубленную жизнь. Виноватыми она искренне считала родителей Лали и не раз в такие ночи проклинала их.

Когда она стала матерью, в ней родилось твердое решение: воспитать Или так, что, кто бы ее ни полюбил, ни для кого она не оказалась бы ничтожной, никому бы не было за нее стыдно. Она хотела, чтобы ее дочь легко и уверенно достигла того, что она сама потеряла, едва успев найти.

Выйдя на улицу, Или, как всегда немного высокомерная, с нарочитой любезностью сказала Иштвану:

— Теперь можете везти меня куда хотите...

Ее забавляло, что она едет за город с токарем. В своем учреждении она встречала немало юношей из высокопоставленных семей, которые бы с радостью провели с ней воскресенье.

Но в переполненном трамвае, а затем в пригородном поезде она забыла об этом. Иштван повсюду добывал ей место, его сильная рука, упершаяся в стенку вагона, прочно отгораживала ее от чужих узлов и рюкзаков, от всей толкающейся, торопящейся толпы. Его забота неожиданно напомнила ей, как давно она не видела Иштвана. Хотя она о нем не думала, оказывается ей его недоставало. Словно солнце любви светило на нее только со стороны матери, а с другой стороны ее окутало сумрачными облаками.

— Не говорите, где мы находимся,— попросила она, спрыгивая со ступенек вагона пригородного поезда.— У меня такое чувство, словно мы попали на край света!

Летнее утро уже освободилось от рассветной дымки, которая, становясь все более прозрачной, нежно тянулась к солнцу. На зеленом лугу в слабом ветерке колыхались редкие травинки, оставшиеся от скошенного сена. По обочинам дороги медленно плелись, ритмично пережевывая траву, коровы. Иногда они останавливались и кротко мычали. Запах навоза и молока, смешанный с ароматом сырой земли, неясно напоминал о плодородии и изобилии. Вдали белели деревенские дома, прижавшиеся друг к другу. Над их тишиной и спокойствием неслись обрывки собачьего лая и плыли, извиваясь над трубами, знамена серого дыма.

Юноша остановился.

— Посмотрите! — сказал он идущей сзади Или и поднял руку.

С другой стороны, вдалеке, тянулась гряда гор, вырисовываясь мягкой волнистой линией на перламутровой белизне облаков. Над лесами, покрывающими горы, колыхался синий туман, словно сама жизнь манила к себе вечными обещаниями так знакомо и вместе с тем непостижимо.

— Красиво,— шепнула Или.

В пейзаж, который она могла охватить глазами, был вписан и юноша, что, стоя на насыпи, вытянутой рукой указывал вдаль. Или точно впервые увидела его красивую голову, с которой удивительно гармонировали и горный пейзаж, и полоса бесконечного горизонта.

Дорогу окаймляли тополя. Их листья слегка дрожали и отливали мягким серебристым светом. Их стволы стройно подымались в вышину, говоря о вечном одиночестве.

— Красиво! — еще раз прошептала Или и пристально поглядела вперед, на суживающееся вдали шоссе; под их ногами оно казалось белым полотном, но вскоре круто поднималось вверх.

— Теперь мы идем на край света! — задыхаясь от крутого подъема, произнес юноша.

Или взглянула вверх. Над горами стояла бесконечная тишина. Ослепительно белые стайки облаков плыли и искрились в плотной голубизне. Молодые люди поднимались рядом, глубоко вдыхая живительный горный воздух, и голубое сияние словно расступалось перед их молодостью и красотою.

Юноша шел рядом, не глядя на нее. Или вдруг непреодолимо захотелось взять его за руку и унестись с ним в сияющую синеву поднебесья. Но она не выдала себя, даже не шевельнула пальцами, и только острое чувство счастья пронзило и наполнило ее сердце.

Свернув с шоссе, они расположились на лужайке в тени деревьев. Из деревни доносился медлительный и печальный колокольный звон.

— Хоронят... — прошептала Или, улыбаясь, словно в этот день и смерть была прекрасной, легкой и естественной.

— Хоронят,— повторил Иштван. Он сорвал длинную травинку и долго смотрел в сторону деревни.— В детстве я много раз видел похороны. За гробом шли плачущие женщины в черных одеждах. Я глядел на них, прижавшись к забору, и...

— И тоже плакали?

— Нет! Я смотрел на процессию, пока она не скрывалась из глаз, и ненавидел, всем сердцем ненавидел покойника.

Или удивленно подняла голову.

— Почему?

Юноша все еще смотрел на прижавшиеся друг к другу дома, слушал замирающий в вышине колокольный звон. Он пожал плечами:

— Может быть, я завидовал ему. Он, как древний воин, с подарками шел в могилу, хотя живым они пригодились бы больше.

Или вопросительно посмотрела на него. Здесь, на лугу, вне четырех

стен кухни, где они до сих пор встречались, Иштван был совсем другим.

— Вы были таким завистливым мальчиком? — спросила она в замешательстве.

— Да, — ответил Иштван и улыбнулся, уловив в ее вопросе искреннее участие.

Но Или только уступила тому хорошему, новому чувству, которым была переполнена до краев. Лежа под деревьями и широко открытыми глазами глядя в небо, она тихо попросила:

— Говорите еще...

— Мне трудно говорить, — сказал юноша, невольно понижая голос, чтобы он звучал в унисон с голосом девушки, не заглушая шорохов и шелестов природы.— Я привык рассказывать своей работой обо всем, о чем только можно рассказать.

— О!— сказала Или смущенно, словно ее высокомерие и гордость исчезли.— Какую работу вы подразумеваете?

— Я — токарь, имею дело со сталью и железом,— ответил юноша и взглянул в сторону деревни, будто оттуда к нему летели воспоминания.— Долго, очень долго я делал то, чего совсем не хотел делать. Это такое чувство,— продолжал он задумчиво,— словно своими руками разрываешь себе душу.

— А теперь?— спросила Или.

— Теперь я восстанавливаю ее собственными силами,— ответил Иштван, радуясь, что так легко и просто может сказать Или то, о чем думает.— Каждый день в цехе доказывает, что я не лишний.

— Но почему именно в цехе?— невольно спросила Или.

— Почему?— юноша недоуменно, почти строго взглянул на нее.— Потому что там я хорошо себя чувствую. Я делаю полезные вещи, и они остаются. Это очень хорошее чувство. Такое же, как рисовать прекрасную картину или сочинять красивую музыку. И это дает человеку силы.

— Для чего?— спросила Или.

— Ну, например, для того,— ответил Иштван, и Или почувствовала в его голосе улыбку, — чтобы отказаться перейти в министерство, а продолжать работать на заводе и учиться.

— Вы плохо поступили,— перебила его Или, сама не понимая, почему она так разочарована.— Очень плохо поступили.

— Почему? Я многому научился,— возразил Иштван.— Когда человек вышел в путь, он должен идти только к настоящей цели. Конечно, это не легко, если жизнь так много всякого предлагает...

— Цель? Настоящая цель?— беспокойно повторила Или.— А какая у вас, собственно говоря, цель?

— Я хочу больше знать, — спокойно сказал юноша. — Еще один год — и я буду техником. Потом институт. В тридцать один год я буду инженером.

— Но ведь... это ужасно долго!..— сказала Или и поглядела на горизонт, будто старалась найти там окончание этих пяти лет.

Она лежала тихо и молча. В открытых глазах рябило, Или смотрела на сияющее небо до тех пор, пока тень деревьев, легко колеблясь, не задвигалась над ней и голова ее не закружилась. Странным, ставшим по-детски тоненьким голоском Или проговорила:

— Однажды и я захотела чего-то,— она с удивлением следила за собственными словами, как будто они слетали не с ее губ. — Я уж не знаю чего, — продолжала она. — Только так... мне хотелось доказать что-то... Иногда ночью я внезапно просыпалась и плакала, потому что чувствовала: что-то мне не удалось... Впрочем, это было очень давно...— прошептала она с грустью, словно ей стало больно, что так далеко ушло то время и она уже не понимает тогдашних слез.

Она оперлась рукой о землю, тряхнула легкими золотистыми волосами и, щурясь от света, посмотрела на Иштвана. Юноша сидел чуть поодаль, выпрямившись, со сплетенными руками. Когда Или взглянула в его сияющие карие глаза, ее вновь охватило счастливое головокружение. Оглянувшись вокруг, Или дрогнувшим голосом сказала:

— Мне кажется, что мы родились здесь, мы оба...

— И мне так чудится,— улыбаясь, ответил юноша, но его голос задрожал.

Или на коленях скользнула поближе к нему.

— Кто знает, может быть ваш отец был каким-нибудь герцогом?— прошептала она, касаясь зачесанных назад жестких каштановых волос юноши.

Невольно склонив голову под ее легкими пальцами, он ответил, стараясь скрыть внезапную дрожь голоса и тела:

— Может быть! Но человека формируют жизненные условия, и, если даже мой отец был герцогом, я все-таки рабочий.

Или снова откинулась на траву, подняв руку к небу, сияющему над ней в нетронутой чистоте. Казалось, протяни руку еще чуть-чуть—и можно коснуться этих плывущих облаков, с краев которых сыпались ослепительные, серебристые стрелы света. Она отбросила другую руку на траву, неясно желая, чтобы юноша прилег рядом, чтобы волосы их мягко и нежно смешались. В то же время ей было приятно, что он этого не делает, а тихо, спокойно сидит поодаль.

«Неужели она действительно дотронулась до моих волос?»— думал Иштван, пока красивая, выхоленная рука Или мелькала перед ним в воздухе. Было невероятно, что эти пальцы могли погладить его голову. Когда он глядел на лежащую девушку, на ее сильное красивое тело, на твердую и нежную линию груди, просвечивающую сквозь легкое платье, его охватывало умиление перед красотой Или. Он так любил ее душу, которую считал неизмеримо прекрасной, что ему и в голову не пришло притронуться к девушке, лежащей рядом. Он страстно жаждал вступить на путь, который приведет его к настоящему счастью. Без этого он не ощутил бы ничего, кроме горестного унижения.

Смеркалось, когда они отправились домой. По извилистой, дальней, проходящей мимо деревни дороге скользило все больше машин и мотоциклов.

Деревья покорно склоняли дрожащие ветки перед торопливо наступавшим темным звездным вечером. Ветер, шелестя листвой, пробегал над шоссе.

Даже в трамвае Или чудился шелест деревьев и сильный запах сена, которым одурманила ее земля. Или не думала ни о чем и не знала, почему была до краев переполнена счастьем. Когда она из вагона ступила на камни мостовой, у нее кружилась голова.

Они молча пошли к дому и так же молча простились, пожав друг другу руки в вечерней темноте.

Или своим ключом открыла дверь кухни и неслышно прошла в комнату. Ее приняла густая темнота, которую еще больше подчеркивало доносящееся из алькова легкое дыхание матери.

«Спит уже!»— разочарованно подумала Или, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить мать.

Опустив голову, неподвижно стоя у стула, на который хотела повесить платье, она прислушивалась к самой себе, к тому неведомому, что наполняло ее здесь, как там, на полях, запах и свет. Она чувствовала, как это поднимается в ней выше и выше, сжимает сердце и все же продолжает подыматься. Странное умиление охватило ее, подняло ее грудь в похожем на рыдание вздохе. Она шагнула к алькову, где стоял диван,

ее гнало нетерпеливое стремление сказать что-то матери — она сама не знала что, но должна была заговорить с ней.

— Мама, — спросила она едва слышно, движением губ.— Мамочка, вы спите?

Вместо ответа, две дрожащие руки обхватили ее за шею, как будто целый день, распростертые, ожидали ее.

— Мамочка,— прошептала Или в темноте, отрывисто, задыхаясь, борясь с подступившим рыданием.— Мамочка!

— Или, моя Иликэ, — шепнула мать и тоже заплакала. — Иликэ,— повторила она, желая выразить в одном слове всю материнскую любовь. — Иликэ, — твердила она смиренно и счастливо, дрожа от благодарности за то, что они снова нашли друг друга, а страх и опасность миновали.

Или вышла из стеклянных дверей большого учрежденческого здания. Во время работы она непрерывно думала о Карои: от вчерашней прогулки с Иштваном остались лишь обрывки воспоминаний, как от неясного сна.

Быстрый, взволнованный взгляд Или мгновенно заметил серебристое авто. Она торжествующе выпрямилась: сердце ее заколотилось оттого, что желание сбылось, от сознания своей сияющей красоты. С немного наигранной самоуверенностью, которая выдавала, что она еще не привыкла к таким удовольствиям, Или уселась на переднее сиденье автомобиля.

Дверца захлопнулась, машина тронулась. От тепла, запаха бензина, аромата сигарет и одеколона, которым была пропитана одежда Карои, воздух внутри машины был спертым, тяжелым. Но Или жадно вдыхала его, уютно откинувшись на спинку сиденья, улыбаясь и полузакрыв глаза, всем своим существом ожидая чего-то. Она напряженно смотрела на дорогу, следя, когда они выедут на тихие, окаймленные деревьями улицы, и чувствуя на себе взгляды Карои. Наконец машина замедлила ход и остановилась под большим деревом, Карои обхватил рукой плечи Или и долго, будто гипнотизируя, глядел на нее туманным взглядом. Наконец он тихо рассмеялся, его редкие зубы блеснули.

— Странно, я совсем не тосковал по тебе, так хорошо я тебя знаю.

Девушка вздрогнула, словно он неожиданно больно ударил ее.

— Да, да, это так, гордись этим,— шепнул Карои, глядя на белую, послушно склоненную шею Или,— я очень хорошо знаю тебя. Как прекрасно думать о тебе в темноте, вспоминать твои, похожие на античные, бедра, грудь, ноги,— сказал он, и рука его быстрым, легким и жадным движением пробежала по телу девушки. — Понимаешь ты это, моя королева?

Или покорно кивнула. Ей казалось, что кожа, там, где ее коснулись сквозь платье пальцы Карои, начала гореть.

— Я любил многих женщин,— продолжал он,— но лишь для того, чтобы подойти к тебе. Не лучше ли любить тебя, не касаясь, а только любуясь тобой?

Он поднял густые брови, как будто обрадовался этой мысли.

— Не понимаю!..— терзаясь, проговорила Или, и ее колени начали дрожать.

Глаза мужчины сверкнули, и он притянул Или к себе.

— Но ведь ты девственна и хочешь принести себя в жертву, — шепнул он. — И мне, мне! Это прекрасно!

Он склонился к Или и прижался губами к ее рту таким долгим поцелуем, что у обоих захватило дыхание.

— Видишь, — сказал Карои, обретя дар речи, и в его голосе было что-то бесстрастное, — видишь, что ты делаешь со мной!

Он вынул сигарету, и, пока закуривал, рука его дрожала сильнее обычного.

— Знаешь, я уже был женат, — легко сказал он, предотвращая расспросы. Но Или и не спросила бы. Противоречивые и неясные разговоры Карои увеличивали ее замешательство, а теперь, едва она узнала, что у него была жена, ее начали терзать уколы ревности. Она то вспыхивала, то бледнела.

Взглянув на исказившееся лицо девушки, Карои почувствовал, что с ней происходит, и поцеловал ей руку.

— Как мне жаль тебя сейчас, маленькая королева! Первый раз тебе нанесли рану, — сказал он, удовлетворенный собственными речами. — Ты чудесный музыкальный инструмент и заслуживаешь, чтобы на тебе играл я. Я — артист, и, поверь, ты, прекрасная, изящная скрипка, еще богаче зазвучишь под моими пальцами.

Он засмеялся, окинув девушку жадным взором.

«Мне следовало бы спросить, какова его профессия»,— мелькнула у Или робкая мысль. И, повернув к Карои красивое, пылающее лицо, она с неловкой хитростью спросила:

— Вы правда... артист?

Карои взглянул на небо, на бледные, мерцающие звезды, и его большой, чувственный рот дрогнул:

— Я человек! Могу ли я быть больше?

— Да, да, — несмело прошептала Или, вопрос показался ей глупым, неуклюжим, будничным. — Я просто так...

— Ты хочешь знать, кто я и что я, — медленно сказал Карои. — Ну-с, — продолжал он со смешком, — мой отец был путевым сторожем. Ради меня строится новый мир, и я рад этому, я уважаю усилия, с помощью которых меня хотят избавить от страданий. Беда лишь в том, что я привязан к своим страданиям. Но это не только мой мир, маленькая королева, — обратился он к Или, — он и твой, но ты не знаешь этого, что возвышает твою прекрасную невинность. Жаль, что в прошлом я окончил университет, а то бы я теперь мог заняться физическим трудом. Я не иронизирую, — он задумчиво глядел перед собой, — я понимаю поэзию мускулов. Но все же лучше быть свободным. Я берусь за случайные работы. Теперь ты знаешь, — он засмеялся.

— Да, — шепнула Или, — я попробую понять, — и добавила, смиренно глядя на него: — Всем, всем сердцем!

— Маленькая, — прошептал Карои, восторженно целуя руки, плечи, губы Или, — трудно было бы тебя отпустить. Я ни с кем не испытывал того, что с тобой. Жениться на тебе?

Неясное ожидание и страстное, душевное напряжение Или внезапно разрядились, когда она услышала это. Ослабев от неожиданно свалившегося на нее счастья, почти вне себя, дрожащими губами она пролепетала:

— Люблю...

Машина медленно тронулась и с возрастающей скоростью понеслась к центру.

Когда полчаса спустя Или вошла в квартиру и Илона увидела возбужденное лицо девушки, ее необычно сверкающие глаза, она поняла, что ее надеждам, родившимся вчера, не суждено сбыться.

Почти ежедневно Или приезжала домой на серебристой машине. Каждый раз она выходила из авто, словно завороженная, страстно желая, чтобы скорее наступил следующий вечер. Она не знала, что с ней

происходит, и не задумывалась над этим. Ее ум и сердце были полны ревности (она мрачно раздумывала, какой была та женщина, которую в прошлом любил Карои) и беспокойства (почему Карои не торопит ее с браком, осуществления которого она так напряженно ждала, хотя и стыдилась этого).

Но по вечерам, в медленно движущейся машине, на нее сыпались лишь слова или реже, под деревьями Хювёшвёльда и Зуглигета, неожиданные обжигающие поцелуи, после которых Карои становился задумчив и, затягиваясь сигаретой, прищурив глаза, глядел в пустоту, словно что-то измерял и взвешивал в себе.

Или терзалась, и чтобы разбить стену, каждый день вновь и вновь выраставшую между ними, находила все более горячие, рвущиеся из глубины души слова, и с трепетной и преданной надеждой глядела на Карои.

Однажды вечером машина отправилась не по обычной дороге к дому, а, переехав мост на Буду, повернула на улицу Резеды и остановилась у маленькой виллы.

— Зайдешь ко мне? — спросил Карои. Он бросил сигарету, у него дрожали не только руки, но и голос.

Или широко открытыми глазами смотрела на него. Ее охватил расслабляющий испуг — она боялась, что не посмеет сказать «нет». Хорошо, если бы машина, как чуткое, милосердное сказочное животное, схватила ее и повела, и не пришлось бы мучительно копаться в себе, допытываясь, что она скажет в следующее мгновение.

Карои наклонился к ней.

— Твой поклонник просит у тебя милости,— шепнул он.— В лунном свете, как девственная королева, ты поднимешься на пять ступеней и такой же чистой, как луна, вернешься домой в свою кроватку.

Он тихо рассмеялся.

— Это прекрасно сказано,— похвалил он себя и протянул руку неподвижной, глядящей на него с мольбой Или, чтобы помочь ей выйти из автомобиля. Или с трудом поднялась. Ей казалось невозможным ответить грубым отказом на эти странные, загадочно-глубокомысленные речи. «Нет» прозвучало бы так, словно она не понимает подлинной красоты.

Она подала руку мужчине, вышла из машины и, неловко спотыкаясь, шепнула, моля о поддержке:

— Я... Для тебя я и это сделаю!

Карои высоко поднял руку Или и, держа ее одними пальцами, как держали рыцари ручки своих недоступных дам, легкими шагами повел Или к дому.

— Не бойся,— склонившись к ней, шептал он с непостижимым хладнокровием. — Ничего плохого с тобой не случится, ты уйдешь, как и пришла, я хочу лишь посмотреть на тебя...

Два часа спустя, еще более взволнованная и растревоженная, Или вышла из машины у своего дома и простилась с Карои. Протянув руку, он ждал руки Или, чтобы поцеловать ее.

— Я не обманулся в тебе, ты еще прекраснее, чем я думал, моя королева,— сказал он и, легко отставив ногу назад, почтительно поклонился.— Одарив меня своей красотой, ты вернула меня самому себе,— добавил он с тихим, удовлетворенным смехом. Звук этого смеха Или унесла с собой, так и не поняв, хвалит он ее или унижает. Надо было думать, как она взглянет на мать, которая упорно ждала ее в кухне, как она сможет скрыть от ее встревоженных глаз свое волнение, возбуждение, любовь, перевернувшую все ее существо.

Илона действительно бодрствовала, ожидая дочь. Когда она отказала Карои от дома, она думала, что отдалит от него и свою дочь, на-

столько она чувствовала себя единым с Или существом. Но через несколько дней она поняла, что только облегчила ему дело и умножила собственные страдания.

Вечерами Или задерживалась, и Илона каждым своим нервом чувствовала, когда около дома останавливалась машина. Мечтая о будущем, она часто представляла себе Или за блестящими стеклами авто. Но теперь это роскошное средство передвижения, означавшее достаток и привилегированное положение, стало символом ее мучений. Она прекрасно понимала: Карои не случайный поклонник, который появился и исчезнет, а человек, за туманными речами которого кроются непонятные и поэтому страшные намерения.

Через несколько недель знакомства с Карои Или сильно изменилась. За ее молчанием и опущенными глазами чувствовалось жестокое упрямство. Ее приглушенное лихорадочное волнение возбуждало в Илоне неодолимый стыд, словно страсти, кипевшие в Или, были низменны и недостойны ее дочери.

— Иликэ, — смиренно начинала мать, не в силах побороть снедавший ее душу страх. Но едва она успевала, заикаясь, произнести первые умоляющие слова, Или выходила из себя и с искаженным и одновременно выражающим детский испуг лицом принималась кричать:

— Оставьте меня в покое! Оставьте!

Илона не понимала этого гнева, в котором заключалось не только нападение, но защита и стремление что-то прикрыть.

В тот вечер, когда Или вернулась домой от Карои, у Илоны было особенно тяжело на сердце. Молча, но с тревожным, пытливым, вопрошающим взглядом она поставила перед дочерью масло, холодный кофе, маленькие сдобные хлебцы и, усевшись на стул, смотрела на мечтательно устремленные вдаль глаза машинально жующей Или, на ее рассеянное, углубленное в себя лицо. Разговор начался медленно. Илона рассказала, что жена преподавателя университета, к которой она ходит уже десять лет, любезно интересовалась Или. Потом она стала вспоминать, какие красивые вещи гладила у оперной певицы и какая это хорошая, осмотрительная женщина.

Или слушала принужденно, потом тоже начала рассказывать что-то про свое учреждение, но смешалась и замолчала.

Мать, подавив вздох, сняла с огня теплую воду и наполнила ею таз, чтобы Или, как обычно, помылась перед сном. Затем она подошла к выключателю, чтобы зажечь свет.

— Нет, нет! Пожалуйста, мама, не надо...— быстро, почти испуганно произнесла Или.

Илона снова уселась на стул. Сквозь синий густой сумрак она смотрела на еле различимую белизну тела Или, слушала всплески воды, которые прежде наполняли кухню теплым уютом. Теперь в этих звуках чувствовалось что-то чужое, будто темнота отняла у них привычную радость.

Наконец Или была готова; она надела легкое домашнее платье, зажгла свет и села, поставив ноги в таз. Сложив на коленях руки, она задумчиво глядела перед собой.

«Если б я знала, что у нее на уме?» — испытующе глядя на дочь, тревожно спрашивала себя Илона.

Или встрепенулась, поискала глазами полотенце.

Мать взяла в руки небрежно брошенное пушистое мохнатое полотенце, придвинула к тазу низкую табуретку и привычным материнским движением положила ноги Или на свои колени. Она заботливо вытерла сперва левую, потом правую и, как только увидела маленькие пальцы с розовыми ногтями и ступни с красивым подъемом, тотчас почувствовала рядом маленькую Или, которая так нуждалась в ней, которую она всегда

защищала от всего плохого, чье детское, чистое красивое тело было плотью от ее плоти. Или перед умыванием заколола волосы на макушке так, как недавно делала Илона, когда собственными руками мыла и с трепетной любовью вытирала худую спину, тоненькую шейку и руки дочери. А теперь ее, единственную и дорогую, которую она миллионы раз целовала и ласкала, которую со скрытой болью отдала бы милому, здоровому, замечательному юноше, хочет похитить у нее отвратительный, нечистый человек неопределенного возраста, с неясным прошлым.

Внезапно она склонила голову на круглые, белые колени Или и, захлебываясь слезами, зашептала:

— Иликэ, не делай этого... Умоляю тебя, не губи свою жизнь...

Или вскочила, вырвалась из рук матери и с горящими от гнева глазами закричала:

— Вы, вы, мама, хотите меня погубить! Вы не понимаете, что во мне происходит, а только терзаете, терзаете! Не разрешаете, чтобы моя молодость... Что вы знаете о моих чувствах!

Она задыхалась, лицо ее разгорелось, в глазах блестели злые, упрямые, гневные слезы. Она побежала в комнату, бросилась на постель и даже не шевельнулась, когда Илона на цыпочках подошла к ней, склонилась и ладонью легко, осторожно коснулась ее плеча.

Илона погасила свет и в темноте бесшумно разделась. Она неподвижно лежала, тупо, без мыслей глядя на матовый четырехугольник окна, словно в доме был тяжелобольной и она утомилась, день и ночь непрерывно бодрствуя и ухаживая за ним. Только иногда она сжимала руки и пугалась, касаясь собственных холодных пальцев.

Она не знала, долго ли пролежала без сна. Незаметно она провалилась в черную яму забытья. В глубине этой ямы была глухая тишина. Илона ощупью двигалась вперед. Ей казалось, что она идет по подземной пещере. Страх потому так леденит ее душу, что она уже бывала здесь когда-то и пережила нечто ужасное. Она не помнит, что именно, но ужас и теперь гнездится в ее сердце. И она идет, идет вперед. Вдруг начинает проясняться; она пробует повернуть голову, потому что не хочет видеть то, на что падает матовый, слабый свет. Но шея ее одеревенела, она должна смотреть вперед и глядеть на этот ужас. Еще несколько шагов— и она видит накинутое на что-то серо-белое покрывало. Содрогаясь, она замечает под ним расплывчатые очертания безжизненного тела. Но не оттого у нее становятся дыбом волосы и не оттого она чувствует на лбу холодный пот, что фигура с подтянутыми коленями так неподвижна. Ее пугает то, что фигура эта гораздо больше человеческой, что в этих гигантских формах, вырисовывающихся под собранным в складки, помятым покрывалом, есть что-то ужасное, невыразимо пугающее... Она знает, что должна пройти позади этой фигуры, большой череп которой, обтянутый покрывалом, резко выделяется во мраке. Дрожа, она двигается вперед, другой дороги нет, надо идти по этому пути. Когда Илона поравнялась с ожидающей ее головой, руки шевельнулись под покрывалом и холодными, костлявыми пальцами ухватили ее запястья. Она хотела брезгливо выдернуть свои руки, но не хватило сил; хотела закричать — голос пропал. Как утопающий ловит воздух, так она схватилась за мысль, что она спит и может спастись — для этого достаточно проснуться!

Когда Илона очнулась на рассвете вся в поту, с бьющимся сердцем, она решила, что будет отстаивать дочь, будет бороться с человеком, который хочет похитить у нее Или.

В телефонной книге она нашла имя Карои. Задыхающимся голосом попросила у него свидания и в полдень, с трудом найдя предлог, бросила работу.

Полчаса она кружила вокруг маленькой виллы на улице Резеды, затем, с трудом решившись, поднялась на пять каменных ступенек и нажала звонок.

Дверь открыл Карои. Он был в домашнем шелковом костюме. Из выреза куртки виднелись тонкая по сравнению с головой шея и мохнатая грудь. Рукой, которая привела Илону в замешательство тем, что походила на лапу зверя, он сделал легкий гостеприимный жест, указывая из маленького холла на дверь в комнату, и пропустил вперед нерешительно остановившуюся женщину.

— Садитесь,— он указал на низкое кресло и уставился на гладкие волосы женщины, заколотые в маленький седеющий пучок, на ее тонкое, страдальческое лицо, подрагивающие ресницы, сложенные на коленях натруженные руки.

Илона, сгорбившись, сидела на самом кончике мягкого кресла, будто ее согнул налетевший запах одеколона и сигарет, неуловимый аромат, исходящий от чужого человека. В занавешенной комнате был полумрак, и все же с первого мгновения она заметила широкую, покрытую подушками тахту, шкаф, низкий столик, заваленный мелкими безделушками, граненое зеркало — и испугалась: женские приметы этого убранства вызвали у Илоны неприязнь. В мужчине, сидевшем напротив нее, небрежно заложив нога за ногу, в его быстрых, мелких нервных движениях, в пристально устремленном взгляде туманных глаз были какие-то неуловимо женственные черты.

— Прошу вас, говорите. Впрочем, я отлично знаю, что вы хотите сказать,— нарушил, наконец, тишину Карои, и его большой рот растянулся в улыбку.— Признаюсь, мне нравится, что вы пришли сюда,— добавил он, блеснув глазами.— Вы считаете меня врагом, а я, быть может, единственный человек, который знает, что происходит в вашей душе. Но говорите, — попросил он и, полузакрыв глаза, слегка дрожащей рукой поднес к губам сигарету.

Илона заметила сожалеющий, понимающий и все же насмешливый взгляд мужчины, и ее охватило безграничное отчаяние. Она смутно чувствовала, что с ним надо говорить словами, соответствующими его странным речам, но у нее только беспомощно, просительно и отчаянно вырвалось:

— Оставьте мою дочь, она не для вас!

— Вы не сложили оружия? — спросил Карои с доброжелательной предупредительностью. Он не столько следил за словами матери, сколько за тем, разыгрывается ли эта сцена по его предположениям. Илона сцепила пальцы, наклонилась и умоляюще повторила:

— Отпустите мою дочь, она не для вас...

— Прекрасно, просто прекрасно! — проговорил после небольшой паузы Карои, и в его глазах снова блеснул интерес.— Ваше лицо в этом полумраке — дивная находка для портрета... вечная мать, в стиле раннего Ренессанса... Видите, я действительно понимаю вас! — живо вскричал он, любуясь не столько умоляющим лицом и взглядом матери, сколько собственной наблюдательностью и художественным чутьем.— Но у вас нет силы воображения, и вы ведете себя неумно.

— Этого я не понимаю,— измученно прошептала Илона, не пытаясь даже вникнуть в его слова.— Я знаю только, что воспитала Или для другой жизни и не для такого, как вы, человека. Вы стары для нее, вы могли бы быть ее отцом, и вы совсем не такой, как я или она. Вы прошли через многое в жизни, вы не подходите для молодой девушки, вы должны это понять! — сказала она быстро, почти скороговоркой и опять умоляюще посмотрела на Карои.

Он упер руку в бок и задумчиво уставился на узкую щель между задернутыми занавесками.

— Я говорил, что вы неумно ведете себя,— сказал он, и Илона снова почувствовала в его голосе презрительную благожелательность.— Вы не знаете своей королевы-дочери, в которой дремлют глубокие страсти, вы усиливаете ее упрямство и возбуждаете меня. Да, да, — повернулся он к женщине, тихо посмеиваясь над сокровенным смыслом своих речей,— вы меня возбуждаете, воспламеняете. Если б вы знали, как я вам благодарен за это!

Внезапно поняв его смешок, Илона покраснела, будто услышала откровенно-бесстыдные слова. Она хотела заговорить, но Карои опередил.

— Наша встреча с Или прекрасна,— сказал он так, точно беседовал сам с собой, но Илона почувствовала намеренную колкость в отместку за ее резкий намек на его возраст.— Она нашла во мне именно тот опыт и ту компетентность, которую ищут самые невинные женщины, а я в ней...

Он на мгновение умолк, рука, державшая сигарету, несколько раз мягко шевельнулась, и он закончил, глядя на мать с насмешливым торжеством:

— А я в ней... хочу, наконец, чтоб вы это поняли... я воскресил с нею свою молодость!

Илона поднялась. Головокружение одолевало ее. Она чувствовала, что проиграла сражение и что этот непонятный, чужой человек прав: ей действительно следовало вести себя по-иному. Все же она не смогла овладеть собой и, дрожа от отвращения и беспомощной ненависти, выкрикнула ему в лицо:

— Нет, я все-таки не уступлю...

Она не знала, как попала домой. В состоянии прострации села в трамвай, привычно сошла там, где было нужно, и, не замечая идущих навстречу, здоровающихся с ней соседей, вошла в квартиру. Часы работы окончились, но Или еще не было дома. Сидя в кухне на стуле, Илона, терзаясь, думала, что сейчас они вместе и речи Карои, словно яд, действуют на душу ее бедной, маленькой девочки, ломая, разрушая, топча все, что она, мать, строила многие годы.

Время — хотя каждое мгновение тянулось в десять раз дольше от тяжести ожидания и страха — все же шло. Настал вечер. Она хотела испечь пирожные, которые Или очень любила, но у нее не хватало сил взбить яйца. Она сидела, сложа руки на коленях, и непрерывно повторяла одно слово, выражавшее чувство, заполнившее все мельчайшие клеточки ее существа:

— Нет! Нет! Нет!

Наконец снаружи послышались знакомые шаги, и Илона выпрямилась. Она для того жила, для того работала, для того изо дня в день совершала материнские подвиги, добывая для Или все, что только могло ей понадобиться, чтобы ожидать вечером эти шаги, с бьющимся сердцем узнавать их звук среди великого множества звуков, вновь и вновь переживать счастье: ее дочь возвращается к ней, домой!

Когда открылась дверь, когда Или, не глядя на нее, пробормотала приветствие и с пылающим лицом начала умываться, Илона тотчас подумала: Карои ее не пощадил. Или отлично знала, куда ходила мать после полудня, как резко и неловко высказала то, что ей диктовало материнское сердце. Пожалуй, он даже «пожалел» Илону на свой манер — понимающе, иронически, позоряще. Может быть, Или, подражая мужчине, улыбнулась так же, как и он.

Она смотрела на дочь, бесцельно ходившую взад-вперед по комнате. Или словно ждала слова, которое даст выход накопившемуся напряжению и гневу.

— Ужин еще не готов, — тихо сказала, наконец, Илона, просящим, тревожным взглядом посмотрев в пылающее лицо дочери.

Или вскинула голову. Тонкие ноздри дрожали, в глазах блеснули гневные слезы.

— Кого интересует ужин? — закричала она.— Лучше скажите, что вы сделали сегодня днем? Что вы осмелились сделать?

— Что я сделала? — голос Илоны дрожал от горячей, преданной любви.— Я хотела тебя спасти от этого человека, от этого...

Или вышла из себя. Лицо ее горело нескрываемой ненавистью.

— Вы хотели, да, хотели, чтобы я стала несчастной, вы хотели, чтобы мы порвали друг с другом! Он прав, вы боитесь потому, что вы эгоистка, вы хотите удержать меня для себя. Я всегда слышала от вас, что мне нужен только исключительный человек, а теперь, когда этот исключительный человек появился, теперь вы встали между нами и хотите оторвать меня от него?!

Бледная как мел Илона откинулась назад и широко раскрытыми глазами уставилась на дочь, возбуждение которой граничило с одержимостью. Хотя мать чувствовала, что все напрасно, что слова ее не дойдут до сердца и рассудка дочери, она упрямо заговорила все о том же. Тусклый, бесцветный голос ей самой показался чужим. Казалось, что говорит какая-то незнакомая женщина, а она, Илона, слушая этот механический голос, ломает руки.

— Образумься, Иликэ, моя единственная! Он стар для тебя, этот человек, его истрепала жизнь. Ты будешь несчастна с ним, поверь мне, несчастна! Только поэтому я хочу удержать тебя, а вовсе не для себя...

Или зло, высокомерно взглянула на нее:

— Откуда вы можете знать, мама, о том, что мне нужно?

Или ударила себя в грудь, и голос ее прервался. Промелькнула мысль, что надо скрыть от матери зажженный в ней неизвестный прежде огонь. Нельзя, нельзя, чтобы об этом узнала мать!

Второй раз услышав от Или презрительный и надменный упрек, Илона, наконец, догадалась о других, невысказанных словах.

— Иликэ,— вдруг решилась она, вспоминая то чистое, неистребимое чувство, что связывалось у нее с представлением о Лали,— Иликэ, как знать, может, я гораздо больше знаю и разбираюсь в том, что ты чувствуешь? Может, я не так уж непонятлива? Иликэ, потому-то я и прошу тебя... очень прошу...

Она умоляюще взглянула на дочь. Но Или злобно замотала головой, чтобы не видеть и не слышать мать. Отрывисто, упрямо, с торжеством и все же с отчаянием, она проговорила:

— Нет, от него вы меня теперь не оторвете... Я теперь уже... и не могу сделать по-другому...

Илона ухватилась за край стула. Когда она боялась за Или, она думала лишь о скользких речах этого человека, о машине, где они сидели слишком близко. Ведь Или была ее ребенком, ее маленькой девочкой, чье сильное, прекрасное тело в ее глазах все еще сохраняло неловкие, нежные линии детства, трогательную отроческую прелесть развивающихся форм. Немыслимо было представить себе, что кто-то грубо дотронулся до нее, а Или это позволила.

Теперь она смотрела на дочь, впившуюся в нее возбужденным, враждебным взглядом, как на чужую женщину, на коже которой горит невидимая печать бесчестья.

— Так... так мы не можем жить вместе,— заикаясь, начала она; грудь ее сдавливали прерывистые рыдания.— Так ты... мне не нужна. Либо я, либо он... Выбирай!

Как это сорвалось у нее с губ, Илона не знала, но слов своих не взя-

ла обратно. Она ждала чуда. Она ждала, что Или снова станет такой, как раньше, что с лица ее сбежит этот страшный жар, эта постыдная одержимость, что она, наконец, кинется к матери и, уткнувшись в плечо, шепнет: «Мамочка, как вы можете думать, что я расстанусь с вами? Ведь это немыслимо, мамочка...»

Вместо этого Или кинулась к двери. Мать инстинктивно загородила дорогу.

— Ты останешься здесь! — крикнула она, не то приказывая, не то умоляя.

Или грубо оттолкнула ее.

— Пустите! Вы не смеете меня задерживать! — она рывком распахнула дверь и выбежала.

«Звонить пошла!» — подумала Илона, и тотчас ее пронзила острая жалость, рожденная смутной догадкой, что Или далеко еще не уверена, как решит Карои, но не хочет признаваться матери в своих сомнениях.

Несколько минут прошло в тайной, почти нестерпимой надежде, что она снова сможет прижать к себе дочь, утешить ее, и слезы и нежность обеих сольются в один счастливый поток, что они снова станут матерью и дочерью, а не двумя женщинами, которые враждебно и непримиримо меряют друг друга взглядами...

Шаги Или простучали снаружи быстрее обычного, мать не узнала их. Лицо Или выражало радость, облегчение и торжество. Она пробежала в комнату, и тотчас оттуда донеслись быстрые, легкие, почти танцующие шаги, сопровождаемые шорохом вещей и скрипом дверцы шкафа.

«Укладывается!»

Илона не испытывала ничего, кроме тупого оцепенения; ей казалось, что все происходящее случилось уже давным-давно, сейчас она лишь вспоминает об этом.

Наконец Или появилась. В одной руке она держала чемодан, в другой — завернутый в бумагу и плохо увязанный большой пакет.

«Не перевязала крест-накрест», — обеспокоенно подумала Илона, глядя на распадающийся сверток, и сама удивилась, что может думать о таких пустяках.

Встав у двери, которую она отворила локтем, Или повернулась к матери.

— Вы так хотели, мама,— сказала она упрямо и мстительно.— Я выбрала! У меня есть право на личную жизнь. Завтра мы регистрируемся.

Казалось, кухня завертелась вокруг Илоны. В этот миг она впервые испытала ненависть, холодную ненависть к дочери, пробудившуюся в ее сердце с такой же силой, с какой минуту назад в нем кипели любовь и жалость.

Стеклянными, неподвижными глазами она смотрела на стоящую в дверях незнакомую девушку, от которой исходило что-то чужое и нечистое, и медленно, раздельно произнесла:

— Убирайся! Чтоб я тебя больше не видела... убирайся!

Или молча повернулась и хлопнула дверью. Во дворе она столкнулась с Иштваном, но, не останавливаясь, бросилась дальше, через широкий проем ворот, на улицу, где уже стояла серебристая машина.

Иштван давно не был у Илоны. Он не хотел возмущать родившегося в нем спокойствия, которое странным образом было соткано из счастья любви и несчастья полувынужденного, полудобровольного отречения.

Он избегал встреч с Или и ее поклонником. Однажды, вопреки желанию, он увидел их перед домом, в нескольких шагах от ворот, тесно прижавшихся друг к другу. Невольно он бросил на них мимолетный взгляд,

сам стыдясь своей слабости, но этого было достаточно, чтобы ощутить сверлящую боль и ненависть, а затем стыд за эти низменные чувства. Запоминающаяся внешность, высокий лоб, элегантность Карои — все как будто доказывало, что Или сделала хороший выбор.

«Конечно, он больше подходит ей, чем я»,— думал Иштван, честно преувеличивая достоинства другого. Он вспоминал девушку, как она стояла, уронив руки, перед высоким человеком, подняв лицо, словно покорно умоляя о добром слове и улыбке. Раньше он никогда не видел Или такой. Это тоже доказывало исключительность Карои. Иштван принял все к сведению, подавив, заставив замолчать собственную страсть.

Только один робкий и сдавленный голос говорил против. Этот голос напоминал об июльском воскресенье, о незабываемых переживаниях, принадлежавших только им обоим. Тогда в душе Иштвана, вопреки его воле, возникла надежда.

Всей душой и здоровым телом чувствовал он тогда, как протягиваются к нему от девушки вопрошающие и зовущие токи, и находил ее не менее чистой, не менее прекрасной, чем всегда. Он даже испытывал странное умиление оттого, что Или — это прекрасное и ни на кого не похожее создание — такое же земное существо, как все другие женщины, что на ее маленьких и стройных ногах тоже могут появляться ссадины и царапины, а на подбородке от хлеба с маслом остаются пятнышки жира. Хотя он видел выражение трепетного счастья в лице, в глазах, во всем существе Или, Иштван много раз потом думал, что Или просто хорошо чувствовала себя на душистой траве в жаркий летний день и, быть может, даже не обратила внимания на его присутствие. Впрочем, несмотря на все разумные объяснения, осталась у Иштвана какая-то тайна, которую, как ему казалось, они оба — Или и он — молчаливо хранят.

Правда, сияние этой тайны заметно потускнело, когда он встретился во дворе с встревоженной девушкой. Потягивающий сигарету мужчина, что сидел за рулем знакомой серебристой машины, бегущая навстречу Или с застывшими в глазах гневными слезами, с выражением упрямой отваги и торжествующей радости на возбужденном лице — всё ему объяснили. Чемодан и сверток подтвердили, что Или уходит из дому внезапно и окончательно, наперекор материнской воле, в новую, выбранную ею самой жизнь.

Когда умолк удаляющийся стук каблучков, захлопнулась дверца машины и звук мотора растаял в уличном шуме, Иштван понял: до сих пор, не признаваясь в этом даже самому себе, он всей душой надеялся на счастье. Теперь эта надежда и тайна, которую он считал общей с девушкой, рассеялись, разбились. Теперь начинается борьба за уничтожение живущего в нем чувства, которое надо превратить в воспоминание.

У него хватит сил для этого. И разум его, и сердце отвергали бесплодную тоску и унылые размышления. Сейчас все окончательно выяснилось. Это принесло печальное успокоение. Но и под спокойствием оставалось неразвеянное горе вместе с томлением неудовлетворенной жажды.

Два дня спустя Иштван вспомнил, что ни разу не встретил утром отправляющуюся на работу Илону, двери и окна которой теперь даже днем были задернуты занавеской.

Побег Или возбудил в доме таинственное перешептывание о ее браке, хотя никто не перемолвился с Илоной ни одним словом. Многие видели письмоносца и всунутую в дверь поздравительную телеграмму, в которой Или уведомляла мать о великом событии. Сопровождаемая различными комментариями, летела из квартиры в квартиру весть, что Илона с непонятным упрямством противилась этому браку, что она не пустила пришедших поздравить ее и лишь через дверь сказала, что плохо себя чувствует и просит не беспокоить.

Вечером, убедившись, что со времени отъезда Или Илона не выходила из квартиры, Иштван постучал в дверь, которая неслышно распахнулась перед ним.

Его поразил полумрак и спертый, как в сыром подвале, воздух. Невольно он потянулся к выключателю. В помещении разлился желтый свет. Еще не успев оглядеться, Иштван почувствовал, что здесь что-то изменилось; в обычно чистой и уютной кухне появилась какая-то безотрадность; веселый свет, который отбрасывали медная мутовка, ступка и множество развешанных на стенах крышек и глиняных тарелок, как-то померк. Тряпки для пыли, стульев, висящего всегда над тазом пушистого мохнатого полотенца и еще многих мелких предметов не было на их обычных местах. Все вещи валялись брошенными или были сдвинуты с того крохотного места, где они жили своей жизнью. Эта перемена была не минутной, не случайной, а представляла застывшую, неподвижную картину какого-то разорения.

Илона сидела у стола, заставленного немытой посудой: на чашках и тарелках налипли остатки еды. Иштвана поразила худоба женщины и пустой взгляд синих, обведенных черными тенями глаз, в которых отражался болезненный упрек.

С порога он заглянул в комнату, словно желая окончательно убедиться в том, что ему известно, но во что он все же в глубине души не верил. В комнате тоже был нарушен привычный порядок. Открытая дверца шкафа, разбросанные, раскиданные повсюду женские тряпки и куски бумаги — следы бегства и переселения Или — делали уныло-пустым это помещение, где до сих пор протекала жизнь двух женщин в строгом, немного мрачном порядке.

Иштван вздрогнул, ощутив гнетущую тяжесть этой пустоты. Он придвинул поближе стул и сел напротив Илоны.

— Что вы здесь делаете? — спросил он почти резко.

Илона пожала плечами и беспомощно улыбнулась.

— Ничего,— тихо сказала она и взглянула на юношу. Его голос доносился к ней издалека, из смутных очертаний едва видимого мира, который отбросила от нее жестокая, немилосердная сила.— Ничего не делаю,— повторила она.— Что я могу делать?

После взрыва ревнивого материнского гнева, когда шаги дочери простучали, ее охватил ужас. Она сидела и ждала Или, упрямо, настойчиво, отчаянно, как ждала когда-то Лали, навеки простясь с ним.

Потом она принялась ходить по квартире, поднимая и снова роняя разбросанные платья. Она не замечала ни беспорядка, ни собственного бесцельного блуждания, потому что прислушивалась к тому, что творилось в ней, полностью погрузившись в себя. В душе ее что-то пошатнулось. Или, ради которой она жила, ушла, и с ней исчез всякий смысл ее работы и существования. Она была опустошена любовью, которую с такой обильной, безграничной щедростью отдавала дочери и взамен которой хотела хоть что-нибудь получить обратно. Тоски по Или она не испытывала. Да и могла ли она тосковать по этой пугающе-чужой девушке, совсем не похожей на того ребенка, единственного и родного, которого она родила, воспитывала, причесывала, мыла.

— Таковы дети. Они уходят, чтобы жить своей жизнью, — наклонился к ней Иштван.

У него мелькнула мысль, что он и вправду не знает, почему дети уходят от матерей, от единственных существ, рядом с которыми можно по-настоящему чувствовать себя спокойно, быть самим собой.

— Посмотрите на меня, здесь я,— сказал он тихо, нежно, как старший; в его тоне таилось трепетное, детское ожидание.

Илона послушно подняла голову, взгляд ее скользнул по Иштвану, словно ей было знакомо лишь одно лицо дочери, и если она его не видела, то никого другого не замечала.

— Здесь я,— повторил Иштван смущенно и, сердясь на себя, подавил возникшее в нем старое страстное желание материнской ласки.— Я заметил, что вы три дня не ходили на работу. Почему?

Илона заговорила тонким, бесцветным, чужим голосом, уставившись на немытую посуду.

— Зачем мне идти? Для себя? Разве есть смысл в моей жизни?

— Вы эгоистичная женщина, — проворчал Иштван. — Или выбрала себе мужа, хорошего достойного человека. Да, я знаю, достойного человека,— повторил он, воодушевившись, с ударением, чтобы заглушить болезненную зависть, — она не могла выбрать другого! А вы сидите здесь, оплакивая ее, словно произошло огромное несчастье.

— Самое большое, которое только могло произойти,— прошептала женщина.— Что мне делать в этом мире, если ее нет? — И, вновь осознав величину и безвозвратность своей потери, она зарыдала.

Иштван взглянул на ее постаревшее лицо, на спину, согнувшуюся под невидимой тяжестью, и сочувствие овладело им так горячо и сильно, как когда-то давно, в детстве, когда он утешал жену каменщика. Он положил ладонь на стиснутые, тонкие руки женщины.

— У каждого есть дело в мире, даже у тех, кто остался одиноким,— сказал он.— Может быть, самое главное начинается именно в такое время.

Илона уцепилась холодными пальцами за теплую сильную руку юноши и подняла залитые слезами глаза, в которых мелькнул и погас огонек надежды.

— Того, что произошло, изменить невозможно, — шепнула она. — Или уже не та, что была, она не слушает меня, даже ненавидит и не понимает, что этот человек испортит ее, погубит, опозорит.

— Почему, почему вы так считаете? — запальчиво возразил Иштван. — Как бы там ни было, Или так решила, и вам надо примириться.

— Мы порвали с ней,— сказала женщина.— Я никогда не найду в ней ту прежнюю, ту, в которую я верила, которую знала; та была моей чистой девочкой, единственной моей надеждой... Я верила, что выдам ее замуж за хорошего юношу, буду баюкать их детей и ухаживать за ними. Работать буду ради нее, пока во мне есть хоть капля силы. А она опозорила себя, опозорила меня, бросила без раздумья ради этого человека...

Илона надолго замолчала.

— То, что было, никогда не повторится. Но как тяжело жить,— продолжала она и снова зарыдала,— если не для кого жить? Для себя я никогда не жила. И теперь... после стольких лет..! не смогу научиться.

— Не надо ничего предрешать,— нежно сказал юноша, словно говорил с человеком моложе и неопытнее. — Вы научитесь тому, чему научит жизнь. Куда вам завтра надо идти гладить? — спросил он.— К жене главного инженера или к певице?

— К певице? — нахмурив лоб, Илона машинально, почти удивленно повторила вопрос и задумалась. Такой далекой казалась былая жизнь, так туманно вырисовывались когда-то виденные лица и сотни раз произнесенные имена, словно Или сломала и унесла с собой все знакомое и привычное.

Илона испуганно вцепилась в руку юноши.

— Нет, нет,— прошептала она в беспомощном ужасе, словно только сейчас поняв, о чем с ней говорят,— туда я больше не могу пойти, ни к ней, ни к другим.

Она закрыла лицо ладонями, и голос напряженно звучал сквозь тонкие дрожащие пальцы.

— Я в тех домах... годами говорила только об Или. И теперь я не могу... Не вынесу... Не вынесу, если станут расспрашивать.

— Хорошо,— сказал юноша после долгой тишины,— тогда утром приготовьтесь к шести часам, пойдем на Вагоностроительный завод.

Илона отняла руки от лица и недоверчиво улыбнулась, словно ей было трудно представить, что мир продолжает идти своим путем.

— Что я там буду делать? — спросила она.

— Завтра утром пойдете со мной на Вагоностроительный завод,— повторил юноша.— Будьте готовы вовремя, в шесть часов я постучу вам в окно.

Илоне показали место в цехе. Пресс, к которому ее поставили, и все окружающее она восприняла так, словно все это ей снится, в то же время была уверена, что иначе быть не может.

Прожитая в упорной и прилежной работе жизнь, все разнообразие которой состояло в том, что сегодня она держала в ладонях ручку утюга здесь, а завтра в другом месте, внезапно и резко изменилась. О том, что было, она думала, как о старом, очень давно виденном фильме, тусклые и расплывчатые кадры которого мелькали на сером полотне ее памяти. Несметное число дней, когда она думала только о том, что надо сварить Или вкусный обед, сшить Или красивое платье, найти Или замечательного мужа, — рухнуло в пугающую глубину. Казалось, что она вспоминает о жизни другой, незнакомой женщины; и все же ей было горько за эту жизнь, и что-то ныло, как больной зуб.

После того как у нее так жестоко отняли всё, Илона не знала, для чего нужно жить дальше. До сих пор весь смысл ее жизни заключался в заботах о существе, которое она любила, обожала, обожествляла. Оказалось, что существо это вовсе не нуждается в ее заботах и жертвах. И все вокруг сразу потускнело, потеряло цену.

Стоя у пресса и механически проделывая несколько несложных движений, она часто думала, как сложилась бы ее жизнь, если б она не порвала с Или, если б успокоилась, примирилась с ее браком и приняла на себя роль терпеливой матери и тещи. Изумленная Илона почувствовала, что она отдалилась бы от дочери и в том случае, если бы Или не враждебно и бунтующе, а с детской застенчивостью призналась в своих чувствах. Это признание и тогда разбило бы ее сердце.

Или, которая в течение двадцати одного года спала с ней в одной комнате, Или, которой еще за несколько недель до случившегося она мыла спину, голову, ноги, как и в ту пору, когда та была крошкой, — подвела ее, провела, обманула! Ужасно не только то, что она легкомысленно, не удостоив мать доверием, стала близка с этим человеком, а и то, что в ней пробудились нечистые и постыдные желания. Она, ее мать, с восторженной нежностью слушая по ночам мерное дыхание дочери, много раз переживала чувство, которое потом должно проснуться в красивой, чистой душе Или, когда она наконец встретит достойного ее, красивого, милого, отличного молодого человека. В этом придуманном матерью чувстве, которое очень напоминало ее собственную любовь к Лали, было что-то успокаивающее, правильное, трогательное. С каким бы материнским восторгом и счастьем ни любовалась Илона красотой дочери, с какой бы трепетной надеждой ни думала о будущих внуках, она стыдливо отворачивалась от того непреложного факта, что у Или есть тело, а не только душа и сердце. Не потому, что у нее было какое-то искаженное представление о любви. Но Или была ее ребенком, за которого она боялась и на которого молилась; ничто грубое не могло, не смело даже приблизиться к ней.

Илона мечтала, что однажды ночью Или сядет на край ее постели, и, ободренная взглядом и словами матери, расхрабрившись, поверит давно разгаданную матерью тайну. Чистый взгляд, зааленвшее лицо, дрожащий голос расскажут о зарождающемся чувстве больше и лучше, чем неловкие, с запинкой слова. И тогда Илона объяснит дочери, что этого чувства не надо стыдиться, что так и должно быть. Каким счастьем стали бы для Илоны эти откровенные ночи, эти часы, полные доверия, счастливых поцелуев и объятий!

Так представляла себе Илона начало любви дочери; но вместо доверия и откровенности между ними рождалась странная напряженность. Или становилась все более беспокойной, высокомерной, замкнутой. Илона уже не осмеливалась ни о чем расспрашивать дочь. Она малодушно убеждала себя, что дочери не в чем признаваться; ведь на тревожно-вопрошающий взгляд матери она неизменно отвечала холодным, гордым, негодующим взглядом.

Таким же холодным, отстраняющим взором ответила Или и тогда, когда было в чем признаваться. Она просто обманула мать... Просто обманула!

Нет, другого пути не оставалось, надо было расстаться.

Ведь если Или смогла уйти к Карои в его душную холостяцкую квартиру, если смогла отдать себя этому страшному человеку, если посмела, защищая свою постыдную тайну, кричать на мать с жестокостью многознающей женщины, если пришлось матери опустить перед нею смущенный взор,— тогда это уже не Или, не ее дочь. Немыслимо жить с такой Или рядом, как немыслимо забыть о ране, которую она нанесла материнскому сердцу.

Пока Илона нажимала педали машины, двигала и тянула поднимающуюся и опускающуюся под штампом ленту металла, перед ее глазами вертелась улыбающаяся маленькая Или в белом платьице. Та Или, которая целиком принадлежала ей. Как могло случиться, что Илона ее потеряла?

Мысли, мозг и душа Илоны одеревенели, и она тщетно всматривалась в пустоту, окружавшую ее после исчезновения Или. Но все-таки она быстро обучилась новой работе. Через два дня она уже уверенно обращалась со старинным прессом, различные части которого, соответственно меняющимся видам работы, переставлял и монтировал пожилой рабочий. Старик научил ее обращаться с прессом. Удивляясь и любопытствуя, он наблюдал за этой женщиной с неподвижным взглядом и опущенными уголками рта, в которых пряталась боль. Он догадывался, что Илона, сидя рядом с ним, мыслями уходит очень далеко, и это делало часы обучения мучительно неприятными. Но, приученная за многие годы к постоянному труду, Илона бессознательно схватывала приемы новой работы и бездумно повторяла их.

Первые дни новая работа, требующая напряжения мышц, доставляла приятную усталость. Илона едва дожидалась, когда можно будет лечь и погрузиться в темные густые волны тяжелого сна. Через неделю ее мышцы привыкли к новым движениям, и сон уже не приходил так быстро, как раньше.

Впервые она невзлюбила свой дом. Тишина, постоянно царившая в кухне и в комнате, тишина враждебная, которую она слышала, еще стоя на пороге, усиливала ее безутешное одиночество. Тишина непрерывно напоминала, что кого-то в квартире недостает.

Любовь Илоны к порядку победила ощущение, что всему настал конец и ничто уже не привязывает ее к жизни, к дому. Квартира снова заблестела чистотой, все вещи встали на свои места. Исчезли лишь предметы, напоминавшие о взрослой Или. В алькове над постелью Илоны осталась толь-

ко одна фотография, на которой Или в коротком платьице, с лентой в волосах, в носочках стояла у столика, сжимая мячик. Днем Илона не смотрела на фотографию. Зато ночами, уступая желанию, которое было сильнее рассудка, снимала ее со стены и в полутьме долго рассматривала, пока не начинала трястись от сдерживаемого плача. Она знала, что обманывает себя; ребенок, карточку которого она сжимает в руках, исчез из ее жизни. Время невозможно повернуть вспять.

В ночные часы раздумья Илона все чаще стала вспоминать о Лали. Она убегала в эти воспоминания, чтобы почувствовать: хоть и давно, а был человек, который любил ее по-настоящему. Свою девичью нежную любовь она приписывала ему. Правда, в воспоминаниях было нечто мешающее, беспокоящее. Подробности их расставания, когда Лали пытался соблазнить девушку, Илона теперь решительно отгоняла от себя. Зато с непривычной силой поднималась в ней острая ненависть к родителям Лали, которые погубили ее счастье. Как и в молодости, она думала, что Лали всегда стоял бы за нее горой; если бы Или родилась его дочерью, она никогда не оставила бы мать. Да, тогда все сложилось бы по-иному, так, как нужно, как она желала.

Как Илона вспоминала об Или-ребенке, так и Лали жил в ее памяти двадцатипятилетним юношей. В ее воспоминаниях он никогда не старился, как те, кто умирают молодыми. Было время, когда она долго, с упрямой и фанатичной верой ждала его возвращения. Позднее узнала, что его тесть унаследовал крупное состояние от родственника, живущего в Германии, и по условиям завещания вся семья переселилась туда.

Пожалуй, прошлое возвращалось по ночам с такой силой для того, чтобы днем было легче переносить действительность.

Однажды во время обеда, когда Илона без аппетита жевала хлеб с маслом, в железную дверь вошел Иштван и огляделся вокруг. Илона угадала, что он ищет ее, и в первый раз после долгого перерыва что-то шевельнулось у нее в груди. Она никогда не видела юношу на работе. Синие полотняные штаны, рубаха песочного цвета с засученными рукавами, копоть и масло на чумазом лице. Однако это молодое, улыбающееся лицо никогда не казалось Илоне таким знакомым. Впервые она почувствовала, что он красив; правда, это была не обычная, не сразу бросающаяся в глаза красота. Главная прелесть Иштвана заключалась не в правильности черт, а в выражении лица, глаз, в каком-то неуловимом обаянии.

Иштван сел рядом на пустой ящик и спросил:

— Как вы себя чувствуете?

Илона неловко, беспомощно улыбнулась и, сметая невидимые крошки с платья и опустив глаза, ответила:

— Живу.

На мгновение Иштван положил руку на ее ладонь.

— Идет работа?

Илона оглянулась на черную, громоздкую машину, которая стояла в углу, и на ее лице появилось пренебрежительное выражение, которое Иштван уже видел и на лице Или, когда он рассказывал о книгах и музыке.

— Чтоб эта работа не пошла? — она презрительно махнула рукой.

— Для штамповки, которую делает этот пресс, не требуется специальных знаний,— сказал Иштван, которого приводила в замешательство эта высокомерная улыбка, увеличивавшая расстояние между ним и обеими женщинами. Эта улыбка предупреждала, что где-то, в чем-то они очень отличаются от него.

— Не в том дело, — продолжала Илона, не слушая юношу. Она повернулась к нему, но застывшие глаза смотрели по-прежнему в пустоту.— Разве можно жить в одиночестве, без цели? — спросила она тихо, точно

разговаривая сама с собой.— Работать, есть, ложиться, вставать... Для чего? Не понимаю, не понимаю, зачем надо это делать,— прошептала она едва слышно и вновь принялась ломать руки, как тем вечером, когда она впустила Иштвана в кухню.

— Можно ли жить в одиночестве? — спросил Иштван и подумал о ребенке, который, дрожа, сидел на дворе то у тех, то у других приемных родителей, с невыразимой тоской глядя на звезды, холодно мерцающие в далеком темно-синем небе. А вспомнив об этом ребенке, рассердился на Илону и сказал с упреком: — Вы не одна. Просто вам любить некого.

Илона с силой вскинула голову и так посмотрела на Иштвана, словно он был причиной всех бед, разрушивших ее жизнь.

— Да, любить мне некого,— хрипло проговорила она.— Я была матерью и перестала быть ею. Я была человеком, а сделалась калекой. Кого силой собьют с пути, тому уже не найти дороги назад.

— Кого собьют с пути! — раздраженно повторил юноша.— Жизнь — не прямая линия, и дорога жизни тоже не прямая дорога. Она разветвляется и заставляет человека поступать так или иначе. Но я убежден, что на любой дороге человек всегда останется самим собой.

— Я этого не понимаю,— возразила Илона.— Я знаю одно: все было так, как должно было быть; у меня было всё — и вдруг... я здесь.

Голос ее прервался, она дрожащей рукой обвела вокруг себя.

— Да, вы здесь,— подтвердил юноша и, ласково улыбнувшись, мягко пожал ей руку.— Потому-то я и сказал, что вы не одна.

— Здесь каждый заботится только о себе,— возразила Илона тем же тоном отрицания.

— Правда,— задумчиво протянул Иштван, словно облекая в слова давно зародившиеся мысли.— Правда. Однако в такой личной заботе есть и элемент коллективности. Если человек не отталкивает остальных, а сам присоединяется к ним, он не одинок.

— Слова, одни слова! — прошептала Илона, как бы собираясь заплакать.— Я не понимаю этого,— она отрицательно покачала головой, как обычно делают люди, когда хотят отмахнуться от слов человека, менее знающего и менее глубокого, чем они сами.— Я не дитя, этим меня не утешишь.

Она снова сделала неопределенный жест и проговорила:

— Потом... может быть, потом и будет что-нибудь...

Прошел месяц. Илона привыкла к работе. Наладился режим ее новой жизни. Ощущение одиночества осталось, но не поглощало всех ее душевных сил. Страшны были вечера, когда, возвратившись домой, ей не для кого было готовить и некого было ждать. Пугало утро, когда, проснувшись одна, она не должна была следить за сном, пробуждением и суетой того существа, которое целиком заполняло ее жизнь. Илона приспособилась к этому состоянию, как приспосабливается организм к повышенному атмосферному давлению. Она и прежде ни минуты не сидела сложа руки: мыла, стирала, убирала. Теперь, без охоты и без радости, но упрямо и решительно, с настойчивостью и выдержкой механизма, Илона искала и находила незаконченные домашние дела. Часами сшивала давно изношенные и отложенные кружевные покрывала, искусно превращая старый, изорванный узор в неузнаваемый, изящный, правильно повторяющийся рисунок. Варила варенье, даже сливовое, от которого давно отказалась — его не любила Или. Белой краской окрасила табуретки, выстирала занавески, ежедневно натирала пол в комнате.

Чем чище становилась квартира, тем заметнее были тишина и пустота. Зато сама Илона успокаивалась с каждым днем. Правда, временами, если она не владела собой, ее пронизывали молнии острого, невыразимого

страдания. Свободного времени было много, но ей не приходило в голову взять совок и щетку и пойти убирать к Иштвану. Она и не думала отвечать на настойчивые письма и приглашения бывших клиентов. Казалось, ее прежняя жизнь оборвалась совершенно. С соседями она разговаривала еще реже, чем прежде, и сама никогда разговора не начинала. Для нее было сущей пыткой пройти по двору мимо любопытных, судачащих женщин. При виде их она холодела и не могла унять дрожи. Казалось, что на коже, на лбу, на лице, словно клеймо, вызывающее всеобщее сожаление, написано ее одиночество. Руки дрожали, и Илона с трудом вставляла в замок ключ; она успокаивалась только в четырех стенах своей кухни, куда против ее воли никто не мог проникнуть. Однажды ночью, проснувшись от мучительного кошмара, Илона внезапно села в постели. Она тяжело дышала, словно пудовый камень давил на грудь. Еще не совсем придя в себя, она вспомнила, что бежала, бежала с ужасом, изо всех сил. Нервы дрожали от волнения, и вновь пробудился страх, испытанный во сне. Или, совсем малютка, в белом платьице, была где-то далеко-далеко в поле, и кто-то хотел ее схватить. Она не знала — кто: у нападающего не было ни лица, ни фигуры. Что-то туманное, темное и расплывчато-клубящееся неслось к Или; в этом неуловимом, неясном чудовище было нечто грозное и зловещее. Она пустилась бежать на выручку Или. Но расстояние между ними не сокращалось. Илона вдруг заметила, что стоит на месте; ее сковал ужас, она напрягла все силы, чтобы сбросить тяжесть, и все-таки не могла сдвинуться с места, оторваться от земли, словно приросла к ней. Проснулась она в тот момент, когда с диким и бессильным отчаянием снова пыталась бежать, догнать и спасти Или: та казалась неясным белым пятном на далеком поле. Илона медленно сообразила, что видела сон; но мучительное желание догнать дочь не покинуло ее. В ночной тиши дрожащим и громким голосом она произнесла:

— Или!

Ей показалось, что звуки громом отдались в комнате. Затем наступила глубокая тишина — такая, как после грохота разорвавшейся бомбы. Илона поняла — почему. Во сне она увидела малютку Или и теперь назвала ее имя. Тишина ответила ей, что взрослая Или потеряна для снов и воспоминаний. Даже во сне она не смела, не могла и не хотела вспоминать ту чужую девушку, которая сделалась любовницей Карои. Карои — воплощение распутства и безнравственности. Какова же та девушка и какими она одержима страстями, если из-за такого человека отреклась от матери, от своего чистого детства? Даже сквозь туманное стекло бестолкового, безотчетного сна Илона не смогла бы взглянуть в изменившееся лицо дочери, в ее блестящие глаза.

Убеждение, что теперь всегда будет так, а не иначе, пригнуло ее чуть не до земли. Впервые после ухода Или она зарыдала в голос, раскачиваясь взад и вперед в бессильном отчаянии.

Утром, вспомнив слова Иштвана, Илона с мрачным любопытством, требовательно огляделась в цехе: «Посмотрим, может быть, я и впрямь не одна?»

Она подошла к прессу, как к старому, но неприятному знакомому. Знала его, но не любила. Когда ее жизнь вошла в новое русло и привычно покатилась дальше, когда после первой волны отчаяния она пришла в себя, то прежде всего обнаружила в цехе грязь. Руки и платья окружающих были вымазаны маслом; в воздухе летала черная копоть, садилась на лицо, въедалась в морщины и, словно карандаш художника, тонкими, резкими штрихами оттеняла черты.

Илона всегда питала отвращение к неопрятности. Последние двадцать лет жизни она имела дело лишь с дорогими вещами — стирала мужское и дамское белье, гардины, покрывала из тонкого полотна, шелка и

кружев. Теперь ей тяжко было встречаться с женщинами, знавшими ее как счастливую мать. Но привыкнуть к грязному платью, рукам, лицу она не могла. К тому же у нее болели правая нога, нажимавшая педаль, и руки — она их все время вытягивала, проталкивая и подтягивая металлическую ленту; к вечеру они тупо ныли.

В конце первого месяца Илона обнаружила, что на новой работе зарабатывает гораздо меньше, чем стиркой; хотя она и считала, что теперь все равно, раз ее настоящая жизнь кончилась, ей стало беспокойно и досадно. Дело не в том, что мало денег. Она и прежде тратила на себя не больше, чем получала теперь: у Или она никогда не брала ни копейки и большую часть своего заработка расходовала на дочь. Но репутация отличной прачки, высокая и все увеличивающаяся оплата придавали Илоне самоуверенность; она держалась скромно, но с достоинством. А тут она заработала меньше, чем все эти женщины с грязными руками и чумазыми физиономиями, работающие теперь рядом с ней.

Вопреки свойственной ей мягкости, Илона не сближалась с рабочими цеха. Раньше из-за дочери она всегда держалась вдалеке от своих товарок — боялась, что восходящую звезду Или запятнают старые знакомства; иногда в ней пробуждалось гнетущее чувство, что из-за низкого происхождения у дочери недостанет ни уверенности, ни храбрости стремиться вверх.

Сперва Илона не обращала внимания на разговоры в цехе, заметила лишь, что к ней одной обращаются на «вы». Сперва она считала это естественным, но позднее забеспокоилась. Ни с одной из девушек она еще словом не перекинулась и, проходя мимо них, отворачивалась: ей было больно слышать веселый девичий смех, молодые, звонкие голоса.

Рядом с ней на прессе новейшей системы работала женщина лет шестидесяти. Илона, не зная почему, боялась ее. Она украдкой поглядывала на соседку и видела грубое, как бы наспех слепленное лицо, большой лоб, толстый нос, беззубый рот и жесткие седые волосы, выбивавшиеся из-под платка. Седые волосы говорили о старости, крупное костистое лицо, без малейшего признака женственности, могло быть точно таким и двадцать лет назад. Мастера, и те побаивались грубого голоса и острого языка старухи, однако все относились к ней с уважением. Женщины и девушки просто любили ее — Илона не понимала, за что. Сама она избегала тетушку Селлнэ. Во взгляде старухи ей мерещилась насмешка, она отворачивалась или опускала голову, делая вид, что не замечает соседки.

Однажды в сентябрьский, по-летнему жаркий день в цехе поднялась страшная суматоха. Все устремились к крайнему прессу. Бежали женщины, рабочие, мастера, на всех лицах был испуг.

— Дядюшке Фазекашу плохо! — раздался крик.

Луйзи Варга, молодая девушка, пробежала мимо Илоны. Ее широко раскрытые глаза были по-детски испуганы. Тетушка Селлнэ в развевающейся юбке, всех расталкивая, спешила туда же; ее моментально пропустили, как будто ждали помощи только от нее.

Илона задумчиво стояла у своей громоздкой машины. Отовсюду несущиеся испуганные возгласы ее не трогали. Она машинально продвинулась вперед и среди людей, стоявших кольцом, увидела сидящего на земле старика Фазекаша.

Это был человек лет шестидесяти, с бледным лицом — теперь оно покраснело. Лиловатый оттенок красноты еще больше подчеркивал седые волосы и усы, закрученные по старой моде. Селлнэ стояла подле него на коленях, положив его голову на свою широкую, сильную грудь.

Илона равнодушно глядела, как старик, в поисках опоры, с детской беспомощностью поворачивал голову. Она невольно обратила внимание на толстые пальцы Селлнэ, которые легко и проворно расстегнули ворот

холщовой рубахи, на то, как она мягкими, искусными движениями гладила его мокрый лоб, затылок, виски и ворчала:

— С повышенным давлением, дядюшка Фазекаш, шутки плохи! Отдохните малость, а потом живо к врачу.

Илона смотрела на Фазекаша, как тяжелобольной смотрит на симулянта, требующего слишком много внимания и заботы. Она ему завидовала и охотно обменяла бы поющую, ни на миг не затихающую боль души на этот физический недуг, который погружает больного во мрак, закрывает от него мир.

Фазекаша тем временем подняли. Протянулось множество рук, чтобы поддержать его. Сурово и медленно двинулось по цеху шествие: женщины, мужчины, парни и девушки словно объединились, ведя и поддерживая старика.

Илона по-прежнему неподвижно и безучастно стояла на месте, как вдруг кто-то резко оттолкнул ее.

— Может, уйдете с дороги, сударыня? — раздался голос тетушки Селлнэ и вслед за тем чей-то тихий, приглушенный смешок.

Илона посторонилась. Ее не так задел тон старухи, как ее грубое прикосновение — оно ударило по нервам, от него вздрогнуло все тело.

От дверей Фазекаша провожали только двое рабочих. Остальные вернулись к станкам; но воздух цеха пронизало волнение, как цветные нитки — белую ткань. Заговорили, по сути дела, не о Фазекаше, а о жизни вообще, но в каждом слове чувствовалось, что думают о старике.

— Так вот и кончается человек! — сказал пожилой токарь. Сказал без грусти, без жалости — просто отметил факт.

— Кажется, только вчера я пришел на завод, а скоро сорок лет стукнет,— искренне удивляясь, проговорил кто-то в другом углу.— Я начинал на станке с ручным приводом. А теперь как посмотрю кругом...

— Так оно и бывает...— ответил хриплый голос.— Машины молодеют, а мы с катушек долой — только и всего.

— Только-то? — спросил старый строгальщик. — Нет, тут есть и другое. Тебе не все равно, что останется, когда ты уйдешь.

— Факт, не все равно,— вступила в разговор Селлнэ.— Ходит человек по земле недолго, да понимать он это начинает только к самому концу, когда сделает, что было ему положено. До тех пор он и не помышляет о смерти, а как вспомнит, так говорит: кш-ш! Вот как надо,— добавила она, смеясь.

— Женщины столько не думают о смерти, как мы, мужчины. А ведь работу потяжелее делаем мы, и времени вроде нет для подобных мыслей, — сказал токарь.

Селлнэ снова засмеялась, но так тихо и мягко, что Илона удивленно повернула к ней голову.

— Как может думать о смерти та, которая производит на свет ребенка, рожает, купает, кормит грудью? — сказала Селлнэ. — Я целую жизнь только и хотела все сберечь, о том думала, из-за того маялась, горе, заботы, лишения терпела.

— Ты что же, молодость свою сберечь хотела? — спросил старый строгальщик, и в голосе его прозвучала ирония.

— Тебе хорошо известно, что речь не о том,— ответила Селлнэ,— я о детях своих говорю да о муже. Мужа убили, а я память о нем сберегла. Дети мои живут, и я жить хочу, покуда пользу могу принести, покуда сила есть в руках,— закончила она обычным грубым тоном.

— Для этого сберечь себя стоит! — прозвучал прежний хриплый голос, уже без иронии и шутки, а с признательностью и уважением.

— Конечно,— согласилась тетушка Селлнэ.— Пока от моей жизни польза есть, до той поры мне жить надо. К примеру, порвалась у тебя ру-

башка, ты так сразу и выкинешь ее? Ведь нет? Положим, в рубашки она не годится, свое отслужила — так из нее полотенце посудное выйдет или портянка в рабочий сапог, а то тряпица — рану перевязывать, да мало ли на что еще пригодится. Бросить ее — прямой убыток. И с человеком так же. Бывает, тут не справится, там не сладит, а глядишь, на третьем месте без него не обойтись. Вот я и говорю: покуда хоть где-нибудь от меня есть польза — о смерти думать не стану. Придет мой час — уйду, не пожалею. Все, что могла, сделала.

— Может, и старик еще поработает,— проговорил задумчиво строгальщик, словно слова тетушки Селлнэ навели его на эту мысль. — А как лежал он там, на земле, тут я подумал: не жевать ему больше хлеба.

Стало тихо, и вдруг в тишине прозвучал молодой дрожащий голос Луйзи:

— Зачем умирают люди?

Было понятно, что она впервые задумалась о смерти и затосковала, поняв, что не только другие, пожилые, утомившись и одряхлев, однажды исчезнут, но и с нею случится то же самое.

— Ты слышала, что сейчас говорила тетушка Селлнэ? — засмеявшись, ответил строгальщик.— Живи с пользой — никогда не помрешь.

Илона невольно прислушивалась к разговору. Речь шла о жизни и смерти, но как-то иначе, чем она ожидала. В словах не чувствовалось ни ужаса, ни скорби в предвидении неизбежной смерти; было что-то совсем другое, незнакомое и непонятное. Илона спрашивала себя: приносил ли кто-либо больше пользы, трудился ли кто-либо больше, чем она? И вот все разбито, растоптано; даже цель, даже смысл всей ее жизни. То, что говорила тетушка Селлнэ, казалось ей правдой, но она не забыла грубый жест и презрительное обращение «сударыня», которым та унизила ее перед всем цехом. Это обращение жгло ее, как злорадный смешок, выразивший, очевидно, общее мнение о ней, Илоне. Пусть оскорбляют — ее не трогают их злобные нападки, гордо решила Илона. Но мрачное беспокойство от этого не исчезло, наоборот — усилилось. Разговор в цехе вызвал у нее ощущение, что не она отвернулась от них, а они все исключили ее из своего общества.

Возвратившись на место, Илона застала старого Мартона Данко, подсобника; он подносил к станку детали и много раз за день вывозил тачкой отходы на свалку. Был он невысокий, сутулый старичок. Голова его была всегда опущена, низкий лоб густо оброс сивыми, тусклыми волосами, тощая шея изъедена поперечными морщинами, в которые въелась черная пыль, как видно никогда не смывавшаяся. Едва ли Илона смогла бы представить себе его лицо. Над верхней губой росли жидкие усики, походившие на размазанную сажу. Он изредка ронял словечко, и тогда приоткрывались черные зубы. Из-под низкого, изрезанного морщинами лба мигали угрюмые и, как казалось Илоне, злобные глаза. Когда Данко собирал стружку где-нибудь поблизости, она старалась не смотреть на него. Ей казалось, что присутствие этого человека, его грязная, в лохмотьях одежда, речь, состоящая почти из одних междометий,— лучшее доказательство того, как далека она была от своей прежней жизни. Ей делалось стыдно, и она против воли начинала думать об Или: дочь презирала бы теперь свою мать.

Данко праздно сидел около железного листа, отгораживавшего медные отходы. Ноги в грубых башмаках были вытянуты, большие жилистые руки устало лежали на коленях. В глазах застыли испуг и озабоченность; он неподвижно смотрел туда, где несколько минут назад лежал седоволосый Фазекаш.

Илона еще ни разу не видела Данко таким и очень удивилась — впервые на его лице было красноречивое, осмысленное выражение.

— Что случилось, дядюшка Данко? — невольно вырвалось у нее.

Старик потер рукой сморщенный лоб, как будто сам хотел понять, что же, в сущности, произошло. Потом злобно взглянул на женщину и, не ответив, стал быстро бросать лопатой в тачку отходы.

Илону охватила тревога. Ей казалось, что она помешала старику обдумать какую-то важную мысль. Но за что он ее ненавидит, ведь она не сделала ему ничего плохого? Почему он смотрит на нее, словно она убила его отца и мать? Почему с ней не разговаривают все остальные?

После обеда к ней снова пришел Иштван, и Илона обрадовалась: все-таки есть человек, который о ней думает. В то время, когда они разговаривали, в цех вошла высокая, сильная женщина с румяным лицом и направилась к станку Луйзи. Ее полное, круглое лицо улыбалось, все существо излучало то самое тепло, которое служит признаком женского, материнского счастья.

— Кто это? — спросила Илона.

— Варганэ, мать Луйзи,— ответил Иштван.

Илона хотела отвернуться, но не смогла отвести глаз от Варганэ: та подошла к дочери, пригладила выглядывающие из-под косынки блестящие темно-русые локоны, поправила вылезшую из синих полотняных брюк блузку. Мать и дочь наклонились друг к другу, переговариваясь шепотом. Илона отчетливо видела ласковую улыбку на лице Варганэ, на миг исчезавшую и вновь вспыхивающую, и улыбающееся ей в ответ лицо Луйзи. По сердцу полоснул печальный и горький вопрос:

«За что они обе так любят друг друга? Какие у них секреты? Почему ей одной досталось на долю безутешное горькое одиночество?»

Разговаривая, мать и дочь несколько раз поглядели в ее сторону. Иштван тоже это заметил, смутился и стал запинаться.

«Что им от меня надо?» — неприязненно подумала Илона.

Она отвела глаза и, чтобы успокоиться, не думать об их улыбающихся лицах, стала смотреть в ту сторону, где работала Анна Сава. Эта девушка, почти ребенок, целый день угрюмо и молча стояла у станка. Она не любила, когда к ней обращались, и сама ни с кем не разговаривала. Если ей мягко указывали на испорченную деталь, она разражалась пронзительным, резким плачем, переходившим в отборную ругань, — так она выражала свое возмущение.

Она была единственным в цехе молодым существом, которое не сияло счастьем и свежестью юности. Не задумываясь над тем, почему Анна совсем не похожа на других девушек, Илона чувствовала к ней странную симпатию — за ее худобу, молчаливость, за то, что от нее веет безнадежным, тягостным одиночеством.

Но на этот раз Илона не могла забыть о Луйзи. Иногда она чувствовала на себе взгляд ее блестящих серовато-голубых глаз. Ее тревожил этот взгляд, которого она не могла понять.

В конце смены Илона, как обычно, молча умылась и переоделась. С ней никогда не спорили из-за очереди к умывальнику. Ее всегда, словно гостью, пропускали вперед и дожидались, пока она закончит туалет. До сих пор Илона считала, что так и надо. Но сегодня это показалось ей дурным признаком.

Помещение наполнилось шумом и гамом, здесь и там слышались отдельные слова, произносимые то с волнением, то с веселым смехом. Илона невольно прислушалась и вдруг услыхала собственное имя. Она напрягла слух. Слова доносились неясно, но она была убеждена, что говорят о ней.

Ей захотелось уйти, оставить позади себя и завод, и цех с его серой и чуждой ей жизнью, но не хватало сил. Сама не зная почему, уже одетая, с небольшой кошелкой и пальто на руке, она оставалась в комнате,

отделанной белым кафелем, где в мягких облаках пара суетились оживленные женщины, радуясь, что могут освежиться. Женщины постарше были по-детски счастливы — они на целых четверть часа освободились от неприятностей, тягот и забот о доме, детях, муже. Сейчас они принадлежали самим себе и занимались друг другом, не стыдясь наготы.

Илоне мерещился враждебный заговор против нее. В то время, как она в нерешительности, неподвижная и напряженная, стояла на месте, раздался дерзкий протяжный голос:

— Наша сударыня без нас обходится, а вот с красивым, статным парнем, видать, не жеманится!

Эти слова, как видно, пришлись по вкусу всем.

Илона пошатнулась, как от удара в грудь. Она задрожала, и сдерживаемое рыдание вырвалось наружу.

Она шагнула вперед, протянула руки и спросила дрожащими губами:

— Что... что вы от меня хотите? Что я вам сделала плохого?

Женщины сразу затихли. Сохраняя известное расстояние, они окружили Илону плотным кольцом. Одни уже оделись, другие в белье, в юбках, с распущенными волосами и влажными лицами, вытягивали шеи; иные, держа перед собой полотенце, проталкивались вперед. В предвкушении интересной сцены, боясь упустить хоть малейшую деталь, некоторые выскакивали прямо из-под душа. С обвитым вокруг тела полотенцем, мокрые, запыхавшиеся, стояли они среди остальных, разинув от любопытства рты и совершенно позабыв о своей наготе. Всех их боялась Илона, от них ждала теперь приговора. Внезапно наступившая тишина показалась ей грозной.

Снова взвился тот же дерзкий голос:

— Ходит она среди нас, будто и не замечает.

Сплоченное живое кольцо зашевелилось, двинулось вперед, и раздались враждебные, требующие ответа голоса.

— Если ты такая гордая, зачем пришла к нам?

— Не нравится у нас — катись туда, где тебе лучше. Скатертью дорога!

Илона робко оглядывалась. На лицах женщин она видела возмущение, любопытство, неприязнь; жадные, пытливые глаза ощупывали ее, словно хотели проникнуть в самую глубь души.

И тут она услыхала знакомый грубый голос. Прямо перед ней проталкивалась вперед тетушка Селлнэ. Илона в первый раз увидела ее без платка. Поседевшие волосы рассыпались по обнаженным широким плечам, и эта прическа, красящая молодых, делала комичным ее грубое, мужеподобное лицо, в то же время придавая ему какую-то детскую трогательность. Возможно, подростком она так и прыгала по двору — с развевающимися волосами вокруг некрасивого лица. Подняв вверх толстые руки, Селлнэ закручивала волосы в небольшой узел. В некрасивой, по старой моде скроенной полотняной сорочке, с широкой мощной грудью, она пробралась вперед и, оттолкнув тоненькую, таращившую глаза девушку, повела в сторону Илоны подбородком и громко прикрикнула:

— Что вам от нее надо? Не видите что ли, горе у нее?

Стало тихо. Никто не напомнил тетушке Селлнэ, что как раз она первая насмешливо назвала новую работницу «сударыней». Однако выражение лиц и глаз изменилось, словно они получили точный ответ на интересующий их вопрос. Илону рассматривали с неменьшим любопытством, чем раньше, но совсем иначе. Они уже не искали объяснения непонятному и таинственному молчанию, а хотели знать ее тайну.

Отчужденность исчезла, словно печаль, как и радость, для всех этих женщин была знакомым, понятным состоянием. Горе коснулось всех и как будто растеклось по комнате.

Илона поняла, что опасность, которую она не смогла бы определить словами, миновала. Тягостная атмосфера, насыщенная грубостью, самолюбием, гордостью, разрядилась. Казалось, неизвестно откуда пролился нежный свет, засияло ласковое солнце.

Илона, все еще окруженная работницами, поняла: нечего больше спрашивать, чего от нее хотят, теперь ее никто не обидит. Она стояла среди нагих и полуодетых женщин, смущенная, с опущенными глазами. Слова Селлнэ сорвали завесу молчания, за которой она скрывала свою тайну. Казалось, все теперь видят ее рану, а рана болела так, что к ней нельзя было прикоснуться даже взглядом.

Она расправила складки платья, перебрала что-то в кошелке, словно это было единственной ее заботой, и едва слышно пожелала всем доброго вечера. Нижняя губа задрожала, глаза сузились, силясь удержать слезы; сгорбившись, Илона выбежала за дверь. В стороне, у стены, беззвучно плакала старуха, прижимая носовой платок к покрасневшим векам. Старуха качала седой головой, и можно было подумать, что она и сама не понимает причины своих слез. С ней не разговаривали, но все знали: она вспоминала о двух сыновьях, погибших на войне. Оттого и плакала она так открыто, уверенная, что не надо ничего объяснять. Вероятно, все женщины, которые входили, выходили или, отвернувшись, одевались, в эту самую минуту тоже думали о ее сыновьях, хотя никогда их не видели.

Илона на мгновение остановилась в застекленном коридоре.

От волнения она двинулась в другую сторону и не нашла выхода. Повернувшись, лицом к лицу столкнулась с Луйзи Варга; та смущенно улыбнулась, будто ее в чем-то уличили.

Илона невольно отступила, словно собираясь бежать. Луйзи уже умылась, на ее спадающих на плечи волосах блестели прозрачные капельки воды. Круглое румяное лицо с чуть огрубевшей кожей, сильные обнаженные руки сверкали свежестью; казалось, влагу просушило не полотенце, а здоровое тепло молодого тела. Илону словно ножом полоснуло — такое сияние исходило от Луйзи. Как ей сделалось больно! Эта чужая молоденькая девушка чем-то походила на Или, хотя ее красота была скорее деревенской. В ее силе и свежести, в том, что она по молодости даже не подозревала своей привлекательности, было что-то неотразимо пленительное.

Илона неловко улыбнулась, нерешительно остановившись против девушки. Обе они были одинаково смущены.

— Я хотела спросить вас,— после продолжительного молчания сказала наконец Луйзи,— откуда вы знаете Иштвана Ботонда?

Ей хотелось говорить непринужденно, будто вопрос она задала случайно, но дрожащий голос и сдавленный вздох выдали ее волнение. Серые глаза, опушенные черными ресницами, затуманились. Алые губы, с которыми по цвету могли соперничать щеки, подергивались, как будто она всхлипывала после долгих рыданий. Во взгляде светилась робкая мольба, которую Илона чувствовала, но не могла объяснить.

Илона сразу догадалась, почему Луйзи спрашивает об Иштване, и спохватилась, как мало знала о жизни юноши: что он делал, когда не сидел в ее кухне? Словно у него и другого дела не было, как только заботиться о ней и об Или.

Ей сделалось стыдно, захотелось в благодарность — без ведома юноши — помочь ему.

— Мы с ним соседи, живем рядом,— ответила она тихо.

— Правда?! — глаза Луйзи округлились, и голос радостно зазвенел.— На какой вы улице живете, тетушка?

— В центре, на улице Хаттю, четыре.

— Интересно! Я еще ни разу не была там,— вырвалось у девушки, и она покраснела.— Мы живем в Лёринце, а знакомых в центре у меня нет...

Толстоватыми пальцами она взад и вперед двигала серебряное колечко, с мольбой и надеждой улыбаясь Илоне.

Мгновение женщина враждебно смотрела на девушку. Зачем она вынуждает ее делать то, чего ей не хочется, зачем посвящает в свою тайну, до которой Илоне нет никакого дела? Но улыбка Луйзи привела ее в замешательство, и она снова вспомнила Иштвана. Илона взяла ее за руку.

— Завтра после работы приходи ко мне; я буду рада,— сказала она и тотчас опустила глаза, чтобы не видеть сияющих глаз Луйзи.

Когда Илона отошла от девушки, ее обогнала женщина, которая, пройдя несколько шагов, обернулась и посмотрела на нее в упор. Это была Рози Гарашнэ, уборщица. Илона с самого начала избегала ее, но совсем иначе, чем Селлнэ. Только что она видела Рози в умывальной — та стояла перед ней, оголенная до пояса. Черные неряшливые волосы с пробивающейся тут и там сединой — обычно она их зачесывала, как девочка, за уши — сейчас были растрепаны и стояли торчком. Маленькие темные глазки, окруженные сетью тонких морщин, горели жадным любопытством. Ее возраст угадать было трудно: она была не молода, но тот острый интерес, который она проявляла к мужчинам, совсем не вязался с ее морщинами. То, как она постоянно подмигивала, как улыбалась щербатым ртом, говорило о ее большом женском опыте. Впрочем, роль сводни, помогающей завязывать любовные отношения в цехе, устраивала ее не меньше, чем собственные мелкие грешки. С суетливой деловитостью она постоянно что-то вынюхивала, сообщала всем и каждому всяческие новости, хотя никто ее о них не спрашивал. Откровенное, недвусмысленное беспокойство по поводу разных делишек, вечное подглядывание за всеми, развязность, с которой она отвечала на презрительные насмешки товарищей, вызывали в Илоне отвращение.

Обогнав Илону, Рози уставилась ей прямо в лицо, и глаза ее зажглись пытливым, беспокойным любопытством. Она подмигнула и громко, нагловато крикнула:

— Приятных сновидений, многоуважаемая сударыня! Мой привет любезному соседу!

Но Илону не задела ни наглость Рози, ни уверенность в том, что та подслушивала ее разговор с Луйзи.

На другой день, возвратившись с работы, Илона почувствовала необычную слабость. Она села в кухне на табуретку. Ей казалось, за дверью в комнате ходит Или и не предполагает, что мать без ее ведома позвала гостей. Прежде такого никогда не случалось. Потом она сообразила, что Или нет — комната пуста. Илона тряхнула головой, достала посуду, просеяла муку и взбила яйца. Ожидание того, что скоро за дверью послышатся шаги, волновало ее. Она знала, что придет Луйзи, но надежда и лихорадочная, нервная дрожь говорили другое. Вдруг она представила себе Или в той, чужой комнате, с ее запахами духов и табака, с подушками, безделушками — со всем отталкивающим кокетливым убранством; увидела, как дочь быстро одевается и выбегает на улицу. Она не садится ни в трамвай, ни в такси, ни в автобус — они слишком неповоротливы в сравнении с той силой, которая наделила крыльями ее изящные ножки, — и мчится, мчится по улицам. Илона в собственной груди ощущает гулкое, порывистое биение сердца дочери. И, словно они обе слились воедино, Или пронизывает жгучая, болезненная тоска, горькое и сладостное чувство раскаяния — все, что теперь толкает, притягивает, направляет Или к ней, к матери... Вот она входит на улицу Хаттю... вот заворачивает

к воротам... вот каблучки застучали по камням двора, она подошла к двери и, прежде чем постучать, медленно подняла согнутый палец...

В этот миг действительно раздался стук в дверь. Илона, завороженная собственным воображением, растерянно стояла посреди кухни. Там, за дверью, она ясно видела ожидавшую Или: синие глаза, прямой нос с гордо раздувающимися тонкими ноздрями; полную, слегка выпяченную нижнюю губку, придававшую прелестному лицу оригинальность и выражение детского упрямства. Она отчетливо видела раскаяние дочери, страстное желание броситься матери на грудь, как тогда, давно, в раннем детстве, когда без матери было одиноко и сиротливо.

В дверь снова постучали, уже громче. Илона с неподвижным взглядом, ожидая чуда, подошла к двери и дрожащими пальцами оттянула задвижку. На пороге стояла не Или, а Луйзи Варга. И хотя Илона заранее знала это, она почувствовала глубокое разочарование.

— Это ты? — бледно улыбнувшись, спросила Илона.

Луйзи, торжественная и взволнованная, стояла в дверях. Ее улыбка была еще милей и невинней оттого, что она и понятия не имела о разочаровании, которое принесла с собой. Она была иная, совсем иная, чем Или, и все-таки красота ее настойчиво обращала на себя внимание. Она опустила яркие глаза, словно хотела скрыть силу своей молодости, спрятать пылкое ожидание. Ее румяные губы дрожали, как тогда, в застекленном коридоре умывальной, и все-таки всем своим существом она улыбалась.

— Я, — тихо ответила она, смутно чувствуя, что чем-то помешала хозяйке. Свежевыстиранное легкое платье открывало шею и сильные руки. Она нерешительно остановилась, скованная немотой и холодностью квартиры. Ее охватило какое-то тягостное чувство, какое бывает у человека, когда он входит в чужой дом, где незнакомая семья занимается своими обычными делами и не обращает внимания на вошедшего, а тот, сознавая неуместность своего вторжения, не знает, как ускользнуть, хотя никто им не интересуется.

Такое же чувство испытывала Луйзи — ее стесняла связанность Илоны.

Но трепетное ожидание, взгляд, выдающий робкую надежду на встречу с Иштваном, вся юная прелесть девушки смягчили Илону. Она улыбнулась и жестом пригласила гостью.

— Входи, входи, Луйзи, скоро Иштван придет...

Аккуратно расправив платье, Луйзи уселась возле стола. Она оглядела чистую, немного пустую комнату, и та сразу показалась ей знакомой и милой — ведь в этой комнате она в первый раз встретится наедине с Иштваном!

А у Илоны ёкнуло сердце — Луйзи сидела на месте Или. И снова нахлынули на нее горькие мысли. Да, ее никогда не связывало с Или вот такое безмолвное, торжественное ожидание; никогда они в согласии и радости не поджидали никого вместе. Или сообщала ей о приглашенном госте за час до его прихода, и мать, тревожась, сидела в кухне, не смея переступить порог комнаты; а потом молча и беспокойно всматривалась в лицо дочери, стараясь угадать ее мысли и чувства.

В дверь снова постучали. Илона впустила Иштвана, которого она тоже пригласила в цехе, словно они не были соседями.

Она с удивлением заметила на лице юноши выражение ожидания и надежды; он украдкой и беспокойно озирался, совсем как до него Луйзи, и с трудом переводил дыхание, словно всю дорогу бежал. Потом он пытливо посмотрел в лицо Илоны, и она, взяв его за руку, повела в комнату:

— Входите, здесь вы встретите милую знакомую девушку.

Иштван сразу остановился и взглянул вопросительно.

— Побеседуйте вдвоем, а я пироги пойду печь.

На минуту она задержалась в дверях, глядя, как молодые люди, растерянные и сконфуженные, смотрят друг на друга, затем выскользнула в кухню. Сама не зная почему, она повеселела. Ее неожиданно согрело доброе и новое чувство, что вот у нее гости, она им помогает, они ждут от нее чего-то. Снова пробудилось самолюбие хозяйки. Она быстро замесила, раскатала тесто — надо, чтоб пироги получились на славу, не ударить лицом в грязь. Изредка она останавливалась и прислушивалась. Голоса доносились неясно, слов разобрать было нельзя. Однако длительные перерывы в беседе молодых людей выдавали их застенчивость. Илона знала — войди она сейчас туда, оба будут рады; она спокойными словами вывела бы их из смущения.

— Мы еще ни разу не были с тобой одни, — обратилась Луйзи к юноше и неуверенно умолкла, улыбаясь, словно заранее прося прощения за наивную ложь. — Я уже несколько раз заходила к тетушке Илоне; странно, что мы только сегодня встретились здесь...

Она откинула голову и положила свою чуть заметно дрожащую ладонь на руку юноши.

— В этом нет ничего плохого, верно? Ты ведь не сердишься?

Иштван вошел в комнату со смутной надеждой, что сейчас встретит Или. Рассудком он понимал, что это невозможно; но слова матери всколыхнули все прежние мечты. На тысячную долю мгновения, как при наплыве двух кинокадров, когда второй смывает, растворяет и впитывает в себе черты первого, он принял Луйзи за Или. Но образ сразу прояснился, перед ним была Луйзи.

Иштван понял, что свидание подстроено. У него появилось такое чувство, будто он попал в западню, из которой не сможет выбраться. Его покоробило, что ловушкой стала именно эта комната, которую покинула Или, где каждая вещь напоминала о ней. В то же время это его успокоило — суровая действительность, словно указующий перст, предупреждала его о непреложности факта. Иштван давно замечал, что Луйзи к нему неравнодушна: по нескольку раз в день под разными предлогами она забегала в его цех; только у него, и ни у кого другого, просила совета по работе. Заходя в соседний цех, к Илоне или к кому-либо из знакомых, он постоянно чувствовал на себе открытый, ожидающий и в то же время молящий взгляд. Но он избегал ее — именно за ту привлекательность, которая пробуждала смущавшие его, самые сокровенные мысли.

Ощущая на руке ее дрожащие пальцы, глядя на ее милое, свежее лицо, видя это сильное тело, дышащее чистотой и молодостью и излучающее покорную преданность, он загорелся внезапно вспыхнувшим огнем. Впервые зажглось в нем упрямое желание раз и навсегда покончить с тем чувством, которое не давало ему права даже на воспоминания, и с тем существом, которое никогда не предназначалось ему. Только здесь, только в этой комнате должно было это случиться. Не заметив, кто из них первый потянулся к другому, Иштван обнял Луйзи, и губы их соединились.

Луйзи подняла голову: в глазах ее стояли слезы, рот дрожал и кривился, как у ребенка, не знающего, плакать ему или смеяться, но бесхитростная радость, предвестник счастья, так и рвалась наружу.

Иштван, глядя на Луйзи, невольно улыбнулся и с тихим смехом шепнул:

— Какая ты красавица!

Глаза Луйзи просияли. Она так давно ждала этого часа, что боялась верить своему счастью. Чтобы услышать слова, которых страстно желала, чтобы открыть сердце юноши, которое так долго оставалось для нее закрытым, чтобы поймать и не упустить мимолетный миг счастья, она сама поторопилась сказать слова, которых ждала от Иштвана:

— Я люблю тебя... давно... и всегда буду любить.

Прижав лоб к плечу юноши, она ждала. Но Иштван молчал. Он все еще обнимал Луйзи за талию и чувствовал приятное, легкое, радостное головокружение. Однако в глубине его души шевельнулось то самое чувство, о котором он не хотел вспоминать; оно еще не умерло и удерживало, не пускало готовое сорваться с губ слово. Держа в объятиях девушку, он так внимательно вслушивался в это до боли знакомое чувство, что на минуту совсем позабыл о Луйзи. Потом вздохнул, наклонился к ней и молча поцеловал в щеку.

Когда Илона с пирожками на подносе вошла в комнату, она сразу поняла, что все случилось так, как хотела Луйзи. Это было заметно по сдержанным лицам обоих, и по испытующим взглядам, которые они тайком бросали друг на друга, и по тому, как оба с одинаковой, преувеличенной живостью заговорили с хозяйкой. Илона почувствовала, что вошла в нужный момент, и обрадовалась. У нее появилось ощущение особенной, не испытанной раньше торжественности, словно она сама была участницей прекрасного, радостного события.

Иштван спешил — он замещал кого-то в вечерней смене. Пока юноша и девушка, чуть-чуть сконфуженные, прощались, Илона возилась со скатертью и чашками.

Луйзи осталась у нее, но была молчалива. Мечтательно смотрела она перед собой. Спустившиеся сумерки повторили иллюзию. Казалось, неподвижная, мучительно переживая первую любовь, сидела Или. Илона невольно подошла к девушке и погладила легкие, пышные волосы, падавшие на плечи. Луйзи схватила ее руку и взглянула на нее счастливыми и беспокойными глазами, полными слез. Широкое, милое лицо не было лицом дочери, но Илоне оно показалось родным.

Она поняла, что Луйзи пытается побороть какой-то неясный страх, и это ее умилило. Она сразу почувствовала себя сильной и готовой помочь. Илона наклонилась к девушке и снова погладила ее по спине и плечам.

— Ничего не бойся, все будет хорошо! — уверенно шепнула она.

(Окончание следует)

Из современной бельгийской поэзии

Робер Вивье

ВЫ БЫЛИ...

С искусно сделанными глазами
Вы были похожи на остальных,
И пальцы с серебряными ногтями
У вас шевелились, как у живых.

Вы, молчаливые, как иконы,
Сидели в своих конторах-дворцах,
И гипнотизировал гимн телефонный
Ваши набожные сердца.

То было в эпоху квадратных кресел,
Сигар и больших биржевых страстей,
Когда вокзальный купол завесил
Большую Медведицу от людей.

И ваш автобус по всем столицам,
Сверкая огнями, летел наугад...
Я помню ваши мертвые лица,
Ваш оскал и стеклянный взгляд.

Жорж Буйон

СПРЯЖЕНИЕ

Выучить к завтрашнему дню наизусть.

Мой друг, голубка моя,
Жена, я люблю тебя,
Мы любим друг друга.

Источник жизни моей,
О мать, я люблю тебя,
Мы любим друг друга.

Я люблю тебя, радость моя,
Ты любишь меня, мой сын,
Мы любим друг друга.

Я люблю тебя с детских лет,
Ты любишь меня, мой брат,
Мы любим друг друга.

Свобода, ты любишь меня,
Я светлый твой облик люблю,
Мы любим друг друга.

Давайте же будем вслух
Хором спрягать глагол,
Глагол Купидона,

Чтобы настало скорей,
Скорей
Царство любви:

Я люблю тебя,
Ты любишь меня,
Мы любим друг друга.

Раймон Кино

ХОР ПОЭТОВ

Мы — пять пальцев руки дающей, мы под утро, в ночную тишь,
Гнезда ласточек голубые прилепляем к карнизам крыш.

Чтоб с людьми заслужить свой отдых, мы трудиться должны, пока
Хлеб не станет белей и солнце не пробьется сквозь облака.

А пока не настал тот праздник, засучим свои рукава
И писать попрозрачней будем, поясней подбирать слова.

Мы сторонники доброй воли, мы за честных весельчаков,
Мы за счастье людей, мы против реактивных штурмовиков.

Со святым Михаилом, который из Брюсселя изгнал сатану,
Мы встаем против тех, кто хочет со страной поссорить страну.

Неустанно идеи наши будем сеять мы вновь и вновь.
Разве же ремесло поэта не терпенье и не любовь?

Переводы с французского Леона Тоома.

Шарль Муасс

НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК

На земле, где живет человек, день уходит за днем.
На земле каждый день горевали, смеялись, любили...
И невольно ты думаешь: сколько напрасных усилий!
Но взгляни: из-под камня, пылая незримым огнем,
Пробивается к свету росток, и его появленье,
И дыхание ветра, и сердца людского биенье —
Все вокруг предвещает приход небывалой весны,
Все вокруг нам твердит: будут стены тюрьмы снесены;
И когда приближается вечер, то небо над нами
Простирается, словно огромное алое знамя.

НЕЗНАКОМКА ИЗ МАРАМУРЕША

В тебя я не влюблен, но я тебя люблю,
Смуглянка девушка с горящими глазами,
И сердце гордое и красоту твою
Мне хочется сравнить с чеканными стихами.

Сегодня образ твой как будто в полусне
Я вижу пред собой — прекрасен он и светел,
Ты улыбаешься, рукою машешь мне,
Как в тот погожий день, когда тебя я встретил.

Глаза цыганские, и в волосах цветок,
Тяжелый труд в полях облагородил руки,
И взор горячих глаз приветлив и глубок —
В них не прочтешь тоски, в них не увидишь скуки.

О дочь Румынии! На солнечный восход
Ты смотришь по утрам со своего порога.
День разгорается. Страна твоя цветет,
И на душе легко, когда ясна дорога.

ВАРШАВА

К незнакомому городу я подъезжал,
И руины чернели и слева и справа,
Но, белея вдали, из руин он вставал,
И прочел я короткую надпись: Варшава.

Как влюбленные к месту свиданья спешат,
Так спешил я к Варшаве, где песни звенели,
Песни новые вторили стуку лопат
И навстречу весеннему солнцу летели.

И смотрел я на мрамор воскресших садов,
На дома, что поднялись из пепла пожарищ,
И на улицах древних, средь новых домов
Раздавалось великое слово «товарищ».

Озаренные солнцем весеннего дня,
Торопились прохожие, дети смеялись;
Я по городу шел, и в душе у меня
Боль и радость в единое чувство сливались.

Я по городу шел, и о муках былых
Говорили мне камни, кричали руины.
Но росли там цветы, и дыхание их
Плыло медленно вдаль над Варшавой старинной.

ПОЭТУ, КОТОРЫЙ СТОИТ У СВОЕГО ОКНА

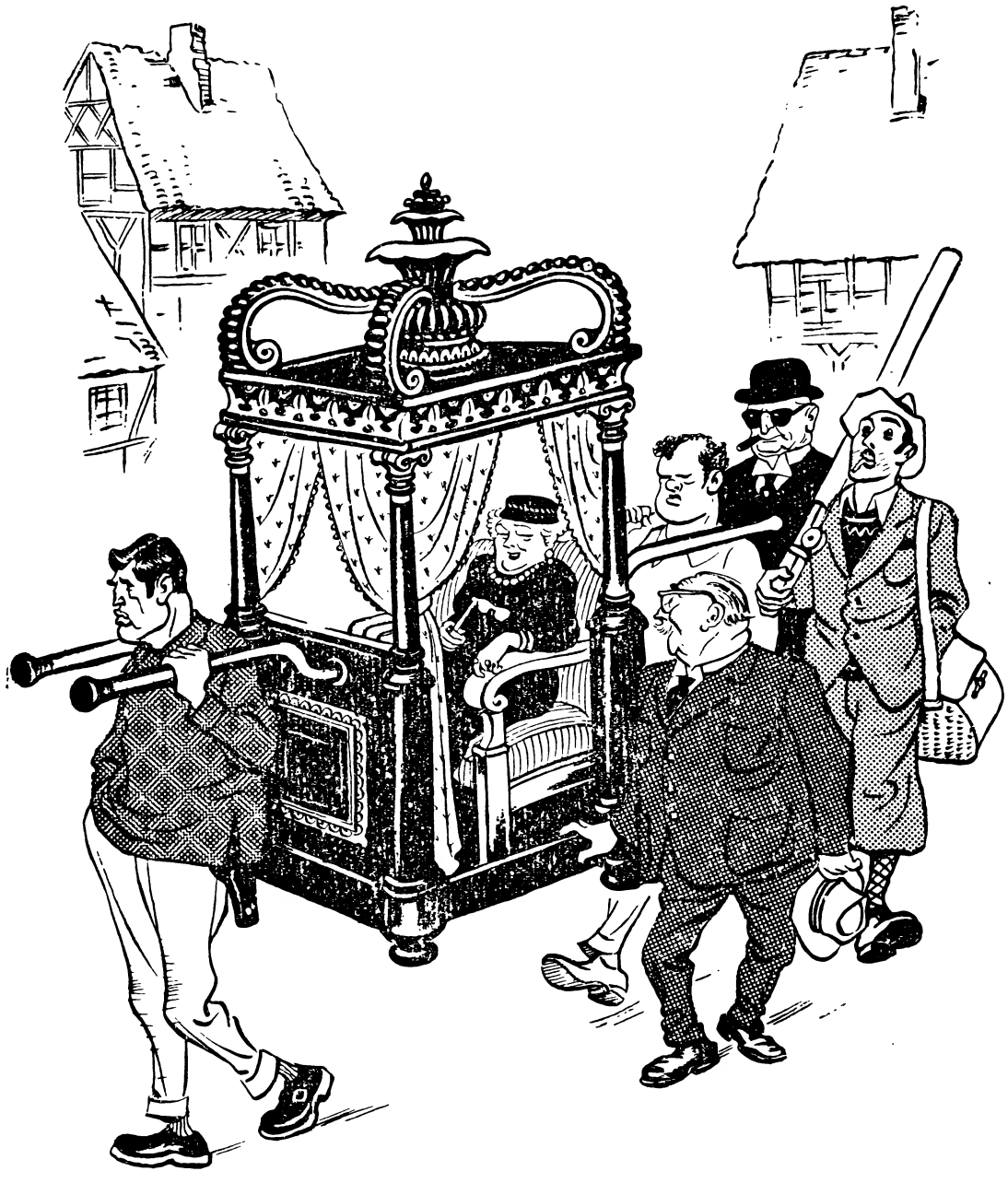
В сумраке вечернем наши радости тонут,
Двери скрипят, запираются квартиры,
В сумраке вечернем короли и банкиры
Сегодня развлекаются под охраной закона.

Из репродукторов доносится голос лживый,
О любовных утехах саксофоны лают,
И зарево кровавое встает, пылая,
Над городом неволи, над царством наживы.

Ты стоишь у окна, и тебя тревожит
Этот гул, от которого никуда не деться;
Послушай, ведь в груди твоей бьется сердце!
Твой голос громыхать умеет! И что же?

Ты смотришь, как по небу скользят метеоры,
Как танцуют холодные ночные тени,
И, глаза отвращая от людских треволнений,
В пустоту небес погружаешь взоры.

Переводы с французского М. Кудинова.



«ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ». *Рис. Бор. Ефимова.*

Фридрих Дюрренматт

ВИЗИТ старой дамы

Трагическая комедия

Перевод с немецкого Вл. Саппака и З. Борисовой

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ГОСТИ:

Клер Цаханесин, урожденная Вешер, — мультимиллионерша.
Ее мужья №№ 7—9.
Дворецкий.
Тоби, Роби } жуют резинку.
Коби, Лоби } слепые.

ХОЗЯЕВА:

Иль.
Его жена.
Его дочь.
Его сын.
Бургомистр.
Пастор.
Учитель.
Врач.
Полицейский.
Первый, Второй, Третий, Четвертый } обыватели.
Художник.
Первая женщина.
Вторая женщина.
Фрейлейн Луиза.

ПРОЧИЕ:

Начальник станции.
Начальник поезда.
Кондуктор.
Судебный исполнитель.

НАДОЕДЛИВЫЕ:

Первый репортер.
Второй репортер.
Радиорепортер.
Кинооператор.

Место действия — ГЮЛЛЕН, провинциальный городок.
Время — наши дни.

Антракт после второго акта.

ПЕРВЫЙ АКТ

Поднятие занавеса сопровождается ударом станционного колокола. Затем появляется надпись: «Гюллен». Очевидно, это название маленького городка, очертания которого угадываются на заднем плане. Городок разорен, всюду следы запустения и нищеты. На переднем плане — здание вокзала и жалкая привокзальная улочка. Полуразорванное расписание. Дверь с табличкой, висящей на одном гвозде: «Вход воспрещен». Покосившийся семафор. На перроне слева — домик без окон, черепичная крыша, стена заклеена вылинявшими афишами, указатели: «для мужчин», «для женщин». Золотые блики жаркого осеннего солнца еще более подчеркивают убожество всей картины.

На перронной скамье четыре гюлленца. Неописуемо оборванны. Художник трудится над плакатом, выводит: «Добро пожаловать, Клери».

Громыхание пролетающего мимо поезда. Начальник станции поднимает флажок. Люди на скамье глазами провожают экспресс.

Первый. Курьерский «Гудрун», Гамбург—Неаполь.

Второй. В 11.27 пройдет «Неистовый Роланд», Венеция—Стокгольм.

Третий. Смотреть на проносящиеся поезда — это единственное, что нам еще осталось.

Четвертый. Пять лет назад и «Гудрун» и «Неистовый Роланд» останавливались в Гюллене. Да что там! Здесь останавливались даже «Дипломат» и «Лорелея». Экспрессы высшего класса.

Первый. Мирового класса.

Второй. Теперь мимо нас проскакивают даже пассажирские. Только два из Каффигена и один в 1.13 из Кальберштадта задерживаются на минуту.

Третий. Мы разорены.

Четвертый. Вагнер вылетел в трубу.

Первый. Бокман обанкротился.

Второй. Мы живем на пособие для безработных.

Третий. Стоим в очередях за бесплатным супом.

Первый. Разве мы живем?

Второй. Прозябаем.

Третий. Околеваем.

Четвертый. И так весь город.

Удар колокола.

Второй. Скоро приедет миллиардерша. Говорят, в Кальберштадте она построила госпиталь.

Третий. В Каффигене — детские ясли. А в столице — церковь в честь своего пребывания.

Художник. Цимту, этому натуралистическому пачкуну, она заказала свой портрет.

Первый. У нее деньги! Огромные деньги! Она владеет нефтяным концерном, железной дорогой, радиовещательной компанией, кварталом удовольствий в Гонконге... Всего не перечислишь!

Грохот поезда. Начальник станции стоит с поднятым флажком. Гюлленцы поворачивают головы вслед пролетающему экспрессу.

Четвертый. «Дипломат».

Третий. Когда-то мы были культурным центром.

Второй. Одним из первых в стране.

Первый. В Европе.

Четвертый. Здесь, в гостинице «Золотой апостол», ночевал Гете.

Третий. Брамс сочинил квартет.

Удар колокола.

Второй. Бертольд Шварц изобрел порох.

Художник. Вот я. С блеском окончил в Париже школу изящных искусств, а чем занимаюсь теперь? Малюю вывески.

Грохот. Появляется Кондуктор. Видимо, он только что соскочил с остановившегося поезда.

Кондуктор *(протяжно)*. Гюллен!

Первый. Пассажирский из Каффигена.

Какой-то человек быстро идет по перрону, проходит мимо людей на скамье, скрывается в двери с надписью «для мужчин».

Второй. Судебный исполнитель.

Третий. Приехал описывать ратушу.

Четвертый. Политически мы тоже обанкротились.

Начальник станции *(поднимает флажок)*. Отправление!

Из городка идут Бургомистр, Учитель, Пастор и Иль — человек лет шестидесяти пяти. На всех жалкая, потертая одежда.

Бургомистр. Высокая гостья прибывает с пассажирским из Кальберштадта в 1.13.

Учитель. Церемонию встречи начнет своим выступлением объединенный хор.

Пастор. А мы ударим в пожарный колокол. Слава богу, он еще не описан.

Бургомистр. На базарной площади будет играть городской оркестр. Спортивное общество покажет миллиардерше пирамиду. Потом обед в «Золотом апостоле». К сожалению, у нас нет средств на иллюминацию собора и ратуши.

Судебный исполнитель выходит из домика.

Судебный исполнитель. Доброе утро, господин бургомистр. Весьма рад видеть вас.

Бургомистр. Что вам здесь нужно, судебный исполнитель Глутц?

Судебный исполнитель. Вы, господин бургомистр, сами это знаете. Передо мной стоит грандиозная задача. Попробуйте-ка описать целый город!

Бургомистр. Вы ничего не найдете, кроме старой пишущей машинки в ратуше.

Судебный исполнитель. Господин бургомистр забыл о гюлленском городском музее.

Бургомистр. Уже три года, как продан в Америку. Наши кассы пусты. Ни один человек не платит налогов.

Судебный исполнитель. Это нужно проверить. Вся страна процветает, а почему-то именно Гюллен обанкротился, Гюллен, где живет Вагнер, где, в конце концов, живет сам Бокман!

Бургомистр. Мы давно ломаем голову над этой экономической загадкой.

Первый. Это дело рук масонов.

Второй. Евреи плетут интриги.

Третий. Финансовые тузы припрятали денежки.

Четвертый. Мировой коммунизм протягивает к нам свои лапы.

Удар колокола.

Судебный исполнитель. Все-таки пойду поищу. У меня глаз, как у ястреба. Всегда что-нибудь высмотрю. Нужно пошарить в городской кассе. *(Уходит)*.

Бургомистр. Пусть лучше грабит нас сейчас, чем после приезда миллиардерши.

Художник закончил свою работу.

Иль. Так не пойдет, бургомистр, это звучит слишком интимно. Нужно написать: «Добро пожаловать, Клер Цаханесин».

Первый. Но раньше мы называли ее Клери.

Второй. Клери Вешер.

Третий. Она здесь выросла.

Четвертый. Ее отец был каменщиком.

Художник. Тогда я напишу на обратной стороне «Добро пожаловать, Клер Цаханесин». Если миллиардерша будет тронута, мы покажем ей и первый вариант.

Второй. Курьерский Цюрих—Гамбург.

Снова грохот проносящегося экспресса.

Третий. Точен, как всегда. По нему можно проверять часы.

Четвертый. Да, но у кого теперь есть часы?

Бургомистр. Господа, миллиардерша — наша единственная надежда.

Пастор. Если не считать господа бога.

Учитель. Увы, бог не дает денег.

Бургомистр. Вы когда-то были дружны с ней, Иль. Теперь все зависит от вас.

Пастор. Кажется, вы расстались не по-хорошему? Я что-то слышал об этом. Вам не в чем покаяться вашему духовному отцу?

Иль. Мы были настоящими друзьями, я и Клара. С тех пор прошло сорок пять лет, господа. Но я, словно сейчас, вижу, как в сарае Петера она улыбается мне из темноты или как в лесу Конрада бегает босиком по мху и опавшей листве. Стройная и гибкая, как тростинка, с рыжими развевающимися волосами — она была чертовски красива! Жизнь разлучила нас, только жизнь, как это бывает всегда.

Бургомистр. Для моей краткой речи на обеде в «Золотом апостоле» мне нужны некоторые подробности о госпоже Цаханесин. *(Достает из кармана записную книжку).*

Учитель. Я изучил старые школьные журналы. К сожалению, к моему огромному сожалению, отметки Клары Вешер ниже всякой критики. И поведение тоже. Она успевала только по ботанике и зоологии.

Бургомистр *(записывая)*. Хорошо. Успехи по ботанике и зоологии — очень хорошо.

Иль. Я могу сообщить еще кое-что для вас полезное, бургомистр. Клара любила справедливость. В этом не могло быть сомнений. Когда однажды задержали бродягу, она забросала полицейского камнями.

Бургомистр. Любовь к справедливости. Отлично. Это всегда производит впечатление! Но историю с полицейским мы, пожалуй, опустим.

Иль. Она всегда помогала бедным и готова была отдать последнюю рубашку. Как-то, помню, она даже украла картошку, чтобы помочь одной несчастной вдове.

Бургомистр. Постоянное стремление прийти на помощь ближнему? Господа, и это будет очень к месту. Если хотите, это самое главное. Не помнит ли кто-нибудь, какое здание воздвиг в городе ее отец? Это прозвучало бы эффектно.

Все. Никто не помнит.

Бургомистр *(закрывает записную книжку)*. Итак, я со своей стороны готов. Остальное предстоит сделать вам, Иль.

Иль. Понимаю. Цаханесинша должна раскошелиться.

Бургомистр. Но речь идет о миллионе. Нам нужен миллион.

Учитель. Детскими яслями нам не поможешь.

Бургомистр. Дорогой Иль, вы давно уже самое уважаемое лицо в городе. Весной я подам в отставку, войду в контакт с оппозицией. Мы объединимся и выдвинем вашу кандидатуру на пост бургомистра.

Иль *(смущенно)*. Но, господин бургомистр...

Учитель. Я целиком поддерживаю...

Иль. Господа, за дело! Прежде всего я расскажу Кларе о нашем бедственном положении.

Пастор. Только, пожалуйста, осторожно, деликатно...

Иль. С первых же минут мы должны действовать умно и психологически тонко. Один неверный шаг — и все полетит к черту. Особенно важно первое впечатление. Городским оркестром и объединенным хором тут не обойдешься.

Бургомистр. Иль прав. Это чрезвычайно важный момент. Госпожа Цаханесин вступает на родную землю. Она вернулась под отчий кров, она видит старых друзей, она тронута, она не может сдержать слез.

И тут появляюсь я. Разумеется, не в этом затрапезном виде, а в парадном черном сюртуке и цилиндре. Справа от меня — супруга, впереди — внучки, они в белом, в руках — розы. Боже, только бы все прошло гладко!

Удар колокола.

Первый. «Неистовый Роланд».

Второй. Венеция — Стокгольм, 11.27.

Пастор. 11.27. У нас еще целых два часа. За это время здесь все примет праздничный вид.

Бургомистр. Плакат «Добро пожаловать, Клер Цаханесин!» поднимут Кюн и Хаузер *(показывает на Художника и Четвертого)*. Остальные приветственно машут шляпами. Но, умоляю, не кричите так отчаянно, как в прошлом году, когда к нам приезжала правительственная комиссия. Это не произвело ровно никакого впечатления, и мы до сих пор не получили денежных субсидий. Здесь неуместен излишний энтузиазм. Но тихая радость на лицах, отдельные, точно нечаянно вырвавшиеся всхлипывания как нельзя лучше выразят чувства, которые нахлынули на каждого при виде вновь обретенной дочери нашего города. Будьте непринужденны, сердечны, но, конечно, организация дела тоже должна быть на высоте. Колокол вступает сразу после объединенного хора. Прежде всего нужно иметь в виду...

Грохот приближающегося поезда заглушает его слова. Скрежещущий звук тормозов. На всех лицах — крайняя степень удивления. Четверо на скамейке вскакивают.

Художник. Курьерский!

Первый. Остановился!

Второй. В Гюллене!

Третий. В самом забытом...

Четвертый. В самом несчастном...

Первый. В самом жалком городишке на линии Венеция — Стокгольм.

Начальник станции. Светопреставление! Ведь «Неистовый Роланд» выскакивал из-за поворота у Лейтенау и стрелой проносился мимо! Как черная точка исчезал он в Пюкепридской долине!

Справа входит Клер. Ей 63 года. Рыжие волосы, жемчужное ожерелье, массивные золотые перстни. Разряжена до невозможности. Но все-таки это светская дама: несмотря на всю ее экстравагантность, в ней чувствуется какая-то странная грация. За Клер движется свита: Дворецкий Боби (ему около 80, в черных очках) и Муж № 7 (высокий, тонкий, черные усики); он в полном оснащении рыболова. Взволнованный Начальник поезда сопровождает всю группу.

Клер. Это Гюллен?

Начальник поезда. Вы остановили поезд стоп-краном, мадам!

Клер. Я всегда так останавливаю поезда.

Начальник поезда. Я категорически протестую. В этой стране никто не останавливает поезда стоп-краном. Даже если это очень нужно. Точность расписания превыше всего! Я требую объяснений.

Клер *(к мужу)*. Мы в Гюллене, Моби. Узнаю печальную обитель. Вон там внизу лес Конрада и пруд, где ты сможешь поудить своих рыбок — всяких там щук и форелей. А направо — крыша сарая Петера.

Иль *(как бы проснувшись)*. Клара!

Учитель. Цаханесинша!

Все. Цаханесинша!

Учитель. Еще не готов объединенный хор, молодежная группа!

Бургомистр. Где спортсмены? Где пожарная команда?

Пастор. Где причетник?

Бургомистр. Ради бога! Скорей! Мой сюртук! Цилиндр! Внучки!

Первый. Клери Вешер! Клери Вешер!

Вскакивает, бежит в город.

Бургомистр *(кричит ему вслед)*. Не забудь предупредить мою жену!

Начальник поезда. Я требую объяснений, мадам. От имени дирекции железной дороги.

Клер. Вы болван. Мне просто захотелось посетить этот городок. Что же мне, прыгать на ходу из вашего курьерского поезда?

Начальник поезда. Вы задержали «Неистовый Роланд» только для того, чтобы осмотреть Гюллен?!

Пытается сохранить самообладание.

Клер. Да. А что?

Начальник поезда. Мадам! Если вы захотели посетить Гюллен — пожалуйста, к вашим услугам пассажирский поезд из Кальберштадта в 12.40. Прибытие в Гюллен 1.13.

Клер. Пассажирский поезд, который останавливается в Локене, Бруннхюбеле, Бейзенбахе и Лейтенау? Не хотите ли вы заставить меня целых полчаса тащиться по этой несчастной стране?

Начальник поезда. Мадам, это вам дорого обойдется.

Клер. Дай ему тысячу, Боби.

Все *(перешептываются)*. Тысячу?

Дворецкий дает Начальнику поезда тысячу.

Начальник поезда *(ошеломлен)*. Мадам...

Клер. И три тысячи в фонд помощи вдовам железнодорожников.

Все. Три тысячи!

Дворецкий вручает Начальнику поезда три тысячи.

Начальник поезда *(смущенно)*. У нас нет такого фонда, мадам.

Клер. Нет — так будет.

Бургомистр что-то шепчет Начальнику поезда на ухо.

Начальник поезда *(потрясен)*. Госпожа Клер Цаханесин? О, простите, милостивая государыня! Это, конечно, совсем другое дело. Само собой разумеется, мы остановились бы в Гюллене, если бы имели хоть малейшее представление... Возьмите ваши деньги обратно. Четыре тысячи, боже мой!

Все *(перешептываются)*. Четыре тысячи!

Клер. Оставьте себе эту мелочь.

Все. Мелочь?

Начальник поезда. Может быть, милостивая государыня, вы желаете, чтобы «Неистовый Роланд» подождал, пока вы осмотрите Гюллен? Я убежден, что дирекция железной дороги будет только рада этому. Обязательно посетите гюлленский собор. Какая готика! Чего стоит один портал с изображением страшного суда!

Клер. Убирайтесь отсюда к черту со своим поездом!

Муж № 7 *(плаксиво)*. Но пресса, мышка, пресса еще не сошла. Репортеры, ни о чем не подозревая, обедают в вагон-ресторане.

Клер. Пусть обедают, Моби. Сначала мне пресса в Гюллене не понадобится, ну а потом она примчится сюда сама.

Между тем Первый гюлленец принес Бургомистру сюртук. Бургомистр торжественно приближается к Клер. Художник и Четвертый гюлленец высоко поднимают плакат: «Добро пожаловать, Клер Цаха...» (приветствие не успели дописать). Начальник станции дает отправление.

Начальник поезда. Только бы госпожа Цаханесин не пожаловалась дирекции железной дороги. Ведь это было всего лишь маленькое недоразумение.

Вскакивает в трогающийся поезд.

Бургомистр. Высокочтимая милостивая государыня! В качестве бургомистра Гюллена я имею честь приветствовать вас, высокочтимая милостивая государыня. Вы, дитя нашей родины...

Продолжает говорить, но грохот удаляющегося поезда заглушает его слова

Клер. Благодарю, господин бургомистр, за прекрасную речь.

Направляется к Илю, тот несколько смущенно выступает вперед.

Иль. Клара!

Клер. Альфред!

Иль. Как хорошо, что ты приехала.

Клер. Я думала об этом всю жизнь. С тех пор, как покинула Гюллен.

Иль *(неуверенно)*. Очень любезно с твоей стороны.

Клер. Ты вспоминал меня?

Иль. Все время. Ты это знаешь, Клара.

Клер. Прекрасны были дни, что мы провели с тобой.

Иль *(гордо)*. Конечно. *(Учителю)*. Смотрите, учитель, дело на мази!

Клер. Помнишь, как ты называл меня тогда?

Иль. Моя дикая кошечка...

Клер *(мурлыкает, как старая кошка)*. А еще как?

Иль. Бесенок.

Клер. А я звала тебя: «Мой черный барс».

Иль. Я им остался.

Клер. Ерунда! Ты поседел. Ты растолстел и опустился.

Иль. Но ты, ты совсем прежняя, бесенок.

Клер. Брось! И я постарела и растолстела. К тому же, я потеряла левую ногу. Автомобильная катастрофа. Теперь предпочитаю поезда. Но протез у меня превосходный. Ты не находишь? *(Приподнимает юбку)*. Работает отлично.

Иль *(вытирает испарину)*. Мне жаль, что так случилось, моя кошечка.

Клер. Альфред! Познакомься — мой седьмой муж. Владелец табачных плантаций. Мы очень счастливы в браке.

Иль. Рад за тебя.

Клер. Подойди, Моби. Поклонись. Собственно говоря, его зовут Педро. Но Моби звучит лучше. Это рифмуется с Боби — так я называю своего дворецкого. Важно, чтобы имена моих мужей соответствовали его имени — ведь дворецкого берешь на всю жизнь. *(Муж № 7 кланяется)*. Посмотри, Альфред, на Моби, как он мил, не правда ли? До чего ему идут его черные усики! Моби, мысли! *(Муж № 7 мыслит)*. Глубже! *(Муж № 7 мыслит глубже)*. Еще глубже!

Муж № 7. Но я не могу глубже, мышка. Ей-богу, не могу.

Клер. Глупости! Можешь. Поднатужься. *(Муж № 7 мыслит еще глубже. Удар колокола)*. Ну, вот видишь, пошло. Тебе не кажется, Альфред, в такие минуты в нем появляется что-то демоническое? И вообще он похож на бразильца. Но он не бразилец. Он православный. Нас венчал поп. Это было в высшей степени интересно! Ну, теперь я хочу осмотреть Гюллен. *(Наводит усыпанный драгоценными камнями лорнет на домик слева)*. Эту общественную уборную построил мой отец, Моби. Отличная работа, точно выполнено! В детстве я часами сидела на крыше и плевала вниз. Но почему-то только на мужчин.

В глубине уже собрались объединенный хор и молодежная группа. Учитель в цилиндре подходит к Клер.

Учитель. Милостивая государыня! Как директор гюлленской гимназии и как верный поклонник прекраснейшей из муз — музы полифонии, — я имею удовольствие представить вам наш объединенный хор, который исполнит популярную народную песню.

Клер. Шпарьте, учитель, вашу популярную народную песню.

Учитель поднимает камертон, хор начинает торжественно петь, но в этот момент слышен грохот приближающегося поезда. Начальник станции держит флажок. Хор борется со стуком колес. Учитель в отчаянии. Наконец поезд проносится.

Бургомистр *(безутешно)*. Колокол! Должен был вступить колокол!

Клер. Хорошо спето, гюлленцы! Особенно оригинален был белокурый бас слева, с большим кадыком.

Через хор протискивается Полицейский. Вытягивается перед Клер.

Полицейский. Сержант полиции Ханке, милостивая государыня. К вашим услугам.

Клер *(рассматривает его)*. Благодарю. Но я никого не собираюсь арестовывать. Впрочем, вы, может быть, скоро понадобитесь самому Гюллену. Скажите, вы умеете, если нужно, смотреть на вещи сквозь пальцы?

Полицейский. А как же. В Гюллене без этого не проживешь.

Клер. На этот раз вам придется вообще зажмуриться.

Полицейский обалдело уставился на Клер, пытаясь понять смысл сказанного.

Иль *(смеется)*. Совсем прежняя Клара! Бесенок мой! *(Довольный хлопает себя по ляжкам)*.

Бургомистр в цилиндре, взятом у Учителя, представляет Клер своих внучек. Это — близнецы семи лет, с белокурыми косичками.

Бургомистр. Мои внучки, милостивая государыня. Гермина и Адольфина. А супруги моей еще нет.

Утирает пот. Девочки приседают и преподносят Клер красные розы.

Клер. Прелестные малютки, бургомистр.

Сует букет Начальнику станции. Бургомистр украдкой передает цилиндр Пастору.

Бургомистр. Наш пастор, милостивая государыня.

Пастор снимает цилиндр, кланяется.

Клер. А, пастор? Вы исповедуете умирающих?

Пастор *(удивлен)*. Это мой долг.

Клер. И тех, кто приговорен к смерти?

Пастор *(смущенно)*. В нашей стране, милостивая государыня, смертная казнь отменена.

Клер. Может быть, ее скоро снова введут.

Пастор в замешательстве. Бургомистр надевает возвращенный ему цилиндр.

Иль *(смеясь)*. Как ты мило шутишь, моя кошечка!

Клер. Ну, теперь пора в город!

Бургомистр хочет подать ей руку.

Клер. Что вам взбрело в голову, бургомистр? Я не далеко уйду с моим протезом.

Бургомистр *(испуганно)*. Конечно, конечно! У нашего врача есть свой автомобиль — «мерседес» образца 32 года.

Полицейский *(щелкает каблуками)*. Слушаюсь, господин бургомистр! Машину доставлю немедленно.

Клер. Не нужно. После аварии я передвигаюсь только в моем паланкине. Роби и Тоби, ко мне!

Слева два Монстра несут паланкин. Это гиганты. На плече у одного гитара. Жуют резинку.

Клер. Гангстеры из Манхэттена. В Синг-Синге их ждал электрический стул. Я попросила, чтобы их выпустили. И заплатила за каждого по миллиону... А носилки — из Лувра. Подарок французского президента. Любезный господин. Выглядит совсем как в газетах... В город, Роби и Тоби!

Оба. Йес, мэм.

Клер. Прежде всего в сарай Петера и в лес Конрада. Я хочу вместе с Альфредом вновь увидеть наши любимые места. А тем временем вы доставите в «Золотой апостол» багаж и гроб.

Бургомистр *(ошарашен)*. Гроб?

Клер. Я захватила его с собой. Думаю, он мне пригодится. Вперед, мальчики!

Монстры, жуя резинку, поднимают Клер. Бургомистр дает знак, толпа разражается приветственными криками, которые постепенно замирают, когда двое слуг вносят дорогой черный гроб и направляются в Гюллен. В этот момент в городе ударили в набат

Бургомистр. Наконец-то, колокол!

Толпа устремляется за гробом. Горничные Клер и гюлленцы несут бесчисленные чемоданы. Полицейский управляет движением. Он хочет уже присоединиться к остальным, но в это время появляются два маленьких, толстеньких человечка. Держат друг друга за руки, изысканно одеты.

Оба. Мы в Гюллене. Мы дышим, мы дышим родным воздухом Гюллена.

Полицейский. Кто вы такие?

Оба. Мы принадлежим старой даме. Мы принадлежим старой даме. Она зовет нас Коби и Лоби.

Полицейский. Госпожа Цаханесин остановилась в «Золотом апостоле».

Оба *(радостно)*. Мы слепые! Мы слепые!

Полицейский. Слепые? Тогда я вас туда провожу.

Оба. Спасибо! Большое спасибо, господин полицейский!

Полицейский *(удивленно)*. Откуда вы знаете, что я полицейский, если вы слепые?

Оба. По голосу. По голосу. У всех полицейских одинаковые голоса.

Полицейский. Похоже, вы уже имели дело с полицией. Кто же вы такие, черт возьми?

Оба. Скоро узнаете. Скоро узнаете.

Полицейский *(озадаченно)*. Однако у вас веселый вид.

Оба. Каждый день получаем котлеты и ветчину, каждый день.

Полицейский. На вашем месте я бы тоже пританцовывал. Пойдемте, дайте руку. Странный все-таки юмор у иностранцев.

Все уходят.

Фасад вокзала и домик поднимаются кверху. Перемена декораций при открытом занавесе. Вестибюль гостиницы. В середине сцены — позолоченная фигура апостола. Следы былой роскоши. Все в пыли, захламлено, обшарпано, облуплено. На переднем плане Бургомистр и Учитель за столиком. Пьют. Через вестибюль все время проносят чемоданы Клер.

Бургомистр. Чемоданы! Горы чемоданов! А только что пронесли клетку с каким-то диким зверем. Говорят, это черный барс.

Учитель. Гроб она велела поставить в лучшей комнате. Странно.

Бургомистр. Женщина, которую знает весь мир, может себе позволить кое-какие причуды.

Учитель. Похоже, она останется у нас надолго.

Бургомистр. Тем лучше. Иль вертит ею, как хочет. Будьте уверены, он выкачает из нее наш миллион. Он уже называл ее дикой кошечкой и бесенком. За ее здоровье, учитель. За то, чтобы госпожа Клер спасла Бокмана!

Учитель. И Вагнера!

Бургомистр. Если Бокману и Вагнеру будет хорошо, то и нам будет хорошо. Все придет в движение. Ваша гимназия встанет на ноги. Наконец воспрянет духом наша общественность.

Чокаются.

Учитель. Уже два десятилетия я проверяю тетради по-латыни и греческому, два десятилетия веду неравную борьбу с гюлленскими гимназистами. Казалось бы, мне уже ничего не страшно. Но сегодня, час тому назад, когда старая дама в своем черном одеянии сошла с поезда в Гюллене, я понял, что такое настоящий страх. Она явилась к нам как Парка, как греческая богиня судьбы. Если бы ее звали Клото, а не Клер, можно было бы представить, что она плетет нити жизни.

Входит Полицейский.

Бургомистр. Подсаживайтесь к нам, сержант.

Полицейский садится.

Полицейский. Служишь в этой дыре, господин бургомистр, и не чувствуешь никакого морального удовлетворения. Но ничего, скоро здесь все расцветет. Только что миллиардерша и лавочник Иль были в сарае Петера. Трогательная сценка, доложу я вам! Оба были задумчивы, как в церкви. Мне даже стало как-то не по себе. Потом они отправились в лес Конрада. Настоящая процессия! Впереди — носилки с Клер, рядом — Иль, а сзади дворецкий и седьмой муж со своими удочками.

Учитель. Она умеет заставить мужчин поклоняться себе. Вторая Лаис!

Полицейский. А тут еще эти слепые. Черт его знает, что все это значит!

Учитель. Жутко! Они словно из преисподней вышли!

Бургомистр. Но что Цаханесинше с Илем нужно в лесу Конрада?

Полицейский. То же самое, что и в сарае Петера, бургомистр. Они бродят по местам, где когда-то, как говорится, пылала их страсть.

Учитель. Это было всепожирающее пламя! Как-то невольно вспоминается Шекспир. Ромео и его Джульетта... Господа, я потрясен. Первый раз в Гюллене я чувствую величие античности.

Бургомистр. Я предлагаю выпить за нашего доброго Иля, который сейчас так старается, чтобы улучшить наше положение. Господа, за самого популярного человека в городе, за моего преемника!

Декорации гостиницы исчезают. Четыре гюлленца вносят простую деревянную скамью без спинки, ставят слева. Теперь они изображают деревья, в руках у них зеленые ветки. Первый из гюлленцев, у которого на шее висит большое картонное сердце, встает на скамью. «А+К» — вырезано на сердце.

Первый. Мы сосны, мы буки, мы ели.

Второй. Мы темно-зеленая хвоя.

Третий. Мы мох и лишайник. Заросли плюща.

Четвертый. Мы чаща. Мы звериные тропы.

Первый. Стаи облаков. Птичьи крики.

Второй. Мухоморы. Пугливые серны.

Третий. Шепот листьев. Юные мечты.

Четвертый. Мы старый, добрый лес.

В глубине появляются Монстры, жующие резинку. Они несут паланкин, в котором восседает Клер. Рядом идет Иль. Сзади — Муж № 7 и Дворецкий.

Клер. Мы в лесу Конрада. Остановитесь, Роби и Тоби! *(Сходит на землю. Осматривает лес в лорнет)*. Взгляни, Альфред! Сердце с нашими именами. Они почти стерлись. А само дерево разрослось и стало толстым и старым. Совсем, как мы с тобой. *(Подходит к деревьям)*. Немецкий лес! Как давно не ходила я по твоему фиолетовому мху, как давно не ступала по твоей опавшей листве! *(Без перехода)*. Эй, вы, жвачные животные, убирайтесь за кусты! Мне надоели ваши гнусные рожи! И ты, Моби, пошел бы к своим рыбкам. Там, направо, ты найдешь пруд. *(Муж № 7 и Монстры послушно уходят. Клер садится на скамью)*. Посмотри, серна!

Третий гюлленец делает несколько прыжков.

Иль. Да, сейчас запрещена охота.

Садится рядом.

Клер. На этом камне мы целовались. Сорок пять лет назад. Мы любили друг друга под этими кустами, под этими деревьями, среди этих папоротников, мхов и мухоморов. Мне тогда исполнилось семнадцать, тебе еще не было и двадцати. Потом ты женился на Матильде Блюмхард с ее мелочной лавочкой, а я вышла за старого Цаханесина с его миллиардами. Он нашел меня в одном гамбургском борделе. Этот старый, набитый золотом индюк клюнул на мои рыжие волосы.

Иль. Клара!

Клер. Боби! Сигару «Генри Клей»! *(Дворецкий приближается. Подает сигару)*. Обожаю сигары. Казалось бы, я должна курить сигары моего мужа. Но я им не доверяю.

Иль. Я женился на Матильде Блюмхард ради тебя.

Клер. К тому же у нее водились деньжата, не так ли?

Иль. Ты была молода и хороша собой. Тебе принадлежало будущее. Я хотел твоего счастья и ради него пожертвовал своим.

Клер. Теперь это будущее пришло.

Иль. Если бы ты осталась здесь, бедность была бы нашим общим уделом.

Клер. Ты беден?

Иль. Перед тобой прогоревший лавочник из прогоревшего городишки.

Клер. Деньги есть у меня.

Иль. Ты уехала, и с тех пор я живу, как в аду.

Клер. Я тоже прошла сквозь ад.

Иль. Каждый день я воюю со своими домашними из-за каких-то жалких грошей, выслушиваю их попреки.

Клер. Значит, твоя Тильди не сделала себя счастливым?

Иль. Самое главное, что счастлива ты.

Клер. А твои дети?

Иль. У них нет идеалов.

Клер. Может быть, они их скоро найдут.

Иль молчит. Клер задумчиво смотрит на лес.

Иль. Странно. Я даже ни разу не уезжал надолго из городка. Только один раз съездил в Берлин и один раз в Тессин. Вот и все.

Клер. Зачем тебе? Я знаю мир.

Иль. Ты всегда могла путешествовать.

Клер. Просто мир принадлежит мне.

Молчание. Клер курит.

Иль. Теперь здесь все изменится.

Клер. Конечно.

Иль *(настороженно)*. Ты нам поможешь?

Клер. Я не брошу на произвол судьбы городок моей юности.

Иль. Но нам нужен миллион.

Клер. Это пустяки.

Иль *(восторженно)*. Моя кошечка!

Растроганно хлопает Клер по левой ляжке. Сразу опускает руку, лицо искажается гримасой боли.

Клер. Да, это больно. Ты попал на шарнир моего протеза.

Первый гюлленец вытаскивает из кармана старую трубку и заржавленный ключ. Стучит ключом по трубке.

Клер. Дятел...

Иль. Всё, как в дни нашей молодости, в дни нашей любви. Солнце стоит высоко над елями. В небе — далекие стаи облаков. Крики кукушки где-то в лесной чаще.

Четвертый. Ку-ку. Ку-ку!

Иль легонько дотрагивается до Первого гюлленца.

Иль. Прохладная кора, шелест листьев, точно шум морского прибоя... Все, как прежде. Все, как прежде.

Четверо, изображающие деревья, надувают щеки, поднимают и опускают руки-ветви.

Иль. Если бы дни любви никогда не кончились... Если бы нас не разлучила жизнь...

Клер. Ты хотел этого?

Иль. Да! Я все еще люблю тебя. *(Целует ее правую руку)*. Все та же прохладная белая рука.

Клер. Ошибка! Это тоже протез. Из слоновой кости.

Иль в испуге бросает руку.

Иль. Клара, у тебя вообще всюду протезы?

Клер. Почти. Авиационная катастрофа в Афганистане. Я одна выкарабкалась из-под обломков. Экипаж погиб. Но меня не так-то легко угробить.

Раздается торжественная музыка. Снова опускается фигура апостола. Гюлленцы вносят столы, накрытые старыми, рваными скатертями, расставляют приборы. Главный стол устанавливают в центре, два поменьше — слева и справа. Сцена быстро заполняется гюлленцами. Среди них Атлет в трико. Входят Бургомистр, Полицейский, Учитель и Пастор. Бургомистр приближается к скамейке, где сидят Иль и Клер. Четыре гюлленца, изображавшие деревья, отступают и присоединяются к остальным. Звучат аплодисменты.

Бургомистр. Эта буря аплодисментов относится к вам, высокочтимая милостивая государыня!

Клер. Она относится к городскому оркестру, бургомистр. Музыканты очень старались. А пирамида, которую показали спортсмены, была великолепна. Мне нравятся мужчины в трусиках. Они так естественно выглядят.

Бургомистр. Разрешите пригласить вас к столу.

Подает Клер руку. Подводит к своей Жене. Это — худая женщина с изнуренным и злым лицом.

Бургомистр. Моя супруга.

Клер рассматривает жену бургомистра в лорнет.

Клер. А, Анетхен Думмермут, наша первая ученица.

Бургомистр представляет Клер еще одну женщину. Так же, как и первая, она изнурена и озлобленна.

Бургомистр. Госпожа Иль.

Клер. Матильда Блюмхард! Помню, как ты подстерегала Альфреда за дверью своей лавчонки. Ты стала худой и бледной, милочка!

Запыхавшись, вбегает Врач, коренастый усатый пятидесятилетний человек с черными торчащими волосами. На лице шрамы. Одет в старый фрак.

Врач. Я поспел вовремя на моем старом «мерседесе»?

Бургомистр. Доктор Нюслин. Наш городской врач.

Клер наводит лорнет. Врач целует ей руку.

Клер. Скажите, это вы составляете акты о смерти?

Врач *(удивлен)*. Акты о смерти?

Клер. Да, если кто-нибудь внезапно умирает.

Врач. Как же иначе... Это мой долг... Я назначен властями...

Клер. Скоро вам представится случай констатировать смерть от разрыва сердца.

Иль *(смеется)*. Восхитительно! Просто восхитительно!

Клер обращается к Атлету в трико.

Клер. Повторите-ка еще раз то упражнение.

Атлет приседает, поднимает и опускает руки.

Клер. Отличные бицепсы! Вы уже задушили кого-нибудь с их помощью?

От удивления Атлет замирает, сидя на корточках.

Атлет. Задушил?

Клер. Сожмите еще раз кулак. Неплохо. А теперь — вольно!

Иль *(хохочет)*. Вот потеха! Можно умереть со смеху от всех ее выдумок!

Врач все еще озадачен.

Врач. Не знаю. Не знаю. Меня от такого юмора бросает в дрожь.

Иль *(доверительно)*. Она обещала нам миллион!

Бургомистр *(ловит ртом воздух)*. Миллион?

Иль. Миллион!

Врач. Черт возьми!

Клер. Я проголодалась, бургомистр.

Бургомистр. Мы ждем только вашего мужа, милостивая государыня.

Клер. Не ждите его. Он удит рыбу. К тому же, я с ним развожусь.

Бургомистр. Разводитесь?

Клер. Моби тоже удивится. Я выхожу замуж за киноактера.

Бургомистр. Вы же сказали, что очень счастливы в браке.

Клер. Любой из моих браков был счастливым. Но еще в юности я мечтала о том, как меня обвенчают в гюлленском соборе. А мечты юности должны сбываться... Это будет так торжественно!

Все рассаживаются. Клер в центре. Рядом — Бургомистр и Иль, их Жены. Направо, за другим столом, Учитель Пастор и Полицейский. За столом налево — все те же четыре гюлленца. В глубине, под плакатом «Добро пожаловать, Клери» — почетные гости. Сияя улыбкой, поднимается Бургомистр. Он уже с салфеткой на груди. Стучит по бокалу.

Бургомистр. Наша высокочтимая гостья! Дорогие гюлленцы! Сорок пять лет назад вы, милостивая государыня, покинули наш городок, основанный курфюрстом Хассо Благородным и столь живописно раскинувшийся между лесом Конрада и долиной Пюкенрида. Сорок пять лет, больше чем четыре десятилетия — немалый срок даже для истории. Шли годы, человечество переживало горькие дни. Печально складывалась судьба цивилизации, печальной была и наша судьба. Но вас, милостивая государыня, нашу Клери *(аплодисменты)* мы никогда не забывали. Ни

вас, ни вашу семью. Ваша мать была красавицей. Сильная телом и духом, она... *(Иль что-то шепчет Бургомистру)* к сожалению, рано умерла от чахотки. Ваш отец был мастером своего дела. Плоть от плоти своего народа, он воздвиг у вокзала здание, столь нужное населению и охотно посещаемое транзитными пассажирами и всеми желающими. *(Иль шепчет)*. Здание, столь высокополезное и демократическое по своему назначению... Ваши родители живут в нашей памяти как образец честности и трудолюбия. А вы! Кто не помнит того белокурого... *(Иль шепчет)* рыжего сорванца, что резвился на наших, ныне — увы! — опустевших, улицах! Уже тогда не было человека, которого не покорило бы обаяние вашей личности и который уже тогда не говорил бы себе: «Ей предстоит головокружительный взлет к вершинам, на нее будет восхищенно взирать все человечество». *(Достает записную книжку)*. Да, вас невозможно было забыть! Школьные учителя до сих пор вас ставят в пример. Вы особенно поражали своею тягой к ботанике и зоологии. И это, разумеется, не случайно. Не нашла ли в этом свое выражение ваша любовь ко всякому творению божьему, ко всем слабым и беззащитным? Ваше чувство справедливости, ваша склонность к состраданию уже тогда вызывали восторг в наших сердцах. *(Бурные аплодисменты)*. Для того, чтобы дать представление о характере деятельности нашей Клер, сошлюсь хотя бы на такой волнующий факт. Заработав в поте лица своего немного денег, юная Клер покупает картофель для одной бедной вдовы и тем самым спасает ее от голодной смерти. *(Бурные аплодисменты)*. Но это было только началом. А дальше эти зеленые побеги добра и сострадания превратились в могучее древо благотворительности, осеняющее ныне весь страждущий мир. Велики свершения нашей Клер на ниве социального прогресса. Тут и приюты для молодых матерей, тут и пункты раздачи бесплатного супа. Ведь это она основала фонд помощи голодающим художникам! Ведь это она, именно она, открыла детские ясли! Рыжекудрая проказница из маленького Гюллена стала одной из первых женщин мира. И я говорю: слава, слава вновь обретенной дочери родины! Ура! *(Овация)*.

Клер встает.

К л е р. Бургомистр! Гюлленцы! Ваше бескорыстное гостеприимство трогает меня. Правда, я была несколько иной, чем это представил в своей речи бургомистр. В школе меня часто секли, а картошку для вдовы Болл мы украли вместе с Илем не для того, чтобы спасти старую сводню от голодной смерти. Просто в ее постели нам было удобней, чем в лесу Конрада или в сарае Петера... Впрочем, я не хочу омрачать вашу радость и готова подарить Гюллену миллиард. Пятьсот миллионов магистрату и пятьсот миллионов вам, гюлленцы.

Мертвая тишина.

Б у р г о м и с т р *(заикаясь)*. Миллиард...

Все в оцепенении.

К л е р. Но при одном условии...

Только сейчас гюлленцы приходят в себя. Начинается неописуемое ликование. Все пляшут, кричат, вскакивают на стулья, Атлет делает упражнения и т. п. Иль восторженно бьет себя в грудь.

И л ь. Клара! Золотая! Удивительная! Мой бесенок!

Целует ее.

Б у р г о м и с т р. Вы сказали, милостивая государыня, при одном условии. Могу я узнать, при каком?

К л е р. Я готова сообщить это условие. Я даю вам миллиард и за это покупаю справедливость.

Мертвая тишина.

Бургомистр. Но ведь справедливость нельзя купить.

Клер. Можно купить все!

Бургомистр. Я пока еще ничего не понимаю.

Клер. Боби! Ко мне!

Входит Дворецкий, становится в центре между столами, снимает черные очки.

Дворецкий. Я не уверен, узнает ли меня кто-нибудь из присутствующих здесь господ.

Учитель *(изумленно)*. Главный судья Хофер?

Дворецкий. Совершенно верно. Сорок пять лет назад я, Отто Хофер, был главным судьей в Гюллене, а затем получил повышение и начал службу в Каффигенском апелляционном суде. Но двадцать пять лет назад госпожа Цаханесин сделала мне предложение поступить к ней в качестве дворецкого. Я принял это предложение. Разумеется, для человека с университетским дипломом это несколько странная карьера, но предложенное жалованье было так фантастически велико...

Клер. Переходи к делу, Боби.

Дворецкий. Как вы уже слышали, госпожа Клер предлагает вам миллиард и хочет за это купить справедливость. Другими словами, госпожа Клер даст вам миллиард, если вы отомстите за то зло, какое когда-то было ей причинено в Гюллене. Господин Иль, прошу вас!

Иль встает. Удивлен и растерян.

Иль. Что вам угодно?

Дворецкий. Подойдите ближе, господин Иль!

Иль. Пожалуйста.

Иль выходит вперед. Смущенно улыбается. Пожимает плечами.

Дворецкий. Это было в 1910 году. Мне, как судье города Гюллена, пришлось разбирать дело об установлении отцовства. Клер Цаханесин, тогда Клара Вешер, объявила вас, Альфред Иль, отцом своего внебрачного ребенка.

Иль молчит.

Дворецкий. Вы оспаривали тогда отцовство, господин Иль. Вы даже привели двух свидетелей.

Иль. Старая история. Я был тогда молод и глуп!

Клер. Введите Коби и Лоби!

Монстры, жуя резинку, вводят Слепых.

Оба. Мы пришли. Мы пришли.

Дворецкий. Узнаете их, господин Иль?

Иль молчит.

Оба. Мы Коби и Лоби. Мы Коби и Лоби.

Иль. Я вас не знаю.

Оба. Мы изменились. Мы изменились.

Дворецкий. Назовите ваши прежние имена.

Оба. Якоб Хюнлейн. Людвиг Шпарр.

Дворецкий. Ну, господин Иль...

Иль. Я их не знаю.

Дворецкий. Якоб Хюнлейн и Людвиг Шпарр! Вы помните Альфреда Иля?

Оба. Мы слепые. Мы слепые.

Дворецкий. Вы узнаете его по голосу?

Оба. Мы узнаем его по голосу.

Дворецкий. В 1910 году я был судьей, а вы были свидетелями. В чем вы присягнули, Якоб Хюнлейн и Людвиг Шпарр, перед судом Гюллена?

Оба. Мы сказали, что спали с Кларой.

Дворецкий. То, в чем вы поклялись передо мной, перед судом и перед богом, было правдой?

Оба. Мы солгали. Мы солгали.

Дворецкий. Почему вы так поступили, Людвиг Шпарр и Якоб Хюнлейн?

Оба. Иль нас подкупил. Иль нас подкупил.

Дворецкий. Чем?

Оба. Литром водки. Литром водки.

Клер. А теперь, Коби и Лоби, расскажите, что я с вами сделала?

Дворецкий. Расскажите!

Оба. Госпожа приказала нас разыскать.

Дворецкий. Да, Клер приказала разыскивать их по всему миру. Якоб Хюнлейн к этому времени эмигрировал в Канаду, а Людвиг Шпарр — в Австралию. Но она нашла обоих. *(К слепым)*. Что она потом с вами сделала?

Оба. Она отдала нас Тоби и Роби. Она отдала нас Тоби и Роби.

Дворецкий. И что сделали с вами Тоби и Роби?

Оба. Они ослепили нас. Они ослепили нас.

Дворецкий. Вот и вся история. Судья, обвиняемый, два лжесвидетеля, неверное решение суда в 1910 году. Так ли все это, истица?

Клер встает.

Клер. Да, это так.

Иль *(переступает с ноги на ногу)*. Вы не имеете права меня судить. Это было слишком давно. Старая, дурацкая история...

Дворецкий. Что случилось с ребенком, истица?

Клер *(тихо)*. Ребенок жил только один год.

Дворецкий. Что случилось с вами?

Клер. Я стала проституткой.

Дворецкий. Почему?

Клер. Приговор суда обрек меня на это!

Дворецкий. И теперь вы требуете справедливости, госпожа Клер?

Клер. Я могу это себе позволить. Миллиард Гюллену, если кто-нибудь убьет Альфреда Иля.

Напряженная тишина. Жена Иля кидается к мужу, обнимает его.

Жена Иля. Фреди!

Иль. Кошечка, как ты можешь этого требовать? Ведь с тех пор прошла целая жизнь!

Клер. Жизнь прошла, но я ничего не забыла: ни лес Конрада, ни сарай Петера, ни каморку вдовы Болл. Ни твоей измены... Мы оба стары теперь. Ты разорившийся лавочник. Меня искромсали ножи хирургов. И все-таки я хочу, чтобы мы рассчитались. Ты пошел своим путем в жизни, а меня толкнул на мой путь... Час назад в лесу нашей юности, полном воспоминаний, ты говорил, что прошлое живо. Да, оно живо. Поэтому я требую справедливости. Справедливости за один миллиард.

Бургомистр поднимается. Он бледен.

Бургомистр *(с достоинством)*. Госпожа Клер! Мы в Европе. Мы не дикари. От имени города Гюллена и во имя человечности я отклоняю ваше предложение. Лучше мы будем жить в нищете, но не запятнаем себя кровью.

Бурные аплодисменты.

Клер. Я жду.

ВТОРОЙ АКТ

Городская площадь с едва намеченными контурами домов. В центре — на переднем плане — часть фасада гостиницы «Золотой апостол», построенной в стиле, характерном для начала века. Балкон. Направо — вывеска «Альфред Иль. Торговля», под ней грязная стойка и полки со старыми товарами. Когда кто-нибудь входит через воображаемую дверь, раздается слабенький звонок. Налево — надпись «Полиция». Деревянный стол, телефон, два стула.

Утро. Роби и Тоби проносят в гостиницу венки, увитые черными лентами. Жуют резинку. Иль наблюдает за ними через окно своего магазинчика. Дочь Иля, стоя на коленях, моет пол. Сын курит.

И л ь. Венки.

С ы н. Их тащат со станции каждый день.

И л ь. И кладут на пустой гроб в «Золотом апостоле».

С ы н. Этим она никого не запугает.

И л ь. Гюллен за меня.

Сын закуривает.

И л ь. Мать сойдет к завтраку?

Д о ч ь. Мама останется наверху. Она очень устала.

И л ь. У вас хорошая мать, дети. Должен же я когда-нибудь это сказать. И, право же, она должна поберечь себя. Пусть побудет наверху. Пусть отдохнет. А мы позавтракаем втроем. Мы так давно не были вместе. Я уже зажарил яичницу и открыл банку американской свиной тушенки. Это будет королевский пир, дети! Совсем как в добрые старые времена, когда процветали Бокман и Вагнер.

С ы н. Прости меня. Я не могу. *(Гасит сигарету).*

И л ь. Разве ты не хочешь позавтракать с нами, Карл?

С ы н. Я пойду на станцию. Говорят, там заболел грузчик. Может быть, они возьмут меня, хотя бы на время.

И л ь. Но таскать ящики под палящим солнцем — неподходящее занятие для моего сына.

С ы н. Мне не приходится выбирать.

Уходит. Дочь встает.

Д о ч ь. Я тоже пойду, отец.

И л ь. Ты тоже? Так. Куда же — разреши тебя спросить?

Д о ч ь. На биржу труда. Может быть, там что-нибудь найдется для меня.

Дочь уходит. Иль тронут. Утирает слезы, сморкается.

И л ь. Хорошие дети! У них доброе сердце.

С балкона гостиницы доносятся звуки гитары.

Г о л о с К л е р. Подай мою левую ногу, Боби!

Г о л о с Д в о р е ц к о г о. Я не могу ее найти.

Г о л о с К л е р. Поищи под флердоранжем на комоде.

К Илю входит Первый покупатель (Первый гюлленец).

И л ь. Доброе утро, Хофбауер.

П е р в ы й. Сигареты.

И л ь. Как обычно?

П е р в ы й. Нет, не эти — зелененькие.

И л ь. Те будут дороже.

П е р в ы й. В кредит запиши.

И л ь. Делаю это только для тебя, Хофбауер. Теперь мы должны держаться все вместе.

П е р в ы й. Кто-то играет на гитаре.

И л ь. Это гангстер из Синг-Синга.

Из гостиницы выходят Слепые. Несут удочки.

О б а. Прекрасное утро, Альфред! Прекрасное утро, Альфред!

И л ь. Черт вас побери!

О б а. Мы идем удить рыбу. Мы идем удить рыбу.

Слепые удаляются.

П е р в ы й. Они пошли к пруду.

И л ь. С удочками ее седьмого мужа.

П е р в ы й. Говорят, что он уже потерял свои табачные плантации.

И л ь. Теперь они принадлежат миллиардерше.

П е р в ы й. Говорят, скоро она отпразднует свадьбу с восьмым. Вчера состоялась помолвка.

На балконе появляется Клер в пеньюаре. Двигает правой рукой и левой ногой. Звучит гитара, которая будет и дальше сопровождать все сцены на балконе. В зависимости от содержания реплик это будут вальсы, отрывки из различных национальных гимнов и т. д.

К л е р. Итак, я снова смонтирована! Песенку, Роби! *(Звучит мелодия)*. Любимая песня моего первого мужа. Он заставлял ее играть каждое утро. Вообще это был муж что надо! Старый финансовый воротила. Миллиарды, нескончаемые потоки нефти, скаковые конюшни — стоило выйти за него замуж. Он был великий мастер на разные штучки. Я многому научилась у него.

К Илю входят две покупательницы. Подают кувшины для молока.

П е р в а я ж е н щ и н а. Пожалуйста, господин Иль!

В т о р а я ж е н щ и н а. Возьмите и мой кувшин, господин Иль.

И л ь. Прекрасное утро, не правда ли? По литру молока для каждой?

Зачерпнул молоко.

П е р в а я ж е н щ и н а. Мне цельного молока, господин Иль.

В т о р а я ж е н щ и н а. Два литра цельного молока, господин Иль.

И л ь. Цельного молока?

Наливает из другого бидона.

Клер рассматривает городскую площадь в лорнет.

К л е р. Прекрасное осеннее утро. Легкий туман на улицах, серебристый дымок, и над всем этим небо цвета фиалок, совсем такое, как на пейзажах графа Холька, моего третьего. Он был министром иностранных дел, а на каникулах занимался живописью. *(Осторожно садится)*. Живопись раздражала меня, граф — тоже.

П е р в а я ж е н щ и н а. И двести граммов масла.

В т о р а я ж е н щ и н а. И два кило белого хлеба.

И л ь. Вы получили наследство?

Ж е н щ и н ы. Запишите в кредит.

И л ь. Что ж. Один за всех — все за одного.

П е р в а я ж е н щ и н а. И еще шоколад за 2.20.

В т о р а я ж е н щ и н а. Мне за 4.40.

И л ь. И тоже в кредит?

П е р в а я ж е н щ и н а. В кредит.

В т о р а я ж е н щ и н а. Мы съедим его здесь, господин Иль.

П е р в а я ж е н щ и н а. У вас здесь очень хорошо, господин Иль.

Присаживаются в глубине магазина, едят шоколад.

К л е р. Сигару «Винстон», Боби! Должна же я когда-нибудь попробовать сигары моего седьмого мужа. Хотя бы теперь, когда мы разошлись.

Бедный Моби, он так любил удить рыбку! Представляю, как покуро сидит он сейчас в поезде. А поезд тем временем идет в Португалию.

Дворецкий подает сигары.

В лавке Иля Первый покупатель смотрит в окно.

Первый. Она на балконе и курит сигары.

Иль. И всегда самые дорогие сорта.

Первый. Она, словно нарочно, пускает деньги на ветер! Постыдилась бы! Перед лицом страждущего человечества!

Клер *(курит)*. Странно, приличная сигара.

Иль. Она просчиталась. Я, конечно, старый грешник, Хофбауер. Все мы люди, все мы делаем в молодости немало глупостей. Да, злую шутку я сыграл с Кларой в молодости. И когда гюлленцы в «Золотом апостоле», несмотря на всю нашу бедность, так единодушно отклонили предложение Клары, я пережил одну из самых счастливых минут в своей жизни.

Клер. Виски, Боби! Чистый.

К Илю входит Второй покупатель (Второй гюлленец). Так же оборван, как и остальные.

Второй. Доброе утро. Днем будет жарко.

Первый. Бабье лето!

Иль. Сегодня у меня полно покупателей! Бывает, сидишь целый день, и ни одна душа не заглянет. А сейчас всё идут и идут.

Первый. Мы все стоим за тебя горой. За нашего доброго Иля.

Женщины *(едят шоколад)*. Горой, господин Иль, горой.

Второй. Ты, в конце концов, самый уважаемый человек в городе.

Первый. Тебя знают все.

Второй. Весной ты уже будешь бургомистром.

Первый. Это решено!

Женщины *(едят шоколад)*. Это решено, господин Иль! Это решено!

Второй. Налей-ка рюмочку!

Иль идет к полке.

Дворецкий подает виски.

Клер. Разбуди нового! Мне не нравится, когда мои мужья так долго спят.

Иль *(Второму)*. С тебя 13.

Второй. Нет, мне не это.

Иль. Ты же всегда пил водку.

Второй. Налей коньяку.

Иль. Он стоит 20.35. Уже давно никто не позволял себе такой роскоши.

Второй. Нужно же когда-нибудь побаловать себя.

Через площадь бежит полураздетая девушка. Тоби преследует ее.

Первая женщина *(ест шоколад)*. Какой скандал! Посмотри, как он гонится за Луизой.

Вторая женщина *(ест шоколад)*. А ведь она обручена с музыкантом. Он живет на улице Бертольда Шварца. Знаешь, такой блондин...

Иль снимает с полки коньяк.

Иль. Пожалуйста.

Второй. И табак для трубки.

Иль. Хорошо.

Второй. Импортный.

Иль прикидывает на счетах.

На балконе появляется Муж № 8, киноактер, высокий, тонкий, рыжие усики, в шлафроке. (Муж № 8 может быть сыгран тем же актером, что и Муж № 7).

Муж № 8. Хопси! Как это прекрасно — наш первый завтрак после помолвки! Словно мечта! Маленький балкон, шелестящие липы, мирно журчащий фонтан у ратуши, курочки, которые бегают по тротуару, где-то судачат хлопотливые хозяйки, и над всем этим — башня собора!

Клер. Садись, Хоби! Лучше помолчи. Пейзаж я вижу сама, а мысли — не твоя стихия.

Второй. Ну вот появился и муж.

Первая женщина *(ест шоколад)*. Это ее восьмой.

Вторая женщина *(ест шоколад)*. Красивый мужчина. К тому же киноактер. Моя дочь видела, как он играл браконьера в каком-то фильме.

Первая женщина. А я видела его в роли священника в фильме по Грэхему Грину.

Муж № 8 целует Клер. Аккорд гитары.

Второй. За деньги можно сейчас купить все *(сплевывает)*.

Первый. Но не у нас.

Стучит кулаком по столу.

Иль *(Второму)*. С тебя 23.80.

Второй. В кредит запиши.

Иль. Хорошо. На этой неделе, в виде исключения, я даю в кредит. Но первого ты со мной рассчитаешься. Как только получишь пособие для безработных.

Второй направляется к двери.

Иль. Хельмесбергер!

Второй гюлленец останавливается. Иль медленно идет к нему.

Иль. У тебя новые башмаки? Новые желтые башмаки?

Второй. Ну и что же?

Иль смотрит на ноги Первого.

Иль. И ты, Хофбауер? И у тебя новые башмаки?

Смотрит на женщин. Опустив плечи, точно взвалив на спину непосильный груз, идет к ним.

Иль *(горько)*. И вы тоже? И у вас новые туфли? Новые желтые туфли?

Первый. Я не понимаю, что ты в этом находишь?

Второй. Нельзя же вечно бегать в старых башмаках.

Иль. Новые башмаки! Как вы могли купить новые башмаки?

Женщины. Мы взяли их в долг. В кредит, господин Иль.

Иль. Вы взяли их в долг? У меня вы тоже все взяли в долг. Лучший табак, лучшее молоко, коньяк. Почему же раньше вам нигде не отпускали в долг?

Второй. Но ведь ты же отпустил нам в долг?

Иль. Чем вы думаете платить?

Молчание. Иль хватает с полки товары и начинает бросать в покупателей. Все разбегаются.

И л ь. Чем вы заплатите? Чем вы заплатите? Чем? Чем?

Кидается в глубь сцены.

М у ж № 8. Какой-то шум, Хопси?

К л е р. Обычная жизнь провинциального городка.

М у ж № 8. Кажется, что-то случилось в лавочке, там, внизу.

К л е р. Это спорят из-за цен на мясо.

Сильный аккорд гитары. Муж № 8 испуганно вскакивает.

М у ж № 8. Ради бога, Хопси! Ты слышала?

К л е р. Это рычит черный барс.

М у ж № 8 *(удивленно)*. Черный барс?

К л е р. Да. Подарок маракешского паши. Большая злая кошка со сверкающими глазами. Бегает рядом в салоне. Я ее очень люблю.

Внизу, с левой стороны сцены, за стол садится Полицейский. Пьет пиво. Входит Иль.

К л е р. Подавай завтрак, Боби!

П о л и ц е й с к и й. Что вам угодно, Иль? Садитесь.

Он говорит медленно и задумчиво. Иль продолжает стоять.

П о л и ц е й с к и й. Вы дрожите?

И л ь. Я требую ареста Клер Цаханесин.

Полицейский набивает трубку. Неторопливо закуривает.

П о л и ц е й с к и й. Странно. Очень странно.

На балконе Дворецкий накрывает на стол, приносит почту.

И л ь. Я требую этого как будущий бургомистр.

П о л и ц е й с к и й *(пуская дым колечками)*. Выборы еще не состоялись.

И л ь. Немедленно арестуйте эту даму.

П о л и ц е й с к и й. Вы в чем-то обвиняете ее? Будет она арестована или нет — решит полиция. Что же она натворила?

И л ь. Она потребовала от вас моей смерти.

П о л и ц е й с к и й. И поэтому я должен ее арестовать?

Наливает себе пива.

К л е р. Почта. Нас поздравляют, Хоби.

И л ь. Вы должны ее арестовать. Это ваш долг.

П о л и ц е й с к и й. Странно. Очень странно.

Пьет пиво.

И л ь. Что же тут странного? Все ясно как божий день.

П о л и ц е й с к и й. Дорогой Иль, все не так уж ясно, как вам кажется. Рассмотрим данный случай трезво. Госпожа Клер действительно сделала городу Гюллену предложение вас... за один миллиард... вы знаете, о чем я говорю. Я был при этом. Но где же здесь основание для ареста? В конце концов, мы связаны законами.

И л ь. Налицо подстрекательство к убийству!

П о л и ц е й с к и й. Не торопитесь, Иль. Подстрекательство к убийству имеет место лишь в том случае, если сделанное предложение можно считать серьезным. Это ведь ясно.

И л ь. Разумеется.

П о л и ц е й с к и й. Вот видите, вы с этим согласны. Но можно ли рассматривать как деловое предложение госпожи Цаханесин? Нет, нельзя. Почему? Потому что цена в один миллиард явно преувеличена.

За это дают тысячу, в крайнем случае — две. Уж поверьте мне — не больше. Отсюда следует, что данному предложению нельзя придавать особого значения. Но если бы даже на одну минуту мы допустили, что госпожа Цаханесин, со своей стороны, сделала предложение всерьез, то и тогда мы не смогли бы арестовать ее. Почему? Потому что в этом случае она просто поступила как сумасшедшая. Дошло?

Иль. Но ведь это предложение угрожает моей жизни! А сумасшедшая она или нет — мне все равно. Разве не так, сержант?

Полицейский. Нет, не так. Вам не может угрожать само предложение. Вам может угрожать, так сказать, его реализация. Укажите же мне на конкретную попытку или на конкретного человека, который с оружием в руках уже пытался... Вы понимаете меня? Конечно, в этом случае я бы примчался быстрее ветра. Но ведь никто даже и не собирается претворять в жизнь известное вам предложение. Совсем наоборот! Вспомните, что произошло в «Золотом апостоле». Лично для меня — это незабываемо. Хоть и с некоторым опозданием, я должен поздравить вас.

Пьет пиво.

Иль. Что-то я не уверен, сержант, следует ли меня поздравлять.

Полицейский. Не уверены?

Иль. Сегодня мои клиенты, все как один, требовали лучшие сигареты, лучшее молоко, лучший хлеб!

Полицейский. Вы должны радоваться этому. Ваши дела пойдут в гору.

Пьет пиво.

Клер. Распорядись о покупке акций Дюпона, Боби!

Иль. Хельмесбергер купил у меня коньяк. А ведь он за последние годы не заработал ни копейки и жил только бесплатным супом.

Полицейский. Я тоже попробую ваш коньячок. Хельмесбергер просил вечером заглянуть к нему.

Пьет пиво.

Иль. И у всех новые башмаки. Новые желтые башмаки.

Полицейский. Не понимаю. Что вы имеете против новых башмаков? В конце концов, у меня тоже новые башмаки.

Показывает на ноги.

Иль. И у вас?

Полицейский. Да. Вот взгляните.

Иль. И тоже желтые? И вы пьете пильзенское пиво?

Полицейский. Оно превосходно.

Иль. Однако раньше вы пили гюлленское?

Полицейский. Это было ужасно.

Звучит музыка

Иль. Вы слышите?

Полицейский. Ну?

Иль. Музыка.

Полицейский. «Веселая вдова» *(подпевает)*.

Иль. Это радио.

Полицейский. Да, тут рядом. У Хагхольцера. Конечно, он должен закрывать окно.

Записывает в книжечку.

Иль. Но как мог Хагхольцер купить себе приемник?

Полицейский. Его дело.

Иль. И вы, сержант, чем вы заплатите за пильзенское пиво, за ваши новые башмаки?

Полицейский. А это мое дело. *(Звонит телефон. Полицейский снимает трубку).* Полицейский участок Гюллена. Будет исполнено.

Вешает трубку.

Иль. Мои покупатели. Чем они заплатят?

Полицейский. Это полиции не касается.

Встает, берет со спинки стула ружье.

Иль. Но это касается меня. Вы за все заплатите мной!

Полицейский. Вам не угрожает ни один человек.

Начинает заряжать ружье.

Иль. Гюлленцы делают долги. А с ростом долгов усиливается необходимость меня убить. Миллиардерше остается сидеть на своем балконе, пить кофе, курить сигары и ждать. Только ждать.

Полицейский. Вы бредите.

Иль *(кричит)*. Все ждут! Все!

Стучит кулаком по столу.

Полицейский. Вы, наверное, выпили сегодня? *(Возится с ружьем)*. Итак, ружье заряжено. Теперь вы можете быть спокойны, Иль. Полиция своей деятельностью сумеет внушить уважение к закону. Полиция всегда заботится о гражданах. Она охраняет их жизнь. Она знает, в чем ее долг. При малейшей опасности — с какой бы стороны она ни явилась — мы окажемся на месте и примем самые энергичные меры. Можете положиться на это, господин Иль.

Иль *(тихо)*. Почему у вас во рту новый золотой зуб, сержант?

Полицейский. Что?

Иль. Новый золотой, сверкающий зуб.

Полицейский. Вы совсем рехнулись!

Иль видит, что дуло ружья направлено на него, и медленно поднимает руки.

Полицейский. У меня нет времени слушать ваши бредни, приятель. И без вас забот много. А тут еще у миллиардерши сбежала ее комнатная собачка. Черный барс. За ним уже началась погоня. *(Уходит)*.

Иль. Погоня... Погоня за мной.

Клер читает письмо.

Клер. Он приедет, мой пятый. Это самый красивый из моих мужей. Светский лев, законодатель мод. Он делает эскизы моих подвенечных платьев. Роби, менуэт!

Звучит гитара.

Муж № 8. Но ведь твой пятый был хирургом.

Клер. Хирургом был шестой. *(Открывает новое письмо)*. От владельца Западной железной дороги.

Муж № 8 *(удивленно)*. О нем я ничего не знаю.

Клер. Это мой четвертый. Он разорился. Его акции теперь принадлежат мне. Был соблазнен мною в Букингемском дворце.

Муж № 8. Но ведь в Букингемском дворце ты соблазнила лорда Исмаэлла?

Клер. Пожалуй, ты прав, Хоби! Я совсем забыла и лорда и его замок в Йоркшире. Тогда тот, кто пишет, мой второй. Я познакомилась с ним в Каире. Мы целовались у сфинкса. Незабываемый вечер!

Внизу справа — перемена. Спускается надпись «Магистрат». Третий гюлленец уносит кассу, задвигает прилавок, который превращается в письменный стол, вешает на стену новенький план реконструкции ратуши.

Появляется Бургомистр, усаживается, вытаскивает револьвер, кладет его перед собой. Входит Иль.

Иль. Мне нужно побеседовать с вами, бургомистр.

Бургомистр. Садитесь.

Иль. Я буду говорить как ваш будущий преемник. Как мужчина с мужчиной, наконец.

Бургомистр. Слушаю вас.

Иль продолжает стоять, смотрит на револьвер.

Бургомистр. Сбежал барс госпожи Клер и теперь рыщет в соборе. Пришлось взять с собой оружие.

Иль. Понимаю.

Бургомистр. Я дал распоряжение: всем мужчинам вооружиться, детей задержать в школе.

Иль *(с сомнением)*. Не слишком ли много мер?

Бургомистр. Но ведь мы травим хищника!

На балконе появляется Дворецкий.

Дворецкий. Президент Всемирного банка, милостивая государыня. Только что прилетел из Нью-Йорка.

Клер. Я не принимаю. Пусть улетает обратно.

Бургомистр. Что у вас на сердце? Расскажите мне совершенно откровенно!

Иль *(с тревогой)*. Вы курите сигару?

Бургомистр. Да, «Белогривый Пегас».

Иль. Но ведь это один из самых дорогих сортов!

Бургомистр. Зато какие сигары!

Иль. Раньше господин бургомистр курил нечто совсем иное.

Бургомистр. «Пять лошадок».

Иль. Те подешевле.

Бургомистр. Это было ужасно!

Иль. У вас новый галстук?

Бургомистр. Да, шелковый.

Иль. И новые башмаки вы тоже, наверно, купили?

Бургомистр. Я заказал их в Кальберштадте. Интересно, откуда вы знаете?

Иль. Я предполагал. И потому пришел сюда.

Бургомистр. Вы бледны? Что случилось? Может быть, вы нездоровы?

Иль. Я боюсь.

Бургомистр. Боитесь?

Иль. Гюлленцы начинают приобретать вещи. И притом дорогие.

Бургомистр. Да? Вы меня радуете.

Иль. Я прошу защиты у властей.

Бургомистр. Но от кого же?

Иль. Вы всё прекрасно знаете, господин бургомистр.

Бургомистр. Вы кого-то подозреваете?

Иль. За мою голову обещан миллиард.

Бургомистр. Обратитесь в полицию.

Иль. Я был в полиции.

Бургомистр. И вероятно, вас там успокоили?

Иль. Во рту у сержанта блестит новый золотой зуб.

Бургомистр *(с достоинством)*. Вы забыли, что находитесь в Гюллене. В городе с гуманистическими традициями. Здесь ночевал Гете. Брамс сочинил квартет. Великие тени — они обязывают!

Входит Третий гюлленец. Несет пишущую машинку.

Третий. Новая пишущая машинка, господин бургомистр. Ремингтон.

Бургомистр. Отнесите в бюро. *(Третий уходит)*. Мы не заслуживаем вашей неблагодарности, Иль. Если после всего случившегося вы все-таки не доверяете нам — мне вас жаль. Да, не ожидал я от вас такого нигилизма! И вообще, не забываете ли вы, что мы живем в государстве, основой которого служит идея справедливости?

Иль. Тогда арестуйте Клер Цаханесин.

Бургомистр. Странно. Очень странно.

Иль. То же самое мне ответил полицейский.

Бургомистр. В конце концов, образ действий нашей высокой гостьи, видит бог, не так уж непонятен. Ведь вы подбили двух молодых гюлленцев дать ложные показания, а честную девушку бросили в пучину нищеты.

Иль. Однако из этой пучины она выплыла с миллиардами в зубах, бургомистр.

Молчание.

Бургомистр. Давайте говорить откровенно.

Иль. Я просил об этом.

Бургомистр. Как мужчина с мужчиной. Вы так хотели? У вас нет морального права требовать ареста госпожи Цаханесин. К тому же, ваша кандидатура на пост бургомистра уже не стоит на повестке дня. Мне очень жаль, но я должен был сказать вам это.

Иль. Вы говорите официально?

Бургомистр. Да. По поручению партий.

Иль. Понимаю.

Молчание. Иль медленно идет к окну. Стоя спиной к Бургомистру, долго смотрит на улицу.

Бургомистр. Мы осудили известное вам предложение госпожи Цаханесин. Но означает ли это, что мы тем самым одобряем поступок, вызвавший данное предложение? Нет, еще раз нет! А к человеку, которому гюлленцы вручают судьбу города, вы сами понимаете, предъявляются такие моральные требования, которым, как выяснилось, вы не отвечаете. Но, разумеется, мы и впредь будем выказывать вам нашу дружбу и наше глубокое уважение.

Роби и Тоби снова проносят в гостиницу венки и цветы.

Бургомистр. Вообще, Иль, советую вам помалкивать. Я дал указание нашей газете не информировать читателей о всех обстоятельствах дела.

Иль поворачивается к нему.

Иль. Уже украшают мой гроб, бургомистр. Молчание для меня слишком опасно.

Бургомистр. Ну зачем так говорить, дорогой Иль! Вы должны быть только благодарны нам за то, что на весь этот скандал набрасывается покров молчания.

Иль. Но я не хочу этого молчания! Я буду протестовать! Я буду бороться за каждую возможность спасти себя!

Бургомистр. Это уж слишком! Кто вам угрожает?

Иль. Один из вас.

Бургомистр встает.

Бургомистр. Кого вы имеете в виду? Назовите имя — и я предприму самое строжайшее расследование.

Иль. Я подозреваю каждого из вас.

Бургомистр *(с пафосом)*. От имени Гюллена я протестую против этой гнусной инсинуации.

Иль. Никто не хочет убить меня. Но каждый надеется, что все-таки кто-нибудь сделает это.

Бургомистр. Игра больного воображения.

Иль. А план новой ратуши?

Показывает на чертеж.

Бургомистр. Боже мой! Неужели мы не можем даже составить план?

Иль. Вы уже спекулируете на моей смерти!

Бургомистр. Господин Иль! Если бы я был одним из тех политиков, кто ставит социальный прогресс в зависимость от преступления, я бы вообще подал в отставку. Можете быть уверены в этом.

Иль. Вы уже приговорили меня к смерти.

Бургомистр. Господин Иль!

Иль *(тихо)*. План ратуши доказывает это.

Клер. На нашу свадьбу, Хоби, приезжает герцог Онасис с супругой и Ага.

Муж № 8. Али?

Клер. Вообще весь этот сброд с Ривьеры.

Муж № 8. И журналисты?

Клер. Со всего мира. Когда я выхожу замуж, при этом всегда присутствует пресса. Она нуждается во мне, я нуждаюсь в ней. *(Вскрывает еще один конверт)*. От графа Холька.

Муж № 8. Хопси! Неужели во время нашего первого завтрака ты непременно должна читать письма от твоих бывших мужей?

Клер. Я не хочу терять перспективы.

Муж № 8 *(с болью)*. В конце концов, у меня тоже есть проблемы.

Встает, устремляет взор вдаль.

Клер. Проблемы? У тебя испортился твой гоночный автомобиль?

Муж № 8. Этот городок угнетает меня своей провинциальностью. Ну, хорошо: липы шелестят, птички поют, фонтан журчит. Но все это происходит уже целых полчаса. И никаких перемен ни в природе, ни в жителях. На всем лежит печать глубокого покоя, сытости и добродушия. Никакого величия. Никакой трагедии. Где приметы нашего великого времени? Их нет.

Внизу слева появляется Пастор с ружьем на плече, он расстилает на столе, за которым раньше сидел Полицейский, белое покрывало с черным крестом. Ружье ставит к стене Причетник помогает ему надеть сутану. Быстро темнеет.

Пастор. Войдите в исповедальню, Иль.

Иль входит.

Пастор. Здесь темно, зато прохладно.

Иль. Я не хотел бы вам помешать, отец мой.

Пастор. Дом божий всегда открыт для каждого.

Замечает взгляд Иля, устремленный на ружье.

Пастор. Не удивляйтесь оружию во храме. Сбежал барс госпожи Цаханесин. Только что он был где-то поблизости. А теперь, говорят, забрался в сарай Петера.

Иль. Я ищу помощи, отец мой!

Пастор. Помощи?

Иль. Мне страшно.

Пастор. Боитесь? Кого?

Иль. Людей.

Пастор. Боитесь, что люди убьют вас?

Иль. Они травят меня, как дикого зверя.

Пастор. Не бойтесь людей, сын мой. Бойтесь бога. Не страшитесь смерти тела, но страшитесь смерти души. Застегни мне воротник, причетник!

Сцену постепенно заполняют люди с ружьями наперевес. Сначала мы видим Полицейского, Бургомистра, Учителя, затем четырех гюлленцев и Художника. Они бродят по всей сцене, что-то напряженно высматривая.

Иль. Речь идет о моей жизни.

Пастор. О вашей вечной жизни.

Иль. Гюлленцы богатеют.

Пастор. Измышления вашей нечистой совести.

Иль. Я видел веселые лица. Девушки покупают украшения. Их кавалеры вырядились в пестрые рубашки. Гюллен готовится праздновать мое убийство. Я умираю от страху.

Пастор. Всякое испытание — во благо.

Иль. Но это настоящий ад.

Пастор. Ад в вашей душе, Иль. Вы старше меня и уверены, что знаете людей. Но человек может познать только самого себя. Если однажды вы — пусть много лет назад — отступились от девушки из-за денег, то это еще не означает, что и другие способны свершить подобное. Не уподобляйте других себе! Причина наших терзаний всегда лежит в нас самих, в грехах наших. Познайте это — и вы победите страх, получите оружие против него.

Иль. Симетхоферы купили стиральную машину.

Пастор. Не думайте об этом.

Иль. Они купили ее в кредит.

Пастор. Думайте о бессмертии вашей души.

Иль. У Штокеров появился телевизор.

Пастор. Молитесь! *(К причетнику)*. Подай нагрудник!

Причетник надевает на Пастора нагрудник.

Пастор. Обратитесь к вашей совести, Иль. Вступите на путь раскаяния, иначе мир будет страшить вас. Этот путь — единственный. Другого нам не надо.

Молчание. Вооруженные гюлленцы исчезают, и только какие-то тени мелькают по краям сцены. Раздается тревожный звон колокола.

Пастор. А теперь я должен приступить к своим обязанностям: совершить обряд крещения. Причетник, подай библию быстрей и книгу псалмов! Ребенок уже кричит. Мне предстоит открыть ему дорогу из тьмы к свету.

Звон второго колокола.

Иль. Второй колокол?

Пастор. Не правда ли, какой глубокий и красивый звук?

Иль *(кричит)*. И вы, пастор? И вы тоже?

Пастор бросается к Илю и судорожно обхватывает его.

Пастор. Беги! Христиане так же слабы, как язычники! Набат бьет в Гюллене, набат предательства. Беги! Не вводи нас во искушение!

Два выстрела. Иль падает. Пастор нагибается над ним.

Пастор. Беги! Беги!

Клер. Боби! Стреляют.
Дворецкий. Да, милостивая государыня.
Клер. В кого?
Дворецкий. Сбежал черный барс.
Клер. Его настигли?
Дворецкий. Он лежит возле дома Иля.
Клер. Жаль зверька. Траурный марш, Роби!

Звучит траурный марш.

Балкон исчезает. На сцене, как и в начале первого акта, перрон гюлленского вокзала. Вместо старого разорванного расписания — новое. На стене домика с черепичной крышей появилось два громадных плаката. Один — с сияющим желтым солнцем: «Путешествуйте по югу!» и второй: «Посетите мистерии в Обераммергау!» В глубине, там, где угадываются очертания Гюллена, можно различить несколько подъемных кранов и свежевыкрашенных крыш

Удар станционного колокола и затем — грохот пролетающего экспресса. Начальник станции поднимает флажок.

Появляется Иль со старым чемоданчиком в руках. Оглядывается. Медленно, как бы случайно, со всех сторон собираются гюлленцы. Завидя их, Иль останавливается.

Бургомистр. Добрый вечер, Иль!
Все. Добрый вечер! Добрый вечер!
Иль *(неуверенно)*. Добрый вечер.
Учитель. Куда это вы направляетесь с чемоданом?
Все. Куда вы направляетесь?
Иль. На станцию.
Бургомистр. Мы вас проводим.
Все. Мы вас проводим. Мы вас проводим.

Появляется все больше и больше гюлленцев.

Иль. Благодарю за любезность, не утруждайте себя!
Бургомистр. Вы уезжаете, Иль?
Иль. Я уезжаю.
Полицейский. Куда же?
Иль. Еще не знаю. Сначала в Кальберштадт, а потом...
Учитель. Куда же потом?
Иль. Скорее всего в Австралию. Там я как-нибудь заработаю себе на кусок хлеба.

Идет по направлению к вокзалу.

Все. В Австралию, в Австралию.
Бургомистр. Но почему вы вдруг надумали уехать?
Иль *(смущенно)*. Нельзя же, в конце концов, годами жить на одном месте.

Бежит по перрону. Гюлленцы окружают его.

Бургомистр. Вы хотите эмигрировать в Австралию? Это неразумно.
Врач. И опасно для вас.
Учитель. Один из слепых тоже жил в Австралии.
Полицейский. Здесь вы в безопасности.
Все. В безопасности! В безопасности!

Иль озирается, как затравленный зверь.

Иль *(тихо)*. Я написал начальнику департамента полиции в Кафигене.
Полицейский. Ну и что же?
Иль. Никакого ответа.
Учитель. Ваша подозрительность просто непостижима.

Бургомистр. Никто не собирается вас убивать.

Все. Никто! Никто!

Иль. Почта не отсылает моих писем.

Художник. Этого не может быть.

Бургомистр. Вы забываете, что начальник почты — член муниципалитета.

Учитель. Это глубоко порядочный человек.

Все. Порядочный человек, порядочный человек.

Иль. А плакат «Путешествуйте по югу!».

Врач. Ну и что же?

Иль. «Посетите мистерии в Обераммергау!»

Учитель. Ну и что же?

Иль. Вы строите себе новые дома!

Бургомистр. Ну и что же?

Иль. И у вас у всех новые штаны!

Первый. Ну и что же?

Иль. Вы становитесь все богаче! Вы обрастаете вещами!

Все. Ну и что же?

Удар станционного колокола.

Учитель. Теперь вы видите, как мы вас любим.

Бургомистр. Весь городок провожает вас.

Все. Весь городок! Весь городок!

Иль. Я не просил вас об этом.

Второй. Мы хотели с вами проститься.

Бургомистр. Как старые друзья.

Все. Как старые друзья! Как старые друзья!

Грохот останавливающегося поезда. Начальник станции поднимает флажок. Появляется кондуктор.

Кондуктор *(протяжно)*. Гюллен!

Бургомистр. Это ваш поезд, Иль!

Все. Ваш поезд! Ваш поезд!

Бургомистр. Ну, Иль. Желаю вам счастливого пути.

Все. Счастливого пути! Счастливого пути!

Врач. И многих лет жизни!

Все. И многих лет жизни!

Гюлленцы все ближе придвигаются к Илю.

Бургомистр. Австралия — ведь это так далеко. Ради бога, скорее садитесь в поезд.

Полицейский. Желаем вам удачи в Австралии.

Все. Большой удачи! Большой удачи!

Иль не трогается с места.

Иль. Зачем вы все пришли сюда?

Полицейский. Ну, что вам еще надо?

Начальник станции. Посадка!

Иль. Зачем вы окружили меня?

Бургомистр. Мы вовсе не окружили вас.

Иль. Расступитесь!

Учитель. Мы вас не задерживаем.

Иль. Но кто-нибудь не пустит меня.

Полицейский. Чепуха! Вам стоит только сесть в поезд, и вы увидите, что все страхи напрасны.

Иль. Дайте же мне пройти!

Никто не трогается с места. Некоторые стоят, заложив руки в карманы.

Бургомистр. Садитесь! Никто не мешает вам!

Иль. Пустите меня!

Учитель. Ваш страх просто смешон.

Иль падает на колени.

Иль. Почему вы стоите так близко ко мне?

Полицейский. Ну, он совсем спятил.

Иль. Вы хотите меня схватить?

Бургомистр. Скорее садитесь!

Все. Скорее! Скорее!

Молчание.

Иль *(тихо)*. Кто-нибудь из вас набросится на меня, как только я попытаюсь сесть в поезд.

Все *(как бы клянутся)*. Никто! Никто!

Иль. Я чувствую это!

Полицейский. Время истекает.

Учитель. Садитесь же скорее в поезд, дружище!

Иль. Я знаю! Кто-нибудь набросится на меня! Кто-нибудь набросится.

Начальник станции. Отправление!

Поднимает флажок. Кондуктор прыгает в трогающийся поезд. Иль, окруженный гюлленцами, закрывает лицо руками.

Полицейский. Проворонили вы свой поезд, Иль.

Все оставляют стоящего на коленях, поникшего Иля и медленно скрываются в глубине.

Иль один.

Иль. Я погиб!

ТРЕТИЙ АКТ

Сарай Петера. Налево, в паланкине, неподвижно сидит Клер. На ней подвенечное платье, фата, она вся точно окутана белым облаком кисеи и газа. А рядом — старая телега без колес, сломанные дрожки, пустой бочонок, куча грязной соломы. С потолка свисают истлевшие мешки, какие-то тряпки, углы затянуты паутиной.

Появляется Дворецкий.

Дворецкий. Учитель и врач просят принять их.

Клер. Пусть войдут.

Появляются Учитель и Врач. В полутьме сарая они долго ощупью пробираются к Клер. Наконец находят ее, кланяются. Оба одеты как люди, имеющие солидный годовой доход. Собственно говоря, они уже почти элегантны.

Учитель и Врач *(вместе)*. Милостивая государыня!

Клер *(разглядывает их в лорнет)*. Вы в пыли, господа.

Учитель и Врач отряхиваются.

Учитель. О, простите, милостивая государыня. Нам пришлось перелезать через дрожки.

Клер. Я велела принести себя сюда, в сарай Петера. Мне нужен покой. Венчание в гюлленском соборе утомило меня. В конце концов мне не двадцать лет. Вот бочка, господа. Прошу садиться!

Учитель. Благодарю вас.

Садится. Врач продолжает стоять.

Клер. Душно, дышать нечем, но я люблю этот сарай, этот запах сена, соломы и дегтя. Воспоминания... Эти дрожки, сломанная телега с сеном, вилы для навоза — здесь жива моя молодость!

Учитель. Памятное место.

Утирает пот со лба.

К л е р. Проповедь, которую после венчания произнес пастор, была так возвышенна... И ваш объединенный хор, господин учитель, тоже оказался на высоте. Он звучал так торжественно.

У ч и т е л ь. Это был Бах, милостивая государыня. «Страсти по Матфею». Подумать только! К нам, в Гюллен, съехались кинозвезды и финансисты со всего мира. Я еще до сих пор не могу прийти в себя.

К л е р. Звезды укатили на своих «кадиллаках» в столицу. На свадебный банкет.

У ч и т е л ь. Милостивая государыня, мы не смеем отнимать у вас драгоценное время. Муж, вероятно, уже с нетерпением ждет вас.

К л е р. Хоби? Я уже отослала его вместе с гоночным автомобилем обратно в Гайзельгештайг.

В р а ч. Обратно в Гайзельгештайг?

К л е р. Мои адвокаты со вчерашнего дня занимаются оформлением развода.

У ч и т е л ь. А как же гости, милостивая государыня? Гости, прибывшие на свадьбу?

К л е р. Им не привыкать! С лордом Исмаэллом я провернула это еще быстрее. Что привело вас ко мне?

У ч и т е л ь. Мы пришли к вам по делу господина Иля.

К л е р. О, он умер?

У ч и т е л ь. Милостивая государыня! В конце концов мы не можем игнорировать священные принципы западной морали.

К л е р. Что вам, в таком случае, нужно?

У ч и т е л ь. К сожалению, к великому сожалению, гюлленцы за последнее время приобрели немало дорогих вещей.

В р а ч. Даже довольно много дорогих вещей.

Оба утирают пот.

К л е р. Влезли в долги?

У ч и т е л ь. По горло.

К л е р. Несмотря на священные принципы?

У ч и т е л ь. Мы ведь только люди.

В р а ч. И теперь должны платить долги.

К л е р. Вы знаете, что надо делать.

У ч и т е л ь *(мужественно)*. Госпожа Цаханесин! Разрешите говорить с вами вполне откровенно. Поставьте себя на наше место — и вы поймете, в каком плачевном положении мы находимся. Вот уже два десятилетия я насаждаю в этом обнищавшем, павшем духом городе нежные ростки гуманности. И врач в своем старом «мерседесе» день и ночь объезжает больных. Ради чего приносятся эти вопиющие жертвы? Ради денег? Едва ли. Наше жалованье ничтожно. И в то же время я наотрез отклонил, не скрою, весьма лестное для меня предложение кальберштадтской гимназии и не согласился покинуть Гюллен. Так же поступил и врач, когда перед ним открылась возможность читать лекции в университете Эрлангена. Может быть, мы сделали это единственно из любви к людям? Сказать так было бы преувеличением. Нет, милостивая государыня, все эти годы мы, и вместе с нами весь город, жили надеждой на то, что когда-нибудь возродится былое величие Гюллена и мы сможем использовать те богатства, какие в таком щедром изобилии таит наша земля. В лесу Конрада уже давно открыты залежи руды, а неподалеку, в долине Пюкенрида, нефть. Мы не бедны, мадам. Но забыты. Нужен кредит, доверие и заказы. С Гюлленом можно говорить по-деловому. У нас есть Бокман, у нас есть вагнеровские фабрики. Купите их. Поставьте их на ноги — и Гюллен восстанет из руин. Для этого не потребуется тратить миллиард. Нам необходим всего лишь миллион, один миллион, и мы готовы к тому же заплатить хорошие проценты.

Клер. Проценты? Кроме вашего миллиарда, у меня есть еще два.

Учитель. Не заставляйте нас думать, что всю нашу жизнь мы надеялись понапрасну. Не о милости мы просим. Речь идет о вполне деловом предложении.

Клер. Что ж, неплохое предложение.

Учитель. Милостивая государыня, я знал, что вы не бросите нас на произвол судьбы.

Клер. Но все, что вы предлагаете, нереально. Я не могу купить фабрики Вагнера и Бокмана. Они уже принадлежат мне.

Учитель. Вам?

Врач. И Вагнер?

Учитель. И даже Бокман?

Клер. Они принадлежат мне со всеми потрохами! И долина Пюкенрида, и сарай Петера, и городок, и каждая улица, и каждый дом. Я приказала моим агентам оптом закупить весь этот хлам. Ваши надежды, господа, были бессмысленны, ваши ожидания — тщетны, а ваши жертвы — просто глупы. И вообще вся ваша жизнь прошла впустую.

Молчание.

Врач. Это неслыханно!

Клер. Была зима, когда я, девчонка с рыжими косичками, в одной матроске покидала этот городок. Я ждала ребенка. И гюлленцы скалили зубы и улюлюкали мне вслед. Дрожа от холода, сидела я в поезде, который шел в Гамбург. За окном, покрытым изморозью, медленно исчезали очертания сарая Петера. Тогда-то я и поклялась, что еще вернусь сюда. И вот я здесь, теперь я ставлю условия Гюллену и диктую ему законы. *(Громко)*. Роби и Тоби, в «Золотой апостол»! Муж № 9 уже примчался со своими рукописями.

Входят Монстры, поднимают паланкин.

Учитель. Госпожа Клер! Конечно, вы — оскорбленная в своих чувствах женщина, которая требует возмездия. Вы кажетесь мне героиней античной трагедии, Медеей. Мы очень хорошо понимаем вас. И поэтому говорим: оставьте гибельные для всех нас мысли о мести, не доводите нас до крайности, помогите бедным, слабым, но порядочным людям начать новую, более достойную их жизнь. Мы взываем к вам: «Будьте человеколюбивы!»

Клер. В наше время, господа, человеколюбие покупается и продается так же, как и все остальное. С моими миллиардами я могу позволить себе установить в мире такой порядок, какой мне по вкусу. Мир превратил меня в гулящую девку, я — превращу мир в бордель. А у кого нет денег, тот пусть помалкивает. Либо вы мне служите, либо убирайтесь к дьяволу! Прав тот, кто платит. И я плачу Гюллену — за убийство. Условие — труп. В дорогу!

Клер уносят.

Врач. Боже мой, что нам теперь делать?

Учитель. То, что предписывает совесть, доктор Нюслин.

Справа возникает магазин Иля. Новая вывеска, новая сверкающая стойка, новая касса, дорогие товары. Когда кто-нибудь входит через воображаемую дверь, раздается сильный, торжественный звонок. За стойкой — Жена Иля.

Входит Первый гюлленец. Теперь мы можем определить его профессию. Это мясник, новый фартук на нем забрызган кровью.

Первый. Вот это был праздник! Весь Гюллен собрался на площади перед собором.

Жена. После стольких испытаний Клерхен заслужила немножечко счастья.

Первый. Подружками невесты были кинозвезды с мировой славой. И вообразите, у всех вот такая грудь!

Жена. Сейчас это модно.

Первый. А сколько было журналистов! Я думаю, они придут и сюда.

Жена. Мы скромные люди, Хофбауер. Что интересного они здесь найдут?

Первый. Они сейчас ищут всюду сигареты!

Жена. Зелененькие?

Первый. Нет, «Кэмэл». Сегодня всю ночь пил у Штокеров...

Жена. Записать на счет?

Первый. Конечно.

Жена. Как идут дела у вас на бойне?

Первый. Не жалуюсь.

Жена. Мне тоже грех жаловаться.

Первый. Я уже нанял работников.

Жена. Я тоже хочу взять одного с первого числа.

Мимо магазина проходит элегантно одетая фрейлейн Луиза.

Первый. Смотрите, как расфуфырилась! Должно быть, воображает, что мы убьем Иля.

Жена. Бесстыдница!

Первый. Кстати, где он сейчас? Я что-то давно его не видел.

Жена. Наверху.

Первый гюлленец закуривает, прислушивается.

Первый. Шаги...

Жена. Он целыми днями ходит из угла в угол.

Первый. Его терзает нечистая совесть. Все-таки как он непорядочно поступил с бедной госпожой Клер!

Жена. Я тоже не могу не сочувствовать ей.

Первый. Бросить девушку в несчастье. Тьфу, черт возьми! *(Решительно)*. Госпожа Иль, я надеюсь, когда придут журналисты, ваш муж будет держать язык за зубами.

Жена. Разумеется.

Первый. Мы не должны забывать, с кем имеем дело.

Жена. Поверьте, господин Хофбауер, мне тяжелее, чем другим.

Первый. Не опасаетесь ли вы, что Иль предпримет попытку скомпрометировать нашу Клер и начнет пороть всякую чушь, будто она требовала его смерти, или что-нибудь в этом роде. Но мы-то с вами прекрасно знаем: Клер пообещала нам миллиард исключительно из чувства сострадания. И мы сумеем заступиться за нее. Но, конечно, не ради миллиарда *(сплевывает)*, а только во имя того, чтобы удовлетворить справедливый гнев гюлленцев. *(Оглядывается)*. Лестница ведет в комнату Иля?

Жена. Это единственный выход. Весной мы здесь всё перестроим.

Первый. Я останусь здесь. На всякий случай.

Становится у лестницы, как заступающий на вахту часовой. Входит Учитель.

Учитель. Где Иль?

Первый. Наверху.

Учитель. *(к Жене Иля)*. Конечно, это не в моих правилах, но налейте-ка мне чего-нибудь покрепче.

Жена. Как хорошо, что вы заглянули к нам, господин учитель. Мы недавно получили партию штейнхегера. Может быть, попробуете?

Учитель. Пожалуй. Стаканчик.

Жена. И вам, господин Хофбауер?

Первый. Спасибо, не нужно. Сегодня мне еще предстоит поездка на моей машине в Каффиген. Надо закупить поросят.

Жена Иля наливает Учителю вино, ставит перед ним бутылку.

Жена. Вы дрожите, господин учитель?

Учитель. Я слишком много пью в последнее время.

Жена. Еще одна рюмочка не повредит.

Учитель. А он все ходит? *(Прислушивается).*

Жена. Да, из угла в угол, из угла в угол.

Первый. Его карает бог.

Входит Художник с картиной под мышкой. На нем новая вельветовая куртка, яркий бант, черный берет.

Художник. Господа, осторожность прежде всего. Какие-то журналисты уже спрашивали меня, как пройти к этому дому.

Первый. Подозрительно.

Художник. Я сказал, что не знаю.

Первый. Неглупо.

Художник показывает Жене Иля картину.

Художник. Взгляните, госпожа Иль. Только что снял с мольберта. Даже краски еще не высохли.

Учитель тем временем подливает себе еще вина.

Жена. Мой Фреди!

Художник. Вам нравится? Искусство начинает процветать в Гюллене...

Жена. Альфред здесь как живой.

Художник. Лучшие масляные краски, какие я только мог найти. Сохранятся в веках!

Жена. Я повешу портрет у себя в спальне, над изголовьем. Альфред уже стар, мало ли что может случиться. Это будет мне напоминать о нем.

Мимо магазина проходят женщины из второго акта, элегантно одеты. Останавливаются и рассматривают воображаемую витрину.

Первый. Посмотрите-ка на этих дамочек. Среди бела дня ходят в новое кино. Ведут себя так, будто мы способны стать убийцами.

Жена *(художнику)*. Сколько стоит?

Художник. Триста.

Жена. Сейчас заплатить не смогу.

Художник. Не беспокойтесь, госпожа Иль. Я подожду, охотно подожду.

Учитель. Шаги, все время шаги.

Появляется Второй гюлленец.

Второй. Сейчас сюда нагрянут репортеры.

Первый. Иля к ним не пускать. Ни за что. Ценой жизни и смерти.

Художник. Следите, чтобы он не прорвался вниз

Первый. Я уж позабочусь об этом.

Гюлленцы собираются возле лестницы. Учитель продолжает сидеть у стойки, он уже выпил половину бутылки. Входят два репортера, они увешаны фотоаппаратами.

Первый репортер. Добрый вечер!

Все. Добрый вечер!

Первый репортер. Вопрос первый: как вы себя чувствуете, в общем и целом?

Первый гюлленец *(неуверенно)*. Мы, разумеется, очень рады визиту госпожи Цаханесин.

Художник. Мы тронуты.

Второй гюлленец. Мы горды.

Первый репортер *(записывает)*. Горды...

Второй репортер. Вопрос второй. Я обращаюсь к женщине за стойкой: нам сказали, что вас когда-то предпочли госпоже Клер?

Молчание. Гюлленцы явно испуганы.

Жена. Кто это вам сказал?

Молчание. Репортеры что-то строчат в своих блокнотах.

Первый репортер. Мы взяли интервью у слепых дядюшек госпожи Цаханесин.

Тишина.

Жена. Что же они вам рассказали?

Второй репортер. Всё.

Художник. Черт возьми!

Тишина.

Второй репортер. Нам стало известно, что больше сорока лет назад госпожа Клер и хозяин этой лавки чуть не поженились. Это правда?

Молчание.

Жена. Правда.

Второй репортер. Господин Иль здесь?

Жена. Он в Кальберштадте.

Все. Он в Кальберштадте.

Первый репортер. Ничего, мы и без него представляем себе весь ход романа. Альфред и Клер вместе росли, может быть даже жили рядом, вместе ходили в школу, гуляли в лесу, затем — первые невинные поцелуи и так далее. Но вот господин Иль знакомится с вами, милая женщина, и впервые познает нечто новое, необычное, он познает, что такое страсть.

Жена. Страсть? Да, все случилось так, как вы рассказываете.

Первый репортер. Выше голову, госпожа Иль, снимаю *(фотографирует)*. Конечно, Клер понимает все, тихо и благородно отказывается от своей любви, и вы женитесь...

Жена. По любви.

Все *(с облегчением)*. По любви.

Первый репортер. По любви.

Перед магазином появляются Роби и Слепые. Роби тащит Слепых за уши и подталкивает их к Тоби, который ждет уже с плеткой в руках.

Слепые *(жалобно)*. Мы ничего больше не скажем! Ничего больше не скажем! *(Скрываются)*.

Второй репортер. Надо полагать, и это так понятно, ваш муж, госпожа Иль, сейчас, конечно, сожалеет, что не женился тогда на будущей миллиардерше?

Жена. Но деньги еще не делают человека счастливым. Любовь дороже денег.

Второй репортер *(записывает)*. Любовь дороже денег.

Первый репортер. К сожалению, мы, люди двадцатого века, так часто забываем эту простую истину.

Входит сын Иля. Он в новой замшевой куртке.

Жена. Наш сын Карл.

Первый репортер. Прекрасный молодой человек.

Второй репортер. Знает ли он о всех обстоятельствах?..

Жена. У нас в семье нет тайн. Мы с мужем всегда говорили: что известно богу, должны знать и наши дети.

Второй репортер *(записывает)*. Дети в курсе дела.

Входит дочь Иля, она в белом костюме, в руках теннисная ракетка.

Жена. Наша дочь Отилия.

Второй репортер. Charmante!

Учитель, собравшись с силами, встает.

Учитель. Гюлленцы! К вам обращается ваш старый учитель. Все это время я потягивал свой штейнхегер и молчал. Но теперь я хочу держать речь, хочу рассказать правду о визите старой дамы в Гюллен.

Взбирается на бочку, которая остается на сцене от декораций сарая Петера.

Первый гюлленец. Он рехнулся!

Второй гюлленец. Придержи язык, гимназическая крыса!

Учитель. Гюлленцы! Я должен разорвать опутавшую нас ложь, даже если это будет стоить нам вечной нищеты...

Жена. Он пьян! Стыдитесь, господин учитель!

Учитель. Не я, а ты должна стыдиться, женщина, это ты готовишься предать своего мужа!

Сын. Заткни фонтан!

Первый гюлленец. Вон!

Второй гюлленец. Уберите его!

Учитель. Опомнитесь, гюлленцы! Как далеко зашли вы!

Дочь *(умоляюще)*. Господин учитель!

Учитель. Ты огорчаешь меня, девочка, это ты должна быть сейчас на моем месте. Ну что ж, пусть старый учитель возвысит свой голос!

Художник ударяет Учителя портретом Иля по голове.

Художник. На, получай! Ты хочешь, чтобы я потерял свои заказы?

Учитель. Протестую! Перед лицом мировой общественности! Неслыханные вещи творятся в Гюллене!

Гюлленцы кидаются к Учителю, в этот момент по лестнице медленно спускается Иль. Его старый, потертый сюртук расстегнут.

Иль. Что здесь происходит?

Гюлленцы, оставив Учителя, испуганно смотрят на Иля. Воцаряется мертвая тишина.

Иль. Зачем вы залезли на бочку, учитель?

Учитель сияет улыбкой.

Учитель. Чтобы защитить истину, Иль. Я решил открыть представителям прессы всю правду. Мой голос прозвучал здесь как труба архангела в день страшного суда. Я сделал это, потому что я — гуманист, друг древних греков, поклонник Платона.

Иль. Лучше помолчите, господин учитель.

Учитель. А?

Иль. Слезайте-ка вниз.

Молчание.

Учитель. Но человечность...

Иль. Садитесь!

Молчание.

Учитель *(почти протрезвев)*. Сесть? Человечность должна сесть? Пожалуйста, я сяду, даже если в моем лице вы попираете сам гуманизм.

Спускается с бочки, усаживается.

Иль. Простите его, господа. Он пьян.

Второй репортер. Господин Иль?

Иль. Что вам угодно?

Первый репортер. Мы рады видеть вас, разрешите сделать несколько снимков. *(Осматривается)*. Все это у меня уже есть: товары, домашняя утварь, хозяйственные принадлежности. Теперь хотелось бы запечатлеть вас за вашим обычным делом. Прошу, господин Иль, станьте за стойку. Вы что-нибудь продаете, ну, скажем, вот этот топор.

Иль *(удивленно)*. Топор?

Первый репортер. Да, вы продаете топор мяснику. Впечатление производит только то, что естественно. Мирная, будничная жизнь, простые люди. Передайте-ка сюда это орудие убийства. Ваш клиент берет его, взвешивает на ладони, у него задумчивое лицо, он колеблется, купить ему или нет. Вы нагибаетесь, что-то говорите ему. Начали! *(Готовится к съемке)*. Непринужденней, все как в жизни, господа! *(Щелкает)*. Хорошо, очень хорошо.

Второй репортер. А я, господин Иль, хотел бы снять вас в кругу любящей семьи. Положите руку на плечо супруги, сын слева, дочь справа. Вот так! Только все выглядит немного скучновато, не скупитесь на улыбку, ваши лица сияют от счастья, сияют от внутреннего удовлетворения, сияйте, еще, еще!.. Спасибо!

Первый репортер. Великолепно сияли!

Мимо магазина пробегают еще несколько фоторепортеров. Один из них кричит в дверь магазина.

Фоторепортер. У Цаханесинши новый! Только что они отправились на прогулку в лес Конрада.

Второй репортер. Новый?

Первый репортер. Бежим! Наклевывается превосходная обложка для «Лайфа»!

Репортеры убегают. Молчание. Первый гюлленец все еще держит в руке топор.

Первый гюлленец *(с облегчением)*. Ну, нам повезло!

Художник. Ты должен простить меня, учитель. Если мы хотим, чтобы наши дела и дальше шли гладко, пресса не должна знать ни о чем. Сообразил?

Художник уходит, Второй гюлленец идет за ним, останавливается возле Иля.

Второй. Ты сделал умно, что не болтал. Впрочем, такому негодяю, как ты, все равно бы никто не поверил. *(Уходит)*.

Первый. Ну, теперь мы с тобой, Иль, попадем в журналы.

Иль. Может быть.

Первый. Станем знаменитыми.

Иль. Можно и так это назвать.

Первый. Сигары.

Иль. Пожалуйста!

Первый. В кредит.

Иль. Разумеется.

Первый. Честно говоря, так поступить, как ты поступил с нашей Клерхен, мог только подлец! *(Идет к двери)*.

Иль. Вы забыли отдать топор, Хофбауер.

Первый гюлленец несколько мгновений колеблется, но потом кладет топор на стойку и уходит. Молчание. Учитель все еще сидит на бочке.

Учитель. Не судите меня строго, Иль, я распил бутылочку вашего штейнхегера.

Иль. Ничего, не беспокойтесь.

Тем временем жена и дети Иля уходят наверх.

Учитель. Я хотел вам помочь, но мне не дали говорить, и вы тоже этого не захотели. Ах, ну что мы за люди! Наши сердца жжет этот позор-

ный миллиард. Соберитесь с силами, Иль, и начните борьбу за свою жизнь. Свяжитесь с прессой, вам нельзя терять ни минуты.

Иль. Я больше не в силах бороться. Я побежден.

Учитель *(удивленно)*. Вы что, со страху совсем лишились рассудка?

Иль. Я понял, что не имею права бороться.

Учитель. Не имеете права бороться с этой злобной старухой, с этой прожженной развратницей, которая бесстыдно, на глазах у всего мира, без конца меняет мужей? Которая своими миллионами растлевает, опустошает наши души?

Иль. В конечном счете, я — виновник всего этого.

Учитель. Виновник?

Иль. Ведь я толкнул ее на этот путь. Что же мне делать теперь, учитель из Гюллена? Разыгрывать невиновного? А дворецкий, слепые, этот гроб и этот страшный миллиард — разве не дело моих рук? Я все равно уже не могу помочь ни себе, ни вам.

Поднимает с пола разорванный портрет и долго смотрит на него.

Иль. Мой портрет...

Учитель. Ваша жена хотела повесить его в спальне, над кроватью.

Иль. Кюн нарисует еще раз.

Кладет портрет на стойку. Учитель встает, покачивается.

Учитель. Я, кажется, уже трезв. *(Подходит к Илю)*. Вы правы, целиком и полностью правы. И теперь, Альфред Иль, я хочу сообщить вам нечто чрезвычайно важное. *(Пытается выпрямиться, но все-таки легонько пошатывается)*. Вас убьют, Иль. Я это знаю с самого начала, и вы давно знаете, хотя никто не хочет верить в это. Соблазн слишком велик, и наша нужда так горька!.. Но это еще не все. И я буду против вас. Я чувствую, как проклятый миллиард превращает меня в убийцу. Моя вера в гуманность бессильна. Я стал пьяницей. Я так же боюсь, как и вы. Может быть, и мне когда-нибудь нанесет визит старая дама, и тогда со мной случится то, что случилось с вами, ведь она приходит к каждому из нас, только не каждый знает заранее о ее приходе. *(Молчание)*. Еще одну бутылочку штейнхегера!

Иль ставит перед Учителем бутылку. Тот сосредоточенно смотрит на нее, потом решительно засовывает в карман.

Учитель. Запишите в кредит! *(Медленно уходит)*.

По лестнице спускаются Жена и Дети Иля.

Иль задумчиво, даже мечтательно обводит взглядом свой магазин.

Иль. Все новое! Как у нас стало уютно, чисто. И на современный лад! Я всегда мечтал иметь именно такой магазин.

Берет у дочери теннисную ракетку.

Иль. Ты играешь в теннис?

Дочь. Я взяла несколько уроков.

Иль. По утрам, не правда ли? Вместо того, чтобы ходить на биржу труда?

Дочь. Все мои подруги играют в теннис.

Молчание.

Иль. Из окна я видел тебя в какой-то машине, Карл.

Сын. Это всего лишь «опель-олимпия». Дешевка!

Иль. Когда ты научился водить машину? *(Молчание)*. Впрочем, это, конечно, лучше, чем грузить вагоны под палящим солнцем!

Сын *(смущен)*. Пожалуй. *(Выносит бочонок, на котором сидел пьяный учитель)*.

И л ь. Сегодня я полез в шкаф, чтоб достать свой костюм, и обнаружил там роскошное манто.

Ж е н а. Я за него еще не заплатила. *(Молчание)*. Все делают долги, Фреди. Только ты как-то странно себя ведешь. К чему эта истерика? Твой страх просто смешон. Ведь ясно — дело кончится миром, и с твоей головы не упадет ни один волос. Клерхен не пойдет на крайность. Я знаю, у нее доброе сердце.

Д о ч ь. Ну, конечно, папа.

С ы н. Ты должен понять это, отец.

Молчание.

И л ь *(с усилием)*. Сегодня суббота. Я хотел бы проехаться в твоем автомобиле, Карл. В нашем автомобиле.

С ы н *(удивленно)*. Ты хочешь?

И л ь. Наденьте ваши лучшие платья. Мы поедем все вместе.

Ж е н а *(неуверенно)*. Я тоже должна ехать? Прилично ли это?

И л ь. Почему же неприлично? Захвати свое новое манто. У тебя будет случай его показать. Идите, собирайтесь. Я пока займусь кассой.

Иль остается один. Входит Бургомистр, несет ружье.

Б у р г о м и с т р. Добрый вечер, Иль. Не отрывайтесь от дела. Я заглянул на минутку.

И л ь. Вы мне не помешали.

Молчание

Б у р г о м и с т р. Я принес ружье.

И л ь. Спасибо.

Б у р г о м и с т р. Ружье заряжено.

И л ь. Оно мне ни к чему.

Бургомистр ставит ружье к стене.

Б у р г о м и с т р. Сегодня вечером гюлленцы соберутся в театральном зале «Золотого апостола».

И л ь. Я приду.

Б у р г о м и с т р. Придут все. Мы будем обсуждать ваше дело. Согласитесь со мной: положение, в которое мы теперь попали, весьма затруднительно.

И л ь. Да, я тоже так полагаю.

Б у р г о м и с т р. Предложение госпожи Цаханесин будет отклонено.

И л ь. Может быть.

Б у р г о м и с т р. Допустим, однако, что оно будет принято.

И л ь. Допустим.

Молчание.

Б у р г о м и с т р *(осторожно)*. В таком случае вы примете наш приговор? *(Иль молчит)*. На собрании будет присутствовать пресса.

И л ь. Пресса?

Б у р г о м и с т р. Да. Кроме того, радио, телевидение, кинохроника. Щекотливая ситуация — не только для вас, но и для нас, поверьте мне. Гюллен широко прославился как родина госпожи Клер. А после ее венчания в гюлленском соборе слава о нас облетела весь мир. Теперь предполагается дать подробный репортаж о нашей общественной жизни, о наших старых демократических традициях.

Иль возится с кассой.

И л ь. Вы предадите гласности также и предложение Клары?

Б у р г о м и с т р. Неполностью. Лишь посвященные будут в курсе дела.

И л ь. То есть будут знать, что речь идет о моей жизни?

Молчание.

Б у р г о м и с т р. Я уже сообщил представителям печати о желании госпожи Клер сделать городу некое пожертвование. И о том, что вы как друг ее молодости весьма способствовали этому решению. Впрочем, о вашей дружбе с Клер репортерам было и ранее известно. А уже одно это создает вам безупречную репутацию. Что бы потом ни случилось.

И л ь. Вы великодушны.

Б у р г о м и с т р. Я поступил так, откровенно говоря, не ради вас, а ради вашей честной и дружной семьи.

И л ь. Понимаю.

Б у р г о м и с т р. Вы должны признать, Иль, игра идет в открытую. До сих пор вы вели себя хорошо. Вы молчали. Можем ли мы рассчитывать на ваше молчание и дальше? Если вздумаете заговорить — учтите: мы проведем все и без общего собрания.

И л ь. Понимаю.

Б у р г о м и с т р. Ну?

И л ь. Я рад слышать эту откровенную угрозу.

Б у р г о м и с т р. Не я вам угрожаю, Иль. Вы угрожаете нам. Поэтому стоит вам только открыть рот, и мы тут же начнем действовать.

И л ь. Буду молчать.

Б у р г о м и с т р. Каким бы ни было решение собрания?

И л ь. Я приму его.

Б у р г о м и с т р. Отлично. *(Пауза)*. Ваше обещание радует меня. Вам, я вижу, еще не чуждо чувство чести. Но, может быть, лучше вообще не собирать гюлленцев на этот общинный суд?

И л ь. Что вы хотите этим сказать?

Б у р г о м и с т р. Вы сказали, что ружье вам не нужно. А вдруг оно все-таки вам понадобится? *(Молчание)*. Можно было бы сообщить госпоже Клер, что мы вас осудили. И таким образом, все равно получили бы деньги. Поверьте, я провел не одну бессонную ночь, прежде чем решился сделать вам подобное предложение. Собственно говоря, ваш долг — покончить с собой. Ваш долг, как человека чести. Вы обязаны поступить так из любви к ближнему, из любви к родному городу, наконец. Вы же видите нашу горькую нужду, нищету, голодающих детей.

И л ь. Но ведь сейчас все изменилось.

Б у р г о м и с т р. Иль!

И л ь. Бургомистр! Я прошел через ад. Я видел, как вы делаете долги, и при каждом новом признаке вашего обогащения чувствовал, что ко мне все ближе и ближе подползает смерть. Если бы вы уберегли меня от этого страха, от этого кошмара, все было бы по-другому. Мы могли бы говорить совсем иначе. И я бы взял ружье. Ради вас всех. Но теперь я собрался с силами и победил мой страх. Один. Это было трудно, но я это сделал. И нет уже мне пути назад. Вы должны теперь быть моими судьями. Я подчинюсь вашему приговору, каким бы он ни был. Для меня это будет наказанием за старый проступок. Чем это будет для вас, не знаю. Дай бог, чтобы ваша совесть выдержала этот приговор. Можете меня убить. Я ничего не сделаю, чтобы спасти свою жизнь: не буду стремиться вызвать вашу жалость, не буду защищаться, не буду протестовать. Но взять на себя то, что хотите сделать вы, я не могу.

Бургомистр берет ружье.

Б у р г о м и с т р. Жаль. Вы упускаете случай оправдать себя и стать порядочным человеком. Впрочем, от такой личности, как вы, и требовать этого бесполезно!

И л ь. Огонь, господин бургомистр.

Бургомистр дает Илю прикурить, уходит.

Сверху спускается жена Иля в роскошном каракулевом манто и дочь в красном, сильно облегающем фигуру платье.

Иль. Как ты хорошо выглядишь, Матильда.

Жена. Мне просто идет каракуль.

Иль. Настоящая дама.

Жена. Знаешь, Фреди, все-таки оно немножко дороговато...

Иль. А у тебя красивое платье, Отилия. Но не слишком ли вызывающее?

Дочь. Что ты, папа! Ты еще не видел моего вечернего!

Магазин Иля исчезает. Сын выводит машину.

Иль. Красивая машина. Всю свою жизнь я пытался скопить немного денег, чтоб доставить себе хоть какое-нибудь удовольствие. Например, купить вот такую машину. И теперь, раз она уже есть, я хочу знать, как себя чувствует человек с достатком. Садись рядом со мной, Матильда. Отилия и Карл впереди.

Садятся в машину.

Сын. Я могу ехать со скоростью 120 километров в час.

Иль. Не нужно так быстро. Я хочу осмотреть окрестности и городок, в котором прожил почти семьдесят лет... Как чисты наши старые улицы! Много домов отремонтировано, седой дымок над каминными трубами, герань на окнах, подсолнухи за заборами, розы в скверике у ворот дома Гете. Повсюду слышен детский смех, гуляют влюбленные парочки. Что это за новое здание на площади Брамса? Это и есть современный стиль?

Жена. Ходель строит кафе.

Дочь. Смотри-ка, папа. Врач в своем «мерседесе-300». Новейшая марка!

Иль. Холмы, залитые нежарким осенним солнцем, золотая листва на деревьях, глубокие тени на дороге. А на горизонте так ясно вырисовываются краны и трубы фабрики Бокмана.

Сын. Скоро ее пустят в ход.

Иль. Что?

Сын *(громче)*. Скоро ее пустят в ход!

Нажимает гудок.

Жена. Какие смешные мотоциклы!

Сын. Это мотороллеры. Каждый гимназист считает своим долгом завести себе такую штуку.

Дочь. C'est terrible!

Жена. Отилия берет уроки французского и английского.

Иль. Что ж, может пригодиться... Фабрика. Как давно я здесь не был!

Сын. Ее будут расширять... Конечно, это Штокер. Вечно обгоняет всех в своем «бьюике».

Дочь. Выскочка!

Иль. Поезжай по тополевой аллее, мимо охотничьего домика курфюрста Хассо. Смотрите, какое облачко — светлое, прозрачное, совсем летнее. До чего же красива земля в этот час в лучах заходящего солнца! Я словно впервые вижу все это.

Дочь. У тебя, папа, настроение, как у Адальберта Штифтера.

Иль. Как у кого?

Жена. Как у Штифтера. Наша Отилия берет уроки литературы.

Иль. Я вижу, вы во всем следуете хорошему тону.

Сын. Хофбауер в своей машине; возвращается из Каффигена.

Дочь. С поросятами.

Жена. Карл уверенно водит машину. Смотри, сейчас он эффектно срежет поворот. С ним я совсем не боюсь.

Сын. Дорога идет в гору.

Иль. Я, бывало, задыхался, пока добирался наверх.

Жена. Хорошо, что я взяла манто. Становится прохладно.

Иль. Ты свернул не на ту дорогу, Карл. Это шоссе ведет в Байзенбах. Вернись назад и потом поезжай налево, к лесу Конрада.

Машина откатывается немного назад. Появляются четыре гюлленца, вносят деревянную скамью. Они во фраках. Изображают деревья.

Первый. Мы снова ели и буки.

Второй. Кукушка и дятел. Пугливая серна.

Третий. Зачарованная тишина лесных чащ, неоднократно воспетая поэтами.

Четвертый. Но теперь, увы, нарушаемая гудками автомобилей.

Сын нажимает гудок.

Сын. Опять серна. Вот глупое животное — не убегает с дороги.

Дочь. Они стали доверчивы. Охота сейчас запрещена.

Третий делает несколько прыжков.

Иль. Остановись возле этих деревьев, Карл!

Сын. Хорошо.

Жена. Но зачем, Фреди?

Иль. Я хочу погулять в лесу. *(Выходит из машины)*. Как красив доносящийся сюда далекий звон гюлленских колоколов! Праздничный вечер.

Сын. Четыре колокола. Их далеко слышно.

Иль. Все пожелтело. Да, уже осень... Опавшие листья, как груды золота.

Сын. Мы подождем тебя внизу, возле гюлленского моста.

Иль. Не надо. Я пройду лесом в городок, на собрание в «Золотом апостоле».

Жена. Тогда мы поедем в Кальберштадт, Фреди, и пойдем там в кино.

Сын. Всего доброго, отец.

Дочь. So long, Daddy!

Жена. До свидания! До скорого свидания!

Жена машет Илю рукой. Машина исчезает. Иль смотрит ей вслед. Садится на скамью.

Шум ветра. Справа появляются Роби и Тоби, несут Клер, она в своем обычном платье. За плечами у Роби гитара. Рядом с паланкином шагает Муж № 9, лауреат Нобелевской премии, высокий, тонкий, волосы с проседью, усики. (Он может быть сыгран тем же актером, который играл Мужа № 7 и Мужа № 8). Сзади шествует Дворецкий.

Клер. Лес Конрада. Остановитесь, мальчики! *(Клер спускается на землю. Осматривает лес в лорнет. Дотрагивается до Первого гюлленца)*. Кору совсем источили жуки. Дерево умирает. *(Замечает Иля)*. Альфред! Как хорошо, что я встретила тебя. Мне захотелось погулять по моему лесу.

Иль. Разве лес Конрада тоже принадлежит тебе?

Клер. Да. Можно мне сесть рядом с тобой?

Иль. Конечно. Я только что расстался с семьей. Они поехали в кино. У Карла теперь новая машина.

Клер. Ого, это прогресс! *(Садится рядом)*.

Иль. Отилия берет уроки литературы, английского и французского.

Клер. Вот видишь. Дети все-таки нашли свои идеалы. Цоби! Подойди сюда, поклонись. Мой девятый муж. Лауреат Нобелевской премии.

Иль. Очень рад.

Клер. Он особенно оригинален, когда не мыслит. Цоби! Перестань мыслить!

Муж № 9. Но, дорогая...

Клер. Пожалуйста, без фокусов!

Муж № 9. Ну, хорошо.

Муж № 9 старается не мыслить.

Клер. Не правда ли, Цоби в такие минуты похож на дипломата? Он напоминает мне графа Холька. Только тот не сочинял книг. Цоби хочет уйти в отставку, писать мемуары. И, конечно, управлять моими миллионами.

Иль. Поздравляю тебя.

Клер. У меня недоброе предчувствие. Муж должен служить для чисто декоративных целей, а не приносить реальную пользу. Цоби, иди займись делом! Неподалеку ты найдешь исторические руины.

Муж № 9 уходит.

Иль *(оглядываясь)*. А где же слепые?

Клер. Я отправила их в Гонконг, в одну из моих курилен опиума. Там они могут курить и грезить. Они слишком много болтали. Скоро за ними последует и дворецкий. Скоро и он не будет мне больше нужен. Сигару «Ромео и Джульетта», Боби!

Появляется Дворецкий, подает ящик с сигарами.

Клер. Может быть, ты возьмешь, Альфред?

Иль. Охотно.

Клер. Огня, Боби!

Курят.

Иль. Какой тонкий аромат.

Клер. Помнишь, когда-то в этом лесу мы курили сигареты, купленные тобой у твоей Тильды. Или украденные у нее.

Первый гюлленец стучит ключом по трубке.

Клер. Дятел. Совсем как тогда...

Четвертый. Ку-ку! Ку-ку!

Иль. И кукушка...

Клер. Хочешь, Роби сыграет тебе что-нибудь?

Иль. Пожалуйста.

Клер. Он хорошо играет, этот помилованный мною преступник. Роби нужен мне в лирические минуты. Я ненавижу граммофон и радио.

Иль. Пусть сыграет «Солдаты идут по Африке».

Клер. Твоя любимая песня. Я давно заставила Роби выучить ее.

Иль и Клер курят. Молчат. Шум ветра, крики кукушки и т. д. Роби играет балладу.

Иль. У тебя, вернее у нас, был ребенок...

Клер. Да.

Иль. Мальчик или девочка?

Клер. Девочка.

Иль. Как ее звали?

Клер. Женевьева.

Иль. Красивое имя.

Клер. Я видела девочку только раз — когда она родилась. Потом ее забрали у меня и отдали в приют христианской общины.

Иль. Какого цвета были ее глаза?

Клер. При мне она не открывала их.

Иль. А волосы?

Клер. Кажется, черные. Но у новорожденных они чаще всего такие.

И л ь. Пожалуй.

Молчат. Курят. Звучит гитара.

И л ь. Где она умерла?

К л е р. У каких-то людей. Я забыла их имена.

И л ь. От чего?

К л е р. От менингита. Впрочем, может быть, и от чего-нибудь другого. Я получила лишь официальное извещение.

И л ь. Обычно таким извещениям можно верить.

Снова молчание.

К л е р. Я рассказала тебе о нашей девочке. Теперь ты расскажи обо мне!

И л ь. О тебе?

К л е р. Да. О том, какой я была в семнадцать лет, когда ты любил меня.

И л ь. Однажды я долго искал тебя в сарае Петера, а ты спряталась в дрожках. Тогда ты была в одной только рубашке, с длинной соломинкой в зубах.

К л е р. А помнишь, как тот парень со станции стал приставать ко мне? Ты был сильный и здорово отделал его. Я вытерла кровь у тебя на лбу краем моей красной нижней юбки. *(Гитара умолкла).* Песня окончена.

И л ь. Еще! Пусть сыграет «О моя прекрасная родина».

К л е р. Роби умеет и это.

Звучит новая мелодия.

И л ь. Я благодарю тебя за все цветы и венки, за хризантемы и розы, они так красиво выглядят на гробе в «Золотом апостоле». Ими полны уже целых два зала. Час настал. В последний раз мы сидим с тобой в нашем старом лесу, полном тревожного шума деревьев и крика кукушки. Сегодня вечером соберутся гюлленцы. Меня приговорят к смерти, и кто-нибудь меня убьет. Я не знаю, кто именно и где это произойдет. Знаю только, что кончится моя бессмысленная жизнь.

К л е р. Я отвезу тебя на Капри и похороню в парке моего дворца. Твоя гробница будет окружена кипарисами. Какой чудесный вид откроется из нее на Средиземное море!

И л ь. Я видел его только на открытках.

К л е р. Море цвета лазури. Грандиозная панорама. Там ты останешься навсегда. Мертвый — под каменными плитами. Твоя любовь умерла много лет назад. Моя любовь не могла умереть, но не могла и жить. Она стала таким же злом, как я сама, как ядовитые грибы в этом лесу. Ее задушили мои миллиарды. Они протянули к тебе свои золотые щупальцы и требуют у меня твоей жизни. Отныне она принадлежит мне. Навсегда. Теперь ты опутан, теперь ты погиб. И скоро не останется в моих воспоминаниях ничего, кроме мертвого возлюбленного, пугливого призрака в заброшенном доме.

Гитара умолкла.

И л ь. Кончилась и эта песня.

Возвращается Муж № 9.

К л е р. Лауреат Нобелевской премии. Возвращается от своих руин. Ну, Цоби?

М у ж № 9. Раннее христианство. Разрушено гуннами.

К л е р. Жаль. Твою руку! Носилки, Роби и Тоби!

Садится в паланкин.

К л е р. Прощай, Альфред!

И л ь. Прощай, Клара!

Клер уносят. Иль остается сидеть на скамье. Гюлленцы, изображавшие деревья, прячут ветви. Сверху спускается театральный портал, на нем надпись: «Жизнь — коротка, искусство — вечно». Появляется Полицейский. Он в новом, сверкающем золотым шитьем мундире. Садится рядом с Илем. Вбегает Радиорепортер, продолжающий говорить что-то в передвижной микрофон. Со всех сторон собираются гюлленцы. Мужчины — во фраках, женщины — в вечерних туалетах. Повсюду снуют фотокорреспонденты и репортеры. Операторы готовят кинокамеры.

Радиорепортер. Дорогие слушатели! После репортажа из родильного дома и радиобеседы с пастором мы начинаем трансляцию собрания представителей гюлленской общественности. Это собрание знаменует собой высшую точку, так сказать, кульминацию визита госпожи Клер в свой скромный, но милый городок. К сожалению, знаменитой женщины сейчас здесь нет. Но бургомистр от ее имени сделает важное сообщение. Итак, мы в театральном зале гостиницы «Золотой апостол», той самой гостиницы, где когда-то ночевал Гете. На сцене, где обычно выступает во время гастролей Кальберштадтский театр, собрались мужчины. Это, как объяснил нам несколько минут назад бургомистр, старая гюлленская традиция. Женщины, по той же традиции, сидят в зрительном зале. Все сознают торжественность момента. Напряжение достигает предела. Мои коллеги из кинохроники и телевидения замерли у своих камер. Я вижу журналистов всего мира. И вот начинает говорить бургомистр.

Репортер подходит с микрофоном к Бургомистру, стоящему в центре сцены; гюлленцы расположились полукругом.

Бургомистр. Господа! Разрешите мне прежде всего от имени магистрата приветствовать представителей общественности Гюллена. Собрание объявляется открытым. На повестке дня один вопрос. Я имею честь сообщить всем вам, что госпожа Клер Цаханесин, дочь нашего славного земляка, выдающегося архитектора Готфрида Вешера, изъявила желание пожертвовать нам миллиард.

Волнение среди прессы.

Бургомистр. 500 миллионов — магистрату, 500 миллионов — для распределения между гражданами.

Тишина.

Радиорепортер *(сдавленным голосом)*. Дорогие слушатели! Грандиозная сенсация! Пожертвование госпожи Цаханесин в одно мгновение превращает каждого жителя захолустного городка в богатого человека, обладателя солидного состояния. Мы являемся, таким образом, свидетелями одного из величайших социальных экспериментов нашего времени. В зале воцарилась мертвая тишина. На всех лицах восторг.

Бургомистр. Я передаю слово учителю.

Радиорепортер подносит Учителю микрофон.

Учитель. Гюлленцы! Ясно ли вам, чего хочет от нас госпожа Клер Цаханесин? Делая этот подарок, она добивается определенной цели. Какой? Только ли сделать нас богатыми, осыпать золотом, поставить на ноги Бокмана и Вагнера? Вы знаете, это не так. Госпожа Клер Цаханесин имеет в виду нечто более важное. Она требует за свой миллиард справедливости, я подчеркиваю, господа, справедливости. Она добивается того, чтобы наше общество превратилось в общество порядочных людей. Казалось бы, такая постановка вопроса должна нас удивить. Разве до сих пор мы не были порядочными людьми?

Первый. Нет, не были!

Второй. Мы терпели среди нас преступника!

Третий. Неправильный приговор суда!

Четвертый. Лжесвидетельство!

Женский голос. Подлеца!

Другие голоса. Правильно!

Учитель. Гюлленцы! Вашими устами говорит сама горькая правда. Мы терпели несправедливость. Наивно было бы отрицать значение тех материальных возможностей, какие предоставляет нам миллиард. Кто не знает, что нищета — мать всех пороков. И все-таки речь идет не о деньгах! *(Бурные аплодисменты)*. Не об обеспеченности и благосостоянии. Не о роскоши! Речь идет о том, сумеем ли мы исполнить свой долг и отстоять справедливость. Мы должны это сделать во имя тех идеалов, за которые боролись и умирали наши предки. Во имя тех священных идеалов, которыми так гордится весь западный мир. *(Бурные аплодисменты)*. На карту поставлена наша свобода. Я говорю о том, как была поругана любовь к ближнему, нарушена заповедь о защите слабого, оскорблен брак, обманут суд. Я говорю о том, как молодая мать была брошена в пучину бедствий. *(Крики негодования)*. Во имя бога мы должны серьезно, предельно серьезно отнестись к нашему решению. *(Бурные аплодисменты)*. Богатство может быть оправдано только тогда, когда оно рождает милосердие. А милосердия достойны лишь изголодавшиеся. Испытываете ли вы, гюлленцы, этот голод? Но не низменный голод тела, а благородный голод души. Как директор местной гимназии, я не мог не сказать вам все это. Если вы не хотите больше терпеть зла, мириться с несправедливостью, вы должны принять миллиард госпожи Клер и выполнить условие, с ним связанное. Подумайте обо всем этом, гюлленцы!

Овация.

Радиорепортер. Вы слышите бурю аплодисментов, дорогие слушатели. Я потрясен. Речь господина учителя была исполнена такого морального величия, какое в наше время встречается, к сожалению, не так уж часто. Сколь мужественно было указано в этой речи на нарушения справедливости, которые, увы, еще имеют место в обществе, всюду, где живут люди.

Бургомистр. Альфред Иль!

Радиорепортер. Бургомистр снова берет слово.

Бургомистр. Альфред Иль! Я хочу задать вам один вопрос.

Полицейский толкает Иля в бок. Иль встает.
Радиорепортер подходит к нему с микрофоном.

Радиорепортер. Сейчас вы услышите голос человека, благодаря которому Гюллен получил миллиард. Вы услышите голос Альфреда Иля— друга юности великодушной Клер Цаханесин. Попытаюсь описать его. Ему за шестьдесят, но это крепкий и бодрый человек, настоящий гюлленец, гюлленец до мозга костей. На его лице написана благодарность и тихое удовлетворение.

Бургомистр. Пожертвование было сделано ради вас, Альфред Иль. Сознаете вы это?

Иль тихо произносит что-то в ответ.

Радиорепортер. Вы должны говорить громче, добрый человек. Пусть те, кто сидят сейчас у своих приемников, тоже услышат вас.

Иль. Да.

Бургомистр. Готовы ли вы признать наше решение о принятии предложения госпожи Клер или об отказе от него?

Иль. Готов.

Бургомистр. Есть ли у кого-нибудь вопросы к Альфреду Илю? *(Молчание)*. Может быть, кто-нибудь хочет сделать какие-либо замечания по поводу предложения госпожи Цаханесин? *(Молчание)*. Пастор? *(Молчание)*. Господин городской врач? *(Молчание)*. Полиция? *(Молчание)*. Политическая оппозиция? *(Молчание)*. Переходим к голосованию.

Тишина. Жужжание киноаппаратов, вспышки магния.

Бургомистр. Кто с чистым сердцем хочет выполнить свой долг и восстановить справедливость, пусть поднимет руку!

Все, кроме Иля, поднимают руки.

Радиорепортер. В зале благоговейная тишина. Лес поднятых рук. Это выглядит как клятва людей, решивших отстоять справедливость. Только один человек сидит неподвижно. Это Иль. Его переполняет радость, он достиг своей цели.

Бургомистр. Предложение Клер Цаханесин принято. Единогласно. Но не из-за денег.

Все. Не из-за денег!

Бургомистр. А во имя справедливости.

Все. Во имя справедливости!

Бургомистр. По велению совести.

Все. По велению совести!

Бургомистр. Потому что мы не можем жить спокойно, когда рядом процветает зло.

Все. Потому что мы не можем жить спокойно, когда рядом процветает зло!

Бургомистр. И мы должны вырвать его с корнем.

Все. И мы должны вырвать его с корнем!

Бургомистр. Чтобы чисты были наши души и незапятнанны наши священные идеалы.

Все. Священные идеалы!

Иль *(кричит)*. Боже мой!

Все стоят в торжественном молчании. В этот момент что-то случилось с камерой кинохроники.

Кинооператор. Вот досада, господин бургомистр. У нас забастовало освещение. Пожалуйста, повторите голосование еще раз!

Бургомистр. Еще раз?

Кинооператор. Да, для очередного выпуска кинохроники.

Бургомистр. Пожалуйста.

Кинооператор. Прожектор в порядке?

Голос. В порядке.

Кинооператор. Итак, начали!

Бургомистр становится в позу.

Бургомистр. Кто с чистым сердцем хочет выполнить свой долг и восстановить справедливость, пусть поднимет руку!

Все поднимают руки.

Бургомистр. Предложение Клер Цаханесин принято. Единогласно. Но не из-за денег.

Все. Не из-за денег!

Бургомистр. А во имя справедливости.

Все. Во имя справедливости!

Бургомистр. По велению совести.

Все. По велению совести!

Бургомистр. Потому что мы не можем жить спокойно, когда рядом процветает зло.

Все. Потому что мы не можем жить спокойно, когда рядом процветает зло!

Бургомистр. И мы должны вырвать его с корнем.

Все. И мы должны вырвать его с корнем!

Бургомистр. Чтобы чисты были наши души и незапятнанны наши священные идеалы.

Все. Священные идеалы!

Кинооператор *(шепотом)*. Иль, ну!

Тишина.

Кинооператор *(разочарованно)*. Эх, не получилось! Как жаль, что не последовал крик радости «Боже мой!», который так эффектно завершал всю сцену.

Бургомистр. Господа журналисты! Прошу вас на скромный ужин в ресторан «Золотого апостола». Удобней всего вам пройти через этот выход на сцене. Для дам сервирован чай в саду.

Все расходятся. На сцене остаются Бургомистр, Полицейский, Учитель, Врач, Художник, Пастор, четыре гюлленца и знакомый нам по первому действию Атлет. Теперь он в элегантном белом трико, опоясан красным шарфом. Иль встает, хочет идти.

Полицейский. Останься!

Кладет ему руку на плечо и силой усаживает на скамью.

Иль. Вы хотите это сделать сегодня?

Полицейский. А как же!

Иль. Я думал, что будет лучше, если это произойдет у меня.

Полицейский. Это произойдет здесь.

Бургомистр. Никого нет в зрительном зале?

Третий и Четвертый смотрят в зал.

Третий. Никого.

Бургомистр. А на галерее?

Четвертый. Пусто.

Бургомистр. Закройте двери. В зал никто не должен войти.

Третий и Четвертый спускаются в зрительный зал.

Третий. Все закрыто.

Четвертый. Все закрыто.

Бургомистр. Погасите люстры. В окна светит луна. Этого будет достаточно.

На сцене становится темно. В слабом свете луны еле видны люди.

Бургомистр. Становитесь в два ряда.

Гюлленцы выстраиваются друг против друга, образуя узкий проход, в конце которого стоит Атлет.

Бургомистр. Пастор, прошу вас.

Пастор медленно подходит к Илю, садится рядом с ним.

Пастор. Вот, Иль, и пришел ваш последний час.

Иль. Сигарету.

Пастор. Господин бургомистр, сигарету!

Бургомистр *(почти нежно)*. Ну, конечно. Возьмите самую лучшую.

Передает портсигар Пастору, тот подает Илю.
Иль берет сигарету. Полицейский чиркает спичкой.

Пастор. Как учил наш пророк Амос...

Иль. Пожалуйста, без этого.

Курит.

Пастор. Вы не боитесь?

Иль. Теперь уже не так.

Курит.

Пастор *(беспомощно)*. Я буду молиться за вас.

Иль. Молитесь лучше за Гюллен!

Иль курит. Пастор медленно поднимается.

Пастор. Да смилуется над нами бог!

Пастор отходит от Иля и возвращается на свое место среди стоящих друг против друга людей.

Бургомистр. Альфред Иль, встаньте!

Иль колеблется.

Полицейский. Встань, сволочь!

Рывком поднимает Иля.

Бургомистр. Сержант полиции Ханке! Возьмите себя в руки!

Полицейский. Прошу извинить, я забылся.

Бургомистр. Подойдите сюда, Альфред Иль!

Иль роняет сигарету, тушит ее ногой. Потом медленно идет на середину сцены, поворачивается спиной к зрителям.

Бургомистр. Идите вдоль рядов!

Иль колеблется.

Полицейский. Эй, ты, шагай!

Иль медленно идет между молчащими людьми и вдруг видит Атлета, преградившего ему путь. Иль останавливается, оглядывается, видит, как безжалостно смыкаются ряды, у него подкашиваются ноги. В одно мгновение строй гюлленцев превращается в клубок человеческих тел, который беззвучно перекатывается по полу. Тишина. Слева вбегают репортеры. Зажигается свет.

Первый репортер. Что здесь происходит?

Клубок тел рассыпается. Гюлленцы молча собираются в глубине сцены. И только Врач наклонился над трупом. Лицо мертвого Иля уже накрыто клетчатым платком. Врач выпрямляется, прячет стетоскоп.

Врач. Разрыв сердца.

Тишина.

Бургомистр. Он умер от радости.

Первый репортер. Какие прекрасные истории рассказывает нам жизнь!

Второй репортер. За работу!

Убегают.

Входит Клер в сопровождении Дворецкого. Она видит труп, останавливается, медленно идет на середину сцены, поворачивается спиной к зрителям.

Клер. Принесите его сюда!

Появляются Роби и Тоби, они поднимают Иля на носилки и кладут к ногам Клер.

Клер *(она неподвижна)*. Открой его лицо, Боби!

Дворецкий убирает платок, Клер долго всматривается в лицо мертвого Иля.

Клер. Он снова такой же, каким был много лет назад. *(Дворецкий набрасывает платок)*. Положите его в гроб. *(Роби и Тоби уносят труп)*. Прикажи упаковать чемоданы, Боби! Мы едем на Капри. *(Дворецкий подает ей руку. Клер медленно идет к выходу. Останавливается)*. Бургомистр! *(Из рядов молчащих людей медленно выходит Бургомистр)*. Получите чек! *(Вручает Бургомистру чек и удаляется)*.

Рост благосостояния, непрерывный подъем по социальной лестнице, выражавшийся сначала неназойливо, а потом все более заметно в одежде жителей и внешнем облике городка, в заключительной сцене достигает своего апогея. Действие как бы перенеслось с бедной окраины в благоустроенный центр современного города. Серенький и скучный ранее городок теперь сверкает новейшей техникой. Это — «хэппи энд», «счастливый конец». Неистовствуют неоновые рекламы, реконструированный вокзал укра-

шен флагами, плакатами, цветами. Гюлленцы, мужчины и женщины, во фраках и вечерних платьях, стоят, образуя два хора, как в греческой трагедии. Хоры звучат торжественно и вместе с тем не случайно напоминают последние сигналы тонущего в открытом море корабля.

1-й хор

Ужасом душу полнит
Земли сотрясенье,
Разверзшийся зев вулкана,
Скрежет войны на полях.
Страшен светящийся гриб
Атомной бомбы.

2-й хор

Но вот что ужасней:
Нищета наступает неслышно,
Наше жилье в осаде,
Дни за днями
Громоздят на печали печаль.

Женщины

Плачут в колыбелях малютки.

Мужчины

В сердцах мужей созревает
Предательства план коварный.

Первый гюлленец

Каково почтенным людям
Ходить в дырявых ботинках,

Третий гюлленец

Курить вонючие листья.

1-й хор

Шум заводской умолк,
Иссякли ручьи доходов.

2-й хор

Поезда, громыхая,
Надменно проносятся мимо...

Все

Но — хвалы вознесите!

Жена Иля

В самом деле — бывает везенье!

Все

Счастливый случай
Столько радостей дал нам!

Женщины

Теперь прекрасные платья
Облегают нежное тело.

Сын Иля

Юным атлетам люб
Плавностремительный ход

Быстролетящих машин
Гоночных марок.

Мужчины

Людям постарше милей
Лимузинов солидность.

Дочь Иля

Девы гоняют мячи
На теннисном корте.

Врач

Священнодействует врач
В кафельном блеске клиник.

Оба хора

Один имеет на ужин
Свою индейку...
Другой, счастливец,
Дымит табаком отменным.

Учитель

Дети в школах
Жадно вкушают плоды науки.

Второй гюлленец

Владельцы заводов усердно
Считают доходы.

Художник

Сыт гордый художник.

Пастор

Текут к алтарю прихожане.
В светлое воскресенье
В соборе не протолкаться

Оба хора

И поезда надменные
Свой бег стремительный
Тормозят близ Гюллена.

Слева появляется кондуктор.

Кондуктор *(протяжно)* Гюллен!
Начальник станции. Курьерский Гюллен—Рим! Посадка!

Монстры несут паланкин с Клер. Она неподвижна, точно языческий каменный идол. Клер проносят между хорами, свита сопровождает ее.

Бургомистр

Ужель оставляет нас

Оба хора

Щедрот расточительница,

Дочь Иля

Благ подательница,

Оба хора

Окруженная честными слугами...

Монстры вносят Клер в вагон. Проносят гроб.

Бургомистр

Уезжает, прощается...

Оба хора

Души наши с собой берет...

Начальник станции. Отправление!

Оба хора

Пусть сохранит нас

Пастор

Бог.

Оба хора

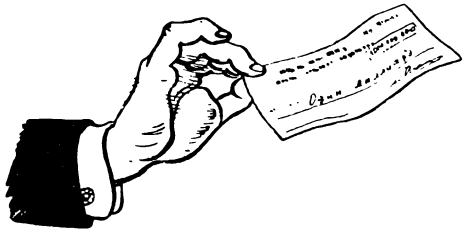
В непостоянстве времени —

Бургомистр

Благополучие.

Оба хора

Пусть сохранит нас бог
Как и ныне чистыми...
Счастье порядочных людей
Да приумножится!..
Да не погаснет свет
Идеалов Гюллена!



Пьер Куртад

РАССКАЗЫ

„ДУХ ГАКОМА“

Перевод с французского М. Кавтарадзе

Осенью 1955 года французское отделение американской нефтяной компании «Гаком» (Газ американ компани) объявило о приеме на работу технических инспекторов. Двухнедельная стажировка кандидатов проходила в предместье Парижа, невдалеке от большой пристани для барж Конфлан-Сент-Онорин.

Приезжающих разбивали на группы в двадцать человек. Трое или четверо обычно отсеивалось на последнем экзамене, во время которого экзаменующихся подвергали психотехническим испытаниям, проверяли их общую культуру и, главным образом, осведомленность в технике торговли. Большое значение придавалось личным взаимоотношениям стажеров, особенно непринужденности в обращении с высшим и низшим персоналом. Наконец, во время стажировки нужно было проникнуться неким особым духом, духом этого предприятия: «духом Гакома».

Руководитель стажировки, г-н Меррил, за первым же общим завтраком дал понять своим питомцам, что в течение этих двух недель они должны считать себя как бы отрезанными от всего мира. О том, чтобы поехать вечером в Париж, не могло быть и речи. Большинство кандидатов не ожидали такой строгости. Провинциалы, мечтавшие о ночных развлечениях на Монмартре, с трудом скрывали недовольство.

Втайне все были раздосадованы необходимостью подчиняться школьному режиму в таком возрасте: стажерам было от тридцати до сорока лет. Меррил в своих речах не упускал случая подчеркнуть, что он оставил в Париже очаровательную жену и двух прелестных детишек и, однако, это не мешает ему подавать пример и проводить все вечера со стажерами в отеле «Конфлан».

Кому нужна такая жертва? Стажерам не уставали повторять: только таким путем можно проникнуться «духом Гакома», и *только «дух Гакома» отличает «Гаком» от других предприятий.*

После торжественной речи по случаю начала стажировки обычно приступали к избранию старосты. Староста хранил деньги, взимаемые в качестве штрафов, и произносил традиционную поздравительную речь, которая состояла из определенного набора пошлых шуток и кончалась всем приевшейся фразой: *«Приятного аппетита, месье! Желаю всем вам подавиться последним куском. Только пусть начнет самый младший. Это необходимо для соблюдения иерархии и для того, чтобы мы двигались вперед».*

В первые дни старосты часто восставали против этого нелепого ритуала, а некоторые свободомыслящие пытались даже разрушить установившийся порядок. Но Меррил, не колеблясь, ставил их на место: «Месье, — говорил он, — это не забава. Мы находимся в офицерской сто-

ловой. Да, именно в офицерской столовой, и вы должны вести себя должным образом».

Занимались три часа утром и три часа во второй половине дня. Если позволяла погода, перед завтраком играли в шары, вечером в карты. Меррил для себя отмечал, кто играл в бридж и кто в белот. Он придавал большое значение подобным мелочам. Считалось хорошим тоном носить в петличке эмблему «Гакома»: единорог на синем поле. Короче говоря, стажеры вступали в определенную корпорацию. Стажировка завершалась прощальным завтраком. Обычно в этот день за десертом объявляли результаты испытаний. Именно за десертом, потому что таким образом (как объяснял Меррил этим взволнованным отцам семейства и женихам, любовь которых была поставлена на карту) «стажерам предоставлялась прекрасная возможность проявить необходимое хладнокровие и самообладание». Таков был «дух Гакома».

Тридцатого ноября 1955 года прощальный завтрак третьего годового потока только начался. С помощью плоских шуток стажеры пытались всячески приободрить себя, но страх сжимал все сердца. Особенно сильно трепетало сердце старосты Жака Бабена в то время, когда он заканчивал свою речь обычной формулой: «...чтоб вы подавились последним куском...»

— Что за черт! — сказал Меррил. — Не действуйте нам на нервы вашим похоронным видом, Бабен! Через два часа вы успокоитесь. Если нет причин особого порядка, в «Гакоме» никто не остается за бортом...

Сидя за своей тарелкой, Бабен жалко улыбался.

— Штраф, штраф! — раздались голоса.

Ему пришлось бросить сто франков в копилку.

Беспокойство Бабена не было лишено основания. Он упрекал себя в излишней откровенности, допущенной во время так называемого «установления контакта» с Меррилом за несколько дней до начала стажировки. Бабен отчетливо, почти слово в слово помнил все, что он тогда говорил. Теперь совершенно понятно, что эта встреча была решающей. Она состоялась в бюро «Гакома», на улице Боэси, куда стажеров приглашали перед отъездом в Конфлан-Сент-Онорин.

«Я должен откровенно признаться, — сказал тогда Бабен, — что потерял мое последнее место при не совсем обычных обстоятельствах... В «Юзиколоре» была забастовка. К техническому персоналу она не имела отношения, я хочу сказать прямого отношения. Но все же она касалась и нас, потому что рабочие требовали принятия мер по технике безопасности. Сами работники фирмы считали такие меры необходимыми. Для меня это был просто технический вопрос. Если меня спрашивают, нужны ли перила на мосту через пропасть, я отвечаю: да... Когда спросили мое мнение, я сказал, что требования рабочих разумны. Есть ли забастовка, нет ли забастовки — с чисто технической точки зрения, в этом не могло быть никакого сомнения... Через две недели меня рассчитали под предлогом сокращения штатов... Я считал своим долгом рассказать вам об этом...»

Что ответил Меррил? Очень важно вспомнить, что он на это ответил.

Ответ руководителя стажировки был как будто благоприятным. В памяти Бабена сохранилась даже интонация его голоса.

«Мне нравится ваша искренность, — сказал Меррил. — Вы хорошо сделали, что рассказали мне об этом. К сожалению, большинство французских предпринимателей очень ограниченные люди. Особенно владельцы небольших предприятий... И они еще жалуются на коммунистов... В Америке ваше предложение улучшить технику безопасности приветствовали бы... И конечно, в результате можно было бы избежать стачек... а предприятию это обошлось бы гораздо дешевле, чем забастовка. Я убежден, что «Юзиколору» забастовка стоила много дороже, чем те

меры, какие рано или поздно они вынуждены будут осуществить. Но, что вы хотите, французские предприниматели неисправимы. Вопреки впечатлению, какое они производят,— это кустари и халтурщики... Кто знаком с постановкой дела в Америке или Германии... В конце концов...»

— В конце концов, староста, вы что — с луны свалились? — сказал кто-то на другом конце стола, когда принесли рагу из зайца.

Все вокруг принялись кричать:

— Староста, штраф! Староста, штраф!

— Простите, — сказал Бабен.

Он заставил себя улыбнуться и бросил настороженный взгляд на Меррила. Несомненно, тот наблюдал за ним и, казалось, готовился нанести последний удар.

Бабен посмотрел на маленькие пухлые руки Меррила. Разговаривая, Меррил снимал очки в черепаховой оправе, клал свои ручки на стол и с наслаждением смотрел на перстень с печаткой, который он носил на правом мизинце.

«У него хорошая голова, — говорил себе Бабен. — Все же у него хорошая голова. Не такая уж он дрянь!» Но тут же Бабен упрекал себя, что слишком доверился этому кажущемуся добродушию, написанному на круглой физиономии с забавными ямочками.

Он упрекал себя и в том, что во время первого свидания с Меррилом проявил не внушающий доверия энтузиазм. Разве он не сказал, что поступление в «Гаком» *«придало бы смысл его жизни»*? Кто этому поверит? И все же в какой-то мере это было правдой. Если бы Меррил был психологом, он понял бы, что на него можно положиться. В лице Бабена перед ним предстал один из тех скромных, отличающихся полнейшей покорностью людей, которые становятся безвестными героями и преданными до последнего вздоха работниками.

«Не скрою от вас, работы будет много, — говорил Меррил. — Крепкое ли у вас здоровье?»

«Здоровье у меня отменное, — ответил Бабен, — раньше, правда, я болел, но теперь все в порядке».

Бабен лгал. Вряд ли его можно было назвать здоровым человеком. Когда ему было двадцать лет, он оказался вынужденным на полтора года прервать занятия и провести это время в санатории в Савойе. Он вышел оттуда почти здоровым, но продолжал оставаться чувствительным к сквознякам, сырости и переменчивой погоде. Болезнь усугубила его естественную склонность мириться со своим положением. Он считал, что выжить — уже значит добиться успеха. Не стоит многого требовать от жизни. Ему не удалось стать настоящим инженером, поэтому он причислил себя к тем людям, для которых идеал недостижим, и готов был довольствоваться любым его слабым подобием.

Весь облик Бабена был воплощением философии покорности: и опрятный, но блестевший на лацканах синий костюм, и крупное костистое лицо, на которое в середине дня обычно ложилась тень пробивающейся жесткой бороды, и глаза под густой седеющей шевелюрой, всегда как бы ищущие поддержки. Полтора года безработицы, наступившей после того, как его уволили из «Юзиколора», не прошли для Бабена бесследно. Бесплодные поиски опустошили его. Он поглощал сотни строчек лаконичных объявлений с такой жадностью, как будто их забавные сокращения могли указать ему путь или придать его жизни какой-нибудь смысл... И все же, благодаря именно такому маленькому объявлению, он нашел это место в «Гакоме». *«Гаком» набирает служащих только таким путем,*— сказал тогда Меррил. — *Мы предоставляем равные возможности в с е м, кто имеет соответствующее техническое образование. В дальнейшем все решает стажировка».*

* * *

Выйдя из бюро на улице Боэси, Бабен в течение нескольких часов чувствовал себя сильным человеком, имеющим право мечтать о жизни, полной счастья. Потому что, когда Жизель откроет ему дверь их комнаты в гостинице «Манчестер», он наконец — наконец-то! — сможет сказать: *«Ну что ж! Дело выгорело. И не просто какая-нибудь служба! Это может стать увлекательной работой!»* Жизель запрыгает от радости и защебечет, как птичка. В конце концов, она всего-навсего маленькая девочка, и именно в этом ее прелесть. Мягкая нежная Жизель. Она вся — до самых кончиков пальцев — была для него благословением.

Любовь помогала ему, но, вопреки общепринятому мнению, в то же время и отгораживала, отдаляла его от жизни. В романах обычно фигурируют герои, которые благодаря любви обретают вкус к жизни и творчеству. Может быть, это когда-нибудь случится и с ним?..

В необычайном возбуждении возвращался он пешком с улицы Боэси на улицу Алезиа.

Наступил вечер, теплый осенний вечер после ветреного, пронизанного влажным морским туманом дня... Бабен решил было сейчас же звонить Жизель, но воздержался. Ему не хотелось, чтобы недовольное лицо ее патрона, который не любил телефонных звонков, огорчило ее. «Не звони мне, — просила она, — если только не случится какое-нибудь несчастье. Пожар, например, или еще что-нибудь в этом роде. Тогда, конечно, можешь позвонить». Даже после шести лет совместной жизни ему было тяжело не видеть ее целый день, ничего не знать о ней, не слышать ее голоса. Он повторял себе, что по-прежнему любит ее. Но он знал, что это не совсем так и что в действительности, как и следовало ожидать, жизнь ослабила их чувства друг к другу.

С тех пор, как год назад им пришлось покинуть свою квартиру и обосноваться в гостинице «Манчестер», это стало еще более ощутимым. Порой он желал одиночества... Но эта мысль появлялась, словно мимолетная мечта о том, чтобы начать все сначала, в другом городе, в другой стране, прожить еще одну жизнь, учтя ошибки прошлого. Обычно такое состояние длилось недолго. Жизель нравилась ему. Он мог представить ее себе всю целиком, как на ладони, и не мысленно, а физически, на самом деле почувствовать теплоту ее тела. Казалось, позови он ее: «любовь моя» и пошли ей воздушный поцелуй — и она тотчас же окажется рядом.

Теперь эта любовь будет жить. Он попытается найти квартиру. Конечно, не сразу, а тогда, когда прочно обоснуется в «Гакоме», станет незаменим, когда о нем будут говорить: «Посмотрите на Бабена! Он прошел у нас стажировку в ноябре 1955 года, а теперь каждый год меняет автомобили».

* * *

Бургундское, которым запивали рагу из зайца, подняло настроение. Стажеры забыли, что через несколько минут их судьба будет решена. Шутки заглушались шумом, какой обычно возникает в тех случаях, когда пытаются воспроизвести воспоминания о войне: «...били со всех сторон, дружище! Бах, ба-бах, трах! Что касается меня, то я сказал: хватит...»

Через открытое окно столовой было видно место слияния рек Сены и Уазы. Там все время клубился легкий туман. Сверкая огнями, прошла новая баржа «Гакома». Когда стажеры узнали флаг фирмы — золотой единорог на синем поле, — раздались аплодисменты.

— Наша баржа! Надо бы и нам поднять флаг! — крикнул кто-то.

Меррил был доволен: «дух Гакома» стал реальностью.

Бабен пытался принять участие в общем веселье, но все, что ему удалось, это скривить губы в любезной улыбке. «Теперь, — говорил он себе,— теперь совершенно ясно, что я просчитался, рассказав Меррилу, при каких обстоятельствах ушел из «Юзиколора». Но он все равно узнал бы. Они все знают. У них исключительная полиция. Впрочем, невозможно... невозможно, чтобы моя жизнь оказалась разбитой из-за такой мелочи. А ведь это разбило бы мне жизнь...»

Он снова переживал каждый миг того знаменательного вечера после свидания на улице Боэси. Первый безоблачно-счастливый вечер за полтора года. Тогда впервые за все это время он встречал ночь без чувства страха, даже наоборот... Над Парижем стоял такой же легкий туман, как сегодня над Сеной и Уазой. Бабен шел быстрым шагом, он решил повести Жизель в ресторан. Это было безумием, но в такой день!..

Бабен вспомнил, как на перекрестке улицы Бак, видимо оттого, что место было ему хорошо знакомо, он остро почувствовал прилив любви к Жизель. От этого перекрестка до улицы Алезиа каждый камень хранил воспоминание его молодости, аромат которой, казалось, еще чувствовался в воздухе. Здесь витал образ Жизель, какой она была прежде, когда ждала его у входа в метро, обычно делая вид, что читает газету, стремясь отвязаться от любителей пошлых шуток, не пропускающих ни одной женщины. Он ясно помнил ресторан, где до войны 1939 года за пятнадцать франков можно было получить полный завтрак с разнообразной закуской, создававшей впечатление изысканной роскоши.

Все это было связано с городом, с его мостовыми, с оградами вокруг деревьев и с волнами теплого воздуха, которые вырывались из вертящихся дверей бара или гостиницы.

Если лишить дома воспоминаний о любви, останутся голые камни. Чем же тогда будет Париж? Если речь идет только о том, чтобы обеспечить свое существование, стоит ли причинять себе столько неприятностей? Для того, кто умеет довольствоваться малым, это ведь достижимо при любых обстоятельствах. Почему же все-таки люди причиняют себе неприятности? Они делают это только во имя любви. Все выглядит в этом случае иначе, все приобретает смысл. Бабен думал еще о том, как важно обрести надежду на то, что в мире водворится порядок и больше не надо будет сомневаться в разумности его устройства, а следовательно, и в любви. Ибо, если верно, что любовь придает смысл жизни, то чем была бы любовь и существовала бы она вообще в мире, погруженном в хаос? В мире, где такой человек, как Жак Бабен, не знает, к чему приложить свои руки?

Бабен услышал крики, но доносились они до него как будто издалека, сквозь толщу давно прожитых лет, быть может даже из офицерской столовой военного 1940 года:

— Староста, речь! Староста, речь! Староста, речь! Даешь речь!

Меррил постучал ножом по бокалу. Бабен встал и сдавленным голосом сказал:

— *Господа, я не буду произносить речь, я просто хочу от имени всех здесь собравшихся выразить то, что... в этот момент...*

* * *

В этот момент Жизель возвращалась с работы, как всегда усталая, но все-таки красивая; она открывала дверь их комнаты, и он говорил с ней, то шепча на ухо, то произнося слова только сердцем и не зная в точности, что́ она расслышала, а что́ так и не было им сказано вслух, когда он ей признался: «Любовь моя, моя маленькая птичка...»

* * *

«Любовь моя, моя маленькая птичка, я не думал, что могу быть так счастлив. Утверждают, что высмеять можно все и вовсе неважно, чем ты занят в жизни, если только есть любовь. Я не имею в виду, конечно, материальную сторону. Это совсем другое дело... Я не умею это выразить, но ты поймешь, что я хочу сказать... вероятно, я стал бы в конце концов нервным и раздражительным, и это испортило бы все. Теперь я смогу тебя любить, как человек, у которого есть и другое дело. Как человек, чья жизнь имеет смысл. Я не могу даже объяснить тебе, что это значит для меня, настолько это чудесно. Я не мог больше выносить, что каждое утро ты уходишь, а я остаюсь дома, чтобы в поисках выхода понапрасну ломать себе голову. Обними меня, еще и еще раз. Не переставая. С каждым днем ты становишься все прекраснее. Нет, не качай головой, ты сейчас красивее, чем несколько лет назад. Ты всегда была красива, но теперь твое лицо мне нравится еще больше. Сегодня вечером мне хочется видеть огни, пойти куда-нибудь. Хотя неплохо бы лечь пораньше. Мне ведь надо снова привыкать рано вставать».

«Замолчи,— сказала она.— Ты слишком много говоришь, а потом, я знаю это, тебе станет грустно. Точно еще пока ничего не известно... Впереди еще стажировка...»

* * *

— *...Что означает для нас этот момент — окончание стажировки, в течение которой... впрочем, извините меня, я ведь не депутат, не так ли?*

Шутка имела успех.

— Конечно! К счастью! — закричали вокруг.— Только этого недоставало. Хватит с нас депутатов!

Он невольно попал в цель, Меррил улыбался.

— *С сегодняшнего дня... я говорю от чистого сердца... С сегодняшнего дня для нас начинается новая жизнь, во всяком случае для большинства из нас... И я надеюсь, что благодаря духу, каким мы здесь прониклись во время стажировки, благодаря духу нашего славного предприятия, который называют «духом Гакома»... одним словом, все будет хорошо.*

Бабен произносил еще какие-то слова, но сам он их уже не слышал. Когда он кончил, радость избавления от этой повинности заставила его на несколько мгновений забыть о владевшей им тревоге. Принесли кофе и ликеры, воздух стал синим от дыма сигар и сигарет. К Бабену вернулась уверенность. Ему захотелось, чтобы Жизель была тут. Потягивая маленькими глотками коньяк и дымя гаванской сигарой, он погрузился в мечты. Бабен вспомнил фразу, сказанную Жизель. Сама по себе она ничего не значила, но для него она была самой успокаивающей, самой прекрасной из всех, какие он слышал за эти полтора года: «Надо тебе снова привыкнуть рано вставать».

Вскоре они пошли в ресторан. Пили за будущее, за жизнь, которая налаживается. Так счастливы они не были уже много лет.

В «Манчестер» они возвращались пешком, в липком тумане ночи. Фонари и все еще ярко освещенные витрины замыкали их в круги света. Он тогда пожалел, что не знает наизусть ни одного стихотворения, ни одной песенки. Впрочем, это не имело значения. Ему не нужно было мечтать; того счастья, которое он ощущал, было достаточно... Вот как это было...

* * *

Внизу зазвонил телефон. Какой-то служащий в белом халате пришел сказать Меррилу, что вызывают его. Руководитель стажировки поднялся, в руках у него была записная книжка. Наступило молчание, прерываемое позвякиванием бокалов, нервным покашливанием и отрывистым пыхтением буксира, проходившего почти под окнами ресторана.

Голос Меррила был слышен, но слов разобрать нельзя было. Наконец он появился, улыбающийся, все с той же записной книжкой в руках, но на этот раз уже закрытой.

— Ну как? — спросил кто-то.

— Все, что я могу вам сказать: надейтесь на лучшее. Окончательные списки еще не составлены из-за отсутствия данных о стажировке в Руане. Маленькая задержка... Дело в распределении, понимаете... Но, по-моему, никаких препятствий не предвидится. Я думаю, можно еще успеть спокойно сыграть последнюю партию в шары. При всех обстоятельствах... «дух Гакома» прежде всего, не правда ли?!

Эта магическая формула вызвала раболепные улыбки. Каждый стажер говорил себе, что Меррил подвергает его последнему испытанию. Все мужественно отправились играть в шары.

Бабен немного отстал. Он чувствовал, что очень бледен, и нисколько не удивился, когда Меррил подошел и положил ему на плечо свою маленькую пухлую руку, на которой сверкал золотой перстень.

— Дорогой мой, вы понимаете,— заговорил он,— при всех мне было неудобно...

— Я не принят? — спросил Бабен. Ему казалось, что его голос раздается откуда-то издалека.

— Нет, это не совсем так... Вы понимаете, в следующий раз вы имеете все шансы... Я спешу вам сказать, что ваша стажировка прошла очень хорошо... Только... Короче говоря, дирекция хочет еще навести справки об обстоятельствах, при которых вы были вынуждены... как бы это сказать... покинуть «Юзиколор»... Понимаете, это щекотливый вопрос!..

— Да,— сказал Бабен,— я прекрасно понимаю.

— Ну вот, дорогой мой,— продолжал Меррил, сбросив уже ненужную улыбку. — Ну вот. Во всяком случае, для вас это не было потерянным временем.

— Конечно.

Он смотрел на реку. Вода отливала нефтяным блеском. То тут, то там зажигались неоновые лампы бистро отеля «Конфлан». «Как сказать об этом Жизель? Как снова начать поиски?».

Он еще раз подумал о том дне в «Юзиколоре», когда он, как об этом было сообщено Меррилу, дал свое техническое заключение: «Независимо от стачки — требования рабочих справедливы».

Внезапно Бабен поднял голову.

— Итак,— сказал он,— у меня не обнаружен «дух Гакома»?

Он не узнал своего голоса. Такого голоса у него никогда не было. Можно было подумать, что он меняется во второй раз.

Бабен повторил:

— Итак, у меня не обнаружен «дух Гакома»?

— Видите ли, мой дорогой...— сказал Меррил.

— Ну что «мой дорогой, мой дорогой»... Плевать мне на «дух Гакома», понимаете? Я плюю на вас и на всю эту мерзость. Я прекрасно себя чувствую, прекрасно.

Он посмотрел в сад на играющих в шары.

— Лакейские душонки...

Затем он направился в свою комнату за чемоданом. Больше он не боялся. Он был совершенно спокоен и уверен в будущем.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХЛАДНОКРОВИЕ

Их было четверо, в том числе старик Паран из «Фар де Уэст». Он уже собирался на покой. Возраст трех остальных — Жюли из «Эко дю суар», Будье из «Юнивер» и Арно из «Пресс-Юнион» — колебался между тридцатью и сорока годами, и в них еще не угас журналистский пыл.

— Хорошо бы заморить червячка, — сказал Паран.

— Правильно, пошли! Мы и так постепенно войдем в курс событий,— поддержали его остальные.

Сразу после полудня море начало выбрасывать трупы погибших. Когда разрывалась пелена густого тумана, в километре от берега можно было различить «Святую Марию» — прогулочный катер, потерпевший крушение на песчаной отмели.

— Это действительно выглядит мрачно, — сказал Жюли. — Не знаю, что будут врать в газетах, но для меня это шесть колонок на первой полосе и пять на внутренних. Для описания двадцати трупов я настоятельно потребую восемь колонок.

— А сколько трупов уже обнаружено? — спросил Паран.

— Точных данных нет, — ответил Будье, — не то одиннадцать, не то пятнадцать. Им не к спеху раскрывать свои карты. Это понятно: если сложить число жертв с числом спасшихся, получится, что на борту было больше народу, чем полагается. Бизнес — это бизнес.

— По-моему, там было больше на двадцать человек, — сказал Паран.

— Ты сейчас же сообщишь об этом? — спросил Арно.

— Потише! Это зависит...

— От чего зависит? — настаивал Арно.

— От того, кому принадлежит «Святая Мария». Вам в Париже все нипочем, а я в Канне. Тем не менее, это самое отвратительное зрелище из всех, какие мне довелось видеть после катастрофы в Ланьи... Хотя нет ничего хуже катастроф на железных дорогах.

— Почему? — спросил Жюли.

— Потому что там кровь. При морских катастрофах нет «страшного переплетения железа и растерзанных тел».

Паран, Жюли, Будье и Арно стояли, облокотившись на стойку бара в «Отеле у мола», и пили по второму стакану. Несмотря на весь цинизм их беседы, постепенно ими овладевала тревога. Она проникала сюда с берега, где люди на молу, сбившись в маленькие группки, со страхом высматривали в вечерних сумерках сторожевое судно, на котором привозили трупы погибших, обнаруженные в часы отлива на скалах.

— У вас, молодых, есть шансы, — заговорил Паран. — Теперь в газетах, особенно парижских, не требуют больше философских трактатов. А раньше нельзя было поместить и заметки, если в ней не говорилось о слепой судьбе, неустанно напоминавшей людям, что они всего только земляные черви. Вернее...

— Морские черви, — кончил Жюли.

— Не смешно, — сказал Будье.

— Бросьте, ребята, — вмешался Арно. — Может быть, мы поговорим о чем-нибудь другом, а? И без того не очень-то весело здесь обедать.

— Это идея Будье, — заметил Жюли.

— Мне казалось, что так будет удобнее, — сказал Будье.

— Может быть, и удобнее, — не уступал Арно, — но нельзя не признать, что для разрядки... лучше...

Он посмотрел в зал, отделенный от бара стеклянной дверью. Казалось, все шло своим обычным порядком. Люди ели. На столах красовались омары.

— Ведь едят на поминках, — сказал Паран. — Не для того же их устраивают, чтобы собирать слезы в тарелку.

— Интересно, какие физиономии бывают у людей на поминках? — спросил Будье.

— В начале или в конце? В этом все дело. После шато-неф психология совершенно меняется, хотя ситуация остается прежней, — пояснил Арно.

— Как-то лет тридцать назад я присутствовал на поминках в Арманьяке, — начал рассказывать Паран. — Кстати, если мы хотим поесть, давайте сядем в углу. Так вот, тогда никто не чувствовал неудобства. Вначале беседа не клеилась, но постепенно языки развязались. Заговорили об умершем, и он как будто воскрес. Начали посмеиваться над тем, что он сказал или сделал невпопад. В конце концов никто уже не понимал — умер ли он на самом деле и если умер, то когда! Было такое чувство, будто его ждут к кофе, а смерть казалась просто еще одним происшествием, которое между прочим с ним приключилось.

Жандармский лейтенант подошел к Будье и шепотом сказал, что сторожевое судно совсем недавно доставило еще три трупа.

— Еще три, — объявил Будье.

— Я туда не пойду, — решительно заявил Арно. — Хватит. Насмотрелся. Будь ты хоть в броне, все равно не поможет. Дело не в мертвых, а в живых. Не могу слышать их криков.

— Надо бы все-таки узнать их имена, — сказал Паран.

— Ну что ж, иди, потом скажешь нам. Ведь это не секретные сведения.

Паран и жандарм вышли. Уже совсем стемнело. В открытом море, там, где были песчаные отмели и высились гранитные скалы, о которые разбилась «Святая Мария», тьма казалась еще гуще. Паран глубоко вдохнул свежий воздух.

— Грязная история, — сказал жандарм.

— Между нами — сколько было народу на борту? — спросил Паран.

— Около сотни!

— А на сколько пароход рассчитан?

— На шестьдесят.

— В том-то и дело! — буркнул Паран.

— Не пишите об этом. Будет скандал.

— Кому принадлежит пароход?

— Компании.

— Знаю, но ведь есть кто-то...

— В основном — Колларе. Ремни Колларе. Автомобили для экскурсий, фирма Колларе.

— Колларе! — фыркнул Паран.

— Да.

Там, где мол соединялся с берегом, лучи, бросаемые фарами пожарных машин, образовали большой, ярко освещенный круг. Внутри круга стояли трое носилок, покрытых брезентом.

Вокруг метались черные тени, слышался смутный шепот. Паран видел покрасневшие от слез лица. Но никто не плакал.

— Это приезжие, — пояснил кто-то жандарму. — Они уже давно ждут. Может, кто-нибудь и уцелел, уцепившись за скалы. Их еще удастся спасти...

— Не слишком ли много народу было на борту? — спросил Паран.

— Нет, — ответил маленький толстый человек. — Нет, месье Паран, не слишком много. Скорее меньше, чем положено.

— Мы с вами знакомы? — обратился к нему Паран.

— Я знаю вас, — сказал толстяк.

— Кто это? — совсем тихо спросил Паран у жандарма.

— Мэр Пангаста, — так же тихо ответил жандарм.

— А-а! — понимающе кивнул головой Паран. На минуту он вообразил, что ему двадцать лет и что он живет в другом мире. Вот он бросается к телефону и диктует свое сообщение: «Нам впервые предстоит раскрыть скандальную тайну, связанную с морской катастрофой в Пангасте... Перегруженное судно... Заговор молчания... Как всегда, будут говорить об оплошности рулевого...»

Паран пожал плечами.

— Прошу вас, не сообщайте никому о том, что я вам сказал! — попросил жандарм.

— Ну, конечно. За кого вы меня принимаете!

Паран медленным шагом направился к «Отелю у мола»; его освещенные окна ярко сверкали на самом краю обрывистого берега. Паран разговаривал сам с собой: «Что за дурацкая профессия! Умри он сегодня, в газете напечатают строчек шестьдесят на первой странице, и то не наверняка, и напишут в них что-нибудь вроде: «Паран страстно любил свою прекрасную профессию. Честный собиратель фактов, он стремился к одному: быть правдивым». Гнусность! Разве вернешь матерям погибших детей?»

Его коллеги уже устроились в ресторане. Официантка открывала бутылку муската.

— Ну как? — спросил Арно.

— Все то же. Еще три трупа. Никто их не опознал.

— Выяснилось, сколько человек было на борту? — спросил Будье.

— Нет. Но судя по тому, что говорят, скорее меньше, а не больше, чем положено.

— Странно. И это в праздничный день... — удивился Будье.

— Не стоит всегда все осложнять, — посоветовал Паран. — Лучше скажите, как обстоит дело с омарами?

— Подвигается, — ответил Жюли. — Во всяком случае, можно спокойно поесть. Официантка обещала сообщить нам обо всем происходящем. Вот что я называю оперативностью! Впрочем, это особенно важно для Арно и Парана. У меня и у Будье еще есть время.

— В сущности, журналистам из вечерних газет везет, — сказал Паран. — Им не обязательно так безбожно врать...

Официантка принесла паштет, приготовленный шеф-поваром. То была маленькая, стройная брюнетка с забавным круглым личиком; выдающиеся скулы делали ее похожей на китаянку. От слез у нее покраснели глаза.

— Ну, ну, будет, — обратился к ней Паран. — Лучше улыбнитесь!

— Неужели вы думаете, что я в состоянии...

— Что поделаешь. Вы знали кого-нибудь из них?

— Нет. Там есть дети... Вот ведь ужас. Подать вам масла?

— Конечно, — сказал Арно.

— Если будут какие-нибудь новости, вы нам сообщите, не так ли?

— Хорошо. На кухне всегда все знают раньше всех.

— Скажите-ка, — обратился к ней Паран, — катастрофа не отпугнула посетителей?

— Нет. Не знаю, как это получается, но посетителей почему-то всегда бывает ровно столько, сколько накрыто приборов.

— Такова жизнь, — глубокомысленно заметил Паран.

* * *

Приборов действительно было столько же, сколько в любой другой вечер, но обстановка казалась сегодня совсем иной. Само собой разумеется, нельзя было помешать людям, заплатившим за пребывание в пансионе, приняться за еду с аппетитом. Они его приобрели в течение этого прекрасного дня, когда туман спустился будто лишь на то время, какое понадобилось, чтобы ослепить «Святую Марию». Все они отдыхали считанные дни после томительно длинного года, а катастрофа непосредственно их не касалась. И тем не менее, настроение было скверное. Человек невольно начинал размышлять о жизни и смерти. Ведь любой из них мог бы сейчас мучительно ждать, стоя перед дверью мэрии или на молу. Вот почему все говорили тише, чем обычно, хоть иногда и велико было искушение открыто выразить свою радость и отблагодарить судьбу за то, что они избегли этой участи. Матери смотрели на своих детей с каким-то новым чувством. Некоторые мужья, представляя себе, что их спрашивают: «Опознаете вы этот труп?», — приходили в ужас и внезапно обнаруживали, что всегда любили своих жен, хотя и проскучали с ними всю жизнь. Можно было с уверенностью сказать, что катастрофа увеличила количество нежности, какое обычно вмещал зал ресторана в этот час и в это время года. Его посещали, в основном, парижские мелкие буржуа с семьями и молодые рабочие, парочки, потратившие все свои сбережения на покупку скутера и жадно поглощающие не только свежий воздух, но и любую возможность делать все, что заблагорассудится, пока длится чудо, называемое отпуском. И все-таки кто-нибудь иной раз бросал исподтишка взгляд на море, видневшееся за освещенной террасой с геранями, и говорил: «Это ужасно». Но кто действительно не хотел видеть ничего ужасного, тот мог и не видеть. Вероятно, поэтому в дни объявления национального траура власти бывают вынуждены закрывать кинотеатры, иначе люди все равно пойдут туда и траур не будет национальным.

— Паштет, приготовленный шеф-поваром, недурен,— сказал Арно.— Однако кой-кому следовало бы пошевеливаться. В провинции десять часов — очень позднее время. Надеюсь, к этому сроку уже можно установить хотя бы приблизительно число жертв.

— Как сказать, — возразил Жюли. — Бывали случаи, когда вообще ничего нельзя было установить точно. Впрочем, при любой катастрофе есть какое-нибудь лицо, которому известно все.

В прошлом они не раз писали отчеты об ужасных драмах на море, на суше и в воздухе. Вспоминая об этом теперь, они говорили с тем профессиональным безразличием, какое привело бы в ужас сидящих за соседними столиками, если бы они могли их слышать. Однако по тому, как они время от времени умолкали, нетрудно было почувствовать, что они отнюдь не утратили человечности. Обсасывая скользкие лапки омара и единодушно соглашаясь, что он вовсе не плох, хотя бывает и лучше, они в то же время постепенно проникались гнетущим сознанием хрупкости человеческой жизни. К их удивлению, шаблонные фразы, которые так часто служили им «шапкой» для пятнадцати строк, спешно набросанных в телефонной будке, оказались правдивыми и единственно возможными.

Будье был самым образованным из четырех; он едва не получил научное звание лиценциата по истории и писал для газеты, не придающей большого значения сенсациям.

«Несомненно, — думал Будье, — не существует беспредельного числа слов для того, чтобы сказать в пятнадцати строках: зрелище, которое ты видишь, ужасно, и в некий определенный момент нужно представить его настолько не поддающимся описанию, что перо отказывается тебе служить. Тем самым ты покажешь читателю — а в этом и заключается

самое главное, — что находишься здесь, потому что это твое ремесло, а по существу ты такой же человек, как и он, и столь же не способен выражать слишком сильные чувства с помощью слов, «жалких слов», как говорит тот, кто не умеет описывать... Даже если захотеть быть последовательным и абсолютно честным, достаточно привести точные данные о катастрофе и в конце заметки добавить: «Слова бессильны передать и т. д. и т. п...», смотри обычные в таких случаях комментарии».

Официантка принесла соус поострее, ведь было решено, что именно остроты не хватало омару, который был хоть не плох, но все же и не слишком хорош.

— Ну что? — спросили они.

На ее личике с выступающими, как у китаянки, скулами глаза покраснели еще сильнее.

— Боже мой, боже мой, какой ужас! Думают, что их больше двадцати. Кто-то слышал, как префект разговаривал с жандармским офицером. Объявлять они еще ничего не хотят.

— Я требую восемь колонок, — сказал Жюли.

Он уже видел свое имя в строке, взятой в скобки: «по телефону от собственного корреспондента Робера Жюли». Скобки сами по себе уже свидетельствовали о срочности; они говорили читателю, что непосредственный очевидец катастрофы без всяких прикрас рассказывает им правду о событиях. И когда какой-нибудь читатель начнет в метро рассматривать газету, ему будет казаться, что катастрофа действительно произошла у него самого на глазах и в тот момент, какой он сам выбрал. Одно и то же происшествие за несколько часов будет воспроизведено 300 тысяч раз и станет личным переживанием для каждого читателя, войдет в его жизнь, отразится на его работе, отзовется на его любви. Конечно, человек, который никогда не летал, воспринимает сообщение о воздушной аварии иначе, чем тот, кто на ближайшую неделю заказал себе билет для полета как раз по тому же маршруту; и человек, всегда пользующийся автомобилем, реагирует на железнодорожную катастрофу совсем не так, как коммивояжер, имеющий постоянный билет и проводящий полжизни в поезде.

— Ты не получишь восьми колонок, — сказал Арно. — И думать смешно... А материалы о Северной Африке?

— Читателям плевать на Северную Африку!

Но Жюли не совсем был в этом уверен. Вдруг он возненавидел «политику». Не так, как те, кто говорит: «И все из-за этой политики», — а по-своему. Он возненавидел рубрику «политика» в газете. Точно так же, как и рубрику «спорт».

Вздумай счастье улыбнуться дураку Дешьезу, Жюли возненавидел бы и его, ведь тогда оказалась бы занятой рубрика «сенсации». А этот корреспондент из Вашингтона и без того воображает, что, сообщая очередные сплетни из дипломатических кругов столицы, он делает бог весть какое важное дело. Между тем, всем известно, что никаких дипломатических кругов просто не существует. Если только не считать дипломатическими кругами тех, кто болтает за стойкой бара, обмениваясь слегка перевранными слухами, подхваченными полчаса назад...

— Все погибшие были, кажется, туристами. Местных среди них не было? — спросил Арно.

— Не знаю. Ничего не знаю, — ответила официантка. — Местные были только в экипаже, да и они не отсюда родом, а с той стороны, из Роспорта. О рулевом ничего не известно. Остальные все спаслись.

— Держите нас в курсе дела, ладно? — попросил Паран. — Какой у вас сыр?

— Есть «плато», — ответила официантка.

— Ну что ж, «плато» так «плато», и еще одну бутылку божоле.

— Удивительно, что в этом крае молока и масла никогда не найдешь приличного местного сыра, — сказал Жюли.

— Здесь интересуются только морем и принимают в расчет тоже только море. Кстати, мне все-таки хочется пойти туда, — произнес Арно.

— Э-э, если начинаешь нервничать, дружок, ничего не добьешься,— сказал Паран. — Помню, как наш редактор, папаша Амброзини, первым делом напоминал мне, тогда девятнадцатилетнему юноше: «Прежде всего, мой милый, если хотите преуспеть на этом поприще, научитесь быть хладнокровным. Если вы сами взволнованы тем, о чем вы сообщаете, ничего не получится». Уверяю вас, он был прав! Кто не в состоянии позавтракать холодным цыпленком, сидя на железнодорожной насыпи в то время, как подбирают трупы жертв катастрофы, тот может вообще идти спать или заняться внешней политикой!

— Но почему внешней политикой? — удивился Будье.

— Внешней политикой или любой другой чепухой!

— Да, — сказал Жюли, — Паран прав. Внешняя политика убивает журналистику. Даже «Эко» этого не понимает. Почитайте довоенный «Паризьен», там это прекрасно понимали. Теперь любая газета боится прослыть развлечением для консьержек. Это создает особый стиль. Пишут о политических нравах столицы, о поведении английских кругов Гонконга. А людям наплевать на английские круги в Гонконге!

Официантка принесла сыр.

— Это ужасно, — сказала она. — Привезли двух ребят. Старшему — десять, младшему — семь. Отец там, он только что заходил и разговаривал с нами. С четырех часов дня все ждал и надеялся. Ах! Как страшно, как страшно! Да существует ли бог, если такое может случиться?

Воцарилось тяжелое молчание. Арно первым положил себе на тарелку сыру. Жюли налил в стаканы божоле.

— Эту бутылку можно забрать, — сказал он официантке, — остальные оставьте.

Закусывая сыром со свежим хлебом, они все же украдкой поглядывали то на окно, то в зал, где, складывая салфетки и допивая сидр, посетители — парочки и семьи — постепенно вставали из-за стола.

— Здесь можно задохнуться, — сказал Будье. — Впрочем, мне-то лучше помолчать, ведь это моя идея...

— О чем ты говоришь? — прервал его Жюли.

— Закусить здесь. Признаюсь, это весьма неподходящее место. Пойду на мол, посмотрю, что там делается.

— На десерт — сладкий пирог и фрукты, — сказал Арно, обмахиваясь меню. — Что ты предпочитаешь?

— Все равно...

— Пирог с какой начинкой? С яблоками или с грушами?..

— С ума можно сойти, — воскликнул Будье. — Что предпочитаю... все, что подадут... В конце концов это издевательство.

— Издевательство? — спросил Паран. — Почему?

— Это чудовищно! — продолжал Будье. — Рядом — трупы, среди погибших есть дети, у людей сердце разрывается от боли, а вы здесь рассуждаете о пирогах и сыре!

— Что с тобой? — спросил Арно. — Божоле ударило тебе в голову, что ли?

— Впрочем, когда попадаешь в такую дыру, как эта, все становится безразличным,— не унимался Будье.

— Довольно! — разозлился Арно. — Если хотите объясниться, можно это сделать хоть сейчас!

— Вот, вот. Вы еще начнете объясняться на берегу. Это развлечет семьи погибших...

Жюли вдруг ужаснулся тому, что сказал.

— Послушайте, — начал он снова, — все мы здесь — товарищи и коллеги... Я понимаю, всегда немного нервничаешь, когда находишься на такой работе. Но это же не причина для ссоры. Ставлю по рюмке коньяку и прекратим споры.

— Извините меня, всему виной нервы...— сказал Будье. — Пожалуй, пойду пройдусь. Вернусь я скоро.

— Поторапливайся, — заметил Паран. — Я заказал телефон на половину одиннадцатого.

* * *

«Смотреть тут не на что», — говорил он сам себе, идя вдоль маленького пляжа, где совсем недавно были найдены тела погибших, полузасыпанные песком.

Соленые языки прилива зализали все следы. Теперь ничто не напоминало о происшедшей здесь трагедии. Завтра ни о чем не подозревающий купальщик будет прыгать с мола в зеленоватую воду. Если нескольких трупов и не досчитаются, газеты напишут, что море не выдало своей тайны.

Будье закурил папиросу. В круге света, бросаемого фарами пожарных машин, были видны неподвижные силуэты коренастого лейтенанта полиции и двух штатских. Какая-то машина направилась к берегу. «Сейчас мертвых перенесли в часовню, — подумал Будье. — Идти туда не стоит. Достаточно вытащить из картотеки ящик «Торжественные похороны». Там сказано все: и о «массе цветов», и о матерях, восклицающих «мой малыш, мой малыш!» Нет, так он писать не станет. Преимущество работы в «Юнивер» заключается хотя бы в том, что он не обязан этого делать. И все же ему придется подчеркнуть: «Причины ужасной катастрофы так и остались невыясненными». Он изобразит тяжелую атмосферу, которая воцарилась в маленьком порту, и опишет скорбь властей, которые пришли склониться перед... Все это он опишет так, что читателям покажется, будто они сами присутствовали при катастрофе... Он объявит, что началось расследование, хотя о нем, можно не сомневаться, никто никогда больше и не вспомнит.

Будье взял горсть песку. Крошечные белые ракушки. Сколько времени понадобилось, чтобы море превратило их в мельчайший порошок? Века, тысячи лет. Хорошо бы создать газеты, которые выходили бы каждые пятьдесят лет, после того как все уже установлено и разъяснено. Он начал думать о том, какой стала бы его жизнь, если бы он не был вовлечен в этот чудовищный водоворот. Сколько написано строк! Миллионы! И ни одна из них не сохранится, да и, в сущности, почти ни одна и не заслуживает этого... Ему следовало бы стать преподавателем в колледже и пользоваться каникулами, долгими каникулами, во время которых книги можно читать до конца, а не так, как он это делал в течение ряда лет, когда в печатном слове он не видел ничего, кроме бумаги, бумаги, бумаги. Вот что трагично. В сущности, события сами по себе не имеют никакого значения. Если бы катастрофа произошла в Японии, чего бы она стоила? Заметки в три строчки? Он закрыл глаза и глубоко вдохнул солоноватый морской воздух, смешанный с запахом герани. Будье чувствовал себя на отдыхе. По правде говоря, так оно и получилось: катастрофа на море все же лучше, чем взрыв в каком-нибудь индустриальном городе на севере, куда его могли послать.

Послышались голоса: «Будье, Будье! Допивай свой бокал!»

— Что нового? — спросил Жюли.

— Ничего.

— Так всегда бывает, — сказал Паран.

Хан Юн Хо

ПОЕЗД ДРУЖБЫ

Перевод с корейского А. Леднева

У платформы вагоны синие
В белом пушистом инее,
Хлопья снега шуршат чуть-чуть.
«Москва—Пхеньян» готовится в путь.
Любит кореец, простой человек,
Белое платье с давних времен.
Падает снег, падает белый снег,
На провожающих — он,
На отъезжающих — он.
В белом вокзал,
в белом перрон.
Русские, чехи — все пассажиры
Скорого поезда Дружбы и Мира.
Вот-вот гудок донесется к нам,
И тронется поезд
«Москва—Пхеньян».
Начало пути его —
город Москва,
Конец пути его —
город Пхеньян.
Гудок — и приветом
братских стран,
С вестями,
с гостями
Из разных стран
Поезд умчится в Пхеньян.
В белом снегу Ярославский вокзал,
В белых ресницах глаза.
Парня девушка просит:
— Говорят, что в Корее осень,
Но о зимнем пальто не забудь!
Прощанье...
Поезд тронулся в путь.
Ждут его встречи,
встречи,
встречи.
Начало пути его —
город Москва,
Конец же...
напрасно я трачу слова —
У дружбы народов
путь бесконечен!

«ЧОЧАРА». *Рис. Д. Дубинского.*

Альберто Моравиа

Чочара

РОМАН

Перевод с итальянского Г. Богемского и Г. Брейтбурда
Под редакцией Н. Георгиевской

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На заре нас разбудил сильный стук в дверь, колотили так, будто хотели ее выломать. Оказалось, что это все тот же солдат, который устраивал нас вчера. Как только мы открыли, он нас предупредил, что машина уже ждет внизу, чтобы отвезти нас до Валлекорса, и что нам нужно поторапливаться. Мы поспешили одеться, и я, одеваясь, ощутила в себе такую силу, какой во мне никогда не было: эти часы сна и вправду вернули меня к жизни. По тому, как живо Розетта умылась и оделась, я поняла, что и она полна сил и бодрости. Только мать может понять такие вещи. Я вспомнила, какой была Розетта накануне — совсем измученной от бессонницы и волнений, с лицом, перепачканным засохшей грязью, с глазами печальными и совсем осовелыми, — и мне теперь было приятно взглянуть на нее, когда она, сидя на кровати и свесив ноги, потягиваясь, подымала обе руки кверху, а под сорочкой у нее колыхалась едва прикрытая грудь — белая, пышная, красивая; потом она пошла к тазу с водой, стоявшему в углу, и стала поливать себя холодной водой из кружки; умывалась она весело, лила воду не только на лицо, но и на шею, на руки и плечи, а потом с закрытыми глазами, ощупью отыскала полотенце и насухо вытерлась так, что кожа покраснела, а затем, стоя посреди комнаты, стала надевать юбку через голову. Все это было очень обычно, мне бог весть сколько раз приходилось все это видеть, но я ощутила ее молодость и вернувшиеся силы, как чувствуешь молодость и силу прекрасного дерева; стоит оно неподвижно, не тронутое лучами солнца, и еле-еле начинает шевелить листьями при первом же дуновении весеннего ветра.

Словом, мы оделись и сбежали вниз по еще безлюдным лестницам этого пустого дома. Перед дверью стояла небольшая открытая машина союзной армии, с жесткими железными сиденьями. За рулем сидел английский офицер, блондин с красноватым, несколько смущенным, а может даже и скучающим лицом. Он указал нам на задние сиденья и на ломаном итальянском языке сообщил, что ему приказано доставить нас в Валлекорс. Он не казался очень любезным, но это скорее было из-за его застенчивости или смущения, нежели от неприязни к нам. В машине стояли две большие картонные коробки, доверху полные продуктами, и он все так же смущенно сказал, что начальник посылает их нам вместе с пожеланием счастливого пути и своими извинениями, потому что не может проститься с нами из-за своей большой занятости. Покуда длились все эти приготовления, многие беженцы, должно быть проведшие эту ночь под открытым небом, окружили нашу машину и молча, с нескрываемой

Окончание. Начало см. в №№ 1 и 2.

завистью разглядывали нас: я поняла, что они завидовали нам, ведь мы нашли способ выехать из Фонди, да к тому же у нас было столько банок с консервами; каюсь — я не могла удержаться от тщеславного чувства, хоть и не без некоторых угрызений совести. Я в ту минуту еще не знала, что в судьбе нашей не было ничего завидного.

Офицер завел мотор, и машина быстро помчалась в сторону гор, через лужи и груды развалин. Мы выехали на проселочную дорогу, вдоль которой текла горная речка, и быстро стали взбираться по глубокому и узкому ущелью меж двумя грядами гор. Я и Розетта молчали, молчал и офицер: мы — оттого, что нам до смерти надоело объясняться знаками и мычать, как глухонемые, а он, видно, молчал из застенчивости или потому, что считал для себя зазорным быть нашим шофером. Впрочем, что мы могли бы сказать этому офицеру? Что рады уехать из Фонди? Что сегодня прекрасный майский день, и над нами голубое небо без единого облачка, а тучные поля зеленеют в лучах солнца? Что мы ехали в мою родную деревню? Что там мы будем у себя дома? Все это его не могло интересовать, и он был вправе сказать нам, что такие вещи его не интересуют, а он, отвозя нас, согласно приказу, в такую-то деревню, лишь выполняет свой долг, и что нам лучше всего не болтать — ведь он к тому же сидел за рулем и не должен был отвлекаться. И странно — хоть я все это понимала, меня то и дело охватывало желание заговорить с этим офицером, узнать, кто он, где его семья, что он делал в мирное время, есть ли у него невеста... Теперь мне понятно, что я, когда миновала опасность, просто вернулась к обычным чувствам мирного времени, стала интересоваться другими людьми и другими делами, а не только тревогой за свою жизнь и за жизнь Розетты. Словом, я снова начинала жить, а жить — значит многое делать без всякой причины, просто из симпатии к кому-нибудь или даже из прихоти, а порой и ради шутки. И этот офицер вызывал во мне такое же любопытство, какое испытывает выздоравливающий после долгой болезни даже по отношению к самым незначительным вещам, которые попадаются ему на глаза. Я глядела на него и видела — волосы у него и вправду великолепные: цвета золота крупные блестящие локоны переплетались друг с другом, как прутья красивой ивовой корзины, а потом причудливо сходились у него на затылке. Мне вдруг захотелось протянуть руку, погладить его золотые волосы, и это не потому, что молодой человек мне понравился, нет, просто я полюбила жизнь, а волосы у него были такие живые. Влекло меня также и к молодой листве деревьев, росших вдоль дороги; и к гладким, хорошо обтесанным камням, защищающим насыпь от обвалов; и к голубому небу, и к ясному майскому солнышку. Все мне нравилось, и ко всему была у меня жадность; так бывает после долгого поста, когда человеку приходится забывать о вкусной еде.

Дорога, по которой мы ехали, вилась вдоль узкого и глубокого ущелья, но вот мы выехали на широкое шоссе, тут горный поток, бежавший рядом, впадал в прозрачную, чистую речку, поворачивающую в сторону другой, более широкой долины. Теперь уж горы не нависали над шоссе, их склоны спускались вниз мягкими уступами, а зелень сменили груды камней и пролысины. С каждым шагом пейзаж становился все пустынней и суровей. Я выросла в этих местах, и они не казались мне такими уж отталкивающими, дикими, заброшенными, потому что здесь мне все было знакомо, и с каждой минутой я все лучше их узнавала, а все же, думала я, если где и водиться разбойникам, так это здесь. Даже майское солнце не могло сделать эти места более привлекательными: только камни, да скалы, да склоны, тоже усеянные камнями; кое-где среди камней пробивалась трава; черная, сверкающая чистотой дорога вилась среди этой груды камней и походила на змею, разбуженную

первым весенним теплом. Вокруг ни дома, ни хижины, ни сыроварни, ни хлева, не видать вокруг ни человека, ни зверя. Я знала, что еще на многие километры протянется эта голая, пустынная и молчаливая долина, а по пути нам встретится лишь одна деревня — та самая, где я родилась, — и что вся эта деревня, в конце концов, состоит из домиков, рядком стоящих по обе стороны дороги и вокруг площади, где высится церковь.

Мы молча проехали бóльшую часть пути, и вдруг за одним из поворотов вдали показалась моя родная деревня. Все здесь осталось таким, как я запомнила: начиналась деревня двумя домами, стояли они по обе стороны дороги и были мне хорошо известны. Старые это были дома, из местного камня, непобеленные, мрачные и убогие, под зеленой черепичной крышей. Мне вдруг стало как-то неловко перед этим английским офицером, которому так не по душе было везти нас, и я, неожиданно тронув его за плечо, сказала, что мы уже прибыли и сойдем здесь. Он резко затормозил, и тогда я, слегка раскаиваясь, что сама заставила его остановить машину, сказала Розетте, что тут мы должны выйти. Мы очутились на дороге, и офицер помог нам выгрузить из машины обе коробки с продовольствием, которые мы поставили себе на голову. Офицер, почти любезно и с улыбкой, сказал по-итальянски: «Желаю счастья», — а потом быстро развернул машину, и она помчалась вперед, как ракета. Через несколько секунд машина скрылась за поворотом, и мы остались одни на дороге.

Лишь теперь я заметила, какая здесь глубокая тишина и полная заброшенность: ни души вокруг не видать, ни звука не слышно, разве что мягкий и легкий весенний ветерок зашелестит порой в долине. Взглянув еще раз на дома при въезде, я заметила то, что ускользнуло от меня в первое мгновение: окна и ставни в домах накрепко заколочены, а двери забиты накрест палками. Жители, видно, бежали из деревни, и я, подумав об этом, в первый раз поняла, как легкомысленно мы поступили, покинув Фонди: правда, там была опасность бомбежки, но ведь в тех местах столько народу, и мы не были одиноки. Сердце у меня внезапно сжалось, и, чтоб как-то себя успокоить, я сказала Розетте:

— Может статься, что в деревне никого нет, может, все бежали отсюда, тогда мы здесь не остановимся, а пройдем до Валлекорса, туда всего несколько километров, или попросим, чтоб нас подвезли на грузовике. Дорога здесь оживленная, какая-нибудь машина всегда повстречается.

Почти в ту же минуту, как бы в подтверждение моих слов, из-за поворота показалась длинная колонна грузовиков и военных машин. Это меня успокоило: войска союзные, значит друзья, и в случае беды мы, как и в Фонди, всегда сможем к ним обратиться. Я вместе с Розеттой отошла в сторону и стала разглядывать колонну, проходившую мимо нас. Головная машина была открытой, вроде той, на которой нас довезли, в ней сидели три офицера, а к кузову был прикреплен трехцветный флажок — голубой, белый и красный, потом я узнала, что это был французский флаг, а военные в кепи, похожих на круглые кастрюльки, с твердыми козырьками над глазами были французские офицеры. За этой машиной шли совсем одинаковые грузовики, битком набитые солдатами, каких мы отроду не видели. Все они были темнокожие, с лицами, как у турок, хотя их трудно было разглядеть из-за красных шарфов, закрывавших часть лица; они были завернуты в белые простыни, а поверх виднелись плащи темного цвета. Потом я узнала, что эти солдаты были из очень далекой страны, где-то там в Африке; конечно, не будь войны, этим солдатам и не видать бы Италии. Колонна оказалась совсем не длинной — за несколько минут она прошла мимо нас и затем

углубилась в деревню. В хвосте была такая же машина, как впереди. Снова дорога стала тихой и пустынной. Я сказала Розетте:

— Конечно, это союзники, но кто их знает, что они за люди, кто их где видел.

И мы зашагали по направлению к деревне.

Перед самой деревней над дорогой нависала скала, а в пещере под скалой бил родник. Я сказала Розетте, которая тоже несла на голове коробку:

— Здесь пещера с родником, давай подойдем поближе: жажда меня мучит, хочется попить водички.

Правда, я так ей сказала, а на самом деле мне просто хотелось взглянуть на пещеру; ведь еще в детстве, совсем ребенком, и позднее, став взрослой девушкой, ходила я сюда каждый день, нет, даже по нескольку раз в день, с медным кувшином на голове и брала здесь воду, порой простаивала я здесь минут по десять, а иной раз даже больше, чтоб поболтать с женщинами, которые тоже приходили сюда за водой: здесь можно было повстречать и людей из соседних деревень, они приезжали на ослах с бочонками для воды: ведь наш родник славился и, единственный в округе, летом не высыхал, а продолжал не скупясь выбрасывать струю ледяной воды. Меня всегда тянуло к этой пещере. Помню, когда я была маленькой, она казалась мне таинственным местом — и пугала немного и в то же время влекла к себе; как часто, низко-низко наклонившись над краем прорубленного в камне водоема, я смотрелась в черную воду, любуясь густыми водорослями, скрывавшими родник, и разглядывала свое отражение в воде — оно было таким ясным и радужным, и мне так нравилось без конца смотреть на красивые водоросли с зеленой листвой и с черными, будто эбеновое дерево, веточками; любила я также рассматривать бархатистый мох, покрывающий скалы, на котором, будто жемчужины, сверкали капли росы и алели красные цветочки. Но больше всего влекла меня к себе пещера потому, что жители нашей деревни как-то рассказывали мне — если смело нырнуть в водоем и плыть глубоко-глубоко, то вдруг попадешь в подземное царство, где все красивее, чем на земле, где пещеры с сокровищами, где живут карлики и прекрасные феи. Эта сказка произвела на меня большое впечатление: даже когда я стала взрослой и уже не верила в сказки, зная, что все это одни небылицы, подходя к пещере, я всегда вспоминала о ней и снова испытывала то же искушение, будто то была не сказка, а правда, и я еще могла — стоило лишь пожелать — нырнуть в воду, попасть в подземное царство, повидать заколдованную пещеру.

Но вот подошли мы к пещере, и я поставила наземь коробку, спустилась по ступенькам и, войдя внутрь, прижалась грудью к краю водоема; теперь надо мной снова повисли сталактиты, и с них, как и прежде, стекали капли воды, а кругом зеленел мох. Розетта тоже нагнулась над водоемом, и я на мгновение увидела, как в черной и неподвижной воде отразились оба наших лица; тогда я вздохнула при мысли о том, сколько самых различных вещей произошло с тех пор, когда девочкой я, как сейчас, наклонялась над этой водой, разглядывая свое отражение. В глубине водоема, под густыми сплетениями водорослей, можно было, как и прежде, разглядеть небольшое углубление, пробитое родником. Глядя на него, я подумала, что родник всегда будет выбрасывать на поверхность эту мягкую и спокойную воду, ведь он будет бить и тогда, когда и я, и Розетта, и все мы уйдем из этого мира и даже об этой войне, такой страшной, останется только смутное воспоминание. У меня все позади, подумала я про себя, я уже не молода, у меня теперь взрослая дочь, а родник никогда не иссякнет и будет бить, как и прежде.

Я выпила воды, наклóнившись над родником, и, думается, обронила не одну слезу на его зеркальную гладь; Розетта стояла рядом со мной, она тоже пила, но ничего не заметила; потом мы вытерли губы, вновь поставили коробки на голову и направились в сторону деревни.

Как я и думала, деревня оказалась совсем безлюдной. Ее не бомбили, не разрушали, но она была всеми брошена. Бедные жилища из необтесанного камня без известки жались друг к другу вдоль дороги, они были целы, но окна в них заколочены, двери забиты. Мы прошли вдоль двух рядов мертвых домов, испуганные, как во время прогулки по кладбищу, когда начинаешь думать о людях, лежащих под могильными плитами; вот мы прошли мимо дома моих родителей, но и он был заколочен и заперт. Я решила, что даже стучать не стоит, только ускорила шаг, не сказав Розетте ни слова; под конец мы поднялись по ступенькам и вышли на площадь; здесь на самом высоком в деревне месте стояла церковь — простая деревенская церквушка из почерневшего от времени камня, старинная, но без всяких украшений. Площадь была такой, какой сохранилась в моей памяти; к ней вели ступени из темных, покрытых белым камнем плит; несколько в беспорядке росших посреди площади деревьев покрывала, как всегда бывает весной, зеленая листва; чуть поодаль виднелся старый колодец из того же почерневшего камня, какой послужил для постройки церкви.

Подойдя к церкви, при входе в которую возвышались две колонны, я заметила, что дверь полуоткрыта, и сказала Розетте:

— Знаешь что? Церковь открыта, зайдем посидим внутри, передохнем, а потом отправимся пешком в Валлекорс.

Розетта ничего не ответила и пошла за мной.

Вошли мы в церковь, и тут я, по многим признакам, убедилась, что хоть ее и не разрушили, но здесь жили солдаты, которые превратили ее в конюшню. А церковь была узкой и длинной, с побеленными стенами и большими черными балками на потолке; в глубине виднелся алтарь, над ним висел образ Мадонны с младенцем. Алтарь стоял оголенный, без всякого убранства, образ Мадонны перекосился на сторону, будто после землетрясения; что ж до скамеек, которые прежде стояли в два ряда, вплоть до самого алтаря, то их куда-то унесли, кроме двух, поставленных теперь в длину, а между ними, на полу, валялась куча серого пепла и черные головешки — здесь, видно, разжигали огонь. Свет в церковь проникал сквозь большое окно над самым входом, прежде в нем были цветные стекла. Теперь от них осталось лишь несколько осколков, и в церкви было светло, как во дворе. Я подошла к этим двум оставшимся скамьям и переставила одну из них так, чтоб она стояла напротив алтаря; затем я положила на нее коробку и сказала Розетте:

— Вот видишь, что такое война: церкви, и те не щадят.

Затем я уселась на скамью, и Розетта села рядом со мной.

Странное у меня было чувство — вот попала я в святое место, а молитва на ум не идет. Я подняла глаза к старинному образу Мадонны, покрытому черной копотью, но образ висел вверх ногами, и глаза Мадонны теперь не были обращены вниз на скамьи, а глядели куда-то вверх, на потолок. Я подумала — прежде чем молиться, нужно повесить образ по-старому. Но, должно быть, я все равно не могла бы молиться: будто вся оцепенела, и сидела ошеломленная, ничего не чувствуя. Та́к мне хотелось снова увидеть деревню, где родилась, людей, среди которых выросла, та́к я надеялась повидать своих родителей, а нашла лишь пустую раковину, может и Мадонна ушла отсюда, огорченная тем, что надругались над ее образом и оставили его висеть вверх ногами. Потом я взглянула на Розетту, сидевшую рядом со мной;

она, не в пример мне, молилась, склонив голову, сложив руки крестом и едва шевеля губами. Тогда я сказала ей шепотом:

— Хорошо, что ты молишься. Молись и за меня... сердце мне не позволяет.

В ту минуту до меня донесся шум чьих-то шагов и послышались голоса у входа в церковь. Я оглянулась и будто при свете молнии увидела у самой двери кого-то в белом — человек этот тотчас же исчез. Показалось мне, что это один из тех странных солдат, которых мы незадолго до этого видели на грузовиках, проезжавших по дороге. И тогда, охваченная внезапным беспокойством, я встала и сказала Розетте:

— Пойдем... Лучше нам уйти.

Она тотчас же встала, перекрестилась, я помогла ей установить коробку на голове, поставила и свою на голову, и мы направились к выходу.

Я толкнула дверь, теперь она была закрыта, и нос к носу столкнулась с одним из этих солдат, который походил на турка, таким он был темнокожим; красный капюшон опускался на его черные сверкающие глаза. Он был закутан в темный плащ, надетый поверх белой простыни. Солдат, положа мне руку на грудь, оттолкнул меня назад, сказав что-то непонятное; я увидела, что за ним стояли еще другие, но не смогла разглядеть, сколько их было, потому что он теперь схватил меня за руку и потащил в церковь, а остальные, тоже все в белом и в красных капюшонах, стали быстро входить вслед за ним.

Я крикнула:

— Потише, что вы делаете, мы беженки, — и в ту же минуту уронила коробку, которую держала на голове; она упала на пол, и я услышала, как покатились банки с консервами; тут я стала отбиваться от него, потому что он схватил меня за талию и позис на мне, прижимаясь своим темным и злобным лицом к моему лицу. Потом я услышала страшный крик — это кричала Розетта, и я всеми силами старалась освободиться из его лап, чтобы прийти ей на помощь, но он цепко держал меня, и я напрасно пыталась вырваться, он был сильный; хоть я и упиралась рукой в его подбородок, чтобы отстранить от себя его лицо, ему удалось оттащить меня назад в темный угол церкви, справа от входа. Тогда и я закричала, еще ужаснее, чем кричала Розетта, в этот вопль я вложила все свое отчаяние и всю боль не только за то, что происходило со мной сейчас, но и за все, что со мной произошло до сих пор, с того самого дня, как я уехала из Рима. Но он теперь ухватил меня за волосы со страшной силой, будто желал оторвать мне голову, и все подталкивал меня назад, так что в конце концов я почувствовала, что падаю, и вправду упала на пол вместе с ним. Теперь я отбивалась от него руками и ногами, а он прижимал мою голову к полу, ухватившись одной рукой за волосы, в то время как другой рукой срывал с меня платье; я снова закричала, на этот раз уже от боли, потому что теперь он вцепился в мое тело с той же силой, с какой тащил меня за волосы, чтоб я не могла повернуть голову. Я почувствовала, что силы меня покидают, у меня перехватило дыхание, и я потеряла сознание...

...Не знаю, через сколько времени пришла я в себя и увидела, что лежу в темном углу церкви, солдаты уже ушли, и снова наступила тишина. Голова болела, но только у затылка, а другой боли я не испытывала, и мне стало ясно, что этот страшный человек не смог добиться того, чего хотел, и только стукнул меня головой об пол, а я потеряла сознание — что же он мог сделать с женщиной в таком состоянии? Но, может, как я потом догадалась, он оставил меня в покое оттого, что товарищи позвали его, и тогда он бросил меня, ушел и там, вместе с другими, надругался над Розеттой. Увы, Розетта не потеряла сознания

и видела своими глазами и ощущала всеми своими чувствами то, что с ней произошло.

Я же тем временем лежала совсем обессиленная и, как только попыталась встать, ощутила острую боль в затылке. Все же я пересилила себя, встала на ноги и оглянулась. Сперва увидела только церковный пол, по которому были разбросаны банки с консервами, выкатившиеся из двух коробок, когда на нас напали; потом подняла глаза и увидела Розетту. Они оттащили ее к самому алтарю, а может, она и сама убежала туда; теперь она лежала на спине навзничь, головы ее не было видно, она была скрыта под платьем, откинутым назад... Я подумала, она умерла от кровоизлияния, хотя понимала, что кровь на ее теле была кровью ее поруганной чести, но все же это была кровь, и она подсказывала мне мысль о смерти. Я подошла к ней и позвала: «Розетта», позвала тихо, отчаянно, боясь, что она мне не ответит; и она на самом деле не ответила и не пошевельнулась; я была убеждена, что она действительно умерла. Тогда, наклонившись над ней, я отдернула платье, закрывавшее ее лицо, и увидела, что она молча и не двигаясь глядит на меня своими широко открытыми глазами; в ее взгляде было что-то прежде невиданное, похожее на взгляд зверя, который попал в ловушку и ждет, чтобы охотник прикончил его.

Тогда я села рядом с ней, у самого алтаря, обняла ее за талию, приподняла немного, прижала к себе и сказала: «Доченька моя золотая...» — и больше слов у меня не было. Я начала плакать, и слезы часто-часто полились у меня из глаз, а я, глотая их, чувствовала, какие они горькие на вкус, в них, видно, была вся горечь, что накопила я за свою жизнь. Теперь я занялась, однако, тем, чтобы помочь Розетте; прежде всего я вынула платок из кармана, вытерла кровь у нее на теле, потом поправила ей платье и наконец, все еще плача навзрыд, застегнула ей лифчик; потом вынула расческу, которую мне дали англичане, и долго, старательно причесывала ее всклокоченные волосы. Лежала она молча, неподвижно и позволяла мне делать с ней все, что я хотела, а я уже перестала плакать, и мне было тяжело оттого, что я больше не могла плакать, кричать и предаваться отчаянию. Я сказала ей:

— Сможешь ты выйти отсюда?

Очень тихо она ответила: «Да». Тут я помогла ей подняться, она едва стояла на ногах и была очень бледна, но под конец, когда я взяла ее под руку, пошла вместе со мной к выходу. Дойдя до середины церкви, где стояли две скамьи, я сказала ей:

— Нужно все-таки собрать эти банки, уложить их в коробки. Мы не можем оставить их здесь. Ты сможешь нести коробку?

Она снова ответила мне согласием, и тогда я уложила разбросанные по полу консервы в коробки и одну из них поставила ей на голову, другую взяла сама, и мы, наконец, вышли.

Затылок мой болел невыносимо; когда мы вышли из церкви, у меня от этой боли даже в глазах помутилось, но я тотчас же овладела собой, подумав, как страдает в эту минуту Розетта. Мы медленно спустились по кривым ступеням, ведшим к церковной площади. Солнце стояло высоко, и его прекрасные светлые лучи падали на почерневшие камни. Солдат больше не было видно. Сделав свое дело, они теперь, слава богу, ушли, может чтобы повторить его в какой-нибудь другой деревне. Так мы прошли через всю деревню меж двумя рядами молчаливо прижавшихся друг к другу домов и снова вышли на шоссе, на эту чистую, ясную, залитую солнцем дорогу, а весенний ветер будто нашептывал мне, что я не должна убиваться, что все останется по-прежнему и жизнь пойдет своим чередом. Мы прошли с километр очень медленным

шагом, не сказав друг другу ни слова, но боль в затылке у меня становилась все острей, и я поняла, что Розетта тоже не в силах идти дальше. Тогда я сказала ей:

— Дойдем до первой сыроварни, а там останемся до завтрашнего утра и немного передохнем.

Она промолчала, на нее нашел столбняк, который овладел ею с той самой минуты, когда над ней надругались, это ее состояние продолжалось потом еще долго. Словом, мы прошли еще шагов сто и увидели, что нам навстречу едет открытая машина, точь-в-точь такая, как та, что привезла нас сюда, а в машине сидят два, должно быть французских, офицера в кепи, похожих на кастрюльки. Не знаю, какая меня сила подтолкнула, но я стала посреди дороги и подняла свободную руку, тогда они остановились. Я подошла ближе и с яростью закричала:

— А знаете вы, что с нами сделали эти турки, которыми вы командуете? А знаете вы, что они посмели сделать в святом месте — в церкви, на глазах у Мадонны? Ну, скажите же, знаете вы, что они с нами сделали?!

Они не понимали и поглядывали на нас изумленно, один из них был черноволосый, с черными усиками и красным лицом здоровяка; другой же оказался худощавым, бледным блондином с голубыми, подслеповатыми глазами. Я снова закричала:

— Вот моя дочь, они ее погубили, боже мой, они навсегда погубили мою дочь; она была ангелом, а теперь лучше б ее в живых не было. Да знаете ли вы, что они с нами сделали?

Тогда черноволосый поднял руку, как бы желая сказать «хватит», а потом повторил по-итальянски, но с французским акцентом:

— Мир, мир...

Я заорала:

— Да, мир, ничего себе мир, так вот каков ваш мир, сукины вы дети!

Тогда блондин что-то сказал черноволосому, видно, говорил, что я рехнулась, потому что все прикасался пальцем ко лбу и улыбался. Тут я совсем потеряла голову и вновь завопила:

— Нет, я не рехнулась, вот, посмотрите, — и, швырнув наземь коробку с консервными банками, подбежала к Розетте, которая немного отстала от меня и неподвижно стояла посреди дороги со своей коробкой на голове. Розетта не двигалась, даже не глядела на меня, и я одним рывком подняла ее юбку, обнажив ее красивые ноги, прямые, стройные, белые; они были в сплошных ссадинах и царапинах.

— Вот, смотрите, скажите сами теперь, рехнулась я или нет? — закричала я, уже не помня себя, в исступлении, сама испуганная видом Розетты. Но в ту же минуту я услышала, как машина на большой скорости прошла мимо нас, и, подняв голову, увидела, что она уже исчезает за поворотом.

Розетта по-прежнему стояла неподвижно, как статуя, с коробкой на голове и с поднятой рукой, которой она придерживала коробку. Мне стало страшно: а что если она сошла с ума после пережитого, и я, поправив на ней одежду, спросила:

— Доченька, почему ты молчишь, что с тобой, скажи хоть что-нибудь своей маме...

Она ответила совсем спокойным голосом:

— Ничего, мама, все обойдется.

Я вздохнула тогда, потому что на самом деле опасалась, что она не в своем уме, и, немного воспрянув духом, спросила ее:

— Сможешь ты еще немного пройти?

Она ответила:

— Да, мама.

Тогда я снова поставила коробку себе на голову и зашагала вместе с Розеттой по шоссе.

Мы прошли еще с километр, а боль у меня в затылке становилась все сильней и сильней. Я почти теряла сознание, все у меня перед глазами стало черным-черно, и вдруг мне показалось, что погасло солнце. Под конец за одним из поворотов мы заметили круглый и поросший кустарником холмик, скрытый за горами повыше. На самой его вершине, среди кустов, виднелась лачуга, похожая на те, в которых крестьяне из Сант-Эуфемии держат скот. Я сказала Розетте:

— Сил моих нет идти дальше, да и ты, должно быть, устала: пойдем к этой хижине. Если там люди, то ведь они христиане и дадут нам переночевать, а нет никого — так тем лучше: мы там пробудем сегодня и завтра, передохнем — и снова пустимся в дорогу.

Она опять ничего мне не ответила, но это меня теперь не так взволновало, потому что я знала — она в своем уме и только никак не может прийти в себя, что и неудивительно после всего случившегося. Чувствовала я — стала она уже не та, что прежде, и что-то в ней дрогнуло: изменилось не только ее тело, но и душа. Хоть я мать, но не вправе была расспрашивать, о чем она думала; я понимала, что всю свою любовь к ней могу доказать, только оставив ее в покое.

Мы зашагали в сторону хижины по тропинке, которая вилась среди кустарников, и после долгого подъема добрались до места. Это была, как я и думала, пастушья хижина с каменными стенами, соломенной крышей, спускавшейся чуть не до земли, и деревянной дверью. Мы поставили наземь коробки и стали пытаться открыть дверь. Но она была заперта на большой висячий замок, да и сама была сбита из тяжелых досок: даже мужчина — и то не смог бы ее открыть. Покуда мы возились с дверью, из хижины раздалось тонкое-тонкое блеяние; похоже, что там были козы, но блеяли они слабо и жалобно, а ведь козы, сидя в темноте и стараясь выйти наружу, блеют сильно и злобно. Тогда я сказала Розетте:

— Они заперли скотину, а сами бежали... Надо постараться скотину выпустить.

Сказав это, я подошла к краю хижины и принялась разбирать крышу. Это было нелегко: от дождя и дыма солома с течением времени затвердела, слежалась, да к тому же каждый сноп крепкой лозой был привязан к столбу. И все же, разбирая солому, распутывая и ослабляя узлы, я смогла проделать довольно большую дыру в уровень со стеной; когда дыра оказалась достаточно широкой, из нее высунулась голова козы, и она, упершись ногами в стену, принялась разглядывать меня своими золотистыми глазами и потихоньку заблеяла.

Я ей сказала:

— Ну давай, милая, прыгай!

Но как бедняжка ни старалась выбраться, сил у ней не хватало. Козы, видно, ослабели от голода и не могли вылезть наружу без моей помощи. Тогда мне пришлось немного расширить дыру, а коза, тем временем, стояла, упершись ногами в стену, разглядывала меня и тихонько блеяла; потом я ухватила ее за шею и голову и стала тащить; с трудом, собравшись с силами, она выпрыгнула наружу; тотчас же вслед за ней в дыре показалась другая коза — и я тем же способом вытащила и ее, а за ней — третью и четвертую. Но больше козы уже не показывались, а внутри хижины что-то еще продолжало блеять. Тогда я снова расширила дыру и сама вскочила внутрь. Тут я увидела двух козлят, они стояли у самой двери, но не могли подпрыгнуть, потому что были еще совсем маленькие; в углу же валялась какая-то груда, я подо-

шла поближе и увидела, что на земле неподвижно лежит на боку большая белая коза, а рядом с ней — козленок: он прикорнул под ее брюхом, согнув ножки, вытянув мордочку, чтоб удобней было сосать молоко. Вначале я подумала, что коза лежит неподвижно, чтоб дать козленку вдоволь насосаться, но оказалось, что коза была уже мертва. Это мне стало ясно сразу: она бессильно опустила голову, и рот у нее был слегка приоткрыт, а мухи роем облепили глаза и уголки ее рта. Коза околела с голоду, а трое козлят еще были живы: ведь они могли сосать молоко до последней минуты жизни матери. Я перенесла на руках всех козлят одного за другим через дыру и поставила на землю у самой стенки. А четыре козы, которые были уже на свободе, как бы обезумев от голода, пожирали с бешеной жадностью листья кустарников; козлята последовали их примеру; вскоре их не стало видно, потому что, пощипывая листья, они исчезли в кустах, однако еще долго слышно было их блеяние, которое даже становилось все сильней и громче, будто с каждым съеденным листком к ним возвращался голос и эти бедные козы теперь хотели сказать, что им уже лучше и они благодарят меня за спасение.

Потом я с большим трудом вытащила из хижины дохлую козу и выбросила ее подальше, чтобы до нас не доходила вонь. Всю солому с крыши я собрала и разложила в тенистом углу хижины, приготовив таким образом нечто вроде постели. Затем я сказала Розетте:

— Прилягу на эту солому поспать немного, почему б и тебе не прилечь рядышком.

Она мне ответила:

— Я прилягу здесь, на солнышке.

Я ей ничего не сказала, а сама легла спать. Лежала я в тени, но сквозь дыру в крыше видела, как голубеет небо. Луч солнца играл на полу хижины, усеянном черными шариками козьего помета, блестящими и чистыми, как ягодки лавра, а в самой хижине стоял хороший запах хлева. Кости у меня ломило, и я теперь поняла, что усталость не давала мне по-настоящему горевать и оплакивать ту беду, какая случилась с Розеттой: ведь все было для меня чем-то таким непонятным и нелепым; то и дело перед моими глазами возникала Розетта, стоявшая посреди дороги под лучами солнца, когда я задержала машину с офицерами и показывала им, что сделали с моей дочерью. Чем больше я раздумывала над этим, тем меньше понимала, что произошло.

В конце концов я заснула.

Спала я недолго, должно быть не больше получаса, и вдруг проснулась как ужаленная и стала с тревогой звать Розетту. Никто мне не ответил, вокруг стояла глубокая тишина, не слышно было даже блеяния коз — кто знает, куда они забрались. Я все звала, звала, потом в страхе вскочила и сквозь дыру выбралась из хижины: Розетты не было. Я обошла вокруг дома, обе наши коробки с консервными банками стояли спокойно у стены, но Розетты нигде не было.

Меня тут по-настоящему страх взял, и я подумала, вдруг она бросила меня со стыда и отчаяния, а может, даже выбежала на шоссе, чтобы в горькую минуту броситься под машину и положить всему конец. Дыхание у меня перехватило, а сердце сильно-сильно стучало в груди, покуда я, стоя у двери хижины и оглядываясь по сторонам, звала Розетту. Но никто мне не отвечал, может потому, что от волнения я не могла громко кричать и спáла с голоса. Тогда я покинула хижину и наугад побрела сквозь кустарники.

Я шла по пыльной тропинке, которая то расширялась, становясь очень приметной, то превращалась в неясный след, оставленный среди высоких кустов. Внезапно я очутилась у скалы, нависшей своим острием

над дорогой. Здесь росло дерево, а сама скала была вроде площадки, откуда можно было глядеть вниз и видеть большой кусок дороги, извивающейся по узкой долине. Можно было заглянуть и дальше, туда, где за дорогой, омывая белые камни, мчался горный поток, разветвлявшийся на прозрачные ручейки, которые журчали и сверкали среди зелени и камней. Взобралась я на эту скалу и, оглянувшись по сторонам, вдруг увидела далеко внизу Розетту. Я поняла, почему она меня не слышала: она теперь стояла ниже меня и осторожно, не спеша шла по каменистому дну потока, перескакивая с камня на камень, чтобы не замочить себе ноги; по тому, как она шагала, я поняла, что к воде ее привели не отчаяние и не душевное потрясение. Потом я увидела, как она остановилась на том месте, где поток делался у́же и глубже, и стала там на колени, наклонившись лицом к воде, чтобы напиться. Утолив жажду, она снова поднялась, огляделась по сторонам, а затем подняла свою одежду до пояса, обнажив ноги. Она присела на корточки, и тут я увидела, как она набирает воду в ладони и подносит ее к своему телу, чтобы как следует вымыться. Голову Розетта наклонила немного вбок и мылась неторопливо, с толком, не стыдясь выставлять свой позор напоказ солнцу и ветру. Итак, все мои опасения оказались напрасными: Розетта вышла из хижины и спустилась к потоку лишь затем, чтобы вымыться; убедившись в этом, я, по правде говоря, испытала чувство горького разочарования. Конечно, не мне было желать, чтоб она себя убила, я ведь так боялась этого; но когда я теперь увидела, что она ведет себя совсем по-иному, то испытала какое-то разочарование, и мне стало страшно за ее будущее. Мне казалось, что новая беда, постигшая ее в церкви, где она была так зверски обесчещена, сломила ее вконец и что это упорное молчание было скорее молчанием смирения, а не гнева. Увы, потом, когда мои опасения подтвердились, я поняла, что в те минуты тяжкой обиды моя бедная Розетта внезапно стала женщиной не только телом, но и душой, женщиной закаленной, опытной, узнавшей горе, у которой не осталось ни заблуждений, ни надежд.

Я долго смотрела на нее с высоты скалы: она вытерлась кое-как и теперь с тем же отсутствием всякого стыда зашагала обратно по руслу против течения, а потом выбралась на дорогу и пересекла ее. Тогда я спустилась со скалы и вернулась к хижине: мне не хотелось, чтобы она подумала, будто я подглядывала за ней. Через несколько минут и она вернулась к хижине, на лице ее было не то чтобы спокойствие и умиротворение — просто оно вообще было лишено всякого выражения. Я притворилась, будто проголодалась, и сказала ей:

— Знаешь, у меня аппетит появился, давай поедим чего-нибудь.

Она ответила мне равнодушным ко всему голосом:

— Если хочешь...

Тогда мы, усевшись на камнях перед хижиной, открыли две банки консервов, и я, к своему удивлению и огорчению, увидела, что ест она не только с аппетитом, но даже с жадностью. У меня, конечно, и в мыслях не было, чтобы она отказывалась от еды, совсем напротив; и все же когда я увидела, до чего жадно она ест, то снова удивилась и подумала, что после всего случившегося, по крайней мере, еда должна была вызывать у нее отвращение. Не знала я, что сказать, и только глядела на нее как дура, а она пальцами доставала куски мяса из открытых банок, клала их себе в рот и затем жевала с остервенением, широко раскрыв глаза. Потом я сказала ей:

— Доченька моя золотая, не думай больше о том, что случилось в церкви, поверь мне, ты никогда не должна об этом думать; вот увидишь...

Но она сухо оборвала меня:

— Если не хочешь, чтоб я об этом думала, тогда не заговаривай со мной об этом.

До того это меня огорчило, ведь она никогда так со мной не разговаривала: голос у нее был раздраженный и в то же время какой-то сухой и бесчувственный.

Провели мы в этой хижине четыре дня и четыре ночи, и ничем они друг от друга не отличались; по ночам мы спали в хижине, куда проникали сквозь дыру в крыше; просыпались вместе с первыми лучами солнца, ели консервы — подарок английского офицера, — пили воду из горного потока и почти не разговаривали друг с другом, разве уж если это было очень необходимо. Днем мы бесцельно бродили среди зарослей кустарника, а не то спали, лежа прямо на земле где-нибудь в тени. Козы целый день паслись, а вечером сами возвращались к хижине, и мы помогали им забраться внутрь, а потом они спали вместе с нами, прижавшись друг к другу в уголке, рядом с козлятами, которые теперь сосали молоко то у одной, то у другой козы и уж совсем позабыли о своей мертвой кормилице. Розетта по-прежнему была так же бесчувственна, равнодушна и далека от меня, а я, по ее просьбе, больше не заговаривала с ней о том, что случилось в церкви; с тех пор я даже словом боялась обмолвиться; боль оставалась в сердце моем, как заноза, и она никогда не пройдет, потому что я не могу излить ее в словах. Одно я знаю: в эти четыре дня у Розетты совсем переменился характер; может, она сама на свой лад приняла то, что с ней случилось, а может, изменилась, вопреки своему желанию и не отдавая себе в этом отчета; но после этого она стала совсем иной, не похожей на прежнюю. Еще я хочу сказать, что меня сперва удивила такая полная в ней перемена, она как бы из белой стала черной; но затем, поразмыслив над этим, я поняла, что иначе при ее характере и быть не могло. Я уж говорила, что сама природа создала ее каким-то совершенством. Если она бралась за что-нибудь, то доводила до конца, не зная ни колебаний, ни сомнений; я ведь ее почти святой считала. Но эта ее святость, как я уж говорила, была порождена неопытностью, незнанием жизни, и то, что случилось с ней в церкви, смертельно ее ранило. Тогда сразу она закусила удила и в противоположность тому, чем была, не признавала никакой воздержанности, никакой осторожности, свойственной обычным, несовершенным, но опытным людям. До сих пор она была в моих глазах образцом набожности и доброты, примером чистоты и нежности; теперь мне следовало ожидать, что она, без всяких колебаний и сомнений, с той же неопытностью и решительностью проявит качества обратные. И я не раз, думая об этом мучительном для меня превращении, говорила самой себе: чистота не дается в дар вместе с рождением, чистота — не дар природы, чистоту обретаешь, проходя через испытания жизни; тот, кто получил чистоту при рождении, потеряет ее рано или поздно, и худо тому, кто теряет ее в минуту, когда верит, что обладает ею. Словом, думала я, пожалуй лучше родиться несовершенным, а потом постепенно становиться если уж не совершенством, то хотя бы человеком лучше прежнего; да и вообще, кажется мне, совершенство, порождаемое жизнью и опытом, крепче того призрачного прирожденного совершенства, от которого человек рано или поздно вынужден отказаться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

А тем временем таяли на глазах подаренные нам английским офицером банки с консервами, ведь у Розетты в эти дни был волчий аппетит; и тогда я решила, что нам как можно скорее надо убираться отсюда. В Валлекорс или в какую-нибудь другую здешнюю деревню я идти

не решалась, боялась снова встретить этих солдат, которые, как мне казалось, шныряли теперь в Чочарии повсюду. Наконец я сказала Розетте:

— Пожалуй, лучше всего вернуться в Фонди, оттуда мы, конечно, доберемся в Рим, если союзники уже там. Бомбежка лучше, чем то, что сделали с тобой.

Розетта выслушала меня, промолчала с минуту, а потом ответила, но так, что мне стало горько и обидно:

— Нет, это лучше бомбежки, для меня, по крайней мере. Что мне еще могут сделать плохого? А умирать я не хочу.

Мы еще немного поспорили с ней, а под конец и она убедилась, что лучше вернуться в Фонди: теперь, когда союзная армия продвинулась к северу, бомбежки должны были прекратиться. И вот в одно прекрасное утро мы покинули нашу хижину и спустились к дороге.

Тут нам, если можно так сказать, повезло: пропустив немало военных машин, а они, как я знала, не брали гражданских лиц, я вдруг увидела совсем пустой грузовик; он как-то очень весело, делая зигзаги на большой скорости, спускался по пустынной дороге. Я стала посреди шоссе, замахала руками, и грузовик тотчас же остановился. За рулем сидел молодой блондин с голубыми глазами, в красивом красном свитере. Он остановил машину и взглянул на меня, а я закричала:

— Мы две беженки, не довезешь ли нас до Фонди?

Парень свистнул и сказал мне в ответ:

— Ну и повезло же тебе: я еду как раз в Фонди. Говоришь, вас двое. А где же другая?

— Сейчас подойдет, — сказала я и подала условный знак Розетте: опасаясь какой-либо дурной встречи, я велела ей подождать чуть повыше в кустах.

Розетта пошла нам навстречу по залитому солнцем шоссе, держа на голове последнюю из наших коробок с остатками консервов. Теперь я лучше могла разглядеть сидевшего за рулем парня, и он показался мне неприятным: уж слишком красные были у него губы, а в небесно-голубых глазах было что-то наглое, грубое, жадное. Мое плохое впечатление утвердилось, когда я заметила, что он, в то время как Розетта подходила к грузовику, даже не взглянул ей в лицо, а впился глазами в ее грудь, которая теперь, оттого что она одной рукой поддерживала коробку на голове, ясно обрисовывалась под легкой тканью ее блузки. С развязным смешком он крикнул Розетте:

— Твоя мать сказала, что ты беженка, а не добавила, что ты еще и красавица.

Затем он вылез из кабины и помог ей сесть рядом с собой, а меня усадил по другую сторону. Тут я заметила, что даже не возразила ему на эти неуважительные слова, а ведь скажи он их всего несколько дней назад, я бы его так отбрила, а может, даже отказалась бы с ним ехать: должно быть, сама я тоже переменилась, по крайней мере по отношению к Розетте. Тем временем парень включил мотор, и грузовик тронулся с места.

Некоторое время мы ехали молча, а затем, как всегда бывает в таких случаях, стали все о себе рассказывать. Я, правда, попридержала язык, но парень оказался болтуном и выложил про себя все что ни есть. Сам он из здешних мест, был солдатом до самого перемирия, но вовремя успел дезертировать, а потом недолго пробыл у партизан, и немцы взяли его в плен. Ему удалось понравиться одному немецкому капитану, и тот, вместо постройки укреплений, отправил его на кухню, где он работал все время на немцев и сроду никогда не ел так много и вкусно, как там; под конец он сказал, что по нынешним голодным

временам у него продуктов было не счесть сколько, и это ему позволило добиваться от женщин чего угодно.

— Сколько красивых девушек приходило ко мне, и все просили продукты. Я, конечно, давал, но уж, известно, при одном условии. И, поверьте, ни одна не отказалась. Эх, голод великая вещь, даже самых гордых делает уступчивыми.

Чтоб перевести разговор, я спросила, чем же он занимается теперь. Он ответил, что объединился с какими-то своими друзьями, и теперь они на этом грузовике перевозят беженцев, которые хотят вернуться в свои родные места, за что им, понятно, платят большие деньги.

— А с вас двоих ничего не возьму, — сказал он вдруг, бросив недвусмысленный взгляд на Розетту. Голос у него был хриплый и грубый, на широкую шею спадали светлые завитки волос, поэтому голова его походила на голову козла, и было что-то по-настоящему козлиное в том, как он разглядывал Розетту, или, лучше сказать, как он впивался своими глазищами в ее грудь всякий раз, когда представлялась возможность. Он сказал, что зовут его Клориндо, и спросил у Розетты, как ее звать. Она ему ответила, и тогда он добавил:

— До чего ж обидно, что голодовка кончается, но с тобой мы все равно столкуемся. Шелковые чулки тебе нравятся? А подойдет тебе красивый шерстяной отрез на костюм? Или, может, пара красивых туфель из козлиной кожи?

Розетта, к моему удивлению, через минуту ответила:

— А кому же они не понравятся?

Он тогда засмеялся и стал повторять:

— Столкуемся с тобой, столкуемся.

Я вся задрожала и даже не могла сдержаться, чтобы не воскликнуть:

— Осторожней подбирай слова, ты с кем это разговариваешь?

Он взглянул на меня исподлобья и сказал под конец:

— Ух, и злющая ты. Подумаешь, с кем разговариваю? С двумя несчастными беженками, которым нужно помочь.

Словом, несмотря на свою грубость, неотесанность и глубокую распущенность, это был веселый парень. Проболтали мы недолго и очень быстро достигли вершины перевала, откуда дорога начала спускаться к морю, и тут пошла бешеная езда. Он пустил машину с выключенным мотором, и она летела без удержу, крепилась набок на поворотах, а он распевал во все горло какую-то озорную песенку. И было отчего запеть: день стоял такой прекрасный, и в воздухе веяло свободой, обретенной после стольких месяцев рабства. Надо сказать, что и он, на свой манер, всем своим разнузданным поведением давал нам почувствовать, что эта свобода была на самом деле только его свободой, была свободой для негодяев, которые никого и ничего не желают признавать, в то время как наша свобода, я говорю о себе и о Розетте, была в том, что мы могли теперь вернуться в Рим и снова начать прежнюю жизнь. На одном из поворотов меня толчком бросило в сторону, и тут я смогла увидеть, что руль он держит одной рукой, меж тем как другой, опущенной на сиденье, жмет руку Розетты. И я еще больше удивилась, заметив, что она позволяет ему жать свою руку, и уж совсем была поражена, что я сама, обнаружив это, не стала возражать, как — уж не сомневайтесь — сделала бы всего несколько дней назад. «Так вот какая его свобода», — подумала я. Тут мне пришло в голову, что я уж теперь ничего не могу поделать: ведь если Мадонна не совершила чуда, чтоб помешать солдатам надругаться над Розеттой перед самым алтарем, то как же мне — ведь я настолько слабее Мадонны — помешать ему держать Розетту за руку?

Тем временем мы спустились в долину и вскоре выехали на шоссе, которое мне так хорошо было знакомо, — здесь по одну сторону возвышались горы, а по другую зеленели апельсиновые рощи. Помню, в прошлый раз я видела, как эта дорога полным-полна была солдатами, беженцами, машинами, танками; теперь меня вдруг поразили тишина и заброшенность, пришедшие на смену той ярмарочной суете. Не будь солнце таким ярким, не зеленей за цветущей изгородью деревья, гнувшие свои ветви к самой дороге, я бы решила, что все еще зима на дворе и все еще не миновали худшие дни немецкой оккупации, когда страх загонял людей в норы, будто кроликов. Ни души не видать на этой дороге, лишь изредка пройдет какой-нибудь крестьянин, погоняя ослика, и вокруг тишина — ни звука не слыхать. Быстро проехали мы по шоссе и вскоре добрались до Фонди. Но и здесь стояла тишина, как в пустыне, только среди развалин, среди груд щебня и луж, полных гнилой воды, эта тишина казалась еще более зловещей. А люди, которые бродили по этим заваленным штукатуркой и покрытым лужами улицам, казались нищими и голодными, точно такими же, какими были месяц назад при немцах. Я сказала об этом Клориндо, и он ответил мне весело:

— Эх, говорили, будто англичане принесут изобилие. Конечно, изобилие-то они приносят, да только на два-три дня, покуда задерживается наступление. Тут они раздают карамель, сигареты, муку, одежду. А потом уходят, и тогда конец изобилию, и люди начинают жить по-прежнему, даже еще хуже, потому что больше им надеяться не на что, даже прихода англичан больше уж нечего ждать.

Я поняла, что он прав, так именно и было: союзная армия ненадолго останавливалась в городах, отнятых у немцев, и тогда на день или на два немного оживали разоренные места. А потом войска уходили, и все возвращалось к прежнему. Я сказала Клориндо:

— Что ж нам с дочкой теперь делать? Мы в этом проклятом месте оставаться не можем. У нас ничего нет. Нам нужно вернуться в Рим.

Продолжая вести машину среди развалин, он ответил мне:

— Рим еще не освобожден, придется вам здесь немного побыть.

— А что же мы здесь делать станем?

Тут он возразил мне неспроста:

— О вас двоих я сам позабочусь.

Меня его ответ удивил, но пока что я промолчала. Тем временем Клориндо уже выбрался из Фонди, и мы теперь ехали по узкой дороге среди апельсиновых рощ.

— Вот здесь среди этих садов живет знакомая мне семья, — сказал он, не задумываясь, — тут вы и побудете, пока Рим не освободят. Как только станет возможно, я вас сам отвезу в Рим на своем грузовике.

И снова я ничего не сказала. Он круто повернул машину и остановил ее, а затем вылез из кабины, объяснив, что нам придется пешком дойти до дома его друзей. Мы зашагали по тропинке между апельсиновыми деревьями. Место, в которое мы попали, теперь уже не казалось мне незнакомым: все те же апельсиновые деревья и тропинка, как сотни других; но почему-то по некоторым признакам я поняла, что именно по этой тропинке, мимо вот этих деревьев мне уже не раз приходилось хаживать. Мы шли еще минут десять и затем вдруг очутились на лужайке. И тут мне сразу все стало ясно: перед нами был розовый домик Кончетты, той самой Кончетты, у которой мы жили в первые дни, проведенные в Фонди. Я сказала решительно:

— Нет, здесь я не останусь.

— Отчего же?

— Оттого, что здесь мы уже были много месяцев назад, и нам пришлось удрать отсюда, это семья разбойников, а Кончетта хотела, чтоб Розетта ублажала фашистов.

Тут он расхохотался:

— Дело прошлое, дело прошлое... фашистов сегодня больше нет... а сыновья Кончетты не разбойники, это мои компаньоны, и можешь быть спокойна, с тобой они будут вежливы... Дело прошлое...

Я было хотела настоять на своем, повторить, что в доме у Кончетты мы жить не будем; но не успела: из дому уже выскочила Кончетта и через лужайку бежала нам навстречу, все такая же веселая, возбужденная и восторженная.

— Добро пожаловать, добро пожаловать, — кричала она, — живой с живым всегда повстречается. Нечего сказать, обе удрали, даже «до свидания» не сказали, даже денежек не заплатили. Знаете, а вы хорошо тогда сделали, что удрали в горы, и моим сыновьям вскоре пришлось уйти к партизанам, ведь проклятые немцы всюду облавы устраивали. Хорошо, хорошо сделали, у вас ума побольше, чем у нас, мы здесь бог знает чего только не пережили. Добро пожаловать, добро пожаловать, рада вас видеть в добром здравии, ведь дороже здоровья ничего нет на свете. Проходите, проходите. Вот уж Винченцо с сыновьями обрадуются. Да и привез-то вас Клориндо, а это все равно, что сын родной привез; он у нас теперь и впрямь как член семьи; присаживайтесь, будьте как дома.

Словом, это была все та же Кончетта, и сердце у меня сжалось, когда я подумала, что мы теперь вернулись к прежнему, пожалуй даже к худшему, ведь обе мы удрали из ее дома, чтобы избежать той самой опасности, какая потом безжалостно настигла нас в моей деревне. Но я промолчала, дала себя расцеловать и обнять этой противной женщине, то же сделала и Розетта — теперь она была похожа на куклу, до того стала равнодушной и безразличной ко всему.

Тем временем из дому вышел Винченцо, все больше походивший на птицу, вещающую беду; он так исхудал, что страх брал, а нос стал совсем как клюв, брови же еще ниже нависли над метавшими искры глазами. Винченцо, бормоча что-то невнятное, взял мою руку в свою, а у Кончетты в это время хватило наглости сказать мне:

— Винченцо видел вас в Сант-Эуфемии, когда вы были у Феста. Ну и тяжелая была для них зима. Сперва добро у них пропало. Да, такой это соблазн для нас был, не удержались; ну, а потом случилась беда с сыном, с Микеле. Жаль мне их; мы всё, что взяли, конечно, отдали; всё, кроме того, что уж успели продать, ведь мы люди честные, для нас чужое добро святыня. А сына им никто не вернет. Бедные они, бедные.

Правду вам скажу, как услышала я эти наглые и лживые слова, так почувствовала, что сердце у меня упало, вся я похолодела и стала, должно быть, белее мела. Я едва могла произнести:

— Почему? Разве что случилось с Микеле?

И она, все с тем же восторгом, будто сообщая нам радостное известие, ответила:

— А разве вы не знаете? Его убили немцы.

Мы стояли посреди тока, и вдруг мне показалось, что я падаю в обморок; тут я впервые поняла, что любила Микеле, как собственного сына; кое-как добралась я до стула, стоявшего у двери, и закрыла лицо руками. А Кончетта тем временем продолжала возбужденно рассказывать:

— Да, немцы убили его, когда сами бежали. Говорят, они забрали его с собой, чтобы он показал им дорогу; шли они в горах, а потом по-

пали в заброшенное место; там жила крестьянская семья; Микеле не знал, где проходила хорошая дорога, и немцы стали расспрашивать этих крестьян, в какую сторону бежал противник. Они-то имели в виду англичан, которые для них и впрямь были врагами. Но эти крестьяне, бедняжки, как и все мы, итальянцы, верили, что противник — это немцы, и ответили им, что враг бежал в сторону Фрозиноне. Немцы разозлились, когда услышали, что их обзывают врагами, — ну ведь это, известно, никому не понравится, когда его врагом обзывают, — да и навели автоматы на крестьян. Тогда Микеле встал между ними и закричал: «Не стреляйте, они ни в чем не виноваты». Ну, его немцы и убили вместе со всеми другими. Всю семью убили. Сами знаете, война не шутка, целую семью убили, просто резня настоящая, мужчины, женщины, дети — никого не пожалели, и Микеле поверх этой кучи, с пулей в груди, ведь они стреляли ему прямо в грудь, когда он, бедняжка, встал между ними и крестьянами. Знаем мы об этом от одной девчонки, спряталась она за стогом сена и поэтому спаслась, а потом прибежала к нам и рассказала обо всем. Но как же вы-то об этом не знали? Ведь в Фонди все говорят... Вот она — война.

Значит, Микеле нет в живых. Я сидела неподвижно, закрыв лицо руками, и вдруг поняла, что плачу, пальцы у меня стали мокрыми. Я глубоко вздохнула и стала потихоньку всхлипывать, а потом слезы из глаз так и полились, казалось мне, что я оплакиваю всех, и прежде всего Микеле, которого любила, как сына, и Розетту — может, лучше она уж была бы мертва, как Микеле, — и себя оплакиваю, ведь нет у меня теперь больше после целого года ожидания никаких надежд.

А Кончетта тем временем приговаривала:

— Плачь, плачь, легче будет. Я сама сколько слез пролила, когда мои сыновья бежали в горы, мне от слез легче становилось; плачь, видно, сердце у тебя доброе, хорошо, что ты плачешь, бедняжка Микеле был совсем святой и до того ученый, что если бы в живых остался, то уж, известно, его бы министром сделали. Это — война, ведь сама знаешь, на такой войне каждый что-нибудь теряет. А Феста потеряли больше всех: кто добро потерял, снова наживет, а сына уже не вернешь, ничем не вернешь. Плачь, плачь, легче тебе будет.

Словом, проплакала я еще долго, а потом услышала, как все остальные вокруг меня разговаривают о своих делах; тогда я подняла голову и увидела Кончетту, Винченцо и Клориндо; стоя на краю тока, они спорили о какой-то муке; увидела я и Розетту, стоявшую поодаль и ожидавшую, когда я перестану плакать. Взглянула я на нее — и снова испугалась: лицо у нее было совсем равнодушное, холодное, в глазах ни слезинки, будто она ничего не слыхала или же имя Микеле ей ровно ничего не говорило. Я подумала, что она теперь стала совсем бесчувственной: так бывает с человеком, который обожжет себе руку, и на обожженном месте потом образуется мозоль — тогда этим местом хоть горящих углей касайся, все равно ничего не почувствуешь. Увидев, какой сухой и равнодушной стала Розетта, и вспомнив смерть Микеле и то, как он ее любил, я снова ощутила прилив горя и подумала, что он был едва ли не единственным человеком, который смог бы заставить ее быть прежней Розеттой. Но теперь он мертв, и ничего не поделаешь. Сказать по правде, в ту минуту меня, может, еще больше смерти Микеле огорчила сама Розетта — то, как она встретила известие об этой смерти. Да, права Кончетта, это — война, и мы стали частью этой войны и вели себя так, будто война, а не мир была обычным для человека делом.

Наконец я поднялась, и тогда Клориндо сказал:

— Теперь пойдем, взглянем, как вы устроитесь.

И мы пошли вслед за Кончеттой к тому же сараю, где жили прежде. На этот раз там, однако, не было сена, а стояли три кровати с матрасами и одеялами. Кончетта сказала:

— Это кровати того бедняги, хозяина гостиницы в Фонди, жаль мне его, в гостинице теперь хоть шаром покати — все из нее вынесли. Бедняга, нет у него больше ничего, даже ночные горшки унесли. А нам эти кровати зимой помогли немного денег заработать. Беженцы то приходят, то уходят — бедные люди, голы и босы, как цыгане, — а мы брали с них деньги за ночевку и немного подработали. Хозяев теперь не сыщешь, бедняги удрали, кто говорит — в Рим, а кто — в Неаполь. Когда возвратятся, мы им, конечно, кровати отдадим: мы люди честные, а покуда немного подработаем. Знаешь, война есть война.

Тут Клориндо сказал:

— Не вздумай у этих двух синьор деньги брать.

Она ему с полной готовностью ответила:

— Ну, понятно, кто ж у них будет деньги брать? Ведь мы одна семья.

Клориндо добавил:

— И кормить ты их будешь, потом с тобой рассчитаемся.

Она в ответ:

— Известное дело, будем кормить. Но еда ведь у нас простая, деревенская, нужно будет им попривыкнуть, сами знаете, еда не господская.

Вскоре они ушли, и тогда я заперла дверь и почти в полной темноте села на одну из этих кроватей, рядом с Розеттой. Мы сидели молча, и вдруг я с яростью набросилась на Розетту:

— Но что с тобой? Скажи же, что с тобой? Тебя не огорчает смерть Микеле, она тебя совсем не огорчает? А ведь он тебя любил!

Я не могла разглядеть ее лица, она низко нагнула голову, и сарай уже был погружен во тьму, только услышала в ответ:

— Да, это меня огорчает.

— И ты об этом вот так говоришь?

— А как же мне еще говорить?

— Но что с тобой? Скажи мне, ну скажи же, ведь ты и слезинки не пролила, а он умер, защищая таких бедняг, как мы, умер, как святой.

Она мне ничего не сказала, и тогда я в бешенстве стала трясти ее за руку, повторяя:

— Ну, что с тобой? Говори! Я должна знать, что с тобой! Скажи же!!!

Она не спеша высвободила свою руку и сказала мне медленно и четко:

— Мама, давай оставим этот разговор.

Я промолчала и с минуту просидела неподвижно, широко раскрыв глаза и глядя перед собой, а она тем временем поднялась, подошла к соседней кровати и легла на нее, повернувшись ко мне спиной. Кончилось тем, что и я легла и вскоре заснула.

Проснулась я уже поздно вечером и заметила, что Розетты нет на кровати рядом со мной. Некоторое время я неподвижно пролежала на спине, не в силах подняться и что-либо сделать, и не потому, что устала, а просто воли не хватало. Но тут я услышала через стенку сарая, что Кончетта с кем-то разговаривает, стоя на току, и тогда я собралась с силами, встала и вышла. Кончетта накрыла стол на току, у самой двери: за столом сидел ее муж, но Розетты и Клориндо не было. Я подошла и спросила:

— Где Розетта, вы не видали ее?

Кончетта отвечала:

— Я думала, ты знаешь, она ведь уехала с Клориндо.

— Что это значит?

А она:

— Слушай, Клориндо на грузовике повез беженцев в Ленол и взял с собой Розетту, чтоб в одиночестве не возвращаться. Они, видно, завтра в полдень вернутся.

Я так и остолбенела; горько мне стало: в былое время Розетта ни за что бы так не поступила, не уехала бы, не предупредив меня, да еще с таким человеком, как Клориндо. Будто не веря Кончетте, я продолжала настаивать:

— И ничего она тебя не просила передать?

— Нет, только сказала, чтоб я тебя предупредила. Дочь у тебя хорошая, не хотела тебя будить, а потом, знаешь сама, молодость, возраст подошел, а Клориндо ей нравится, вот ей и хочется с ним одной побыть. Подходит время, когда мы, матери, детям только помеха. И мои сыновья то и дело удирают из дому к своим девушкам. Ведь Клориндо красивый парень, они с Розеттой хорошая пара.

Тут я не удержалась и выпалила:

— Не случись кое-чего, она б на этого Клориндо и глазом не повела.

Сказала я это и сразу же раскаялась, не надо было говорить, но теперь было уж поздно: эта ведьма Кончетта на меня наскочила и стала засыпать расспросами:

— А что случилось? Меня, по правде сказать, тоже удивило, что Розетта отправилась с ним так просто, не очень задумавшись, но я, знаешь, внимания не обратила, теперь вся молодежь такая. Ты мне лучше скажи, что у вас случилось?

Сама не знаю почему, может оттого, что меня разозлил поступок Розетты, может просто чтобы излить свою досаду хоть на Кончетту, я не удержалась и все ей начистоту выложила: сказала о церкви, о солдатах и о том, что они сделали с Розеттой и со мной. Кончетта теперь мешала похлебку и, не переставая мешать, приговаривала:

— Бедняжка, бедняжка, бедная девочка, бедная Розетта, как мне ее жаль. — Затем она села и, когда я кончила свой рассказ, заявила: — Однако знаешь, ничего не поделаешь, это война, а те солдаты, в конце концов, тоже молодые ребята, дочка у тебя молодая, красивая, вот они и не удержались от соблазна. Знаешь...

Но закончить она уж не смогла, я вдруг вскочила и, схватив нож, закричала:

— Ты понимаешь, что говоришь? Тебе невдомек, как тяжело все это было для Розетты. Ты сама дрянная потаскуха, и мать твоя тоже потаскуха, вот ты и хочешь, чтобы все женщины были под стать тебе. Попробуй хоть слово еще сказать про Розетту, и я тебя на месте прикончу, вот клянусь богом.

Увидев меня в такой ярости, она отскочила назад и потом, скрестив руки на груди, сказала:

— Господи Иисусе, чего это ты так взбеленилась? Что я тебе такого сказала? Война войной, а молодость остается молодостью, и солдаты ведь тоже молодые ребята. Ты только не злись. Клориндо теперь сам позаботится о Розетте, а покуда он о ней будет заботиться, ни в чем у нее недостатка не будет. Вот увидишь, он торгует на черном рынке, и все у него есть: еда, одежда, чулки, туфли. Будь покойна, с ним Розетте нечего опасаться.

Словом, поняла я, что с ней разговаривать — значит лишь попусту время терять, и, положив нож на место, поела немного похлебки, не

сказав больше ни слова. Но мне в этот вечер еда казалась отравой; у меня из головы все не шла Розетта — какой она была прежде, и что с ней теперь сталось. Ведь Розетта убежала с Клориндо, как настоящая потаскуха, которая отдается первому встречному, она уехала, даже не предупредив меня, и, может статься, не захочет уж больше жить вместе со мной. Ужин закончился в полном молчании; а потом я ушла в сарай и кинулась на кровать, но уснуть не могла и лежала с широко открытыми глазами, напряженно вслушиваясь в тишину и вся будто оцепенев от гнева.

Розетта и на другой день не вернулась, а я провела этот день, бродя в тоске по апельсиновым рощам и то и дело выглядывая на дорогу, всматриваясь, не едет ли она. Я поела вместе с Винченцо и его женой, которая все пыталась утешить меня тем же глупым образом, с восторгом повторяя, что Розетте будет хорошо с Клориндо и что у нее ни в чем не будет недостатка. Я ей ничего не отвечала: теперь, когда я знала, что это ни к чему не приведет, у меня даже пропала охота злиться. После ужина я снова заперлась в сарае и вскоре крепко заснула. Ближе к полуночи я услышала, как дверь потихоньку распахнулась, тогда и я открыла глаза и при свете луны увидела, как Розетта вошла на цыпочках. В темноте она подошла к ночному столику, стоявшему между нашими кроватями, и немного погодя зажгла свечку. Тут я закрыла глаза, притворившись, что сплю. Теперь она стояла передо мной во весь рост, и при свете свечи я смогла увидеть, что она, как и предвидела Кончетта, одета во все новое. На ней был костюм из легкой ткани красного цвета, белая кофточка, черные лаковые туфли на высоком каблучке, и я заметила, что на ногах у нее чулки. Она сначала сняла жакет, а потом, взглянув на него пристально, повесила на стул, стоявший за кроватью, потом сняла юбку и положила ее рядышком с жакетом. Теперь она, оставшись в одной сорочке из черной прозрачной ткани, села, сняла с себя туфли и стала их рассматривать, поднеся к свече, а после поставила их аккуратно под кровать. Затем сняла через голову сорочку. Покуда она стягивала с себя сорочку — это ей не удавалось, и она, изгибаясь, то и дело пыталась помочь себе,— увидела я на ней черные подвязки с бантиками. У Розетты никогда не было подвязок — ни черных, ни другого цвета. Обычно в ходу у нее были только круглые резинки, которые она носила чуть выше колен, и вот теперь эти черные подвязки ее совсем изменили, и тело Розетты, казалось, уже не было ее телом, а стало совсем другим. Прежде это было здоровое, молодое, чистое тело, какое должно быть у невинной девушки, теперь же в нем появилось что-то вызывающее и порочное: словом, это больше не было тело Розетты, которая до сих пор была мне дочерью, а было тело Розетты, путавшейся с Клориндо. Я взглянула на ее лицо и увидела, что и оно изменилось. Свет свечи падал ей прямо на лицо, и выражение его — алчное, настороженное — было таким, как у гулящей девки, которая целый день шлялась по улицам и притонам, а поздней ночью вернулась домой и подсчитывает свою дневную выручку. Тут уж больше я не в силах была себя сдерживать и громко позвала:

— Розетта.

Она мгновенно подняла на меня глаза и потом медленно и как бы неохотно спросила:

— Мама?

Я же ей сказала:

— Где ты была? Я три дня места себе не нахожу. Почему ты меня не предупредила? Где ж ты была? Говори.

Она поглядела на меня, а потом сказала:

— Я поехала с Клориндо и, вот видишь, вернулась.

Теперь я сидела на кровати и спрашивала ее:

— Но что же с тобой, Розетта, случилось? Ведь ты уж сама на себя не похожа.

Она мне тихо ответила:

— Нет, я все та же, отчего бы мне не быть самой собой?

Я ей с горечью говорю:

— Доченька моя, кто ж его знает, этого Клориндо? Что у тебя с ним?

Тут она мне ничего не ответила, только села, потупив глаза, но за нее говорило теперь ее голое тело, на котором не было ничего, кроме лифчика и подвязок, и оно теперь было так не похоже на то, каким было прежде. Я совсем потеряла терпение, вскочила с кровати, схватила ее за плечи, стала трясти и закричала:

— Ты меня своим молчанием до беды доведешь! Почему ты мне не отвечаешь? Я знаю, отчего ты не хочешь отвечать! Ты, что ж, думаешь, я ничего не знаю? Вела себя, как потаскуха, с Клориндо, а мне ты ничего не хочешь сказать: ведь тебе наплевать на мать, только бы шляться по ночам! — Я все трясу ее за плечи, а она все молчит, ну тут я уж совсем потеряла голову. — Ты хоть эту гадость сними, — закричала я, срывая с нее подвязки. Она не пошевелилась, не возразила, только сидела неподвижно, понурив голову и почти сжавшись в комок, а я рвала эти подвязки, сдирая их с нее. Но не могла с ними справиться, уж очень крепко они были пристегнуты; тогда я швырнула ее на кровать, и она уткнулась лицом в одеяло, а я дважды ударила ее и, тяжело дыша, бросилась на свою кровать с криком:

— Ты сама не видишь, во что превратилась! Как же ты этого не видишь?

Кто знает почему, но я на этот раз ждала, что она возразит. Она же только встала с постели и теперь, казалось, была озабочена лишь своими чулками, которые я разодрала, пытаясь с нее сорвать подвязки. Один чулок распустился от бедра до колена, и она, помочив палец слюной, нагнулась и стала водить пальцем по спускавшейся петле, чтоб она дальше не ползла. Потом она сказала совсем спокойно:

— Мама, отчего ты не спишь? Знаешь, ведь уже очень поздно.

Тут я поняла, что делать действительно нечего, и повернулась к ней спиной. Я слышала, как она все еще ходила по комнате, и при свете свечи на противоположной стене могла разглядеть ее тень, но я уже не оборачивалась. Потом она задула свечу, и стало темно; я услышала, как заскрипела кровать, когда она легла, стараясь поудобней устроиться на ночь.

Теперь мне хотелось сказать ей о многом: ведь пока был свет и я видела Розетту, у меня сил не было говорить с ней, до того во мне кипела ярость при взгляде на нее, такую чужую и такую изменившуюся. Теперь мне хотелось сказать, что я ее понимаю, и понимаю, как после всего случившегося она уже не может быть прежней, и ей теперь хочется, чтобы около нее был мужчина, и она могла чувствовать себя женщиной, и зачеркнуть тем самым память о том, что с ней сделали. И еще мне хотелось сказать, что, претерпев все это на глазах у Мадонны, когда Мадонна и пальцем не пошевельнула, чтобы помешать, она уже ни во что не может больше верить, даже в бога, и все ей теперь стало нипочем. Мне хотелось сказать ей все это, хотелось обнять ее, приласкать и поплакать вместе с ней. И в то же время я понимала, что уже не могу говорить с ней и быть с ней искренней, ведь она стала другой и, переменившись сама, изменила и меня, и теперь между нами

уже нет прежнего. Словом, я много раз готова была подняться, лечь рядом с ней на кровать, обнять ее, а потом отказалась от своего намерения и, наконец, уснула сама.

Все то же продолжалось и в последующие дни. Розетта со мной почти не разговаривала, и не потому, что была обижена, а просто ей нечего было мне сказать; Клориндо не отходил от нее и, не стыдясь, приставал к ней у меня на глазах, то хватал ее за талию, то гладил по лицу, а Розетта покорно позволяла это делать, довольная и почти благодарная ему. Кончетта же, молитвенно скрестив руки, то и дело восклицала, что они вдвоем такая красивая парочка, а во мне все внутри переворачивалось, и я была в таком отчаянии, что не передать, но ничего не могла ни сказать, ни поделать — не было у меня больше сил. Однажды попыталась было я напомнить Розетте о женихе, который в Югославии, так она мне, знаете, что ответила:

— Он, наверное, тоже нашел себе какую-нибудь сербку. Не могу же я его всю жизнь ждать.

Впрочем, она мало бывала дома. Клориндо все возил ее на своем грузовике, который стал для них, так сказать, домом. Нужно было видеть, как она его слушалась и как бегала за ним: стоило Клориндо показаться на лужайке и позвать ее, как она тотчас же все бросала и кидалась к нему. А он ее звал не голосом, а свистом, как зовут собак; ей же, как мне казалось, нравилось, что с ней обращаются, как с собакой, и за версту видно было, что он удерживает ее чем-то для нее новым, чего прежде она никогда не испытывала, а теперь не могла без этого обойтись, как пьяница не может обойтись без вина, а курящий — без папирос. Да, она теперь пристрастилась к тому, что навязали ей силой, и в этом, должно быть, была самая печальная сторона той перемены, какая в ней произошла; а я не могла постигнуть, как бунт против изувечившей ее силы привел к тому, что она принимала и даже сама искала эту силу, а не отвергала ее, не отталкивала от себя.

Они с Клориндо выезжали на машине в Фонди и в окрестные деревни, а порой добирались до Фрозиноне или Террачины или даже до самого Неаполя и проводили там ночи напролет; а по возвращении казалось, что она все сильнее привязывается к Клориндо, и на моих глазах, подмечавших малейшую перемену, она все больше стала походить на потаскуху. Конечно, не было у нас никаких разговоров о переезде в Рим, куда, впрочем, союзники так еще и не добрались. Клориндо, тем временем, давал мне понять, что даже если союзники займут Рим, то это не будет означать, что мы уедем из Фонди: в Рим еще долгое время нельзя будет попасть: сначала его объявят военной зоной, и, чтоб туда поехать, понадобится целая куча пропусков, и кто знает, когда все эти пропуска можно будет получить. Одним словом, то будущее, которое в день освобождения казалось мне таким ясным и светлым, теперь, отчасти из-за поведения Розетты, а также из-за постоянного присутствия Клориндо, совсем помрачнело, да и сама я уже больше не знала, хочу ли теперь вернуться в Рим и начать прежнюю жизнь, которая уже никогда не будет такой, как была, ведь и мы сами сейчас стали уже совсем другими. Словом, эти дни, проведенные в розовом домике, среди апельсиновых рощ, были самыми тяжелыми днями за все это время: теперь я знала, что Розетта живет с Клориндо, и знала не только по догадке, я была убеждена в этом, ведь, если можно так сказать, все происходило прямо у меня на глазах. Бывало, к примеру, когда мы уже спали, с лужайки доносился обычный свист, и тогда Розетта тотчас же вставала. Я сердито спрашивала у нее:

— Куда ты идешь в такую пору? Могу я, кажется, знать, куда ты идешь?

Она мне даже не отвечала, второпях одевалась и выбегала из дому; и в лице у нее было что-то алчное и напряженное, как в тот первый раз, когда она вернулась из Ленола и я, разглядев ее при свече, окончательно поняла, что она теперь уже не прежняя Розетта. Как-то ночью я даже застала Клориндо у нас в сарае или, по крайней мере, была почти уверена, что он там был, потому что меня разбудил шум и какой-то шепот, доносившийся оттуда, где стояла кровать Розетты; тогда я поднялась, села на кровати и стала вслушиваться, а потом в потемках спросила у Розетты, спит ли она, и она мне с досадой ответила:

— Ну, конечно, что ж мне еще делать? Я спала, а ты вот меня разбудила.

Я снова улеглась, не очень-то ей поверив. Должно быть, они лежали неподвижно и молча, покуда не решили, что я снова уснула. Потом Клориндо почти на рассвете тихонько вышел. На этот раз я не хотела зажигать свечу, уж лучше мне, в конце концов, не видеть их вместе в постели; когда же он вышел, а это было, как я уже сказала, на рассвете, я притворилась спящей, даже закрыла глаза, и поняла это лишь по легкому скрипу двери. Чаще всего они после ужина куда-то уезжали на грузовике и возвращались лишь поздней ночью. Так бывало почти ежедневно; любовь у них была ненасытная; у Клориндо под глазами постоянно были черные круги, и он даже как будто похудел, а Розетта с каждым днем все заметней становилась женщиной; у нее появилось даже какое-то томное и удовлетворенное выражение лица, какое бывает у женщин, когда они много и охотно встречаются с мужчиной, который им нравится и которому они сами нравятся.

Наконец, после месяца такой жизни, я стала утешать себя, думая, что, в конце концов, Клориндо красивый парень и зарабатывает немало своими поездками и торговлей на черном рынке. Кончится тем, что он женится на Розетте, и тогда все станет на свое место. Не скажу, чтобы это мне было по душе, ведь Клориндо был мне неприятен, но, словом, я, как говорится, должна была делать веселое лицо, когда на сердце кошки скребли: да к тому же за Клориндо ведь шла замуж не я, а Розетта, и тут уж ничего не поделаешь, раз он ей нравится. Я думала, что они поженятся и уедут в Фрозиноне, где у него семья, пойдут у них дети, и Розетта, может, будет счастлива. Эта мысль меня немного утешала, но сердце у меня все щемило, ведь Клориндо никогда не заговаривал о женитьбе, и Розетта тоже молчала. Как-то вечером, после ужина, когда мы зашли в свой сарай, я набралась смелости и сказала ей:

— Знаешь, я не интересуюсь тем, что вы там делаете вдвоем, но ты мне скажи, есть ли у него серьезные намерения, а если есть, как я надеюсь, то когда вы думаете пожениться?

Она сидела на кровати прямо передо мной и снимала с себя туфли. Потом приподнялась, взглянула на меня и сказала совсем просто:

— Но, мама, ведь Клориндо уже женат, у него в Фрозиноне жена и двое детей.

По правде говоря, у меня при этом ответе кровь бросилась в голову; ведь родом я из Чочарии, в наших местах у людей кровь горячая, и пырнуть кого-нибудь ножом ничего не стоит. И вот, даже не отдавая себе отчета в том, что делаю, я вскочила с кровати, бросилась на нее, ухватила за шею, швырнула на матрас и давай осыпать пощечинами. Она пыталась защищаться рукой, а я все била ее и кричала:

— Нет, я убью тебя... Ты хочешь быть потаскухой, но я тебя раньше прикончу.

Она старалась закрыть лицо руками, чтобы уберечься от моих пощечин, а сама даже не вскрикнула, даже словом не обмолвилась. В конце концов у меня дыхание захватило, и я ее оставила в покое. На этот

раз она и с места не двинулась, так и осталась лежать на постели, уткнувшись лицом в подушку, и не поймешь — плачет ли она, думает ли о чем и что вообще с ней. Я пристально глядела на нее, сидя на кровати и тяжело дыша, мной овладело такое отчаяние, что и словами не передать: поняла я, что даже если изобью ее до полусмерти, все равно ничему это не поможет, ведь теперь я бессильна и не имею над ней никакой власти, а она еще больше от меня отдалится. Наконец я со злостью сказала:

— Все-таки поговорю с этим мерзавцем, хочется мне увидеть, как твой Клориндо посмеет мне в лицо взглянуть.

Услышав это, она поднялась, и я увидела, что глаза у нее сухие, а лицо как всегда равнодушное и безразличное. Она спокойно сказала:

— Клориндо ты больше не увидишь, он вернулся к своей семье. Ему здесь, в Фонди, больше нечего было делать. Он вернулся в Фрозиноне, и мы с ним сегодня вечером распростились; я его тоже больше не увижу, потому что тесть ему пригрозил, что заберет дочь. А у жены деньги, и он должен был послушаться.

Меня опять как по голове стукнуло, этого я уж никак не ожидала. Да разве могла ожидать я, что она с таким равнодушием, будто дело касается не ее, сообщит мне о своей разлуке с Клориндо? Ведь он, в конце концов, был первый мужчина в ее жизни; и в глубине души я надеялась и почти верила, что они любят друг друга по-настоящему. А оказалось, что все одна ложь, и он проводил с ней время, как с гуляющей девкой, которая, переспав с мужчиной и получив от него деньги, расстается с ним без сожаления: нечего им сказать друг другу, будто они совсем чужие люди и никогда не встречались. Словом, Розетта на самом деле изменилась, и мне приходится еще и еще раз это повторить; но я никак не могла расстаться с мыслью, что передо мной прежняя Розетта, и потому не представляла себе, до какой степени она переменилась. На этот раз она меня совсем ошарашила, и я сказала ей:

— Значит, ты с ним путалась, а теперь он дал тебе денег и поминай как звали, а ты об этом вот так просто говоришь?

Она ответила:

— А как же мне еще говорить?

Тут я опять вскипела, и она отшатнулась от меня, боясь, что я снова начну ее колотить, а меня это за сердце взяло, ведь всякая мать хочет, чтоб ее любили, а не боялись. Я сказала:

— Не беспокойся, больше я тебя пальцем не трону... Только душа у меня вся изболелась, когда вижу, до чего ты дошла.

Ничего она мне не ответила и стала раздеваться. Тогда я вдруг громко так и с досадой спросила:

— Кто же нас теперь отвезет в Рим? Клориндо говорил, что отвезет нас, когда союзники освободят город. Рим-то уже освобожден, но Клориндо больше нет. Кто ж нас отвезет в Рим? Завтра, будь что будет, хочу вернуться в Рим, пешком пойду, а все равно доберусь.

Она так спокойно мне ответила:

— До Рима раньше чем через несколько дней все равно не проедешь. А потом нас в Рим отвезет один из сыновей Кончетты. Оба здесь будут завтра вечером, они поехали проводить Клориндо в Фрозиноне. Дружба у них теперь распалась, и они купили грузовик Клориндо. Не беспокойся, мы вернемся в Рим.

Но и это известие не доставило мне радости: до сих пор сыновья Кончетты не показывались ни разу и были как будто заняты торговлей на черном рынке в Неаполе; но я их помнила, и они были мне куда неприятнее, чем Клориндо, если это только возможно; мысль о поездке вместе с ними в Рим мне совсем не улыбалась. Я сказала:

— Вижу, теперь тебе уж на все наплевать, не так разве?

Она взглянула на меня и спросила:

— Мама, зачем ты меня мучаешь,— и в голосе у нее как бы прозвучала прежняя любовь ко мне.

Растроганная, я ответила ей:

— Доченька, мне кажется, что ты переменилась и больше никого, даже меня, не любишь.

Она мне сказала:

— Да, я переменилась, не буду спорить, но для тебя я все та же, что прежде.

Значит, и она признавала, что переменилась, но в то же время успокаивала меня, давая мне понять, что любит меня, как прежде. Я замолчала, даже не зная, огорчаться мне или радоваться, и на этом наш разговор окончился.

А на следующий день, как и сказала Розетта, из Фрозиноне пришел грузовик, но с ним приехал лишь один из сыновей Кончетты, которого звали Розарио, а другой ее сын отправился по своим делам в Неаполь. Я уже говорила, что оба они были мне неприятны, однако Розарио мне особенно не нравился. Невысокого роста, коренастый крепыш, с очень грубым, загорелым лицом, низколобый, с волосами, доходившими до середины лба, выдающейся вперед челюстью и коротким носом, он походил на тех, кого в Риме зовут «бурино», то есть почитают за человека грубого и неотесанного и не признают за ним ни доброты, ни ума. В день своего приезда он, обычно всегда молчавший за столом, стал даже разговорчив и сказал Розетте:

— Тебе привет от Клориндо, он обещал навестить тебя в Риме, когда ты там будешь.

Розетта, не подымая глаз, сухо-пресухо ответила:

— Передай ему, чтоб не приезжал, я его больше видеть не хочу.

Тут я впервые поняла, что равнодушие Розетты было напускным и что она была привязана, а может, и сейчас привязана к Клориндо; и право, чудно даже, что ее страдания из-за такого недостойного человека огорчали меня куда больше, чем мысль о том, что ей все безразлично. Розарио спросил:

— А почему? Что ты против него имеешь? Разве он тебе больше не нравится?

Мучительно было для меня смотреть на то, как Розарио обращается с Розеттой без уважения и без всякой любезности, словно с потаскухой, которая не вправе возражать и возмущаться, и еще больнее мне стало, когда Розетта ответила:

— Клориндо со мной поступил нехорошо, он никогда не говорил мне, что женат; рассказал об этом только позавчера, когда мы решили расстаться. Покуда ему было удобно, он это от меня скрывал, а надобность пришла, взял и рассказал.

Видно, уж так судьба решила, но я перестала понимать Розетту, поэтому опять удивилась и с горечью подумала: значит, она только в последнюю минуту узнала, что у него жена и дети, а теперь говорит об этом, как будто меж ними просто вышли маленькие нелады, говорит, как настоящая потаскуха, у которой нет ни гордости, ни собственного достоинства, чтобы заставить своего любовника уважать себя. У меня дыхание захватило, а Розарио сказал, ухмыльнувшись:

— Зачем ему было тебе от этом говорить, ведь вы с ним должны были пожениться, а?

Розетта наклонила голову над миской и промолчала. Но тут вмешалась эта ведьма Кончетта:

— В прежнее время так полагалось; теперь, знаешь, с войной все переменилось, мужчины волочатся за девушками и не говорят, что женаты, а девушки гуляют с ними, не требуя, чтоб на них женились. Это раньше по-другому было, теперь все переменилось; подумаешь, важное дело, женат человек или нет, есть у него жена или нет. Это раньше по-другому было, теперь важно только любить друг друга, а Клориндо, видно, любил Розетту, стоит только посмотреть, как он ее одевал, ведь она до встречи с ним была, как цыганка, а теперь похожа на настоящую синьору.

Кончетта всегда готова была защищать преступников, она и сама была преступницей, но на этот раз, в конце концов, говорила правду: война в самом деле все переменила, и доказательство у меня перед глазами — моя дочь, которая всегда была чиста и добра, как ангел, а теперь превратилась в бездушную и грязную девку. Все это я знала, и знала, до чего все это верно, и, однако, больно и страшно было мне все это видеть и слышать. Я вскипела, набросилась на Кончетту:

— Черта с два все переменилось. Это ты со своими сынками да этот подлец Клориндо, и негодяи солдаты, и все подобные вам только и дожидались войны, чтоб душу свою отвести и делать такое, на что в обычное время вы бы никак не отважились. Черта с два, долго так длиться не может, это я тебе говорю: настанет день — и все вернется на свое место, плохо тогда будет и тебе, и твоим сыновьям, и Клориндо, ох, и как еще плохо будет! Сами тогда убедитесь, что есть еще на свете порядок, вера и закон, и честные люди, а не преступники кое-что на свете да значат.

Услышав это, придурковатый Винченцо, тот самый, что обокрал своего хозяина, сказал, покачав головой:

— Ну и золотые слова!

А Кончетта пожала плечами и заметила:

— Зачем ты так горячишься? Живи и другим давай жить, понимаешь, другим давай жить и сама живи.

Что же до Розарио, так он прямо расхохотался и заявил:

— Я вижу ты, Чезира,— женщина довоенная, а вот все мы — брат, я, Розетта, моя мать и Клориндо — мы все народ послевоенный. Вот взгляни на меня, к примеру: я привез в Неаполь американские консервы и шерстяные армейские свитеры, продал их немедленно и нагрузил машину товаром для Чочарии; вот посмотри-ка, что я имею.— И он вытащил из кармана пачку ассигнаций и помахал ими перед моим носом.— Видишь, я за день заработал больше, чем мой отец за последние пять лет. Все теперь переменилось, прошли те времена, когда у прялок сидели. Хочешь не хочешь, а надо тебе в этом убедиться. Отчего ты так на Розетту нападаешь? Ведь и она поняла, что одно дело было до войны, а другое после, и приспособилась, жить научилась. Тебе, может, любовь никогда по вкусу не была, тебя учили, что без попа и любовь не в любовь, а без благословения вообще никакой любви не бывает. А вот Розетта теперь знает, что любовь всегда любовь — с попом или без попа. Что, Розетта, разве ты этого не знаешь? Скажи-ка своей маме, что знаешь.

Я просто была огорошена, но Розетта выслушала его спокойно и невозмутимо, ей как будто даже нравилось, что он с ней так разговаривает.

Розарио продолжал:

— Вот мы, к примеру, недавно были все вместе в Неаполе: Розетта, Клориндо, мой брат и я, как друзья настоящие, без ревности и всякой такой ерунды; и хотя среди нас была Розетта, а она всем нам нравилась, но Клориндо, брат мой и я остались друзьями, как прежде. Всей

компанией развлекались, вчетвером, не так ли, Розетта, ведь правда развлекались?

Я тут задрожала как лист: поняла я — Розетта была не только любовницей Клориндо, что уж само по себе гадко, но и служила для развлечения всей банды; может, даже любовь крутила не только с Клориндо, о чем я знала, но и с Розарио, что я сейчас поняла, и со вторым сыном Кончетты, и, может, еще с каким-нибудь преступником из Неаполя, из тех, что живут за счет женщин и выменивают их друг у друга, как товар. А теперь моя Розетта была брошена, и мужчины могли делать с ней все, что им вздумается, потому что, когда ее обесчестили, она стала безвольной, как тряпка, и вместе с тем что-то ранее ей неведомое вошло в ее плоть, как огонь, и сжигало, и заставляло снова и снова стремиться к тому, чтоб каждый мужчина, который попадался ей на глаза, с ней так поступал.

Ужин закончился, Розарио, встав из-за стола и застегивая пояс, сказал:

— Что ж, я теперь прокачусь на грузовике. Розетта, не хочешь ли со мной поехать?

И я увидела, что Розетта ответила ему согласием и встала, а на лице у нее опять появилось то алчное, ненасытное и настороженное выражение, какое было в ту ночь, когда она в первый раз удрала с Клориндо и я потом разглядывала ее при свече. Не знаю, что на меня накатило, и я сказала ей:

— Нет, ты с места не сойдешь, здесь останешься.

На минуту наступила тишина, и Розарио взглянул на меня с притворным изумлением, как бы желая сказать: «Что здесь происходит? Разве мир перевернулся?» А затем, обратившись к Розетте, он будто приказал:

— Ну, пойдем же, поторапливайся.

Я еще раз, уже не настаивая, а умоляя, сказала:

— Розетта, прошу тебя, не ходи никуда.

Но она поднялась и ответила:

— Мама, мы увидимся позже.— А затем, не оборачиваясь, догнала Розарио, который ушел, уверенный в успехе; взяла его под руку и исчезла вместе с ним среди апельсиновых деревьев. Так она покорно подчинилась Розарио, как прежде подчинялась Клориндо, и он увел ее, а я ничего не могла поделать.

Кончетта закричала:

— Знаешь, мать все что хочешь может запретить дочери, на то она и мать, право имеет. Но ведь и дочь вправе уйти с мужчиной, если он ей нравится, разве не так? Матери никогда не ладят с мужчинами, которые нравятся дочерям, но все равно у молодости свои права, и нам, матерям, надо понимать и прощать, прощать и понимать.

Я ей ничего не ответила, сидела с поникшей головой, как убитая, и на лоб мне падал свет от керосиновой лампы, а вокруг нее жужжали майские жуки, и то один, то другой, обожженный пламенем лампы, падал мертвый на пол. Тут я подумала, что моя Розетта походит на одного из этих майских жуков: ее сожгло пламя войны, и она теперь мертва, по крайней мере для меня.

В ту ночь Розетта вернулась очень поздно, и я даже не слышала, как она вошла, но прежде чем уснуть, я долго думала о ней, о том, что с ней случилось и какой она стала теперь, а затем, странное дело, мои мысли перенеслись к Микеле, и потом уж я, пока не заснула, все думала только о нем. У меня не хватало мужества, чтоб пойти навестить семью Феста и рассказать им, как сильно я переживала смерть Микеле, и так мне тяжко было, будто умер мой собственный сын, плоть от моей плоти.

И эта жестокая и горькая смерть оставила след в моем сердце, как заноза. Думала я о том, что ведь это и есть война, как говорит Кончетта, и на войне погибают лучшие, они смелей, бескорыстней, честней, и их убивают, как бедного Микеле, или на всю жизнь оставляют калеками, как мою Розетту. А худшие, те, у кого нет ни смелости, ни веры, ни гордости, те, что крадут, убивают и думают лишь о себе и своей корысти, спасаются и процветают, и становятся еще наглей и преступней, чем были. Думала я и о том, что, если б Микеле остался в живых, он, может, дал бы мне добрый совет, и я не уехала бы из Фонди в свою деревню, и мы не повстречались бы с солдатами, и Розетта по сей день была бы добра и чиста, как прежде. Я говорила себе: беда-то какая, что он умер, ведь для нас двоих он был отцом, мужем, братом и сыном, и хоть сам был таким добрым, но в нужную минуту умел быть и жестоким, и беспощадным к таким преступникам, как Розарио и Клориндо. У него была та сила, какой мне так недоставало, ведь он был не только добрым человеком, но и образованным, и знал много вещей на свете, и о жизни судил, поднявшись высоко, не то что я, бедная, еле умею читать и писать, и жизнь свою провела между лавкой да домом, и ничего толком не знаю.

И вдруг меня охватило невыразимое отчаяние, исступление какое-то. Я поняла, что больше не хочу жить в таком мире, как этот, где хорошие мужчины и честные женщины больше ничего не стоят и где хозяйничают преступники; после того, что случилось с Розеттой, жизнь для меня уже не имела цены, и даже в Риме, в своей квартире и лавке, я уже не буду прежней, и жизнь меня больше уже не влечет. Тут я вдруг поняла, что хочу умереть, и вскочила с постели, зажгла дрожащими от нетерпения руками свечу и подошла к стене, чтоб снять прибитую к гвоздю веревку, на которой Кончетта сушила белье. Здесь, в углу сарая, стоял соломенный стул; я вскочила на него с веревкой в руках, чтобы закрепить ее на этом гвозде или на балке крыши, а потом затянуть петлю на шее, оттолкнуть ногой стул и раз навсегда покончить со всем. В ту самую минуту, когда, держа веревку в руках, я взглянула на потолок и стала искать, за что бы ее закрепить, мне вдруг послышалось, как дверь сарая за моей спиной тихо-тихо отворилась. Я обернулась и увидела: на пороге стоит Микеле. Да, это и вправду он, и выглядит так, как в тот последний раз, когда гитлеровцы уводили его, я даже заметила, что у него, как и тогда, одна штанина была длинней и доходила до самых туфель, а другая покороче, едва касалась лодыжки. Он, как всегда, был в очках и, чтоб лучше разглядеть меня, поднял голову и посмотрел поверх стекол, как делал при жизни. Увидев, что я стою на стуле с веревкой в руках, он тотчас же сделал мне знак, словно желая сказать: «Нет, только не это, так поступать ты не должна». Тогда я спросила: «А почему не должна?» Тут он сказал мне что-то, чего я не поняла; а потом продолжал говорить, и хотя я старалась расслышать его слова, но ничего не слышала: так бывает, когда хочешь разобрать сказанное человеком, стоящим за окном, и видишь, как он открывает рот, но стекло мешает тебе слышать. Тогда я крикнула: «Говори громче, я тебя не слышу», — и в ту же минуту, обливаясь холодным потом, я подскочила на своей постели. Значит, все это было во сне: и попытка покончить с собой, и вмешательство Микеле, и его слова, которых я не расслышала. Теперь во мне оставалось только жгучее и горькое сожаление о том, что я не разобрала его слов; долго еще ворочалась я в постели, спрашивая себя, что все это могло значить; конечно же, думала я, он растолковал мне, почему я не должна себя убивать, и ради чего стоит жить на свете, и отчего жизнь в любом случае лучше смерти. Да, должно быть, он в немногих словах объяснил мне, в чем смысл жизни, ускользающий от нас, живых людей, но, наверно, ясный и понятный

мертвым. На свою беду, я не смогла понять того, что он говорил, и весь этот сон походил на чудо, а чудеса, сами знаете, потому и называются чудесами, что благодаря им совершаются самые невероятные и редкостные вещи. Но чудо свершилось лишь наполовину: Микеле явился мне и помешал мне убить себя, это верно; но я, конечно по своей вине, видно, недостойна была, не смогла понять до конца, почему я не должна покончить с собой. Значит, нужно жить. Но, как прежде, я не знала в ту минуту и, может, не узнаю никогда, отчего жизнь лучше смерти.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

И вот наступил большой день — день нашего возвращения в Рим; но до чего же он не походил на те мечты, которые я лелеяла все девять месяцев, проведенные в Сант-Эуфемии. Тогда я мечтала о том, как весело будет нам возвращаться на каком-нибудь военном грузовике вместе со светловолосыми парнями, англичанами или американцами, которые, как и мы, будут очень довольны и веселы, а рядом со мной Розетта, спокойная, ласковая, совсем ангелок; может, и Микеле тоже будет с нами, и он, наконец, тоже найдет, чему радоваться. И сердце у меня будет сильно биться в ожидании той минуты, когда на горизонте покажется купол святого Петра — ведь это первое, что видишь, подъезжая к Риму,— и я полна буду всяких надежд, и голова моя пойдет кругом от мыслей о замужестве Розетты, о лавке, о моем доме. Да я, можно сказать, за эти девять месяцев обдумала наше возвращение до последней мелочи, до самой мельчайшей подробности. Видела я, как мы возвращаемся в наш дом: вот встречает нас Джованни и спокойно посменивается, держа полупотухшую сигару в уголке рта, прибегают все соседи, а мы целуем и обнимаем их и говорим, улыбаясь: «Что ж, выкарабкались, как видите, потом вам расскажем, как все было». Я думала обо всем этом, да и о многом другом и, как сейчас помню, ловила себя на том, что радостно смеялась, предвкушая возвращение; мне уж, во всяком случае, ни разу и в голову не приходило, что все это будет совсем по-иному. Словом, я не предвидела, что, как говорит Кончетта, война это война, позабыла я о том, что война все еще дает о себе знать и после своего окончания, подобно умирающему зверю, который еще стремится причинить зло и может ударить своей лапой. Война больно ударила нас в ту самую минуту, когда ей пришла пора нас оставить: солдаты погубили Розетту, нацисты убили Микеле, и теперь нам приходилось возвращаться в Рим на грузовике этого разбойника Розарио, и не было той радости, которую я так надеялась испытать; а сердце мое разрывалось от тоски, отчаяния и обманутых надежд.

Было это июньским утром: на добела раскаленном небе над высохшей пыльной землей сияло знойное летнее солнце. Мы с Розеттой второпях одевались: грузовик Розарио уже ждал нас на шоссе. Розетта большую часть ночи провела вне дома, я знала об этом и видела, как она пробиралась украдкой, и я испытывала все то же чувство своего бессилия, о котором уже говорила: душа моя была переполнена болью, и так хотелось все ей высказать, но я не могла рта раскрыть, чтоб вымолвить хоть слово. Все же я, наконец, решилась и спросила у Розетты, покуда она умывалась, стоя в углу над тазом:

— Скажи на милость, где ты ночью пропадала? — Ждала я, что она снова промолчит или отделается ничего не значащими словами, но на этот раз, сама не знаю почему, случилось по-иному. Она мне ответила голосом ясным и твердым:

— Я была с Розарио, с ним я была. И не спрашивай больше, куда я хожу, что делаю, с кем бываю, запомни теперь хорошенько и знай:

гуляю с кем могу и где придется. Еще тебе хочу сказать: мне это нравится, я без этого не хочу и не могу обходиться.

Я воскликнула:

— Боже мой, но с Розарио, дочка, с Розарио, ты хоть понимаешь, кто он?

Она мне в ответ:

— С ним или с другим, мне все равно. Я уж тебе сказала: гулять буду все равно, мне только это и нравится, а до другого охоты нет. И так будет всегда; ты меня лучше не расспрашивай, от меня иного не услышишь. — Так откровенно никогда она со мной не говорила, она и вообще-то в первый раз высказалась, и я тут поняла, что пока это безумие не пройдет, надобно делать, как она говорит: молчать и ни о чем не расспрашивать. Так я и сделала: молча кончила одеваться, и она тоже оделась, стоя по другую сторону кровати.

Наконец мы вышли из сарая и увидели Розарио; он сидел со своей матерью за столом и ел хлеб с луком. Кончетта тотчас же поднялась, направилась к нам и, захлебываясь, начала по обыкновению свои бестолковые разговоры, которые так раздражали меня еще в первые дни нашего знакомства, а теперь каково мне было, можете себе представить!

— Значит, вы уезжаете, так, так... в Рим возвращаетесь; счастливые вы, ну и везет вам, значит оставляете нас, уезжаете; а мы-то, бедная деревенщина, здесь остаемся, в пустыне живем, нет здесь ничего, голод вокруг, дома разрушены, все голы и босы, как цыгане. Счастливые вы, барынями в Риме заживете, там всего вдосталь: что нам англичане тут три дня давали, там круглый год давать будут. Ах, и рада же я за вас, полюбила я вас: страсть рада, когда добрым людям хорошо, когда у них удача во всем.

Тут я сказала, чтоб сразу покончить с ее излияниями:

— Да, счастливые мы, повезло нам по-настоящему, ничего не скажешь. Особое нам счастье привалило, что встретили такую семью, как ваша.

Но она не поняла насмешки.

— Ну, что правда то правда, всем можешь сказать, семья у нас хорошая. Вам тут у нас неплохо было, мы вас, как сестру с дочерью, приняли, вы у нас ели, пили да спали, нужды ни в чем не видели. Мало таких семейств, как наше.

«К счастью», — хотела я добавить, но удержалась, потому что мне не терпелось уехать, пусть хоть с этим Розарио, которого я так ненавидела, лишь бы только вырваться с этой лужайки, до того тесно окруженной густыми апельсиновыми рощами, что она казалась мне тюрьмой. Мы попрощались с Винченцо, и он ответил нам как всегда с придурью:

— Вы уже уезжаете? Жаль, жаль. Ведь вы только что приехали! Почему бы вам хоть до августа не остаться?

Кончетта на прощание обняла нас и расцеловала в обе щеки, да так звонко и дурашливо, что эти поцелуи, как и ее слова, казались насмешкой. Наконец мы зашагали по тропинке, навсегда повернувшись спиной к этому проклятому розовому домику. На шоссе нас ждал грузовик. Мы сели в машину, Розетта рядом с Розарио, а я рядом с ней.

Розарио включил мотор и заявил:

— Внимание, поезд отходит в Рим.

Грузовик быстро тронулся с места, и мы проселочной дорогой помчались по направлению к Национальному шоссе. Было позднее утро; жгучее, сухое, полное веселой молодой силы июньское солнце палило вовсю; белая пыль покрывала дорогу, белыми стали от пыли и тропинки, ведущие к ней; стоило грузовику замедлить ход, как с деревьев, росших вдоль дороги, до нас доносилось стрекотание цикад, густо усеявших листву.

И когда я слышала это стрекотание и видела эту белую пыль на дороге и на тропинках и жаворонков, которые клевали ослиный помет, а потом взмывали к сияющему небу, — у меня слезы навертывались на глаза. Да, это была деревня, милая моему сердцу деревня, где меня вскормили и вырастили; а теперь, когда начался голод и война, я вспомнила о ней, как вспоминают о старенькой матери, немало пережившей на своем веку и несмотря на все по-прежнему доброй, всезнающей и всепрощающей. Но эта деревня мне изменила, и все пошло прахом, да и сама я переменилась; а деревня осталась прежней, и солнце по-прежнему согревало своими лучами все, кроме моего застывшего сердца, прежним осталось стрекотание цикад, которое я так любила в молодые годы, когда радуешься жизни, и так досаждало мне теперь, когда уж не на что больше надеяться; прежним остался и запах сухой и горячей пыли, опьянявший меня, когда я была молода и рвалась к жизни, а теперь душивший, будто чья-то рука плотно закрывала мне рот и нос. Деревня изменила мне, и теперь я возвращаюсь в Рим без всяких надежд, близкая к отчаянию. Я потихоньку плакала и глотала соленые слезы, стекавшие по щекам; я все старалась отвернуться в сторону, чтоб меня не увидели Розетта и Розарио. Но все равно Розетта заметила и вдруг спросила меня:

— Отчего ты плачешь, мама? — спросила она так нежно-нежно, что во мне почти зародилась надежда: вдруг совершилось чудо, и моя Розетта стала прежней. Обернувшись в ее сторону, я хотела что-то ответить, но тут увидела, что Розетта держит руку на самом бедре Розарио, и я вдруг вспомнила, что они вот уж несколько минут как молчат и даже боятся пошевелиться. Тут я поняла, что это их молчание и эта их неподвижность были вынужденными: они позволяли себе у меня на глазах делать все, что им нравилось, а нежность в голосе Розетты была не нежностью невинности, а нежностью любви; без стыда и зазрения совести они предавались ей, покуда Розарио вел машину, в этот утренний час, как животные, которые могут любить друг друга в любом месте и в любое время дня. Тогда я сказала:

— От стыда, вот отчего я плачу.

После этих слов Розетта как бы захотела отдернуть свою руку, но проклятый Розарио снова схватил ее, прижимая к себе. Розетта с минуту сопротивлялась, а может, это мне только показалось, но затем покорно подчинилась ему; тут я еще раз поняла, что это для нее важнее моего, да и ее собственного стыда, если она еще могла теперь его испытывать.

Машина тем временем шла по виа Аппиа, а здесь по обе стороны дороги росли платаны, и свежая густая листва скрещивалась над нашими головами. Казалось, мы едем по сплошной аллее из зелени, а солнце, пробиваясь местами сквозь густую листву, бросало свои лучи на шоссе— тогда и темный асфальт светился и вздрагивал, изгибаясь, как спина полного жизни зверя с горячей кровью. Я повернула голову в сторону дороги, чтоб только не видеть, что делают Розетта и Розарио, и тогда, желая отвлечься от грустных дум, стала любоваться окрестными видами. Вот здесь разлилась вода: немцы на этом месте взорвали плотину, и теперь голубая, чуть покрытая легкой рябью гладь, из-под которой торчат верхушки деревьев и развалины домов, расстилалась там, где прежде сеяли пшеницу и пасли овец. Но вот, проехав Сан-Бьяджо, мы выскочили к побережью. Спокойным было море, легкий свежий ветерок вкось гнал бесчисленные голубые волны, а на гребне каждой волны притаился солнечный луч, который неистово сверкал, и казалось, что море поеживается под горячими лучами солнца. Так мы добрались до Террачины; тут картина оказалась еще страшней, чем в Фонди. Меня просто в дрожь бросило при виде этих домов, изрешеченных пулеметным огнем, с дырами от снарядов в стенах и окнах, черными, как глаза слепцов; или еще того хуже —

сквозь эти окна мерцает голубизна, значит уцелел лишь фасад; и повсюду горы развалин, пыль и лужи желтоватой воды, заполнившей воронки. Может, это мне показалось, но в Террачине не было ни души, безлюдно было и на главной площади, где фонтан до краев был забит известкой, и на длинных прямых улицах, которые вели к морю среди груды развалин. Я подумала, что в Террачине все, видно, происходило, как в Фонди: в первый день — ярмарка, толпы народа, солдаты, беженцы и крестьяне, раздача продуктов и одежды, радость и много шуму — словом, жизнь; а потом армия двинулась на север, в сторону Рима — и вдруг отсюда ушла жизнь, и осталась только пустыня, где царили одни развалины и молчание. После Террачины мы сломя голову помчались по дороге, ведущей к Чистерне: с одной стороны был глубокий канал с зеленоватой водой, а с другой — обширная, кое-где затопленная долина, простиравшаяся до самого подножия голубых гор, сливавшихся с горизонтом. То и дело во рвах по обочинам дороги виднелся остов уже совсем заржавевшей и искареженной военной машины, с торчащими кверху колесами; глядя на нее, можно было подумать, что война прошла по этим местам много лет назад. Иногда посреди поля зеленеющей пшеницы маячил неподвижный и направленный в небо тонкий ствол танковой пушки, и лишь подъехав поближе, можно было различить, что в гуще высоких колосьев лежит неподвижный танк, похожий на смертельно раненного и покинутого зверя.

Теперь Розарио вел машину на большой скорости, держа одной рукой руль, а другой сжимая руку Розетты. Не могла я на это глядеть, ведь это было снова напоминание о том, до чего она переменилась, и вдруг, не знаю почему, я вспомнила, как Розетта хорошо поет, какой у нее нежный, музыкальный голос; дома она, делая что-нибудь по хозяйству, всегда пела, чтоб не скучать, а я часто слушала из соседней комнаты; в ее спокойном, веселом голосе, казалось не знавшем устали и передававшем все оттенки песни, отражался весь ее нрав, каким он был в ту пору и каким больше уже не будет. Я вспомнила о пении Розетты на полпути от Террачины до Чистерны, и вдруг мне захотелось хоть на минутку вообразить ее такой, какой она была прежде. Я сказала:

— Розетта, отчего ты не споешь что-нибудь? Ты ведь так хорошо пела, спой нам красивую песню, а не то мы еще уснем чего доброго, дорога ведь такая скучная, и солнце печет.

Она сказала:

— Что ж ты хочешь, чтоб я спела?

Тут я назвала ей песенку, что была в моде еще года два назад; она тотчас же затянула ее во весь голос, не пошевельнувшись, не выпустив руки Розарио, которая лежала у нее на коленях. Но я тут же обнаружила — голос у нее уже не тот: пела она не с такой уверенностью, не так приятно, как прежде, то и дело фальшивила. Должно быть, Розетта и сама в этом убедилась, перестала вдруг петь и сказала:

— Боюсь, мама, петь я разучилась, что-то у меня охоты нет.

Хотелось мне добавить:

«Нет у тебя охоты и петь ты не можешь оттого, что держишь эту руку у себя на коленях, и ты уж не та стала, и нет в тебе прежних чувств, от которых вздымалась грудь, а сама ты пела, как соловей».

Но смелости у меня для такого разговора не хватило. Тут Розарио сказал:

— Что ж, если хотите, так я вам спою, — и затянул своим хриплым голосом разухабистую песню. Теперь я уж совсем расстроилась — и потому, что Розетта больше не могла петь, и оттого, что запел Розарио. Тем временем грузовик несся стрелой по дороге, и мы вскоре добрались до Чистерны.

Здесь, как в Террачине, все было в полном запустении. Особенно мне запомнился фонтан на площади в окружении разрушенных, пробитых снарядами домов, стоящих полукругом; фонтан был завален кусками штукатурки, а посредине на пьедестале возвышалась статуя, но вместо головы у нее торчал черный железный крюк, одна рука совсем была отбита, у другой не хватало кисти. Статуя казалась живым существом именно потому, что у нее не было ни руки, ни головы. Тут даже пса бродячего трудно было увидеть: люди, должно быть, еще прятались в горах или скрывались где-нибудь среди развалин. За Чистерной дорога пошла среди леса; здесь рос пробковый дуб, и вокруг не видно было ни жилья, ни человека, только трава зеленая да редкие, искривленные стволы пробкового дерева, такие красные, что казалось, с них ободрана кора. Погода теперь уже не была такой хорошей, с моря принесло небольшие серые тучи, напоминавшие веер, и этот веер раскрывался все шире и шире, покуда не стал огромным, и ручка его была повернута к морю, а сам он теперь закрыл собой все небо.

Солнце скрылось, и тогда здешние места, где рос искривленный светло-красный, и казалось, страдавший от этого дуб, предстали перед нами в тусклом и бледном свете. Кругом была полная тишина, хотя мотор не умолкал ни на секунду; в природе царило безмолвие, не нарушаемое даже пением птиц и цикад. Розетта теперь задремала, а Розарио курил, сидя за рулем и бросая взгляд на белые столбики с обозначением километров, либо смотрел вдаль, туда, за пробковые деревья, никого и ничего не видя. Мы доехали до поворота, и тут я чуть не расшибла себе лоб о переднее стекло, потому что в ту минуту разглядывала лес. Меня откинуло назад, и тогда я увидела, что дорога во всю ширину загорожена срубленным телеграфным столбом; в то же мгновение из-за деревьев вышли трое и замахали руками, требуя, чтоб машина остановилась. Розетта спросила, очнувшись: «Что случилось?» — но ей никто не ответил, да и сама я ничего не понимала, а Розарио тем временем уже вылез из машины и решительной походкой направился к этим трем людям. Я хорошо их запомнила и даже сегодня узнаю среди тысячи других: они, как, впрочем, и все в эти дни, были одеты в отрепья, один из них, низкорослый и широкоплечий блондин, был в костюме коричневого бархата, второй оказался высоким и тощим человеком средних лет, с вытянутым от худобы лицом, глазами навыкате и черными с проседью волосами, торчащими в беспорядке; третий был молодой парень, каких много — темноволосый и круглолицый, пожалуй по наружности похожий на Розарио. Я заметила, что Розарио, вылезая из машины, быстрым движением вытащил из кармана пакет и засунул его под сиденье. В пакете, должно быть, подумала я, деньги, и тогда мне сразу стало ясно, что эти трое на дороге — грабители. Все остальное произошло в одно мгновение, на наших глазах: онемевшие от страха, мы с Розеттой глядели сквозь грязное, запыленное, покрытое раздавленными насекомыми стекло кабины, через которое видно было, что начинался дождь, и тускло-серое, в сплошных облачках небо казалось нам еще печальнее, еще тревожнее. Сквозь стекло мы видели, с какой решимостью — трусом он никогда не был — Розарио подошел к этим трем и как они стали ему угрожать. Мне видна была спина Розарио и лицо того блондина, который разговаривал с ним; у него были красные губы и рот слегка набок, а в уголке рта не то сыпь, не то прыщ. В общем, блондин что-то говорил, а Розарио отвечал, затем блондин сказал еще что-то, и когда Розарио снова ему ответил, тот вдруг поднял руку и схватил Розарио за воротник у самого горла. Розарио встряхнул плечами, сначала правым, потом левым, чтоб высвободиться, и я в ту же минуту ясно увидела, что он запустил руку в задний карман брюк. Почти тотчас же раздался первый выстрел, а за ним еще два, и я подумала, что стрелял Роза-

рио. На самом же деле он обернулся к нам и будто хотел направиться к грузовику, с опущенной головой и как-то удивительно неуверенно, а затем вдруг упал на колени, опершись руками о землю, постоял так одно мгновение, по-прежнему с опущенной головой, словно раздумывая над чем-то, а затем взял да и повалился набок. А те трое, даже не взглянув в его сторону, направились прямо к грузовику.

Блондин, все еще сжимавший револьвер в руке, вскочил на подножку и, заглянув в кабину, проговорил, тяжело дыша: «А вы марш отсюда, выходите, живо выходите». Говоря с нами, он размахивал револьвером, может не столько, чтобы пригрозить нам, сколько желая дать понять, что надо выходить. Двое других тем временем убирали столб с дороги. Я поняла, что — хочешь не хочешь — нужно им повиноваться. Сказав Розетте: «Ну, вставай, пойдем»,— я стала открывать дверцу кабины. Но тут блондин, который уж почти залез в кабину, вдруг взглянул на дорогу, и я заметила, что те двое подают ему какие-то знаки, будто желая предупредить, что произошла внезапная заминка. Он выругался, соскочил с подножки, догнал своих приятелей, а потом я видела, как все трое опрометью побежали по лесу и быстро исчезли, перебегая от одного дерева к другому. Теперь нам только и были видны отодвинутый в сторону телеграфный столб и тело Розарио, неподвижно лежащее посреди дороги. Я сказала Розетте:

— Что мы теперь делать будем?

Но почти в ту же минуту рядом с нами появилась маленькая открытая машина с двумя английскими офицерами и солдатом за рулем. Машина замедлила ход, потому что тело Розарио преграждало дорогу, хотя все же можно было проехать между ним и самым краем рва; офицеры повернули головы, взглянули на тело, потом на нас, а затем я увидела, как один из них подал знак шоферу, как бы желая сказать: «Кто умер — умер, а мы едем дальше», — и машина тотчас же тронулась с места, медленно объехала тело Розарио, а затем снова набрала скорость и быстро исчезла за поворотом в глубине дороги. Тогда, уж сама не знаю как, я вспомнила о деньгах, запрятанных Розарио, и, быстро протянув руку, схватила пакет и засунула себе за лифчик. Розетта заметила это и взглянула на меня чуть ли не с укором. Неожиданно раздался сильный скрип тормозов, и рядом с нами остановился грузовик.

На этот раз нам повстречался итальянец, человек низенький, с большой лысой головой, с бледным, покрытым потом лицом, выпученными глазами и такими длинными усами, что они доходили до середины щек. Он глядел на нас испуганно и недовольно, но в то же время без злобы, как человек, которому долг велит быть мужественным, но он в то же время проклинает в душе судьбу, заставляющую его волей-неволей идти на смелый поступок. Не покидая грузовика и не выпуская из рук руля, он быстро спросил:

— Что здесь случилось?

Я ему ответила:

— Нас остановили, убили этого парня, а потом удрали. Хотели видно обокрасть нас. А мы две беженки, и теперь...

Но он прервал меня:

— В какую сторону удрали?

Я показала, что удрали в сторону леса, и он, взглянув на лес своими испуганными, вытаращенными глазами, сказал:

— Ради бога, если хотите добраться до Рима, скорей пересаживайтесь в мой грузовик, только быстро, ради бога, быстро.

Я поняла, что, если буду размышлять, он уедет; вот почему я поспешила вылезть из машины, потащив Розетту за руку. Но тут он снова закричал нам своим недовольным голосом:

— Отодвиньте это тело, отодвиньте его, не то я не смогу проехать.

Я взглянула на дорогу и поняла, что он действительно не сможет проехать между телом Розарио и рвом, ведь его грузовик намного шире машины с английскими офицерами.

— Только быстрей, ради бога быстрей, — снова просил он своим плаксивым голосом, и тогда я будто очнулась и сказала Розетте: «Помоги мне», — а потом направилась прямо к телу убитого. Покорно лежал он на боку, подняв руку к голове, словно желал ухватиться за что-нибудь, но не успел этого сделать. Я нагнулась и схватила его за ногу, Розетта тоже нагнулась и взяла его за другую, и тогда мы с трудом, он ведь был тяжелый, оттащили его в сторону, поближе ко рву, и плечи, голова и длинные, безжизненно вытянутые руки волочились по асфальту. Розетта первая потащила Розарио за ногу, а я тотчас же последовала ее примеру, а потом поспешно склонилась над покойником с непонятным чувством, будто боялась, что он еще жив: ведь у меня на груди лежал пакет с его деньгами, и мне хотелось сохранить эти деньги, в нашем положении они бы мне очень пригодились, вот почему мне не терпелось убедиться, что он на самом деле уже мертв. Да. он был мертв; я поняла это, взглянув в его открытые, блестевшие и неподвижные глаза, устремленные куда-то вдаль. Признаюсь, в ту минуту я вела себя, как человек корыстный и низкий, ну, скажем, точно так, как вела бы себя Кончетта, поступая по своей присказке: «Война есть война». Я забрала деньги покойного, из-за этих денег я и боялась, что он еще жив; теперь же, убедившись, что он действительно мертв, я хотела искупить эти свои гадкие мысли, совершив церковный обряд, и, покуда сидевший за рулем человек нетерпеливо кричал мне: «Будь покойна, он мертв, теперь уже ничего не поделаешь», — я склонилась над Розарио и двумя пальцами, указательным и средним, перекрестила ему грудь в том самом месте, где на черном пиджаке виднелось большое темное пятно. В ту минуту, когда мои пальцы касались пиджака, я почувствовала, что сукно пропитано чем-то влажным и липким; потом, когда мы вместе с Розеттой бежали к грузовику, я мельком взглянула на свои пальцы, и увидела на них багряные следы еще ярко-красной, незапекшейся крови. При виде их я вдруг смутно ощутила укоры совести, почти ужас перед самой собой, ведь я лицемерно осенила крестом только что ограбленного мною человека. Я надеялась, что Розетта ничего не заметила, но когда я вытирала пальцы о подол юбки, то увидела, что дочь глядит на меня, и тут мне стало ясно, что она все поняла. А потом мы уселись рядом с неизвестным человеком, и грузовик тронулся в путь.

Незнакомец вел машину, низко согнувшись над рулем, будто вцепился в него обеими руками, глаза у него при этом просто вылезли на лоб, а лицо было бледным, он тяжело дышал, дрожа от испуга; я же все еще продолжала думать о деньгах, лежавших у меня на груди, а Розетта глядела прямо перед собой, и лицо у нее было такое неподвижное и равнодушное, что на нем невозможно было обнаружить хоть какое-нибудь чувство. Я подумала, что мы все трое, каждый по-своему, не проявили ни малейшего милосердия к Розарио, которого убили, как бродячего пса, а мы теперь бросили посреди дороги. Со страху водитель грузовика даже не вышел из машины, чтобы убедиться, жив он или мертв; я же из-за этих денег больше всего была озабочена тем, чтоб удостовериться, что он действительно мертв; а Розетта только и сделала, что оттащила его за ногу ко рву, будто смрадный труп животного. Значит, не было у нас к Розарио ни жалости, ни сочувствия, ни простой человеческой симпатии; человек умирал, а другим было на это наплевать, у каждого, дескать, свои заботы. Словом, как говорит Кончетта, это была война, и я теперь боялась, что война останется в наших душах еще

надолго после того, как она будет окончена. Но из нас троих Розетта своим поведением пугала меня больше всего: ведь всего полчаса назад она забавлялась с Розарио, покорно повиновалась ему, удовлетворяя все его желания, а теперь она сидит рядом со мной, неподвижная, безразличная, равнодушная, с сухими глазами, без тени чувства на лице. Я раздумывала над этим и говорила самой себе, что все перевернулось вверх дном и жизнь стала нелепой, без конца и начала; и все, что раньше было важным, теперь стало бессмысленным, а то, что раньше не имело значения, приобрело вдруг огромный смысл.

И тут внезапно произошла странная вещь, какой я и не могла ожидать: Розетта, которая, как я уже сказала, до сих пор не проявляла никаких чувств, вдруг запела. Сначала робким и как бы приглушенным голосом, а потом все громче, звонче, уверенней. Она запела ту самую песню, какую я недавно просила ее спеть, но тогда она не сумела этого сделать и оборвала песню на первой строфе. Эта песенка была в моде года два назад, и, как я уже рассказывала, Розетта обычно распевала ее, занимаясь домашними делами; песенка не какая-нибудь там особенная, скорее слащавая и глупая; сперва мне показалось странным, что она запела ее теперь, после смерти Розарио; я в этом увидела еще одно доказательство ее бесчувственности и полного равнодушия.

Но потом вспомнила, как я попросила ее спеть эту песню и она ответила мне, что у нее пропала охота петь. Я тогда еще подумала, до чего ж моя Розетта переменилась, если больше петь не хочет, и тут я сказала себе: может, она сейчас запела, чтобы показать мне, что все это неправда и она все та же прежняя Розетта, добрая, нежная, невинная, как ангелок.

Раздумывая над этим, взглянула я и увидела, что глаза у нее полны слез, а слезы так и льются из широко открытых глаз и катятся вниз по щекам; тут мне вдруг стало ясно: нет, напрасно я опасалась, она не изменилась. Этими слезами она оплакивала Розарио, которого убили безжалостно, как пса, и себя, и меня, и всех, кого война погубила, искалечила, наизнанку вывернула, а это значит в конце концов, что в глубине души не изменились ни она, ни я, укравшая деньги у Розарио, ни все те, кого война за эти годы уподобила самой себе. Вдруг я почувствовала себя совсем спокойной, а от этого спокойствия внезапно промелькнула у меня мысль: «Как только приедем в Рим, вышлю эти деньги матери Розарио». Молча протянула я свою руку к руке Розетты и крепко сжала ее в своей.

А Розетта все пела и пела эту свою песенку, а машина тем временем мчалась в сторону Веллетри, и умолкла Розетта лишь тогда, когда слезы перестали катиться у нее из глаз. Тут человек, сидевший за рулем — скорее трус, чем негодяй, — должно быть, понял кое-что и вдруг спросил:

— Кем вам приходился этот парень, которого убили?

Я поспешила ответить:

— Да никем. Просто знакомый с черной биржи, предложивший отвезти нас в Рим.

Но он, снова охваченный страхом, поспешно добавил:

— Не говорите мне ничего, знать ничего не хочу, ничего не видел, ничего не знаю. В Риме я вас оставлю, и помните, мы друг друга не знали и никогда не видели.

Я ему сказала:

— Ведь ты сам полез с вопросами.

Он ответил:

— Да, ты права, но забудь, что я тебя спрашивал, забудь об этом.

Наконец в глубине обширной и зеленой равнины показалась длинная полоса желтовато-белого цвета: то были предместья Рима. А за этой

полосой, возвышаясь над ней, вдали ясно обозначился на сером фоне неба серый купол собора святого Петра. Бог знает, как я весь этот год мечтала снова увидеть там, на горизонте, этот милый моему сердцу купол, такой маленький и в то же время такой большой — его можно было принять и за холмик и за гору, — такой величественный, хоть он и казался тенью, такой успокаивающий душу, ведь он был близким, своим, и тысячу раз я его видела и разглядывала. Ведь этот купол означал для меня не только сам Рим, но в нем воплощались вся моя прошлая жизнь в Риме и спокойствие тех дней, которые были прожиты в мире с самой собой и с другими людьми. Там, на горизонте, высился купол и будто говорил мне — теперь я могу спокойно вернуться к себе домой, и после стольких перемен и бед жизнь моя снова потечет своим чередом. И он говорил мне еще, что этой новой своей надеждой я обязана Розетте, ее песне и ее слезам. Без ее страданий в Рим не смогли бы вернуться две ни в чем не повинные женщины, уехавшие отсюда год назад и превратившиеся за время войны и по ее вине одна — в воровку, другая — в проститутку. До чего горько все это.

Тут я вспомнила Микеле, которого не было с нами в эту столь долгожданную минуту возвращения и уже больше никогда не будет с нами; вспомнила тот вечер, когда он, сидя в лачуге на горе в Сант-Эуфемии, вслух читал нам евангельскую притчу о Лазаре и злился, что крестьяне ничего не понимали, и кричал, что все мы, как Лазарь, умерли в ожидании воскрешения. Тогда эти слова Микеле оставили меня в недоумении, теперь же я поняла, что он по сути прав и что было время, когда мы обе, и я и Розетта, умерли для любви, которая нужна и другим, и нам самим. Но в последнюю минуту горе наше воскресило нас, вот почему эта притча о Лазаре в какой-то мере подходила к нам: благодаря пережитым страданиям мы в конце концов сумели найти выход из войны, бросившей нас в могилу равнодушия и жестокости, смогли снова найти путь своей жизни. Правда, жизнь эта была жалкая, полная мрака и заблуждений, но все же это была та единственная жизнь, какую нам суждено было прожить. Не сомневаюсь, так сказал бы и Микеле, если бы сейчас был с нами.

Спиро Джаи

Пять писем

(Подлинная история)

Перевод с албанского Розы Кочи

I

Тэрихат, 21 сентября 1947 г.

Любимый мой Кичо!

Как полагается и как все пишут в своих письмах, так и я сообщаю тебе, что я жива и здорова. Но только я.

Прошло полных семь лет, как я не получаю никаких вестей ни от тебя, ни о тебе. Самое главное — жив ли ты, а что до другого, то ладно уж...

После войны я послала тебе пять или шесть писем и в толк не возьму, почему в ответ нет ни словечка. А сердце мое чует, ты жив, милый Кичо! Ох, Кичо, если дойдет до тебя это письмо, ответь мне сразу же, где бы ты ни был и что бы с тобой ни было. Не томи меня, напиши, где ты и что делаешь на этой проклятой чужбине. Будет хоть строчка от тебя, Кичо, и я успокоюсь немного, а увижу письмо, написанное твоей рукой, и мигом забуду все свои страдания и переживания.

Кичо! Уже десять лет мы в разлуке, уже семь лет, как связь прервалась из-за войны. Что же написать мне тебе сейчас? Что же написать тебе, Кичо, когда сердце мое изболелось, а глаза от тоски по тебе превратились в горный источник, который никогда не высыхает.

Мысли путаются, не знаю, с чего начать... Получал ли ты мои письма, Кичо? Известно ли тебе, что нашей Лены уже нет в живых, что закрыла она глазки свои навсегда еще в 1944 году? Бесценные золотые глазки, в которые тебе так и не пришлось заглянуть ни разу! Возьми зеркало, Кичо, увидишь свои глаза. Такого же цвета были они и у нашей доченьки. Только нежнее, мягче и веселее.

Была она как весенний цветочек, когда в деревню пришли немцы, а с ними и балысты *. Если у вас есть там балысты, то ты поймешь, почему мы всей деревней поднялись, как напуганные птицы, и укрылись на горе, в лесу Лефтокары. Было раннее утро, и Леночка еще спала, как овечка. Схватила я ее с кровати и со всех ног бросилась бежать, не успев даже запереть дом: эти гады уже вступили на школьную площадь и палили, как чумовые. Малютка не плакала, но у холма Шен-Михаля спросила испуганно: «Мама, зачем мы бежим в поле?»

Она уже совсем складно говорила, Кичо! А как ясно выговаривала каждое словечко! Слушать ее было единственной отрадой. Но тут я ей сказала: «Молчи, доченька, молчи...» Не переводя духа я бежала до болота Амполяны и тут увидела позади себя черные клубы дыма. Это горела наша деревня. В тот день сожгли и дом Жулы, и многие другие. Но

* Члены антинародной националистической организации Албанир, существовавшей до 1944 года.

кто вспоминает теперь об этом? Прошло все и забылось. Только моя беда не забудется. Ох, Кичо, милый, вовек не забыть мне, как укрывала я своим пальто, как согревала своим дыханием Леночку. Не выдержал нежный наш цветочек. Простудилась доченька моя и упорхнула у меня из рук, словно маленькая птичка, что вылетает из гнезда и теряется высоко в небе.

Не буду больше писать об этом, Кичо, незачем еще и тебе мучиться. Я так исстрадалась, столько слез пролила, что и на твою долю хватит.

Как же мне было не плакать? Не хочу плакать, но не могу удержаться. Слышишь, не могу: что мне остается в жизни? Смерть и война отняли Леночку, неведомая чужбина забрала тебя, и нет у меня больше ни жизни, ни любви, ни радости. Томлюсь я теперь в нашем доме одинокая, как кукушка, а ты пропал там, в своей Австралии, сорок дней до нее плыть пароходом.

Сорок дней пути — только представить себе! Я обмерла от страха, когда прочитала в твоем первом письме, сколько ты добирался до этой самой Австралии. Как же, думаю, возвращаться оттуда? Выходит, недаром замирало сердце. Десять лет, десять лет прошло с тех пор, милый Кичо! Десять лет не виделись мы с тобою. Десять лет я храню твое первое письмо с чужбины, как и все другие твои письма. Вчера поздно вечером я еще раз перечитала их одно за другим, и прошлое нахлынуло на меня.

Так и стоит в памяти тот несчастный день, когда ты уехал и оставил меня одну, как былинку в пустынном поле. А ты, Кичо, забыл день нашей разлуки? Не думаю. Никогда не поверю, сердце мое! Да и как можно забыть такой день!

Когда я была еще девушкой, пела я с подружками на поле или в деревне в дни праздников разные песни. Была там одна о чужбине. Не знаю, почему запомнились мне такие слова:

Дай наглядеться на тебя, мой цветочек,
Подойди ко мне, мой цветочек, поцелуемся!
Ведь кто знает, когда увидимся!
Не подойти нам друг к другу, не поцеловаться,
Потому что нам слезы глаза застилают!

Сказать правду, смысл этой песни поняла я только в ту проклятую среду. До чего правдивая песня! Как будто про нас написана. Посуди сам, Кичо, сколько времени довелось нам жить вместе? Полгода не прошло с того дня, как мы поженились, до твоего отъезда на чужбину. Ты можешь сказать, что мы и раньше, чем поженились, много месяцев жили нашей тайной любовью. Ох, Кичо, любимый, верно, верно, да все равно мало... Частенько представляешься ты мне таким, каким был на большом поле Палёкастры, где я собирала траву для быков. Это наша первая встреча, Кичо, помнишь ее? А я-то никогда не забуду. Никогда, клянусь тебе в этом еще раз издалека. Ты меня искал тогда повсюду и вдруг появился передо мной, словно вырос из высоких хлебов. Была на тебе старая рубаха, грудь нараспашку, а твои черные, густые волосы спутались от ветра и быстрого бега.

Я испугалась сначала, когда тебя увидела, но ты и опомниться не дал, сразу обнял меня, увел в высокую пшеницу и стал ласково расспрашивать, почему у меня так бьется сердце, что со мною, неужели я боюсь тебя. «Нет, я не тебя боюсь, — отвечала я, — а боюсь злых языков. Нас увидят, на поле полно людей».

Ты так весело засмеялся, повел рукой вокруг и говоришь: «Кто нас может увидеть? Посмотри, какой высокий хлеб. Это для нас он такой высокий вырос, чтобы скрыть тебя и меня от людских глаз...» Верно, хлеб тем летом уродился необычайно высокий. У меня отлегло от сердца, а ты говорил: «В конце концов, если даже нас и увидят, ничего страшного

не случится. Пусть хоть сегодня узнают, что мы будем всегда вместе, Авьеро, самой счастливой семьей на всю жизнь. И никто нас с тобой не разлучит, никто не помешает любить друг друга. Слышишь меня, Авьеро?» — спрашивал ты и клялся, что мы не расстанемся ни на минутку.

Ах, Кичо, Кичо, если б в самом деле нам не разлучаться! Ведь и правда, ни сплетни, ни что другое не помешало нашей любви; через несколько месяцев мы поженились. Но как мало мы были вместе! Как быстро подошел день разлуки! Свадьбу мы сыграли в последнее воскресенье марта. На следующее утро проснулись поздно-поздно, а под нашим окном щебетали ласточки.

Скажу тебе правду, Кичо, весь первый месяц я была как в тумане. Ведь мне не было еще и восемнадцати лет. Но только начала я по-настоящему ощущать радость любви, как счастье наше померкло, точно солнышко за облаками в холодный осенний денек. С тех пор я все жду и жду весны, а она все не приходит.

До чего явственно иногда все вспоминается и волнует кровь... Помнишь, Кичо, что ты говорил мне в последнюю ночь? Уже рассветало, но мы не смыкали глаз, все прощались — прощались надолго.

«Видишь эти руки, Авьеро? — спросил ты и разомкнул на минуту свои сильные руки, которые так крепко обнимали меня в эту ночь.— Что скажешь, почему молчишь, посмотри на них хорошенько! С детства эти руки работали день и ночь и стали железными. Бог знает, сколько камней они вынули из земли, сколько домов людям построили, да беда в том, что здесь, на родине, не стало для них работы. Глядишь, заржавеют от безделья! А на чужбине, говорят, работы для всех сколько хочешь. Обещаю тебе, что буду работать без устали, поработаю годика два-три, подзаработаю деньжат — и тогда ты увидишь, Авьеро, прилечу, как на крыльях. Погляди на ласточек; они каждый год улетают на чужбину, а весной обязательно возвращаются домой. Так и я возвращусь к тебе, и мы будем жить неразлучно и счастливо всю жизнь, а она у нас впереди».

Вот так ты говорил, любимый Кичо, и уехал, исчез вместе с ласточками. Но ласточки возвратились на будущий год весной и десять лет подряд улетают и возвращаются. А тебя все не видно. Я не говорю, что ты виноват. Нужда погнала тебя на проклятую чужбину, здесь и вправду ржавели твои руки. Ох, был бы ты здесь сейчас, Кичо, посмотрел бы, сколько работы тут теперь! Полно! Говорю тебе, полным-полно работы. Вандель Мастора из нашей деревни с сыновьями передышки не знают. Не только они, а и все другие мастера. Иногда даже не хватает рабочих! Подумай только, не работу, а рабочих трудно найти. Когда ты приедешь и сам увидишь нашу деревню, тогда ты поймешь. Я ведь и описать не сумею! Последний квартал намного вырос, новые дома теперь подходят к Бакуле и Шен-Димитру, около Софратики. Если б можно было заранее знать, что придет этот светлый день, совсем бы и не надо было тебе уезжать. Да кто знал?..

Но у меня и в мыслях нет, что ты забыл меня и не возвратишься. Нет, нет, это мне даже в голову не приходит. Сердце мое говорит, что ты не забыл меня и никогда не нарушишь клятву, какую дал перед самым отъездом. Ты прижимал меня к груди, голову мою взял в свои сильные руки и большими пальцами вытирал мне слезы, а они все текли и текли. Тогда ты сказал — и голос твой все еще звучит у меня в ушах: «Не плачь, Авьеро, не плачь, крепись. Сегодня мы разлучаемся, горько нам, зато какая радость будет, когда мы снова встретимся и обнимемся. Не думай о разлуке, думай, как хорошо будет, когда мы опять увидимся через два-три года здесь, в нашем доме. Я никогда не забуду твои черные глаза, полные слез».

Тут голос твой прервался, зазвучал глухо, как будто из глубокого колодца, глаза потемнели, и ты отвернулся к окну. Я хотела вытереть твои слезы, но ты проворчал, что это просто от насморка, и я только поцеловала твои глаза. В последний раз...

Но я еще раз увидела слезы у тебя на глазах, когда ты прощался со своей матерью. Это было внизу, у большака, у виноградника Джолы, где мы сидели, дожидаясь машины. Хотя у твоей матери подгибались колени от старости, она все-таки вышла к большаку проводить тебя. Машины она, правда, не дождалась, устала стоять, и ты смотрел ей вслед влажными глазами до тех пор, пока она не исчезла в улочках деревни.

Кичо, я не раз и не два писала тебе, что мать умерла через год после твоего отъезда. Она все время вспоминала тебя и очень горевала, что нет тебя возле нее в час смерти.

Могу ли я после всего этого забыть черный день нашего расставания? Могу ли я забыть эту проклятую среду?

Вижу, как сидим мы на обочине дороги, в тени диких слив, и ждем попутную машину, с которой ты должен уехать. Сидим, будто смерти ждем. Первая машина тебя не взяла: не было мест. Ты помнишь? И я так обрадовалась, что ты побудешь рядом со мной еще несколько минут. Знаешь, я втихомолку, про себя, молила бога, чтоб не проезжала никакая другая машина, чтоб не уехал ты в тот день, чтобы ушел пароход из Саранды, а ты остался бы здесь навсегда. При каждом шуме у меня слабели ноги: я все боялась, не идет ли другая машина.

Вдруг все поднялись — послышался шум машины. Но она шла из Дельвины в Гьирокастру, и мы вновь сели.

А я шептала про себя: «Из Дельвины в Гьирокастру пусть проезжают сколько хотят. Только из Гьирокастры пусть не едут, а если какая и выедет, то пусть у нее лопнет шина где-нибудь там, в Кордоцке, и пусть она сюда не доедет». Все вспоминалась мне та песня, какую ты пел накануне с товарищами, когда они пришли проститься. Ее слова привязались ко мне, и я никак не могла от них отделаться:

Скажи, моя подружка, словечко,
А то я сейчас уезжаю.
Когда вышел я из двери,
Закружилась голова, и упал я.
Когда вышел я на середину двора,
Силы у меня пропали,
Когда вышел я за ворота,
Поверил, что мы расстались.
Пароход, сухая доска,
Разлучил нас с женами.

И вот сейчас, через столько лет, мне опять хочется плакать. Может быть, вы пели в ту ночь лучше, чем всегда, а может быть, мне так показалось. Но я хорошо помню, что твой голос дрожал и прерывался. А мать твоя, Кичо, бросила месить тесто — она хотела испечь белого хлеба тебе на дорогу — и долго стояла у дверей дома. Руки у нее были в муке.

Напрасные надежды! На повороте большака, возле лавок Софратики, поднялся столб пыли, и не успела я опомниться, как машина остановилась перед нами. И все кончилось...

Остального я не помню. Только белый платок, который своими руками я положила тебе в нагрудный карман, долго виднелся сквозь пыль и дым машины.

Зачем я пишу все это? Сама не знаю. От глубокой боли и от большой тоски по тебе. Пишу, потому что не могу не писать. Только не думай, что я хочу, Кичо, милый, заставить и тебя мучиться, пусть у меня руки отсохнут, если я этого добиваюсь! Теперь все наши огорчения должны кончиться. Довольно уже! Довольно, достаточно мы перестрадали и пережи-

ли за десять лет. Ведь это не год и не два! Могу ли я не писать? И кому другому могу я высказать все, что лежит на сердце, с кем могу поделиться неугасимой болью? Кто у меня еще есть на этом свете, скажи мне? Была у меня Леночка. Ах, теперь она была бы уже большая, поговорила бы я с ней и хоть на минутку забылась бы... Но даже маленькая ее могилка заросла травой. Видела я это позавчера, когда была на кладбище... Не могу писать больше, не могу, слезы не дают...

Теперь утро, Кичо, и я пишу тебе опять. Пора кончать это письмо, чтобы успеть отправить его с почтальоном; сейчас перечитала и сама удивилась тому, что написала. Знаешь, Кичо, ночью иногда душит меня такая тоска, будто тону я. Именно тону! И зову на помощь тебя. Вот и вчера было так же. Сейчас мне хочется разорвать это письмо и начать писать снова, но рука не поднимается: ведь все, что я тебе написала, — правда. Тысячу раз правда!

Только одно еще, и закончу письмо. Наверно, ты уже догадался, Кичо, что я хочу сказать. Приезжай, Кичо, приезжай скорее! Я не знаю, как можно это сделать, но хоть на крыльях прилетай; возвращайся ко мне, в наш дом, который тебя ждет. Годы текут быстро, как вода в реке. Когда же нам жить, подумай сам? В день нашей женитьбы мне не было еще восемнадцати, а теперь скоро старухой назовут. Да и тебе уже за тридцать пять...

Ты и не узнаешь родных мест, Кичо, так все тут переменилось, но приезжай сам и увидишь. Насчет работы и не задумывайся — прошли темные времена, тебя будут разрывать на части, не дадут даже отдохнуть с дальней дороги. Только бы силы были да желание работать. И в деревне можешь найти работу, и на лугах Горандзии. Там сейчас государственная ферма и строится много новых домов. Вообще, вокруг все строится и строится. Подумать только, что было время, когда ты не мог найти работы дома и должен был уехать в эту далекую Австралию, чтоб ей провалиться!

Забыла тебе сказать, Кичо, что здесь разделили землю между крестьянами. Везде, во всех деревнях, а не только в нашей. Мне дали восемь дюнюмов* — столько, сколько я могу обработать одним своим быком. О Муко-Сенах и других помещиках теперь и слыхом не слыхать, их как ветром сдуло. Я тебе пишу об этом, чтобы ты знал: можно прожить, и не покидая родины. Будешь крестьянствовать, и всё. Всегда будем неразлучны. А что нам двоим еще нужно, чтобы жить счастливо?

Недавно я говорила о тебе с Йорди Дэло, но ты, конечно, не помнишь его. В твои времена он был еще мальчишкой. Это сын Доси Дэло. Теперь он у нас главный — председатель сельсовета,— мы сами его выбрали. Забыла тебе сказать, что теперь у нас нет никаких старшин в деревне, а есть советы, которые мы сами и выбираем. И знаешь что — смотри не прими за шутку, — теперь голосуем и мы, женщины. Да, так вот я спросила Йорди, сына Доси: сможешь ли ты получить землю, если захочешь стать крестьянином, когда вернешься? А он мне в ответ: «Пусть только вернется Кичо жив-здоров, землю мы ему дадим, и быков раздобудем, и работу найдем. Чего нам беспокоиться о земле, когда вся долина теперь наша? Пиши только, чтобы приезжал скорее».

Вот об этом я и сообщаю тебе, Кичо. Приезжай быстрее, мы заживем счастливо и скоро забудем все наши беды.

А знаешь, Кичо, я тебя и в поле не пущу одного, мне все будет казаться, что ты опять уедешь. Мы всегда будем вместе с тобой. Приезжай, приезжай, возвращайся скорее, Кичо! Я люблю тебя еще больше и горячей, чем тогда, когда мы поженились. Настоящая любовь никогда

* Дюнюм — 0,1 гектара.

не остынет. Это я теперь по себе знаю. Но что об этом писать? Возвращайся, возвращайся как можно скорее, сам убедишься, что я тебе ничего лишнего не наговорила. Наоборот, словами-то я даже и не умею всего объяснить. Только бы мне тебя увидеть, увидеть своими глазами, и мне кажется, что я даже помолодею от радости. Кончаю письмо и жду тебя как можно скорее, жду всем сердцем, полным любви.

Целую тебя с тоской,
твоя жена Авьерин.

II

Тирана, 20 декабря 1949 г.

Здравствуй, Алеко, дружище! Как твое здоровье, как вы все там поживаете, что поделывают наши друзья — Андон, Митро, Джим и другие? Не поверишь, как я соскучился по вас, ребята. Но только по вас, не по Австралии.

Я, слава богу, здоров. А что до остального, то... Ну, да прочтешь это письмо и поймешь.

Добрался я сюда, в родные места, Алеко, только через два года после отъезда из Мельбурча. Работал я десять лет, не зная отдыха, копил, копил деньги — и все пошло прахом, пока добирался домой.

А что было делать? Нужда нас заставила, и попались мы на удочку, когда поехали за моря и океаны в эту Австралию, где «денег куры не клюют», как расписывал нам представитель пароходного агентства в Гьирокастре. Помнишь его елейную рожу? Теперь-то и малым детям ясно, что была у него одна забота — заграбастывать свои сорок наполеонов за каждого завербованного. На все остальное ему наплевать. В трюмах грузовых пароходов отправил нас, как мешки с мукой. А что до денег, то мы и блеска их не видели. По крайней мере, пока я был там...

Теперь, Алеко, хочу тебе сообщить, что в конце концов я добрался до родины и посылаю тебе свой адрес. Надеюсь, ответишь быстро. Столько лет прожили и проработали мы вместе на чужой земле, пуд соли съели, как говорится, и этого не забудешь! Думаю, ты согласен со мной.

Пишу из Тираны. Здесь живу и здесь работаю. В деревню не ездил и ехать не собираюсь. По крайней мере, сейчас. Удивляешься? А дело все в том, что моя жена вышла замуж перед самым моим приездом. Да, дружище, нашел я чужого в доме. Не задержись я так в пути, не случилось бы этого несчастья. Бьюсь об заклад, ты сейчас усмехаешься: велика важность! Разве на ней свет клином сошелся? Мало ли других женщин!

Нет, Алеко, это не так. Помнишь, как мы рассуждали об этих вещах? Ты со мной всегда спорил. Но тебе легко было говорить: ты никого не оставил в деревне, уехал неженатым. А я оставил дома молоденькую жену, да еще красивую. Когда мы расставались, ей едва минуло восемнадцать. Я полюбил ее, когда она была еще как нераспустившийся цветок. Мы прожили вместе всего пять или шесть месяцев, и я уехал. У нее родилась девочка, которую я так и не увидел и никогда не увижу, потому что она, оказывается, умерла еще в войну, в 1944 году. У нас, как видишь, общего теперь только эта могилка, все остальное полетело кувырком.

Пишу тебе все это, дружище Алеко, чтобы ты понял, почему нет у меня покоя и радости, каких я искал. Чувствую я себя усталым, и, кажется, никогда уже не будет просвета в моей жизни.

Посуди сам. Мне за тридцать пять. Больше двадцати лет я работаю без отдыха, лишь бы устроить хорошую жизнь для себя и своих близких.

Пошел ради этого на разлуку с любимой женой. Наконец возвращаюсь на родину. За плечами десять лет тяжелого труда на чужбине, о котором не тебе рассказывать, ты сам испытал, и мучительный двухлетний путь до дома. Душа полна надежд и планов. И вдруг все разлетается в пух и прах. Мой дом разрушен до основания. Я говорю не о четырех стенах дома. Стены сохранились, но родных никого! Никого, понимаешь? Ладно, скажешь ты, нет старой семьи — надо создавать новую, раз уж вернулся на родину. А легко ли вновь создать семью, ты в расчет не берешь. Это ведь не то, что взять черепицу или кирпич со старых домов, чтобы выстроить новый. Поди-ка, попробуй!

Но кто же виноват в том, что так случилось? Сначала я проклинал Авьерин, мою бывшую жену. Я ругал ее на все лады.

Поверь, Алеко, первые дни, когда я узнал об ее замужестве, были самыми ужасными, самыми горькими за все эти годы. Главное, я никак не мог решить: что же мне делать? Написал было ей два письма с угрозами и бранью, но сразу не послал, а теперь наверняка не пошлю. Потом задумал ехать в Дропул, встретиться с нею и поговорить. Ох, уж и «поговорил» бы я! Но от этого меня удержал Ламби Малюти из нашей деревни. Помнишь его? В школе мы учились в одном классе и сидели всегда на одной парте. В деревне, как ты знаешь, Ламби был моим соседом. Сейчас он майор и находится здесь, в Тиране. Ты удивляешься? Действительно, крестьянин из нашей деревни, такой же бедняк, как и мы, и вдруг — майор! Он был в партизанах, как многие другие из наших односельчан. А сейчас стал большим человеком. Но, представь, не зазнался, носа не задирает. Как только узнал, что я вернулся и в отчаянии от того, что случилось, он сам разыскал меня и пригласил к себе домой. Потом я не раз и не два был у него в гостях. Живет он здесь со своей семьей. И вот он не только меня поддержал и ободрил, он рассказал мне, как было в действительности. Если быть справедливым, дружище Алеко,— Авьерин совсем не виновата. Виноваты те, кто заставил нас уехать, кто заставил нас разлучиться. Бедная Авьерин терпеливо ждала меня не год-другой, а почти двенадцать лет. Она мне писала все время, и до и после войны, на мой первый адрес в Сидней. А от меня и обо мне не приходило ни строчки! Перед тем как ей выйти замуж, в деревне нашей все уже, вплоть до самых маленьких ребят, знали, что я давным-давно выехал оттуда. Ведь и вы сами, ты с Митро, писали в деревню и справлялись, приехал ли я и что со мною? Это совсем убило Авьерин. Она поверила, что меня нет в живых. Что ей оставалось делать? Оплакала меня, как мертвого, панихиду отслужила — и решилась выйти замуж. Все это точно, поэтому я не могу осуждать ее. В самом деле, Алеко, очень просто обвинить неповинного человека, и особенно женщину. Мы, мужчины, подчас так и коверкаем жизнь женщинам. Женимся, поживем вместе месяцев шесть или, самое большое, год, растравим их, а потом пропадаем на чужбине долгие годы.

Но в чем я виноват, так виноват! Пишу тебе как самому близкому другу, а то у меня словно камень на душе. Самая большая моя ошибка, что за те два года, пока я мыкался по Египту и Франции, поджидая виз и пропусков домой, не написал жене ни единой строчки. Настроение было отчаянное. Жил, как в лихорадке, целые месяцы. То мне подавали надежду, что скоро уеду; то рушилась эта надежда, и тогда казалось: зачем писать, зачем мучить жену пустыми обещаниями. Поверь, Алеко, пера в руки не мог взять! И вам никому я тоже не писал, хотя дал слово, что буду писать, по крайней мере, раз в месяц. Как бы то ни было, это моя ошибка. Знай Авьерин, что я жив, ни за что бы замуж не вышла!

Вот, Алеко, дружище, отныне ты про мои личные дела знаешь все и поймешь, почему я не еду в деревню.

Теперь о здешнем положении. Подробно писать сегодня не буду — не до того мне, но скажу главное: то, что нам всем приходилось слышать об Албании, было сущим враньем. Тысячу раз был прав Джим, когда он нас предупреждал об этом! Как будто он сам побывал здесь и видел все собственными глазами!..

Работы тут, Алеко, сколько душе угодно! Я и сам удивляюсь всему, что вижу. Хочешь верь, хочешь не верь, но рабочих здесь не хватает. Удивительное дело, брат, однако истинная правда!

Но самое интересное, знаешь что? Здесь больше нет хозяев. Не говорил ли нам Джим именно об этом, а мы только удивлялись? А хозяев-то и вправду нет. Нет хозяев! Спросишь, куда всех старых подевали? Не торопись, сейчас скажу. Расплачиваются за свои грехи. И не думай, что шучу. Собственными глазами я видел одного из старых хозяев, сейчас долбит он киркой землю здесь, на стройке. Я как увидел это — здорово обрадовался! Подумалось мне, будто им за нас воздается. И сразу вспомнился мистер Билл. Этот всю душу умел вымотать! Хорошо бы и ему кирку в лапы.

Работаю на строительстве большой текстильной фабрики, в четырех километрах от Тираны. Это не сказки! Будет настоящая большая фабрика. Поставили меня на венгерскую бетономешалку. Ну и машина! Одно удовольствие на ней работать. Знаешь, вообще на работе здесь как-то забываются мои неурядицы. Спросишь, почему? Не сумею толком объяснить, только здесь работается совсем по-другому. В Мельбурне или в Сиднее как бывало? Еще только приближаешься к строительным площадкам Билла, а уже охватывает тебя какое-то тягостное чувство. Думаешь: черт бы все это побрал, и главное вместе с Биллом!

Здесь все иначе, ей-богу иначе. Как-то тянет на стройку, как будто идешь обрабатывать собственный сад. Главное, насколько я замечаю, такое же чувство и у других рабочих. Это не от страха перед боссом, боссов здесь совсем нет, просто хочется трудиться для родины. Сосед тоже не зевает. И вот начинается такая жаркая работа наперегонки, кажется, что руки двигаются сами собой. Каждому хочется быть впереди. Нигде этого прежде не видывал, а здесь — кругом так. Все потому, что нет хозяев. Приезжай и увидишь сам.

Послушай, что со мной приключилось однажды. Как-то утром иду я на работу и вижу, как на большом дворе стройки вывешивают огромную доску. Рабочие собрались возле, подошел и я. Гляжу, много фотографий. И вдруг свою увидел. Я рот раскрыл от удивления. Правда, дня три назад меня сфотографировали, но я думал, что это для документов. «С какой стати сюда мою карточку повесили?» — спрашиваю. Мне показывают подпись под фотографией: «Передовик. Перевыполняет норму...» Я говорю: «Так ведь за перевыполнение мне платят! Зачем еще и фотографии вывешивать? За что такая большая честь?» Товарищи посмеялись и объяснили, что к чему. Вот какие дела, Алеко,— тем, кто хорошо работает, здесь почет.

Ты хочешь знать, что же бывает с теми, кто плохо работает? Конечно, и здесь встречаются лодыри и обманщики. Что делают с ними? Их бьют! Но не палкой и не хлыстом. Их бьют словами в присутствии всех рабочих. Собираемся мы, все рабочие нашей стройки... иначе я и не могу назвать стройку, где работаю; все так говорят: «наша стройка».

Так вот, на собраниях бьют тех, кто плохо работает; бьют, как я уже сказал, словами. Но становятся эти лодыри краснее зрелых стручков перца.

Чуть не забыл самое важное! На этих собраниях, дружище, можно критиковать даже директора, если есть за что. Я своими ушами слышал, как простой каменщик выложил все свои претензии к директору, да так

просто, словно с женой дома разговаривал. И после этому каменщику ничего не было — как работал, так и работает. А непорядки устранены, это все знают.

А помнишь того негодяя, который приезжал к нам в Мельбурн и рассказывал о положении в Албании? Еще Джим называл его «ваш лжепатриот»! Он, главное дело, все разорялся, что в Албании нет свободы!

Ну и вранье! Правильно его тогда оборвал Рако из Дервичана. Знай я тогда то, что знаю теперь,— научил бы я его уму-разуму. Ох, мерзавец! Это здесь-то нет свободы! А в Мельбурне у мистера Билла есть? Ну и ну!

Ладно, на сегодня хватит, Алеко. Хотя еще о тысяче разных вещей можно написать. Желаю тебе, дружище, только добра и потому советую все силы положить, чтобы возвратиться как можно скорее. По собственному опыту знаю — это нелегко, но и не совсем невозможно. Старайся приехать, старайся изо всех сил и будешь жить как человек. Привет всем, не забудь и нашего Джима. Жду от тебя писем, а также и от других товарищей. Не забудьте написать, как мне, по вашему мнению, разобраться с моими личными делами.

Твой друг Кичо Фани.

III

Мельбурн, 25 января 1950 г.

Кичо, друг, старая перечница!

В конце концов, если письма пишутся, то они и доходят. Дошло и твое довольно запоздалое письмо, свинья ты этакая! Выходит, ты жив, здоров, до родины добрался. Хотя и с пустым карманом. Ну, ничего! Была бы работа...

Мы тебя частенько вспоминали и понять не могли, куда ты провалился?!

У нас в Мельбурне все по-прежнему, никаких перемен, жизнь течет так же, как и при тебе. По утрам идем на работу, вечерами возвращаемся в тот же дом, где жили раньше, по воскресеньям иногда ходим на футбол. Андон, Митро и Джим здоровы, и мы все так же живем вместе. Митро всегда, когда мы ходим на стадион, болеет вовсю и так хлопает своим любимцам, что до конца игры все мозоли с ладоней посрывает. Назавтра они у него опять появляются, по милости Билла. На работе у нас все по-прежнему. Все так же помогаем «нашему дорогому Биллу» округлять животик и свой счет в банке. Тот и другой с нашей помощью растут и процветают, чтоб этому Биллу ни дна ни покрышки!.. Молодец ты, Кичо, что вырвался отсюда. Не все вышло гладко, но бывает и хуже. В моей личной жизни произошли изменения. Я женился, Джим тоже. Он взял одну голландку двухметрового роста, работницу, тоже со стройки Билла, но ты ее не знаешь: она только год как приехала. Раньше она батрачила на большой ферме, которая недавно разорилась. Я взял дочь Марка из Сотиры. Может быть, ты знаешь его, Кичо? Он давно работает на верфи, семья у них небогатая, как и наша. Люди знакомые.

Это я сделал не без цели. Женись я на какой-нибудь местной девушке, пришлось бы пускать глубокие корни на австралийской земле. А я не хочу этого, хотя годы идут и постепенно мы старимся вдали от родины. Но надежда вернуться в один прекрасный день в свою страну, на свою дорогую родную землю нас все же не покидает.

Ну, Кичо Фани, скажу тебе прямо: и меня, и других товарищей расстроила история с твоей женой. Беда случилась, чистая беда! Ясно, что ни ты, ни она тут не виноваты. Виноваты те, кто нас заставил уехать в эту

ссылку. Смотри, смотри, что я написал! Хотел написать «в эмиграцию», но не буду исправлять. Так вернее — эта эмиграция не лучше ссылки!

Ты спрашиваешь нашего мнения и совета. Мы — твои товарищи, а совет тебе действительно нужен: переехал ты моря и океаны, пережил много в пути, потратил последние сбережения, добытые потом и кровью, чтоб найти покой и счастье в семье, с женой, а приехал к разбитому корыту. Кто другой, может быть, не очень бы беспокоился, но ты, Кичо, как я понял из твоего письма, ничуть не изменился. Читал я твое письмо и вспоминал, как ты, бывало, показывал нам фотографию жены всякий раз, едва разговор зайдет о родной деревне. Всегда ты смотрел на эту маленькую фотографию так, словно видел ее впервые... Но теперь — как бы ты ни расстраивался — это дело кончено. Представь, Кичо, что она умерла. Ну, что бы ты сделал в таком случае? Скажу тебе без обиняков мое мнение — женись, пока не поздно. Найди там у вас на стройке хорошую работницу и создавай свое гнездышко. Не делают ли так и ласточки, когда возвращаются и находят свои гнезда разрушенными?

Очень внимательно прочитали мы все, что ты пишешь о тамошнем положении.

С того дня, как пришло твое письмо, клянусь тебе, я стал серьезно подумывать, как бы возвратиться поскорее. Все, что ты нам пишешь, очень похоже на рассказы Джима. Разница в том, что он все это узнал из книг и газет, а ты увидел своими глазами.

Твое письмо я прочитал Джиму и хорошенько объяснил на его языке. Он закурил трубку, заглянул мне в глаза, подмигнул и попросил: «Ну-ка, прочитай еще разок, что пишет Кичо о хозяевах!»

Я ему все опять перевел. Поднялся он, такой высокий, как колонна, взял твое письмо в руки, как будто хотел сам разобраться, и радостно воскликнул: «Ол райт! Ол райт! Не говорил ли я вам? Кичо во всем прав. Так и в России. И ты напиши Кичо, что я ему завидую. Он пришел на все готовое, а нам еще нужно бороться...» Потом он помолчал, видно обдумывал что-то, и вдруг объявил: «А это письмо мы переведем и напечатаем в газете, чтобы узнали об этом и другие».

После твоего отъезда, Кичо, мы с Джимом еще больше подружились. Мы и раньше знали, что он желает нам добра. Он всегда защищал нас, но сейчас мы лучше понимаем его слова и больше к ним прислушиваемся. Он нам как старший брат. Джим на редкость справедливый парень и на все готов ради товарищей. Месяцев семь-восемь назад была целая история. Его решили уволить, потому что мы устроили забастовку, требовали повышения заработной платы, а Джим был во главе. Но мы его не оставили в беде; все рабочие стройки поднялись как один и заявили, что сразу же бросят работу, если только тронут Джима. Мы за него всей душой, потому что он стоит за всех. Ему все равно — англичанин ты или итальянец, албанец или грек, достаточно того, что ты рабочий. За то и ненавидит его Билл! Он всегда его терпеть не мог, а сейчас даже одного его вида не выносит. Во время забастовки Билл вызвал полицию, и Джима взяли на допрос, но потом отпустили. Затем его еще раз вызывали в полицию, однако ничего предъявить ему не удалось. Счастливый ты, Кичо, что избавился раз и навсегда от всех этих забот.

Что тебе еще написать, друг? Посылаю одно старое-престарое письмо. Оно пришло вскоре после твоего отъезда. Судя по почерку, письмо это от твоей бывшей жены. Его нам переслали товарищи из Сиднея; она, конечно, писала на твой прежний адрес. Я хранил этот конверт, ожидая вестей от тебя. Когда пришло твое письмо и узнал я о конце всей твоей истории, решил было разорвать его, но потом подумал о твоем характере и вот пересылаю тебе, как последнее письмо от нее. Похоже, оно будет тебе дорого как память...

Ждем от тебя еще вестей, да поподробнее. Сегодня утром, когда мы шли на работу, Джим попросил передать тебе, чтобы ты написал побольше о тамошней жизни.

Привет от всех наших товарищей. Не унывай! Все раны, как бы глубоки они ни были, заживают со временем.

Привет!
Алеко Дзинго.

IV

Тирана, 2 марта 1950 г.

Авьеро!

Вот уже третье письмо пишу я тебе после возвращения с чужбины. До тебя, конечно, дошли слухи, что я опять хожу по родной земле. Сразу по приезде узнал, что случилось с тобой, со всей нашей семьей. Тогда я взял перо и написал тебе. Не буду врать: первое письмо было совсем не таким, как нужно. Я был слишком ошеломлен и зол. Но, к счастью, вовремя спохватился и первого письма так тебе и не отослал. Еще несколько раз порывался написать — и опять откладывал. Наконец, немного успокоившись, написал второе письмо, но и его я не отправил.

Когда я взялся за это, третье, то злости у меня, Авьеро, уже не было. Наоборот, теперь я боюсь, что стану невольной причиной раздоров и ссор у вас в доме. Можешь спросить: зачем все-таки я пишу? Зачем я нарушаю твой покой, хотя бы на миг? Да потому, что ты должна знать, где я пропадал все эти годы. Конечно, будь наши отношения прежними, я бы самым подробным образом рассказал тебе о своей жизни на чужбине день за днем. А сейчас очень коротко расскажу о том, что тебе, думаю, нужно знать.

Из Австралии мне удалось выехать два с лишним года назад. До этого с самого окончания войны нас кормили обещаниями, что не сегодня-завтра положение улучшится и можно будет свободно ехать домой. Однако время шло, я тосковал по дому, и когда понял, что жду напрасно, решил ехать наобум.

«Хоть пешком идти,— рассуждал я сам с собою,— все-таки рано или поздно придешь на родную землю. Иначе, чего доброго, состаришься, ожидая. Буду идти и днем и ночью, без устали, пока не доберусь до порога своего дома и не встречусь с семьей».

Но пешком из Австралии в Европу не придешь. Приехал я в Египет, рассчитывая, что оттуда легче пробираться дальше,— а мне не дают разрешения продолжать путь. Бродил по улицам Александрии, и утекали те немногие денежки, какие заработал своим потом и кровью на чужбине.

Встретил односельчан, таких же эмигрантов, как и я. Они посоветовали двинуться во Францию, будто там можно выправить документы. А другие уверяли, что там нет никакой надежды, и подбивали вернуться в Австралию. Но я лучше бы руки на себя наложил, чем вернулся в ненавистную Австралию. Все-таки надежды не потерял, сел в один прекрасный день на пароход и отправился во Францию. Здесь новые препятствия, а сбережения были на исходе. Но денег мне уже было не жалко, хотя именно из-за них, проклятых, пустился я в долгий путь на чужбину. После долгой волокиты выправил я, наконец, паспорт. На следующий же день уехал из Парижа в Румынию и оттуда первым пароходом в Дуррес. Была ночь, когда мы сошли с парохода. Я нагнулся и поцеловал родную землю.

«Ну, теперь кончились мои страдания!» — думал я, и мне казалось, что я помолодел лет на двадцать, будто сбросил в море все заботы. Но от своих односельчан я узнал, что случилось. Сказать тебе правду? Вначале я пришел в такую ярость, что даже возненавидел тебя.

Сколько я перенес за эти двенадцать лет! И сколько раз представлял себе день нашей встречи! Никогда я не забывал тебя, никогда не расставался с твоей фотографией. Знаешь, однажды, когда я работал на стройке десятиэтажного дома в большом австралийском городе и мы уже укладывали последний этаж, поглядел я вокруг: высокие дома, внизу по улицам туда-сюда снуют всевозможные машины, а дальше, за чертой города, расстилаются широкие поля, похожие на бескрайнее зеленое море. И так мне стало тоскливо: «До чего же далеко я от родины, от своих близких!» Бросил я работу, прислонился к стене, которую только что сложил своими руками, присел на груду досок. Вынул свой бумажник и взял в руки твою фотографию. Смотрел я на нее не знаю сколько времени. Эта была фотография, на которой ты снята в нашем дворе, около виноградной лозы, за несколько дней до моего отъезда.

Можно ли все это забыть? Можно ли выкинуть из сердца? Нет, Авьеро, нет! Вот и сейчас, когда мы разлучены навеки, я все же не могу не писать тебе о том, что переполняет мое сердце! Мне сейчас так же тяжело, как в тот далекий час, когда расставался я с тобой и со своей несчастной матерью. Авьеро, Авьеро, помнишь ли, как ты твердила своей матери, когда она не соглашалась на нашу помолвку: «Или выйду замуж за Кичо, или останусь старой девой!» Неужели ты позабыла об этом?

Впрочем, ты ни в чем не виновата. Ты честно ждала меня почти двенадцать лет. Об этом мне все говорят. Я даже вообразить не могу, как ты управлялась с домашними делами одна, без малейшей помощи с моей стороны.

Но и за собой я не чувствую вины, Авьеро. Мог ли я не уезжать тогда на чужбину? Если бы ты знала, какой тяжелый камень лежит у меня на сердце с тех пор. А все, что случилось за последнее время, и вовсе растравило мне душу. Но кто же сможет мне помочь? Кто снимет этот камень?

Кто должен отвечать за наши разбитые жизни? Ни ты, ни я — никто в отдельности не виноват. Я теперь хорошо разобрался, где истина. Да и ты, Авьеро, уже не слепая. Это ясно мне из твоего последнего письма. Не удивляйся, что я недавно получил письмо от тебя. Это давнишнее письмо. Недели две назад я получил письмо из Австралии от Алеко Дзинго. Ты, наверно, помнишь его; он из нашей деревни — сын Яна Дзинго. В одном конверте со своим письмом он мне прислал и твое, от 21 сентября 1947 года. Это письмо обошло весь свет и через три года попало в мои руки. Теперь мне ясно, что никаких вестей ты от меня после войны не получала. А я писал. И перед выездом из Австралии я снова писал тебе. Но когда выехал, решил: лучше приеду неожиданно. Будет больше радости. Знаешь, Авьеро, минутами я терял всякую надежду добраться до дому. Ведь два года ожидал я дня отъезда. Только из Парижа, когда выправил все документы, дал тебе телеграмму на адрес Тэрихата, но было уже слишком поздно...

Авьеро, Авьеро, читал и перечитывал твое письмо, пересланное мне Алеко Дзинго, и плакал, как ребенок. Будь у меня даже каменное сердце, оно все равно бы дрогнуло от этих воспоминаний. Знай, что и я не забыл прошлого и не мог не написать тебе последнего письма.

Жизнь заставила нас изменить тот путь, который мы начинали вместе, полные надежд и веры в будущее. Что ж, устраивай свою жизнь, как тебе будет лучше, в новом доме и в новой семье. Я ничего от тебя не требую, только хочу слышать, что ты жива, здорова и счастлива.

Прости, что я написал так длинно. Я и сам не ожидал, что так получится. Но, очевидно, когда хочешь высказать все, что лежит на сердце, коротко не получается!

А ведь у меня к тебе есть еще одно дело, Авьеро, но не знаю, как и приступить к нему. Пять лет назад, когда кончилась война, люди как буд-

то вновь ожили. Даже там, в Австралии, где войны и не нюхали, все ликовали. Мы, рабочие, побросали работу, никого не спрашиваясь, вышли на улицу и громко, в полный голос пели. В обед мы собрались в комнате у Алеко Дзинго, все наши из деревни, чтобы провести вместе этот праздничный счастливый день. Как сейчас помню, ни о чем другом не говорили, кроме как о возвращении по домам. Все строили планы новой жизни, которую вот-вот начнем. К вечеру я вышел в город и купил одну вещь для тебя. Это — шелк на платье. Из самых лучших шелков, что там были. Мне казалось, что он должен очень тебе понравиться. Куда бы меня ни заносило во время моих двухлетних скитаний, этот отрез я хранил, как самую дорогую вещь. Отрез этот твой. Для тебя я его купил и для тебя я его столько времени берегу. Он твой. Но я не знаю, примешь ли ты его. Об этом ты извести меня с какой-нибудь оказией. Только да или нет. Хорошо? А работаю я в Тиране, там, где строится текстильный комбинат.

Письмо это придет к тебе не по почте. Не хочу я, чтобы у тебя вышли какие-нибудь неприятности с мужем. Я пошлю его в Хаскову на имя моей двоюродной сестры Эвдоксии, а она передаст тебе прямо в руки. И еще об одном я прошу тебя, Авьеро. Если будет ехать кто из знакомых сюда, извести меня, в каком месте похоронила ты нашу Леночку и каковы приметы ее могилки. Я понимаю, что мы не должны встречаться и переписываться, но это одолжение ты можешь сделать. Хочу я как-нибудь съездить в Тэрихат только для того, чтобы пойти к ее маленькой могилке и поплакать там, как плакала ты когда-то.

Кончаю и желаю тебе всего хорошего.

Кичо Фани.

V

Дервичан, 9 марта 1950 г.

Дорогой мой Кичо! Кичо, Кичо милый!

Твое письмо, которое принесла Эвдоксия, ворвалось в мою жизнь, как бомба. Не помню, как вскрыла, не помню, как прочитала первый раз, потом еще и еще раз подряд для верности, и только тут поняла, что это не сон. Узнала твою руку, и вдруг мне показалось, будто ты рядом со мной. Плакала и плакала сама не знаю сколько. Я ведь тебя считала погибшим, я панихиду по тебе отслужила, а ты вдруг тут! Ах, Кичо, почему я узнала об этом так поздно? Ты уже столько времени здесь, а никто ни словечка не сказал мне! Ты ведь знаешь наши обычаи. Шушукались меж собой, а мне ни гугу! Но все-таки я замечала, когда ходила к источнику за водой, женщины смотрели на меня с каким-то особым любопытством и тотчас, едва я приближалась, переводили разговор на другое. Однажды, на мельнице, они говорили что-то обо мне, но как увидели меня в дверях, сразу замолчали, виновато переглядываясь. Чего я только не передумала! Но мне и в голову не могло прийти, что это ты приехал... Они это знали, а я — я! — не знала ничего.

Вот почему я так растерялась, увидев твое письмо. Сначала я поняла только одно: ты жив! Ты жив, невредим и где-то близко от меня! От счастья мне на месте не сиделось. Если бы у меня были крылья, я бы сразу прилетела к тебе, в ту же минуту! Одно я знала твердо: ждать больше не могу!

Эвдоксия даже удивилась, глядя на меня. А я не помню, что ей говорила, сколько времени мы провели вместе.

Ночью я глаз не сомкнула — все думала о своей странной судьбе. В самом деле, женщин, потерявших мужей, немало было и раньше; еще

больше стало их во время войны. Но чтоб так, как у меня — жена ждет мужа более десяти лет, потом оплакивает его как мертвого, и вдруг он возвращается, а она уже замужем за другим,— таких случаев я не слыхивала. Даже в наших песнях про такое не поется! Об этом я и думала всю ночь напролет, не смея даже всплакнуть для облегчения. Если бы муж услышал и спросил: «Почему ты плачешь?» — что бы я ему ответила?!

Едва рассвело, я вскочила с кровати, как будто по хозяйству, и даже не одевшись как следует, вынула твое письмо из укромного местечка, куда припрятала ночью. Вынула и убежала в сарай. Развернула и начала читать с самого начала, как будто в первый раз. Только тут я поняла, что ты совсем примирился с нашей судьбой! «Что случилось, то случилось!» — считаешь ты. На этом, мол, и кончается наша история. И любовь наша, значит, тоже на этом кончилась? Так ты мне пишешь?!

Ах, Кичо! Как ты мог написать такие слова? Как тебе сердце позволило это сделать? Как рука не задрожала, как перо не выпало? Разве ты уже не прежний Кичо, который мне по два раза в день, утром и вечером, клятвы давал, что любовь наша нерушима. Неужели чужбина проклятая настолько тебя изменила, раз ты пишешь, что мы больше никогда не встретимся. Что стало с твоей любовью, куда она делась?!

Так думала я, перечитывая письмо в сарае. Но потом опомнилась: а я, что сделала я с моей любовью, если решилась выйти замуж за другого? Выходит, это я виновата? Зачем мне было выходить замуж? Терпела почти двенадцать лет, ждала тебя чуть не целую жизнь — и в конце концов, когда ты был уже на пути домой, сделала такую ужасную ошибку! Лучше бы нога у меня подвернулась, когда я покидала свой дом.

Если б хоть одно твое письмецо попало мне в руки... Для меня было бы достаточно и строчки. Достаточно было знать, что ты жив,— я бы тебя ждала еще двенадцать лет!

Потом, Кичо, одолели меня люди... Все мои подружки, все родственники, и особенно братья. Каждый твердил: «Выходи замуж!», «Чего ты еще ждешь?» — и начинал доказывать: от Кичо сколько времени нет никаких вестей, а другие пишут, что Кичо давно выехал из Австралии. Где он пропадает столько времени?! Наверняка с ним что-нибудь случилось. «Помолись за упокой его души,— советовали братья,— да и устраивай свою жизнь, пока не поздно». Вот как меня настраивали люди, и вот как решилась я на это второе замужество! Потому что, Кичо, замужество замужеству рознь. Хорошо жить женщине с любимым мужем, но нет ничего тяжелее и хуже, чем быть женой человека, который остался тебе чужим и ни капли не согревает сердца. Такая жизнь — непрестанная мука! Я испытала это на себе, поверь мне, мой Кичо! Поверь и пойми, что вышла я замуж вторично только для того, чтоб было где в старости голову приклонить. Это чистая правда, Кичо. Положа руку на сердце говорю тебе!

Но как же мне быть теперь? Как поступить?

Я решила бы сразу, если бы это зависело от меня одной. Но твое письмо, Кичо, словно подрезает мне крылья. Разве могу я лететь к тебе, если ты сам мне ни малейшей надежды не оставляешь.

Со дня панихиды, что отслужила я по тебе (живому — подумать только!), ношу я черное платье в знак траура. Что делать мне теперь — снять его или сшить еще такое же?..

Сердце мое велит, чтоб, не считаясь ни с чем, завтра же утром помчаться к тебе, и будем мы с тобой вместе, как всегда мечтали. Но ты ведь пишешь иначе! Что же мне делать?

Теперь у меня оказалось два мужа. Одного я люблю, как раньше — нет, в десять раз больше, чем раньше. Со вторым повенчана по закону, но

этого мужа не люблю, не ненавижу. Но, если останусь в его доме, боюсь — начну ненавидеть, хотя он ни в чем не виноват. Зачем же доводить до ненависти? Разве я могу жить с человеком, не любя его? Нет, Кичо, нет...

Ах, Кичо, милый Кичо, нет мне жизни вдали от тебя. Вот ты спрашиваешь в письме, приму ли я отрез на шелковое платье, который ты купил и сохранил для меня во всех твоих странствиях. Но на что мне этот шелк без тебя? Я сердце хочу твое, Кичо, сердце твое хочу и ничего другого. А что до моего сердца, то я его тебе давным-давно отдала там, в наших полях. Могу повторить: бери и делай с ним, что хочешь, оно твое. Ты даже не подумал об этом? Почему, Кичо? Сплетен испугался или разлюбил меня? Конечно, если б я решила оставить моего нового мужа и вернуться к тебе, то все мужчины и женщины, от мала до велика, начали бы болтать и судачить о нас. По домам и на улицах деревни, на полях и в церкви — всюду судачили бы! И, конечно, все шишки сыпались бы на мою бедную голову! «Не дождалась каких-то нескольких месяцев,— говорили бы они,— и вышла замуж за другого. Уж не могла потерпеть и подождать, как ждут порядочные жены!» Другие добавляли бы: «Ну, ладно. Дело сделано. Захотела мужа и нашла. А сейчас? Бросила мужа законного, с которым под венец шла, и опять сошлась с первым? Это разве дело? Где слыханы такие вещи здесь, у нас?»

Кто знает, сколько еще всяких обидных слов будет брошено мне в лицо. Если ты тревожишься только об этом, Кичо, послушай и мое мнение.

Будут меня обвинять? Сплетни пойдут? Ладно! Неужели из-за всяких пересудов надо ломать жизнь? Да пусть соберутся все женщины и мужчины нашей деревни, изо всех деревень Дропула! Пусть они говорят, что им захочется и сколько захочется! Пусть они говорят целый день! Я все выслушаю без капли страха. А потом им отвечу. И они, как услышат мои слова, скажут, я уверена: «Правильно, Авьеро, правильно. Поезжай скорее и будь вместе с тем, кого любишь. Он твой муж. Чего ты еще ждешь?»

Они обязательно так скажут, Кичо. Не сомневайся!

Никогда мне в голову не могло прийти, Кичо, что будут такие бури в моей жизни. Никогда я не думала, что в моей жизни все так может запутаться. Ох, если бы ты знал, как болит мое сердце.

О сердце женщины прежде мало думали. Я — простая крестьянка. Из деревень Дропула никогда и никуда я не выезжала. Но, насколько привелось слышать и видеть, многое теперь изменилось. Все стало не так, как раньше. И сама я изменилась от забот и от переживаний. Теперь и мы, женщины, имеем право жить, как велит сердце. А раз имеем право — я и поступлю, как велит сердце. И будь что будет!

Пусть хоть конец света, пусть земля перевернется и придавит меня — я найду силы выбраться и прийти к тебе, обнять тебя хоть разок! Недаром ждала я этого часа долгие годы, недаром рвался ты к родному дому — будет и у нас с тобой свое гнездо.

Хватит разговоров и писем. Я бы уж завтра утром вышла на дорогу в Гьирокастру, села бы на попутную машину и вечером была бы у тебя. Какое бы это было счастье!.. Но я не хочу убегать тайком, как воровка. Я открыто поговорю с моим мужем. Я скажу ему все как есть и добьюсь, чтобы он дал мне возможность свободно уехать. Объясню, что случилась большая ошибка, которую необходимо исправить, и, думаю, он согласится. Может быть, не сразу, не в первую минуту, но согласится. Он неплохой человек, Кичо, сердце у него доброе. Конечно, может выйти задержка, пока не устрою все как следует. Но обещаю тебе торопиться изо всех сил, минутки лишней не потрачу.

А вдруг ты не примешь меня, Кичо? Вдруг отошлешь обратно, скажешь, что я теперь уже не хороша для тебя, раз стала женой другого?

Что я буду делать тогда?! Оказаться одной, на улице, так далеко от своего дома? Вот это действительно будет ужасно! Никогда я об этом не думала. Ах, Кичо, Кичо, мне кажется, что я стою на берегу глубокой и мутной реки и что-то толкает меня в самую стремнину!

Все равно я не отступлюсь. Решение принято, я еду.

Да ты и не отошлешь меня никуда, дорогой Кичо! Нет, не отошлешь, потому что в твоем письме есть несколько слов, таких нежных и хороших — как те, что ты нашептывал мне, бывало, когда мы тайком встречались в лугах.

А если я ошиблась, если случится невероятное, и ты откажешься от меня — я все равно не вернусь обратно. Поступлю куда-нибудь на работу и буду жить на свой заработок. Я не боюсь работы, как и ты. Раз в день, когда ты идешь на стройку или возвращаешься оттуда, я буду украдкой видеть тебя. Да, Кичо, лучше мне жить совсем одиноко, но знать, что есть в мире человек, которого я люблю.

Я не знаю даже, что понаписала сейчас. Все от волнения. Но не важно письмо — важно то, что я решила. Я отправлю письмо сегодня же, не изменяя ни слова. Быть может, оно прибудет к тебе позже, чем я сама, потому что решение мое окончательно и твердо. Больше всего мне хочется выехать сию же минуту, ни на мгновение не задерживаясь. Сердце не выдерживает больше! Оно терпело годы, а теперь и дни кажутся бесконечными.

Я еду, Кичо, еду, любимый, я еду к тебе, жди меня!

Только схожу, проведаю Леночкину могилку. Очищу от сорной травы, уберу, украшу, присяду рядышком и скажу ей, девочке моей: «Лена, Лена, послушай меня, доченька. Приехал наш папа и ждет меня». Что же мне делать потом? Уйду скрепя сердце, вернусь в деревню, попрошу прощения у несчастливого нового мужа — и поеду к тебе, к тебе! Дух захватывает от этой мысли!

Ты первая и последняя любовь моей жизни, Кичо! Жди меня, жди!

Целую тебя, любимый,
твоя Авьерин.

Бела Кун

Шандор Петефи — поэт мировой свободы

Величайший венгерский поэт Шандор Петефи жил неполных двадцать семь лет. Из них около семи он посвятил поэзии и за эти годы завоевал себе бессмертие.

Родился Петефи 1 января 1823 года — и 31 июля 1849 года пал в битве против захватнических войск русского царя. Место рождения поэта — деревушка на необозримых степных просторах венгерского Альфёльда. И отец и мать Петефи были по происхождению славяне, но уже их предки постепенно мадьяризировались.

В ту пору, когда родился Петефи, крепостничество в Венгрии было еще незыблемо, но основы феодального хозяйства и сословного общества уже расшатывались капиталистическим развитием. Страна медленно шла к капитализму, к буржуазному строю. Однако на пути развития крупной промышленности стояли не только препоны феодального хозяйства, но политическая и экономическая зависимость от Австрии. Денежная и кредитная системы сосредоточились большей частью в австрийских руках. Городская буржуазия была слаба. Из всех отраслей экономики наиболее развитой была торговля, но и она с большим трудом содействовала образованию национального капитала.

И все-таки капитализм, хотя и медленно, но верно, разлагал феодальный сословный строй. Среди *многочисленного дворянского сословия* (в Венгрии каждый двадцатый человек был дворянином) уже произошло классовое расслоение. *Венгерские аристократы-землевладельцы* в преобладающем большинстве, по словам Энгельса, «все больше и больше превращаются в оптовых торговцев зерном, шерстью и скотом, и их выступления в сейме носят последовательно буржуазный характер»*. Интересы этой капитализирующейся прослойки *крупных землевладельцев* пришли в противоречие с интересами той части аристократии, хозяйство которой еще не встало или только едва вступало на путь капиталистического развития. Богатейшие феодалы-*магнаты*, объединившись с представителями европейской реакции того времени, с правившим в Венгрии австрийским Габсбургским домом, старались ограничить или вовсе не допустить развитие капитализма в Венгрии.

Большая часть *среднепоместного дворянства* уже обеднела к этому времени, а иные и вовсе утратили свои поместья. Многие устроились в комитатских самоуправлениях — и это было для них уже не только почетным званием, но службой и источником существования. Те из разорившихся среднепоместных дворян, которым не досталось места в комитатах, вынуждены были отправиться на поиски какой-нибудь свободной профессии в городах. Но на их пути встало медленное развитие капиталистического хозяйства, ограниченного рамками феодализма, который поддерживался габсбургской реакцией. Ввиду неразвитости, слабости капитализма и городской буржуазии борьбу против феодализма и габсбургской реакции возглавила все ближе смыкавшаяся с буржуазией, а впоследствии и вовсе обуржуазившаяся *дворянская интеллигенция*. Она-то и начала расчищать дорогу капитализму и бороться за завоевание венгерской национальной независимости и государственной самостоятельности.

Мелкопоместное дворянство (а преобладающая часть дворянства принадлежала именно к этой прослойке) постепенно лишалось своих поместий. Жизненный уровень его стал не выше, чем у крепостных крестьян. Ему почти ничего не удалось удержать даже из сословных привилегий. Из этого, так называемого, «лапотного дворянства» и вышел низший слой городской интеллигенции, материальные условия жизни которого были нисколько не лучше, чем у мелкой буржуазии, а подчас даже хуже.

Предлагаемая вниманию читателей статья замечательного венгерского революционера Бела Куна была написана в 1937 году и опубликована в журнале «Кортараш» («Современник») №№ 3 и 4 за 1957 год.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. V, стр. 247.

Кое-кто из *крепостных крестьян* — а ведь они и составляли большинство феодального общества — начали освобождаться от помещичьей зависимости путем выкупа, приумножая таким образом число *свободных крестьян,* которые, в свою очередь, были пионерами капитализации сельского хозяйства.

Значительная часть крепостных пауперизировалась. Многие из них разделили участь безземельных *полупролетариев,* батраков, которые уже издавна обосновались вокруг латифундий. Эти многочисленные крестьяне, безземельные или обладавшие только приусадебными участками, не могли получить землю вследствие связанности феодальной системы землевладения, а также неотчуждаемости помещичьих усадеб и крепостных наделов. Идти же по второму пути, по пути превращения в свободных промышленных рабочих, им препятствовало медленное развитие промышленности.

Наряду с объединенным в цехи *ремесленным* и торговым бюргерством создавалась стоявшая вне цехов капиталистическая торговая и *ремесленная* прослойка. Она хоть и была еще узкой, но удельный вес ее в экономике все больше возрастал. Обогащению этой прослойки препятствовало не только привилегированное положение цехов и право дворянства не платить налоги, но и ограниченность внутреннего рынка, развитию которого мешали неотчуждаемость помещичьих владений и крепостническая система хозяйства.

В больших и малых городах скапливались мелкие ремесленники и торговцы, которых не принимали в цехи, на которых не распространялись цеховые привилегии. Эти бедные, бесправные, отвергнутые цехами ремесленники, работавшие, большей частью, без подмастерьев, торговцы, странствующие кустари и коробейники были все вместе выброшены за борт феодального сословного общества. Число таких людей, оказавшихся вне сословного строя, росло не только за счет крепостных крестьян, бежавших в город от помещичьей зависимости, но и за счет деклассированных мелкопоместных дворян. В одном ряду с ними стояли и мастеровые, занятые кустарным промыслом, а также люди, выполнявшие различные работы при барских домах, но не принадлежавшие к челяди. Превратности судьбы заставили прибиться к ним и представителей самых низших слоев интеллигенции, людей свободной профессии, вышедших из крестьян, и часть бедного студенчества.

До *образования пролетариата* эта прослойка и составляла «низы общества». Для людей из «низов» не нашлось места ни в одном из сословий феодального строя. Они не были крепостными и не входили в цехи в качестве подмастерьев. Крепостное крестьянство, хотя и не оберегалось «окопами конституции», тем не менее входило в состав феодального общества как misere plebs contribuens (жалкий плебс, платящий налоги). «Низы общества» даже налогов не платили и не входили ни в одно из сложившихся и законно существовавших иерархических сословий феодального общества. Они не могли утешить себя даже жалкой надеждой цеховых подмастерьев: хоть когда-нибудь выйти в цеховые мастера. Немало было в этой прослойке и люмпен-пролетариев.

Все эти элементы и называл Энгельс «Vorproletariat» — буквально предпролетариатом, предшественником пролетариата. Историки никогда не обращали внимания на эту прослойку. А ведь Энгельс считал, что до образования пролетариата эти массы людей играли зачастую весьма значительную роль в общественной борьбе. Критикуя в одном из писем труд Каутского о французской революции, Энгельс чрезвычайно решительно указал на роль «Vorproletariat» в революционных битвах Франции 1789 года, особенно в восстании парижских предместий, и поставил перед историками в качестве одной из важнейших задач исследование развития и роли предпролетариата. Энгельс четко отделил эту прослойку, стоявшую вне рамок феодализма, от мелкой буржуазии, так же как и Ленин отделял от мелкой буржуазии «городской плебс». Исследуя борьбу, предшествовавшую революции 1848 года, а также периода самой революции, мы обязаны воздать должное предпролетариату тем более, что в Венгрии той поры, ввиду неразвитости промышленного капитала, буржуазия, цеховые подмастерья и особенно крупнопромышленный пролетариат были весьма малочисленны и вряд ли, даже вместе взятые, могли составить ту массу, которая поддерживала Петефи с его единомышленниками и осуществила революцию.

И по происхождению, и по жизненной судьбе Шандор Петефи был представителем этого предпролетариата.

Отец Петефи был вначале подручным мясника, потом арендатором сельской мясной лавки и сельской корчмы; мать жила в прислугах в Пеште на улице Кирай. Родители Петефи не были ни господами, ни крестьянами, ни пролетариями, они не принадлежали и к бюргерскому сословию. Возможно, что предки отца Петефи были некогда мелкопоместными дворянами, но на долю подручного мясника, а затем арендатора корчмы уже ничего не досталось, даже из остатков дворянских привилегий; из цеховых привилегий он тоже ничего не получил. В рамках сословного строя у родителей Петефи не было никакого юридически обоснованного «общественного положения». Существование их тоже было нищенским. Они пытались, правда, выкарабкаться из него, усердным трудом сколотили себе кое-какое состояние, но и оно вскоре уплыло.

Сам Петефи не стал даже прибегать к отцовским экспериментам. Он начал было учиться, да бросил среднюю школу — сошел с «пути истинного», который ведет от нищенской доли к «общественному положению», к «порядочной» буржуазной жизни, к возвышению. «Бродягой я родился,

бродяжить — мой закон!» — писал Петефи. И когда он бросил на время бродяжий посох, «который мог бы и за посох нищего сойти», он жаловался:

Но, правда, рок жестокий
Глумится надо мной.
Привязан к месту службы,
Я чахну, как больной,
Но скоро я, надеюсь,
Дождусь иных времен.
Бродягой я родился,
Бродяжить — мой закон!

Перев. В. Левика.

И это «бродяжничество» вовсе не было проявлением «неукротимого нрава» и «душевной экзальтации», как утверждали биографы Петефи, буржуазные и мелкобуржуазные критики. «Бродяжничество» Петефи было следствием его неустойчивого положения в *обществе* и соответственных этому социальных связей. О них не раз упоминает Петефи, описывая свои скитания:

Вот странник подмастерье взял стакан.
Вот шайка жуликов и атаман.
Вот с бородой, в очках торгаш-еврей.
Вот медник-серб с товаром у дверей,
А вот недоучившийся студент
С красавицей шинкаркой в вихре лент.

Перев. Б. Пастернака.

Петефи обошел пешком (в полном смысле этого слова) половину Венгрии. Не страсть к туризму гнала Петефи по пыльным, грязным или обледенелым дорогам, а безденежье заставляло его шагать со свинцовым грузом нужды на ногах. И люди, стоявшие вне сословного строя, которых Петефи столько раз поминал в стихах о своих скитаниях, эти люди обычно были его попутчиками, его компанией в корчмах.

Снова и снова он прерывал учение, но при этом ухитрился изучить латынь, немецкий, французский и английский языки, так что в юности читал Горация в оригинале, а позднее переводил на венгерский язык Шекспира, Беранже и Шелли. Он добровольно пошел в солдаты, хотя в Венгрии в мирное время «порядочные» люди не служили в армии, если только их случайно не зааркан ивали вместе с крепостными парнями. В солдатчине Петефи, по собственному его выражению, «дослужился до рядового», хотя по уровню культуры с ним не мог сравниться ни один из офицеров, и не дезертировал он только потому, что его выгнали по болезни. Пытал он счастье и в другой, по тем временам тоже презираемой профессии: трижды становился странствующим актером. И в то же время вынужденный заниматься перепиской чужих рукописей, переводом романов и новелл, чтобы хоть как-нибудь заработать себе на жизнь, он постоянно писал стихи.

Иногда он неделями и даже месяцами «гостил» у своих друзей и знакомых. Во время этих странствий он влюблялся в провинциальных дворянских барышень, писал им стишки в альбом, предлагал руку и сердце и неизменно получал отказы то от родителей, то от дочерей. Да и как же было не отказать бродяге-поэту, у которого и жизнь была неустроена, да и положения не было никакого.

По сравнению с бродячим поэтом даже презренный бродячий актер жил куда более сносно и занимал более высокое положение в обществе. «Быть поэтом значило быть никем, — писал современник, друг и впоследствии биограф Петефи, крупный венгерский романист Мор Йокаи.— Кто даст пристанище, кто накормит в долг бродячего поэта? Бродячий актер — это уже кое-что! Ему и кредит можно открыть».

Только позднее, когда Петефи «сделал карьеру», завоевал признание и прославился на всю страну, только тогда удостоился он должности помощника редактора в одном журнале мод. Журнал этот, помещая модные картинки, пробивал дорогу изящной словесности к «прекраснодушным девам отчизны».

Даже критики того времени вынуждены были признать Петефи. Правда, приспособлявшиеся к дворянскому вкусу литературные ничтожества до конца считали его поэзию «низменной» и «грубой». Петефи не позволил современникам довести себя до участи «непризнанного гения», и все-таки, кроме нескольких недель или месяцев, он до самой смерти жил в нужде, а властители общественного мнения именовали его бродягой и в то время, когда уже не в силах были сдержать всеобщего признания его поэзии.

Только много лет спустя после смерти Петефи появились попытки со стороны официальных историков литературы «отмыть добела» этого «бродягу». Но Петефи и после смерти не позволил себя «отлакировать». Как ни старались, как ни скоблили и терли, сколько ни пытались сделать его приемлемым, выбрасывая из его сборников революционные стихи,— ничто не помогало. У Петефи были не только революционные *стихи* — вся его *поэзия* была революционной.

Тщетно стремились эти историки литературы обкорнать социальные корни революционности поэта. Большинство биографов Петефи пытались свести революционность его поэзии к «эксцентричности» характера поэта, к безудержности темперамента и к душевной экзальтации. Но эти попытки тоже ни к чему не привели.

Петефи сам написал в своих стихах, что первые, тончайшие корни его революционности уходят в почву его происхождения и общественного положения. А происхождение его не назовешь ни крестьянским, ни буржуазным, ни мелкобуржуазным, ни пролетарским; содержание же и сущность его общественного положения нельзя определить и охарактеризовать правильно ничем, кроме энгельсовского выражения «Vorproletariat» — выражения, которое относилось к самым низам общества, вернее, к прослойке, существовавшей до образования пролетариата, к общественному слою, к которому принадлежал Петефи.

Петефи, «бродягу с большой дороги», рожденного и жившего вне рамок феодального строя, нельзя было втиснуть в какое-нибудь из сословий этого строя.

Это оказалось невозможным даже позже, когда и сословное общество было давным-давно сметено, да и Петефи не было в живых.

Петефи,— как написал о нем Эндре Ади, великий венгерский поэт другой эпохи,— Петефи не примирялся. Он не примирялся при жизни, не примирился и после смерти.

* * *

Отлакировать Петефи не удалось. Тогда попытались соскоблить с него то, что и до нынешнего дня остается для господствующих классов неприемлемым в его поэзии, то есть его якобинство и республиканство, последовательный крайний демократизм, приверженность к социализму и к революционному террору.

Петефи не был только стихийным революционером. Он вступил на путь революции не только благодаря своему происхождению, нищенскому образу жизни и тому, что был выключен из всех сословий крепостнического общества; и не «чрезмерно пылкий темперамент» толкнул его на этот путь, как с добродушной снисходительностью утверждали его биографы. Петефи был не только стихийным противником строя, основанного на эксплуатации крепостного крестьянства и на феодальных ограничениях «свободного» крестьянства и бюргерства. Не только инстинктивно и не только движимый ненавистью, продиктованной его общественным положением, он подсекал секирой своей поэзии два основных устоя современного ему общества: власть крупнопоместных венгерских магнатов и феодальную власть чужеземного австрийско-габсбургского дома.

Петефи был сознательным революционером. Он жадно усваивал революционную идеологию своего времени. В марте 1848 года, три дня спустя после начала революции, он записал у себя в дневнике: «Вот уже многие годы моим единственным чтением, утренней и вечерней молитвой, хлебом насущным стала история французских революций... Каждое слово, каждую букву я начертал в своем сердце, и в нем ожили мертвые знаки,— им, обретшим жизнь, стало тесно. Бушевать и реветь начали они во мне!»

Именно благодаря *сознательной революционности* не приобрел Петефи, несмотря на «бродяжий» образ жизни, никаких черт, свойственных люмпен-пролетариям.

Из идеологии французской революции он усвоил все то, что в ней было наиболее крайним. И не на книге Ламартина «История жирондистов», а на книге якобинца Сен-Жюста написал он собственноручно: «Сокровище Шандора Петефи».

Трудно установить точно все, что он читал, но совершенно несомненно, что он был знаком с трудами тех социалистов-демократов, которые во время революции 1848 года играли во Франции ведущую роль, в том числе и с трудами Луи Блана. Якобинец Петефи стоял, конечно, на более крайних позициях, чем эти мелкобуржуазные социалисты, но в своих взглядах на преобразование общества он пошел гораздо дальше якобинцев Великой французской буржуазной революции, у которых нельзя обнаружить даже следов социализма.

Демократизм Петефи был более крайним, чем демократизм его любимого французского поэта Беранже. Петефи как представитель предпролетариата стоял намного левее Беранже, выражавшего чаяния мелкой городской буржуазии.

Влияние идей домарксовских утопистов и социалистов-демократов выражалось в поэзии Петефи прежде всего в том, что он выступал *не только* против *феодального* угнетения. Петефи ненавидел *всякого рода* угнетение, хотя в исторических законах смен форм угнетения он не умел еще так отчетливо разобраться, как его молодой современник, кельнский редактор Маркс, вместе с которым; как «опаснейший бунтовщик», Петефи упоминается в тайном донесении венской полиции. Петефи восставал *не только* против угнетения венгерского народа. *И не только* борьба за свободу Венгрии воодушевляла его, *не только* за нее он сражался. Петефи восставал *не только* против того угнетения, которое видел *непосредственно,* как это свойственно стихийным революционерам. А где бы ни царило в мире угнетение, он восставал против него, он готов был ринуться против него в бой.

Шандор Петефи, выражавший в поэзии чаяния венгерского предпролетариата, стоявшего за гранью сословного общества, выражавший его бунт и стихийную ненависть к угнетению, стал сознательным революционером-якобинцем. Его коснулся и тот ветер домарксовского утопического и демократического социализма, который на Западе дул уже против капитализма.

Начало формирования политического самосознания Петефи — что у него было совершенно адекватно поэтическому самосознанию, — пало на период борьбы, которая велась в *эпоху реформ.*

Битвы венгерской эпохи реформ начались в то время, когда вслед за поражением Франции, после наполеоновских войн, победил реакционный Священный Союз.

Реакция Священного Союза, самой мрачной фигурой которой, наряду с Александром I, был австрийский император и венгерский король Франц I, а духовным вождем князь Меттерних, позднее канцлер Франца I, эта страшная реакция двойной тяжестью навалилась на Венгрию.

Ведущий политик Священного Союза Меттерних с предельной ясностью сформулировал программу легитимистской реакции в своем завещании императору:

«Владычествуй и ничего не изменяй... Почитай приобретенные в почестях права

и твердо держись тех почестей, которые достойны тебя как государя».

Эта политика была основой того союза, который существовал между австрийским императорским домом и венгерской феодальной аристократией. Австрийский император почитал привилегии венгерской аристократии, венгерские крупные землевладельцы почитали абсолютные права на власть австрийского императорского дома, в которые входило и национальное угнетение Венгрии, и право на ее колониальное угнетение. За это «взаимопочитание» расплачивались венгерские, славянские и румынские крепостные крестьяне, бюргеры и даже мелкопоместные и среднепоместные дворяне. Платили они тем, что были угнетены и экономически, и национально, и в области культуры.

Тот факт, что габсбургская реакция и венгерская феодальная аристократия сознательно заставляли расплачиваться, таким образом, народ за это «взаимопочитание», засвидетельствовал великий английский социалист-утопист Роберт Оуэн. Оуэн, один из величайших гуманистов всех времен, описывая свою беседу с Гентцем, правой рукой канцлера Меттерниха, приводит следующие высказывания Гентца: «Мы вовсе не желаем, чтобы широкие массы стали зажиточны и независимы — иначе как же могли бы мы тогда властвовать над ними».

Против этой-то феодальной габсбургской реакции и началась борьба в эпоху реформ. Борьба эта велась за экономический и социальный прогресс, и за национальную самостоятельность.

Начало борьбы эпохи реформ венгерские историки относят к заседанию Сословного собрания в 1825 году. Кульминационного пункта сражения этого времени достигли в революцию 1848—1849 годов.

Первым выступил против реакции, хотя и с потерявшими остроту и привлекательность лозунгами европейского либерализма, представитель капитализирующегося крупнопоместного дворянства граф Иштван Сечени. Сечени провозглашал в Венгрии ту форму либерализма, которая в Англии выразилась в соглашении между крупнопоместной аристократией и крупной буржуазией. Но в пору выступления Сечени английская крупная буржуазия была уже недовольна тем, что ей приходилось делить власть с новой аристократией. Она не желала больше довольствоваться той долей, которая выпадала ей в руководстве страной, и все решительнее выдвигала требования своей монопольной власти в рамках конституционной монархии. Таким образом, она выступила и против старого либерализма, рассматривая его уже как торизм и консерватизм именно потому, что осуществлением подлинных идей либерализма считала установление своей монопольной власти.

Либерализм Сечени был только переработанным, ухудшенным венгерским вариантом старого английского либерализма. Партия Сечени не желала жертвовать почти ничем из феодальных привилегий, которые обеспечивала ей система крупного феодального землевладения. Она соглашалась принести в жертву ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы «оптовые торговцы зерном, шерстью и скотом», то есть обуржуазившиеся хозяева крупных поместий, добрались до необходимых им капиталов посредством кредитования и аннулирования закона о неотчуждаемости крупных родовых имений. Партия Сечени хотела не ликвидировать, а только «ограничить» крепостничество и лишь постольку, поскольку труд крепостного крестьянина стал уже нерентабельным при развивающихся производственных отношениях капитализирующегося крупного поместья. Осторожно выступал Сечени и против колониального ростовщичества австрийского банка и промышленного капитала, которое тормозило индустриальное развитие Венгрии. «Оптовые торговцы зерном, шерстью и скотом», венгерские магнаты были чуть ли не монополистами на австрийском рынке. Источники их кредита простирались не дальше сейфов венских банкиров. Эти обстоятельства и определяли, в конечном счете, национальную политику капитализирующихся магнатов и их выступления, направленные против абсолютизма Габсбургского дома и австрийского колониального угнетения. Но выступали они так, чтобы не повредить своим интересам. В вопросе конституционного королевства и национальной государственной самостоятельности они удовлетворялись соглашением с австрийским абсолютизмом, не требуя решительного буржуазного парламентарного переустройства, буржуазного равенства в правах, полной государственной самостоятельности. Они не стремились к тому, чтобы превратить Венгрию в промышленную страну, а хотели только строить дороги, налаживать транспорт, ибо нуждались в этом для реализации своих товаров на австрийском рынке.

Более буржуазным и национальным характером (правда, почти еще лишенным примеси демократизма) отличалось то либеральное направление, которое представлял вождь венгерской эпохи реформ, а затем и буржуазной революции, обедневший среднепоместный дворянин, адвокат, редактор газеты и депутат Сословного собрания Лайош Кошут. Лайош Кошут, деклассированный среднепоместный дворянин, перешедший сначала в ряды комитатской, затем городской интеллигенции, не желал порывать всех своих связей с дворянством и поэтому не очень последовательно выступал против умеренного и призывавшего к умеренности либерального направления Сечени. Лайош Кошут позволил событиям сдвинуть себя влево только после долгого сопротивления.

Кошут не имел широкой буржуазно-капиталистической опоры по той причине, что ее вообще не было в Венгрии. Поэтому он не мог последовательно и неуклонно противопоставлять политику развития промыш-

ленности тем препятствиям (экономическому и социальному строю феодализма и габсбургскому абсолютизму), которые стояли на пути капиталистического развития и достижения национальной независимости Венгрии. Кошут опирался прежде всего на ту часть среднепоместного дворянства, которая не являлась поставщиком австрийского рынка и потому была заинтересована в расширении внутреннего рынка. Это направление возлагало все свои надежды на развитие отечественной промышленности, естественно считая, что больше всего препятствует этому зависимость от экономики Австрии. Самой непосредственной опорой Кошута была деклассированная и обуржуазившаяся дворянская интеллигенция, удельный вес которой в экономике был невелик, но зато активность огромна. Все свои надежды на материальное благополучие эта общественная прослойка связывала, в первую очередь, с развитием промышленного капитализма, а надежды на повышение своей политической роли — с политическим переустройством страны. Как раз поэтому она уже гораздо решительнее выдвигала либеральные требования (освобождение крестьян; равенство в правах; всеобщее налогообложение при уничтожении привилегий дворянства; парламентарная республика; национальная независимость; государственная самостоятельность) и резче выступала против габсбургского абсолютизма и венгерской феодальной аристократии. В глазах общественного мнения партия Кошута и была подлинной *национальной* партией.

Свободные крестьяне, желавшие получить землю от крупных помещиков, и крепостные крестьяне, стремившиеся освободиться и освободить свою землю от помещичьих налогов, — и те и другие, поскольку они принимали участие в политической жизни, — стояли на стороне Кошута и его партии. Кошута поддерживала и прогрессивная часть городской буржуазии, укреплению которой препятствовала угнетательская ростовщическая политика, проводившаяся в интересах австрийской экономики и цехов. Кошута поддерживала и часть цехового бюргерства, к привилегиям которого он, даже проводя курс на развитие промышленности, относился необычайно бережно.

Это многообразие лагеря Кошута, и особенно то, что руководящие круги его составились не из буржуазии, выросшей непосредственно на почве капитализма, а из обуржуазившегося дворянства и обуржуазившейся интеллигенции, тоже выходцев из деклассированного дворянства, — и придавало либерализму Кошута весьма осторожный характер.

Кошут должен был удовлетворить многообразные интересы самых различных прослоек своего стана. Его программа и политика определялись необходимостью согласования этих многообразных интересов. Уничтожить связанность дворянских поместий феодальными узами, и вместе с тем сохранить цельность поместий, воспрепятствовать их раздроблению; постепенно уничтожить крепостное право, но при этом полностью компенсировать помещиков за утрату крепостных наделов и доходов от крепостной повинности; развивать капиталистическую промышленность, но при этом проводить реформу цеховой системы лишь «в духе времени»; создать вместо абсолютной монархии самостоятельное конституционное национальное королевство, но под эгидой Габсбургов; вместо Сословного собрания ввести систему парламентских представителей, буржуазное равенство в правах, но без широких либеральных свобод; ликвидировать сословные привилегии дворянства, но «поддержать историческую роль дворянства»; добиться мира между национальностями, проживающими на территории страны, но обеспечить приоритет мадьяр — такова была либеральная программа Кошута и его единомышленников, программа умеренного ограниченного буржуазного переустройства общества, без коренной демократической расправы с феодализмом и абсолютизмом.

В Венгрии не было политической партии, которая противостояла бы феодализму и консервативной партии габсбургской реакции, а также и двум группам либералов. Не было политической партии, которая провозглашала бы своей программой и лозунгом демократический путь буржуазного переустройства, подняла бы знамя полной национальной независимости, выдвинула бы своим требованием создание республики.

В городах только часть буржуазии была венгерской, и политически она была почти совсем неорганизована. Соответственно слабому развитию капитализма, мало было и промышленных рабочих, а удельный вес их был совсем невелик. Либералы, враги демократических преобразований, использовали политическую неорганизованность и несознательность масс для проведения своих компромиссных решений. Безземельные крестьяне столь же мало и даже еще меньше обособлялись от общей массы крестьянства, чем промышленные рабочие от бюргерства; ни у промышленных, ни у сельскохозяйственных рабочих не сформировалось еще классовое самосознание. Все это, вместе взятое, помогало либеральной оппозиционной партии Кошута подготавливать буржуазное преобразование страны в умеренных формах, сохраняя господство дворянства, избегая плебейской расправы.

Выразителем чаяний крепостного крестьянства и городского плебса был Танчич, рабочий, выходец из крестьян, не раз бывавший за границей. Сам Танчич называл себя «красным республиканцем». Он был социалистом-утопистом, воспринявшим, в первую очередь, учение Вейтлинга. Еще до революции он приобрел немалую популярность своими произведениями. Те слои, чьи надежды выражал Танчич, еще не организовались в политическую партию и в общем шли пока за лозунгами Кошута, которые временами радикализировались.

Литература, поэзия играла большую роль в борьбе эпохи реформ. Каждая политическая группа имела в литературе своих выразителей.

* * *

Петефи не примкнул ни к одной из этих политических и литературных групп. Не пошел он и за признанным вождем национально-либеральной оппозиции Кошутом, необычайно популярным в широких массах. Петефи объявил войну всем признанным направлениям эпохи реформ.

Я не пойду с толпой им навстречу,
Чтоб увидать их триумф величавый.
Если ж пойду, то с одною лишь целью:
Перевернуть колесницу их славы.
И всенародно бичом позора
Их отхлещет гнев мой великий,
Виселицы напечатлев на мордах
Этой хвастливой и подлой клики.

Перев. В. Левика.

Крайний демократ-якобинец, крайний революционер, Петефи с поистине удивительной политической прозорливостью отмежевался этим стихотворением от либерально-конституционной оппозиции.

Петефи не желал «спасать» дворянство, пересадив его из феодального строя в буржуазный. Ни одного доброго слова не нашлось у него для дворян, этого «исторически главенствующего класса» Кошута. С иронией, с сарказмом клеймит он венгерских дворян-тунеядцев, жестоко обиравших крестьян; тупиц, которых не трогали «сотни бед отчизны», которые всю свою жизнь проводили, покуривая трубки и хвастаясь «кровавыми дедовскими мечами», давно уже изъеденными ржавчиной.

С той же силой, с какой Петефи выступал за национальную независимость и против австрийского порабощения, швырял он в лицо лжепатриотам, пытавшимся завуалировать классовые интересы и предававшим гражданское равенство в правах, неопровержимые факты бесправия народа:

Народ с врагами бьется люто.
За что ж он в бой идет?
За родину? Забавно, право!
Ведь родина лишь там, где право,
А прав лишен народ!

Перев. Л. Мартынова.

Но не только политическое бесправие противопоставлял Петефи политическим привилегиям — он противопоставлял нужду народа богатству угнетателей.

Он называл Венгрию «скверной хозяйкой», потому что в ней:

Счастливцы живут в изобилье —
Объелись и все-таки жрут,
А бедные дети отчизны
В то время от голода мрут!

Перев. Л. Мартынова.

Революционный лозунг санкюлотов парижских предместий: «Мир хижинам, война дворцам» звучит в стихотворении Петефи «Дворец и хижина»:

Дворец! Все то, чем ты богат,
Разбоем приобретено.
Но не гордись богатством этим —
Дни сочтены твои давно!
Надеюсь, что увижу скоро я
Твои руины, исполин,
А также черепа, которые
Покоятся среди руин.

Перев. Л. Мартынова.

Это больше, чем бунт крайних якобинцев против политических привилегий хозяев дворцов и во имя буржуазного равенства в правах. Это призыв к расправе с общественной системой «дворцов и хижин», это зычный, мстительный возглас предпролетариев предместий, это протестующий вопль бедняков против богатства. Петефи пошел дальше, чем его предшественники якобинцы во время Великой французской буржуазной революции. Он пошел дальше и «бешеных», и эбертистов, и всей левой оппозиции якобинцев. Он пришел к Бабефу, уравнительный утопический коммунизм которого, по словам Энгельса, впервые придал определенную форму туманным, неоформленным стремлениям предпролетариата. Он произнес те слова, за которые и якобинцы преследовали уравнительный коммунизм Бабефа.

Когда любой сумеет брать
От счастья полными горстями,
Когда за стол закона все
Придут почетными гостями
И солнце мысли, воссияв,
Над каждым домом загорится,—
Мы скажем: вон он, Ханаан,
Пришла пора остановиться!
Но до прихода новых дней
Не будет нам успокоенья!

Перев. В. Левика.

Петефи причислял и себя к «ободранным голодным людям». Им принадлежит его сердце, которое «не продается богачам», «которому нет цены».

А раздам я сердце по дорогам,
Да по бедным хижинам убогим
Просто так, раздам я даром!

Перев. Л. Мартынова.

Ни один вождь ни одной политической или литературной группы эпохи реформ не хотел революции. Сечени предчувствовал революцию, но дрожал перед ней и боялся ее последствий. Кошут, которого Сечени обвинял в том, что, агитируя, он играет с огнем, возмущенно отвергал это обвинение. Он протестовал с полным правом, ибо в самом деле не хотел революции.

Петефи не только ждал, но и предвещал революцию. Он не только мечтал о «кровавых днях», которые «на старого руинах мир сотворят, что нов и светел», он всех угнетенных призывал к этой революции:

Что ж вы рабство терпите такое?
Цепи сбрось, народ, своей рукою!
Не спадут они по божьей воле!
Ржа сгрызет их — это ждете, что ли?

Перев. Л. Мартынова.

Он бичевал, высмеивал бездеятельность и трусость тех, кто страшится борьбы. Он громом гремел против тех, кто пустыми обещаниями реформ преграждал путь революции. По мнению Петефи, путь к свободе и равенству пролегает через кровавое восстание:

Передо мной кровавой панорамой
Встают виденья будущих времен:
В своей крови враги свободы тонут,
От тирании мир освобожден.

Перев. В. Левика.

Шел еще только 1846 год, когда украинские крестьяне восстали в Галиции против своих помещиков, а Петефи уже провозглашал грядущую европейскую революцию:

Когда невольники-народы
Терпеть не пожелают боле
Постыдного ярма неволи
И выступят на поле брани
Под красным знаменем восстанья,
И гневом воспылают лица,
И на знаменах загорится
Святой девиз: «Свобода мировая!»

Перев. Л. Мартынова.

Наступил 1847 год, о политических движениях которого Энгельс писал, что они ничего не разрешили, но повсюду отчетливо и ясно выставили партии друг против друга и все вопросы поставили так, что теперь стало необходимо их решить. В конце 1847 и в начале 1848 года Петефи и поступает и пишет как человек, мысли и действия которого направляются теми же предвидениями и соображениями, какие высказал его современник Энгельс. В том же году, заслышав, что в Италии возможен взрыв недовольства, Петефи бросился в редакцию либеральной газеты «Пешти Хирлап», чтобы узнать о новостях, и тут же кинул в лицо высокообразованному и действительно либеральному, но сомневавшемуся в возможности революции Анталу Ченгери: «Я предчувствую революцию, как собака землетрясение».

Петефи мчался в желанную, в долгожданную революцию, мчался навстречу «прекрасному, насильственному европейскому потрясению...», и мчался сознательно.

Прежде чем Петефи ринулся в свое «оправдавшееся пророчество», в революцию, он молниеносно вступил в брак с Юлией Сендреи — «женою из жен».

Любовь их была и духовным единением, иначе вряд ли богатая барышня-дворянка против воли отца отдала бы руку, пусть даже прославленному, но все еще не устроенному в жизни, скитальцу-поэту.

Юлия Сендреи и сама держалась прогрессивных взглядов. Она чтила борца за эмансипацию женщин французскую писательницу Жорж Санд, которая пользовалась чрезвычайной популярностью в радикальных и социалистических кругах того времени. Юлия Сендреи старалась следовать ее примеру.

Юлии посвятил Петефи свои самые прекрасные любовные стихи; это были самые необыкновенные поэтические творения, потому что в большинстве из них любовь прославляется вместе с революцией и революция — вместе с любовью. Любовь и свобода были для Петефи органическим целым, о чем он и сказал в стихотворении, ставшем путеводным девизом его жизни:

Любовь и свобода —
Вот все, что мне надо!
Любовь ценою смерти я
Добыть готов,
За вольность я пожертвую
Тобой, любовь!

Перев. Л. Мартынова.

Но наряду с торжеством любви, вместе с приближением революции, усиливается в лирике Петефи и предчувствие смерти. Вскоре после женитьбы Петефи создает свое превосходнейшее любовное стихотворение «В конце сентября», в котором он так же, как до этого столько раз предвещал в своих стихах приход революции, предрекает теперь свою смерть. И это сразу после торжества своей любви! Предчувствие смерти у Петефи не имело ничего общего с байронизмом, с пессимизмом английского поэта, который оказал на Петефи известное влияние в начале его творческого пути. И не чахоточная мировая скорбь явилась для него источником предчувствия смерти. Так же как в его поэзии органически слились мотивы любви и революции, точно так же и предчувствие смерти связано с тем, что Петефи всерьез принял революцию и сделал для себя все выводы революционера...

...Он знал, что завоевание свободы стóит крови. Знал, что там, где сбивают оковы с ног и рук раба, искры сыплются дождем, поджигая все вокруг. Он знал, что там, где в единоборство меж собой вступили свобода и рабство, там и смерть раздают.

«Жена из жен» не мешала, не отвлекала Петефи. А Петефи звал, увлекал с собой жену в стремительный бег революции. Уже в январе 1848 года, когда пришли первые вести о революции в Италии, Петефи призвал свою жену к революционной работе:

Что строчит твоя игла там?
Ты не ставь заплат к заплатам!
Та ль забота перед нами?
Шей, жена, скорее знамя!
. . . . . .
Так не может долго длиться,
Что-то, видимо, случится.
Что? Пойму в бою с врагами.
Шей, жена, скорее знамя!

Шей прекрасными руками!
Пусть победа в это знамя
Влюбится и будет с нами.
Шей, жена, скорее знамя!

Перев. Л. Мартынова.

И Юлия Сендреи сшила знамя. В первые дни революции знамя, сшитое «прекрасными руками», стало стягом пештской радикальной революционной молодежи.

Но любовная лирика Петефи революционна не только потому, что в ней органически слились мотивы любви и революции. И не потому она революционна, что «Петефи и в любви был не менее экзальтированным, чем в политике», как тенденциозно пытались истолковать революционность лирики Петефи его буржуазные и мелкобуржуазные биографы. Революционность любовной лирики Петефи в том, что и к жене он относился так, как относится к женщине революционер.

Его любовь была не «Frauendienst» средневековых миннезингеров, которые подымали женщину до небес, ставили рядом с непорочной Мадонной, чтобы столкнуть ее таким образом в неравноправие. Любовь Петефи была не «идиллической» любовью обывателя, который ссылает женщину в «приятное уединение уютной квартирки», где главное место занимает кухня. Любовь Петефи не имела ничего общего с любовью поэта-мещанина, который на руках уносит «предмет своей любви» в «чарующую тень сада», где рядом с кочанами капусты дама сердца сможет высадить и цветочки на грядки.

Петефи мечтал увидеть свою любимую на полях сражений революции. Он мечтал о том, что она «залечит» его раны «бальзамом поцелуев» и мглу темницы озарит «сияньем глаз своих». Подле плахи и на поле битвы — везде хотел он чувствовать ее с собою рядом, хотел, чтобы она «смыла слезами своими» его «пролитую кровь».

Не внешняя сторона, не безудержный полет чувств придают революционность любовным стихам Петефи, а то, что Петефи относился к женщине уже не как поэт феодальной эпохи, буржуа или мещанин, а как революционер, который желает видеть в своей жене боевого товарища.

* * *

После того, как в марте 1848 года в Венгрии разразилась буржуазная революция, подлинному якобинцу и революционеру Петефи уже редко приходилось занимать достойное его место.

А ведь именно Петефи, во главе своих товарищей, дал 15 марта 1848 года первый толчок революции. В эти дни, когда в Пеште на какое-то время перестала действовать законность, когда собрания радикальной пештской молодежи играли роль революционного контрпарламента, противопоставлявшего себя Сословному собранию в Пожони, когда революционная улица, минуя всякие законодательные распоряжения, уничтожила цензуру, освободила Михая Танчича, находившегося в политическом заключении, и заставила армию подчиниться своей воле,— именно в эти дни, как никогда в ходе всей революции, Петефи был в своей стихии.

Позже он никак не мог приноровиться к рамкам буржуазной революции, вождь которой, Кошут, был далек от всякой мысли плебейской расправы с феодализмом. А Петефи к этому стремился, это провозглашал!

Социальная прослойка, которая больше всего была заинтересована в плебейской расправе, — в Венгрии ее представлял Петефи — играла более или менее самостоятельную роль только в первые дни революции. Не было партии, проповедовавшей более крайние взгляды, чем якобинец Петефи. «Радикальная партия», к которой он принадлежал, а после революции «Общество равенства», одним из основателей и руководителей которого он был, выражали в своей программе гораздо меньше того, к чему стремился Петефи, к чему он взывал в своих творениях. У этих объединений не хватало сил для того, чтобы самостоятельными выступлениями свести революцию с компромиссного пути Кошута, толкнуть ее вперед к ультрademократическим якобинским решениям. Ближе всего стояли к Петефи, пожалуй, братья Мадарасы * и их товарищи — республиканцы, носившие красные перья.

Кошут, став вождем революции, только тогда решился наконец, и то после долгих колебаний, ультимативно потребовать от аристократической палаты сейма принятия законопроекта, сводившегося к умеренным буржуазным преобразованиям, когда последнее Сословное собрание Венгрии уже было объято ужасом, вызванным двумя вестями: известием о победе февральской революции во Франции и грозным слухом, что Петефи собрал под Пештом сорок тысяч крестьян и готовится во главе них выступить против Пожоньского сейма.

Петефи был как раз в это время в провинции, и весть о февральской революции застала его там. В дневнике он так описывает свое состояние, вызванное этим известием:

«О, что это был за день, когда я услышал, что Луи Филипп изгнан и Франция — республика!

Я путешествовал по далеким от Пешта краям, и эта весть, настигнув меня в одной гостинице, потрясла мое сердце, мозг, душу, нервы.

«Vive la République»! — воскликнул я и замер в безмолвии, пылая, как огненный столп...

...Опрометью бросился я в столицу... Дрожа, задыхаясь, вернулся домой.

Восторг был всеобщим, но еще ничего не произошло».

В то время, как депутация Сословного собрания во главе с Кошутом пребывала в Вене, надеясь получить там санкцию короля на создание ответственного конституционного правительства, введение всеобщего налогообложения, равенства в правах и освобождения крепостных крестьян с выкупом,— Петефи вместе с другими руководителями радикальной пештской молодежи вел по улицам Пешта массы на революционное выступление. Они не стали ждать,

* Йожеф и Ласло Мадарас — вожди радикального крыла в Национальном собрании Венгрии.

пока утвердят закон,— они сами ввели свободу печати! Первые произведения, опубликованные без цензуры,— демократическая национальная программа пештской молодежи «Двенадцать пунктов» и стихотворение Петефи «Национальная песня» — были напечатаны при следующих обстоятельствах: Петефи и его товарищи, сопровождаемые толпой людей, захватили одну из типографий и заявили: «С нынешнего дня цензуры больше нет!»

Составом первого парламентарного либерального правительства Петефи остался недоволен. Во главе правительства стоял магнат. Сечени тоже входил в правительство, так что состав его можно было назвать каким угодно, только не революционным. Петефи недоволен был и представленными правительством умеренно-либеральными законопроектами, которые были очень далеки от духа демократических преобразований и даже свободу печати хотели провозгласить в весьма ограниченной форме. Петефи желал создать конвент по образцу французской революции, который ликвидировал бы монархию и провозгласил республику.

Новое правительство первым делом решило подослать к Петефи одного из его собратьев по перу и выяснить, не согласится ли Петефи написать стихи «для успокоения черни».

Петефи ответил на это опубликованием антимонархического стихотворения как раз в тот момент, когда Кошут и его единомышленники заключали соглашение с «возлюбленным королем».

...Что бы там льстецы ни толковали,
Нет *возлюбленного* короля!

Перев. Л. Мартынова.

Когда по предложению правительства Национальное собрание приняло закон о свободе печати и прочих буржуазных свободах, а также и закон об избирательном праве, хорошенько его предварительно обкорнав, Петефи гневно запротестовал:

О тень свободы! Нам ты не нужна.
Нам надобна сама свобода,
Сама свобода, пусть любой ценой!

Перев. Л. Мартынова.

Когда Кошут в соответствии с соглашением, заключенным с Габсбургским домом, предложил Национальному собранию проголосовать за военную помощь Габсбургам, выступившим на подавление итальянской революции,— Петефи во всеуслышание заявил о своей полной солидарности с революционными событиями в Италии и призывал венгерских солдат бунтовать против интервенции.

Нет! Италия клинка на нас не точит,
Одного, как мы,— свободы хочет.
Так в ответ на шею ей садиться?
Нет, не переступим мы границы!

Перев. Л. Мартынова.

В условиях существования умеренно-либерального режима, неуклонно стоявшего за конституционное решение вопросов, Петефи был совсем отстранен от политической жизни, причем настолько, что даже провалился на депутатских выборах в Национальное собрание. Умеренно-либеральный генералитет буржуазной революции готов был еще кое-как терпеть якобинского Петефи в поэзии, но выслушивать с трибуны Национального собрания то, что провозглашал Петефи в своих стихах, он решительно не желал.

Однако революция, которой либеральное правительство стремилось избежать всеми путями с помощью любых компромиссов с консерваторами и Габсбургами, которой оно так последовательно противодействовало,— все-таки снова встала на повестку дня. Габсбургский император перечеркнул им же самим утвержденные законы, мобилизовал армию для интервенции против Венгрии, низложил министерство и начал кровавую контрреволюцию, главной опорой которой были венгерские и немецкие магнаты, а также угнетавшиеся венграми и немцами, введенные в заблуждение славянские народы и румыны, проживавшие во владениях Габсбургов.

Но на открытые контрреволюционные действия конституционное правительство и Национальное собрание не сразу и с трудом дали решительный революционный ответ. Когда же ответ был дан, Кошут с молниеносной быстротой организовал войска гонведов и с полным правом заслужил похвалу Маркса и Энгельса, которые написали о нем в «Neue Rheinische Zeitung», что Кошут «воплощает для своего народа в одном лице Дантона и Карно»*.

Началась революционная война. Революционные войска двинулись против контрреволюционных полчищ императора. Победы и поражения сменяли друг друга, но революция достигла все же своей высшей точки, свергнув Габсбургов с престола, провозгласив независимость Венгрии, избрав Кошута правителем и изгнав врага из пределов страны. Венгерская революция была далека от якобинской диктатуры, но ее государственная власть во многом приняла формы революционной диктатуры. Этим объясняется, между прочим, и то, что венгерская революция 1848—1849 годов продержалась дольше всех остальных европейских революций.

Говоря о революциях 1848 года, Маркс и Энгельс отмечали в качестве одной из отличительных особенностей венгерской революции то, что «...впервые в революционном движении 1848 г., впервые после 1793 г. нация, окруженная превосходящими силами контрреволюции, осмеливается противопоставить трусливой контрреволюционной ярости революционную страсть, противопоставить terreur blanche (белому террору) terreur rouge (красный террор)»**.

Петефи был поэтом-апостолом этого противопоставленного белому террору красного террора. Он не только требовал «пове-

* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VII, стр. 271.

** Там же.

сить королей!» и не только королевский трон и контрреволюционную Австрию избрал он мишенью для стрел своей поэзии; он не только восторженно приветствовал революционные действия народных масс, в результате которых и произошло то, что «...в груди у Ламберга кинжал, Латур в петле»; он не только спрашивал у венгерских магнатов: «Как здоровье ваше, барегосподa? Шею вам не трет ли галстук иногда?» — и не только требовал для них другого галстука, изготовленного из прочной веревки... Петефи яснее всех венгерских революционеров своего времени понял, что революция — это гражданская война, в которой венгры революционеры сражаются против венгров контрреволюционеров, но вместе с тем ясно увидел и позорную роль врагов, затесавшихся в стан революции, их опасное влияние. Он призывал к террору против них:

Где наш враг?— ты спросишь.
Между нами!
Справа, слева — он повсюду, братья!
Самый беспощадный и опасный
Тот, кто заключает нас в объятья.
. . . . . .
Внешний враг не так уж нам опасен,
Коль внутри покончим с подлой тварью.

Перев. В. Левика.

Петефи вступает в революционную армию. Сперва он капитан, потом становится майором. Но не только к Кошуту относился он всегда с недоверием, а непрерывно сталкивался с различными генералами армии: с Лазарем Месарошем и с Дёрдем Клапкой. И вовсе не потому, что ему трудно было мириться с воинской дисциплиной, как объясняли это обычно официальные историки. Выступая против этих генералов, Петефи выступал против воинской рутины, которую они принесли с собой из старой австрийской армии. И нападки Петефи были совершенно справедливы, ибо многими поражениями обязаны революционные войска той тактике, которую усвоили эти гонведские генералы в австрийской армии.

Поэтом *революционной* армии был Петефи. Он пел победы ее и поражения. Он поднимал дух войск после поражений, он клеймил предателей и малодушных, разоблачал ошибки. Он возвеличивал героев революции. Его боевые песни распевали на бивуаках и на полях сражений. Петефи все яснее видел, как основная ошибка либеральных вождей революции — компенсация помещиков за счет крестьянства и сохранение в цельности крупных латифундий — приобретает все более роковое значение для революционной войны. Он видел, что эта политика мешает полностью мобилизовать революционные силы масс на освободительную войну.

«Уважайте рядового!» — писал Петефи и воспевал рядовых солдат, выходцев из все еще не до конца освобожденного крепостного крестьянства, которые отважно сражались, хотя по возвращении:

Бесплатно посох нищего калекам
Вручает благодарная страна.

Перев. Л. Мартынова.

Никто, кроме Маркса и Энгельса, которые выступали в «Neue Rheinische Zeitung», так сказать, в качестве «агентов», в качестве наиболее самоотверженных поборников венгерской революции, врагов австрийской контрреволюции и ее панславистских союзников, — никто, кроме них, не видел лучше, чем Шандор Петефи, борец «за всеевропейскую республику», все роковые европейские, международные взаимосвязи венгерской революции.

Маркс и Энгельс так оценивали в своей газете эти европейские взаимосвязи: «Таким образом, мадьярская война очень скоро потеряла свой вначале чисто национальный характер. И именно благодаря своему национальному, казалось бы, шагу, благодаря объявлению независимости, эта война окончательно приняла европейский характер...»*

Еще больше возросло значение венгерской революции для Европы, как писал об этом Энгельс в январе 1849 года, ввиду того, что европейской контрреволюции удалось в течение 1848 года подавить все европейские революции, кроме венгерской.

Те же мысли, что Маркс и Энгельс в «Neue Rheinische Zeitung», выразил и Петефи, хотя и горестно, но все же не впадая в отчаяние из-за того, что «тиха Европа, вновь тиха, бои всех революций отгремели». Как раз поэтому представлялась ему все более великой европейская роль венгерской революции, как раз поэтому воодушевлял он народ с удвоенной силой:

Пускай подымет наш венгерский дух
То, что мы — свет единственный для прочих.
Когда все спят — наш светоч не потух,
Горит во тьме непроходимой ночи.

Перев. Н. Тихонова.

Именно этот европейский характер венгерской революции и побудил представителя «азиатской реакции» русского царя Николая I к тому, чтобы помочь «главе европейской реакции», австрийским Габсбургам и кровавому Францу Иосифу, подавить с помощью военной интервенции венгерскую освободительную борьбу. Когда полчища Николая I вломились в Венгрию, Петефи снова поспешно вступил в Эрдейскую армию генерала Бема. Он вновь стал адъютантом революционного генерала, поляка по происхождению, самого замечательного полководца венгерской революционной войны. Петефи, который не мог примириться с рутиной, привнесенной в венгерскую армию из австрийской несколькими венгерскими гонведскими генералами, боготворил поляка Бема, одинаково доказавшего и в польском восстании, и в венгерской, и в австрийской революциях, что он истинный солдат революции и знает, насколько разные политические и военные требования предъявляются при ведении революционной и династической войн.

Петефи призывал к священной войне против царской военной интервенции. Он

* К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VII, стр. 291.

видел, как страшна, как велика опасность, но не впал из-за этого в отчаяние.

Ставим на кон все святое,
Все, что чтим!
Пусть весь мир на нас натравят —
Все равно мы победим!

Перев. Л. Мартынова.

Последнее его стихотворение дышит предчувствием конца революции и своей гибели. В эти «ужаснейшие времена» видна была уже предсмертная агония распадающейся революционной армии и умирающей революционной страны:

Ужаснейшие времена!
Кошмарами полна страна...
Быть может, был
Приказ небес,
Чтоб все это случилось,
Чтоб отовсюду кровь лилась?
О, так и есть! Ведь против нас
Полмира ополчилось!
Лицом к лицу стоим с войной.
Но разве горе в ней в одной?
Война — войной,
А за спиной
Ужасный призрак мора!

Перев. Л. Мартынова.

Ни одно из стихотворений Петефи, написанных после этого, не дошло до нас... Несчастный, невежественный солдат царского генерала Людерса, ограбивший тело революционного поэта и бойца, который истек кровью во имя свободы и его самого, втоптал в грязь стихи Петефи на фехередьхазском поле битвы, где 31 июля 1849 года пал певец мировой свободы.

* * *

Петефи — певец мировой свободы — был самым национальным из всех венгерских поэтов. Он знаменует собой целую эпоху венгерской литературы: *начало и расцвет народности* в ней.

Официальные и полуофициальные венгерские историки и публицисты до сих пор ломают головы над тем, какие же элементы являются в поэзии Петефи *национальными* и какие *народными*. Мелкобуржуазный радикализм, ведший под знаком гуманизма и европейской цивилизации законную борьбу против венгерского национализма, предпочитал стыдливо забывать о том, что народная поэзия революционера и гуманиста Петефи является одновременно и вершиной национальной поэзии.

Даже один из самых выдающихся представителей национальной культуры Венгрии Эндре Ади за несколько лет до начала мировой войны не включил в сборник революционных стихов Петефи часть его политических стихотворений, объяснив это тем, что «нынче они звучат уже наивно националистически». Не понимавшие истории мелкобуржуазные радикалы разделяли и противопоставляли в творчестве Петефи национальное — народному, точно так же, как это попытались сделать и их реакционные антиподы, националистические фальсификаторы истории.

Но Петефи и с этим не примирялся... Он не терпел, чтобы реакционные, феодальные и спевшиеся с ними теоретики крупной буржуазии делили его поэзию на «революционную» и «нереволюционную». Именно поэтому не терпел он и того, чтобы поэзию его делили на «народную» и какую-то «ненародно-национальную» или, если хотите, еще «националистическую».

Всем своим творчеством и политической деятельностью Петефи отвечал на эти попытки так: национальное национальному — рознь и народное народному — тоже рознь.

Петефи уже на раннем этапе своего творческого пути *порвал с национальной романтикой*, почти единодержавно царившей на протяжении всей эпохи реформ.

Этот разрыв не означал нигилистического отрицания национального прошлого. Поэт воинственно противопоставлял себя — как в содержании, так и в форме своей поэзии — тем, кто бежал в прошлое от задач настоящего и будущего. Он вступал в бой и порывал с лживо-романтическим воспеванием национального прошлого, с пустой громогласной риторикой в стихах и со столь часто встречавшимся ложным пафосом.

В поэзии Петефи, бесспорно, есть элементы романтики. Но это не реакционная национальная романтика. Разбойничья романтика, романтика корчмы, которая встречается в поэзии Петефи, это *народная* романтика людей, вырвавшихся из феодального общества и стоящих за гранью его. Одно из прекраснейших эпических произведений Петефи «Витязь Янош» все насквозь проникнуто романтикой народной сказки. Романтические черты возникают иногда и в его политических творениях, как например в поэме «Апостол», в которой Петефи воспел судьбу революционера-одиночки. Но это полная противоположность реакционной национальной романтике. В «Апостоле» для нас звучит революционная романтика поэта, жившего в условиях отсталого общества и пытавшегося перескочить через его границы.

Крупнейший представитель национальной романтики в венгерской поэзии Михай Вёрёшмарти был поэтом великого дарования. Он отчетливее всех выражал в литературе умеренно-либеральное направление эпохи реформ. Вёрёшмарти поднял на уровень искусства дворянскую эпическую поэзию, которая в начале венгерского национального возрождения — бездарная и нехудожественная — пыталась воспевать национальное прошлое и искать в нем утешения от «жалкого настоящего». Но даже одно из наиболее значительных творений Вёрёшмарти, высочайшее создание национальной романтики, героическая поэма «Бегство Залана», рассказывающая о том, как венгры завоевали свою родину тысячу лет назад, и то должно считаться во многом выдуманным и местами даже вымученным произведением. Это оранжерейный плод, и даже язык его пестрит подчас восковыми цве-

точками. Вся эта героическая поэма предназначена для услады обитателей дворянских усадеб. Ни к фантазии народа, ни к исторической деятельности она не имеет никакого отношения.

В своем творчестве (кроме нескольких юношеских стихотворений и незавершенных поэм, созданных еще под воздействием национальной романтики) Петефи совсем иначе относился к национальному прошлому, чем Вёрёшмарти, не говоря уже о более или менее бездарных подражателях Вёрёшмарти.

Революционер Петефи обращался к прошлому не за утешением, а в поисках взрывчатого материала, который подстрекал бы к мятежу в кризисную эпоху настоящего и помогал бы революции в будущем. В поэзии Петефи события прошлого являются не в холодном, застывшем, объективном виде. Облекая прошлое в стихи, Петефи всегда воскрешает его. Когда в одной из баллад он описывает, как король-клятвопреступник казнит Ласло Хуняди, Петефи, нарушая все школьные каноны поэзии, тут же в стихотворении смешивается с толпой, окружающей плаху, и кричит:

Встань, народ венгерский!
Встань, возьми дубину!
Пусть король наш подлый
Захлебнется кровью
Той жертвы невинной!

Перев. В. Левика.

Лживой, реакционной национальной романтике, ищущей в прошлом убежища от настоящего, Петефи объявляет беспощадную войну.

Эй, вы, поклонники луны,
Вы, песнопевцы старины!
Ведь сметена
Вся старина
Смертельною волной событий!
. . . . . .
И все-таки поют они,
В глазах у них блестят огни.
Что это? Вдохновенье? Слезы?
Нет, это все — пустые позы!
Лжевдохновение горит!

Перев. Л. Мартынова.

Только мятежников прошлого, тех, кто и в рабстве был свободен, прославляет Петефи. Безыменные герои крестьянских восстаний и носители борьбы за национальную свободу — вот к кому обращены благоговейные, полные почтения строки Петефи. Венгерская нация, воспетая Петефи, была той венгерской нацией, которой поэт предназначал революционную роль, свято веря, что пусть даже ценой величайших жертв, но она выполнит эту роль с железной последовательностью. Воспевая нацию, Петефи не предавался национальному самолюбованию, а воодушевленно призывал к революционной борьбе в настоящем и будущем, к непоколебимости в доведении борьбы до конца. Но едва Петефи замечал ослабление этой борьбы, он беспощадно замахивался бичом своего гнева и на нацию.

Когда Петефи противопоставлял венгерскую нацию другим нациям и ставил ее выше других, он говорил всегда о венгерской нации, выполняющей свой революционный долг, борющейся за свободу. Петефи клеймил позором те нации, которые стояли на стороне европейской реакции, на стороне Габсбургов, выступал против венгерской и европейской реакции. Гневные слова Петефи звучали в унисон с тем, что говорили его современники, самые передовые европейские революционеры Маркс и Энгельс; с тем, что они писали в своих статьях о контрреволюционных нациях своего времени, безоговорочно встав на поддержку венгерской революции, которая выполняла свою всеевропейскую миссию в революциях 1848 года.

Национальность поэзии Петефи связана не только с угнетенной, но и выполняющей свою революционную миссию венгерской нацией. С той нацией, участь которой принимали близко к сердцу самые демократические, самые передовые представители Европы того времени.

На такую высоту в европейском, международном масштабе венгры поднимались с тех пор только один раз — во время новой революции, в новую эпоху мировой истории. Это случилось в 1919 году, когда венгерский пролетариат, ставший господствующим классом нации, высоко поднял в центре Европы знамя пролетарской революции, когда Венгрия стала форпостом в международной освободительной борьбе народов, передовым фортом советской власти и большевизма.

Демократизм и национальность Петефи не имеют ничего общего ни с националистическим чванством современного ему дворянства, ни с кичливостью современных господ Венгрии и с их идиотическим лозунгом «Extra Hungariam non est vita» («Вне Венгрии нет жизни»). Национальность творчества Петефи не имеет ничего общего и с ограниченным реакционным национализмом современного ему дворянства и прямо противоположна шовинизму венгерских фашистов, Муссолини, Гитлера и ирредентизму христианско-националистической реакции Хорти, которая торговала с одного лотка вместе с европейской реакцией. Национальный характер творчества Петефи не имеет и не может иметь ничего общего с фашистским национализмом, который использует венгерский народ в качестве пушечного мяса в борьбе против европейского прогресса, демократии и социализма. Национальность творчества Петефи так же не имеет отношения к национализму и шовинизму, как не имела к ним отношения и борьба Венгерской Советской республики против европейского империализма, в защиту социального освобождения и национальной независимости, в защиту права на самоопределение и государственную самостоятельность.

Если мы вспомним, как произвольно обращались с именами Маркса и Энгельса немецкие, венгерские и прочие сторонники Каутского, как только ни пытались они использовать марксизм в борьбе против

пролетарской революции, то мы не будем удивляться и тому, что венгерские националисты старались использовать Петефи для оправдания своей шовинистической травли всех и вся.

А поэтому не к чему было сторонникам радикально-мелкобуржуазных взглядов стыдиться национальности поэзии Петефи, когда они вели свою законную борьбу против шовинизма. Поэтому бессмысленно и неверно было противопоставлять в поэзии Петефи национальное — народному.

Национальное в поэзии Петефи так же революционно, как и ее народность. Эта народность никогда не имела ничего общего с реакционной народностью, с патриархальным или феодальным «снисхождением» к народу. Народность эта никогда не проповедовала вместе с подделывающейся под народ буржуазией культа фольклора, она никогда не знала и реакционной идеализации народа, столь свойственной немецким мелкобуржуазным течениям.

Петефи сам определил источник и характер народности своей поэзии, когда переписывался с двумя своими товарищами-поэтами по поводу создания «народной литературной группы». В одном из писем он писал так:

«Что бы там ни говорили, а истинная поэзия—поэзия народная. Согласимся на том, что ее надо сделать господствующей! Если народ будет господствовать в поэзии, он приблизится и к господству в политике, а в этом — задача века; осуществить ее — цель каждой благородной души, которой уже невтерпеж стало видеть, как страдают миллионы ради того, чтобы несколько тысяч могли нежиться и наслаждаться жизнью. В небо — народ, в ад — аристократию!»

Выдающийся венгерский поэт, к которому Петефи обратился с этими словами, выходец из крестьян, деревенский нотариус, а затем учитель и, наконец, ответственный секретарь Венгерской Академии наук, Янош Арань, так сформулировал свои убеждения о народности:

«...задача народного поэта заключается не в том, чтобы смешаться с грубым народом, стать подобным ему, а в том, чтобы постигнуть высшие красоты поэзии и преподнести их народу в такой форме, чтобы он мог насладиться ими».

И наконец, третий поэт (Петефи и Арань хотели вместе с ним создать союз народных поэтов), протестантский священник, автор «Народных сказаний», Михай Томпа, сходясь в своих убеждениях с Яношем Аранем, добавлял, что задача народности в поэзии. «...не давать затеряться тем сокровищам языка, которые сохранились только в языке народа... подымать народ к верхам и привлекать к низам тех, кто стоит выше него».

В этих трех различных взглядах поэтов на народность сталкиваются характерные отношения к народу представителей трех общественных прослоек, социальных мировоззрений и политических направлений.

Невзирая на все усилия Яноша Араня, взявшего на себя роль посредника, союз поэтов так и не осуществился.

Ни один из этих трех народных поэтов не считал народность *просто* вопросом формы. Каждый из них считал народность также *и общественной задачей и усматривал в ней вопрос содержания.*

Для Петефи народность была настолько *равнозначна* революционности, что народность формы была для него нечто само собой разумеющееся. Необходимость внедрения фольклора, сокровищ народного языка в литературу также не составляла для него проблемы. Это было для Петефи столь же несомненным, как то, что поэт должен писать ясным, понятным народу языком. *Петефи ведь не только вышел из народа, но и жил в народе, жил ради народа.*

Все, что он писал ради народа и для народа, имело определенную революционную и политическую цель, и поэтому народность художественной формы поэзии была для него своего рода аксиомой. Как раз поэтому народ означал для него не только нетронутую деревню с ее фольклором. В его глазах к народу принадлежали и элементы городского плебса. В противоположность Томпе, Петефи не желал «привлекать» «верхи к низам», а хотел свергнуть «верхи», чтобы они не стояли над «низами», хотел сделать «низы» господствующими. В противоположность Яношу Араню Петефи нечего было бояться «смешения» с «грубым народом», он и так смешался с ним. Таким образом, задачу народности в литературе Петефи воспринимал не только как создание популярной формы изложения, в целях просвещения народа, но и как художественное использование фольклорных форм в литературе для мобилизации на борьбу за власть народа.

Как раз поэтому Петефи *воинственно* противопоставлял народную форму — форме, языку и образам дворянской национально-романтической, оранжерейной поэзии, сверкание которой бесцельно, потому что с лепестков ее поэт-садовник дворянских усадеб стер не только пыль, но и пыльцу.

«Я безудержной природы дикий, вольный первоцвет»,— бросает Петефи в лицо изощренным критикам, порицавшим народных поэтов за их «грубость». Но нападки Петефи на «паразитизм» поэтов и критиков, представителей национальной романтики, были вовсе не уколами шипов дикого первоцвета природы, это были удары революционного поэта, удары, ломавшие кости.

Народность Петефи была борьбой за то, чтобы в литературе господствовала народная фантазия, чувства, образ мышления и выражения народа. Это была борьба против дворянского образа мышления, дворянских чувств и выражений, против

господства в поэзии языка привилегированных, это была борьба за воцарение в ней народности.

Все три поэта — Арань, Петефи и Томпа — сыграли огромную роль в революционизировании форм венгерской поэзии, в придании им народности. Но из всех троих *самым народным* был Петефи. Яношу Аранъ за свой долгий поэтический путь внес в литературу очень много из фольклора, из сокровищницы народного языка — в первую очередь в эпическую поэзию. *Больше,* чем Петефи — и все-таки более *народным* был Петефи. Ведь именно песни Петефи стали подлинно народными песнями. Из песенного творчества народа Петефи привнес в литературу не только ее словесную форму, но и самый способ создания народной песни, ее структуру. Не только выражения, слова и фразы, но и вся манера выражения Петефи народна и песенна. Особенно песенна и народна непосредственность стихов Петефи. Песни и стихи Петефи, кажется, иногда созданы вовсе не для того, чтобы их читать глазами, а для того, чтобы их произносить или слушать. Иные из песен Петефи будто окликают читателя так, как окликал скиталец-поэт какого-нибудь путника на большой дороге, спрашивая, далеко ли до ближайшего села. Когда Петефи уходил от спокойных ритмов народной поэзии, поэтическое воображение мгновенно увлекало его, и поступь стиха становилась такой же быстрой, как у того бродяги, который, завидев издали журавль колодца, зашагал быстрей, только давай бог ноги, чтобы еще засветло добраться до него и напиться воды, или в проливной дождь добежать до придорожной корчмы, сулящей уютное пристанище.

Петефи и реализм своей поэзии противопоставлял литературе национальной романтики. В этом реализме было еще много от наивного реализма народной поэзии, но Петефи не хотел оставаться, да и не остался в тесных рамках наивного реализма.

Петефи понимал *народность революционно* и так осуществлял ее на практике. В литературную народность он внес идеологию революционера. Точно так же обогащал он и народный реализм не только сокровищами своего чудесного поэтического воображения, но и мировоззрением революционера, стоявшего на самой вершине культуры своего времени. Реализм народной поэзии становился в его творчестве более богатым, сознательным, многогранным и выразительным.

Источник реализма народной поэзии заключается, в первую очередь, в непосредственности восприятия, которому соответствует великолепное свойство — одновременно с восприятием немедленно рождать и равноценное ему выражение. Только поэт, обладающий очень богатым воображением, способен на это так же, как индивидуальный или коллективный творец народной песни и народных сказов. Петефи удалось это в равной мере и в его поэмах, и в лирике, и в разного рода описательных, жанровых и других стихотворениях. Одновременное рождение непосредственного восприятия явлений и равноценного ему выражения и сделало в поэзии Петефи господствующей олицетворяющую форму поэтических образов — это чудесное свойство народной песни. Его образы вовсе не наивная стилизация увиденного и услышанного. Шелест сухой листвы вызывает в представлении Петефи не только образ жандарма, идущего по следам бетяра, как обычно в народной песне, а совсем другое:

Листва сухая забренчала,
Встряхнулась, словно рабские оковы!

Перев. Л. Мартынова.

Бесконечная степная ширь рождает у него не только образ бесконечной любви, как у деревенского парня из народной песни, который поджидает свою возлюбленную, но и образ свободы:

О степь, люблю тебя! Лишь ты душе приносишь
Свободу и простор.

Перев. В. Левика.

Закат солнца ассоциируется у Петефи не только с бренностью жизни, но и со всем другим, что, очевидно, не могло не возникнуть в воображении «коллективного поэта»:

Как изгнанный король с границы смотрит вспять
На родину, пред тем как на чужбину стать,
Так солнца диск, садясь,
Глядит в последний раз
На землю, и пока насмотрится беглец,
С его главы кровавый катится венец.

Перев. Б. Пастернака.

Это — не образ народной песни, но метод создания образа бесспорно взят оттуда.

В галерее образов поэзии Петефи появляется уже и индустриальный мотив. Но и он рождается так, как рождается образ в народной песне и как он возникает в воображении революционного народного поэта. Глядя на железную дорогу, Петефи раздумывает о том, почему же в Венгрии так мало проложено железных дорог. Задав этот вопрос, он так на него отвечает:

Все металла не хватало?
Рушьте цепи! Их немало!
Вот и будет вам металл!

Перев. Л. Мартынова.

Сокровищами революционной городской культуры обогащает Петефи народность, которую до той поры связывали только с деревней, и приверженцы народности в литературе впредь тоже желали относить ее только к деревне, к «нетронутому фольклору». В народности Петефи много было и городских — народных элементов.

Его культура и воображение, «отцом которого был гром, а матерью молния», оба в равной мере раздвинули границы народности и высоко подняли ее из той «приземленности», на которую пытались обречь ее в большинстве своем реакционные фальсификаторы народности.

Одним из источников поэтического реализма Петефи была его страстная любовь к правде и ненависть ко лжи. Он ненавидел ложный аскетизм, а поэтому ненавидел попов, в лице которых бичевал не только лживость и фарисейство, но и то, что они служили орудием угнетения бедноты.

Он презирал и «мировую скорбь», которой, как он признался с раскаянием, и сам страдал в ранней юности. Наивная радость народной поэзии слилась в его произведениях с революционным оптимизмом и возвышенным гуманизмом.

Он любил и воспевал доброе вино, был охотником до общества, не пренебрегал малейшими, преходящими настроениями, если только они могли вылиться в песню. И не одни лишь революционные мечты о свободе, но и легкомысленный нрав, беспечность относительно завтрашнего дня помогали ему так трепетно — пусть даже и ценой величайшей нужды — охранять от власти и денег свою поэтическую независимость.

Он умел безудержно ненавидеть и безудержно умел любить. Ему любо было само восхищение, и он восхищался всем прекрасным. Чувства его были необычайно глубоки, хотя иногда он безмерно предавался горечи, но красоты жизни каждый раз быстро утешали его.

Ведь, в самом деле, этот мир красив,
И каждый год весна красна для всех,
И есть красавицы в любом селе.
И рядом с горем вечно льется смех.

Перев. Л. Мартынова.

Таким цельным революционером, каким был Петефи и в жизни и в поэзии, мог быть лишь человек, для которого, как для него, ничто человеческое не было чуждо.

Перевод с венгерского Агнессы Кун

Р. Орлова, Л. Копелев

Мифы и правда американского Юга

(Заметки о творчестве Фолкнера)

На карте США не найти округа Иокнэйпатафа. Ни в одной американской железнодорожной кассе не достать билета в город Джефферсон — столицу этого округа.

Иокнэйпатафа — округ в 2400 кв. миль, где-то в штате Миссисипи — создан творческим воображением американского писателя Уильяма Фолкнера. Но ни об одном подлинном американском городе или округе не написано столько художественных и в то же время исторических произведений — романов, повестей, рассказов, включающих жизнеописания сотен обитателей. И этот воображаемый край так реален, такой насквозь американский и современный, что стал нарицательным понятием.

В Иокнэйпатафе живут белые и негры, богатые и разорившиеся плантаторы, фермеры, издольщики, банкиры, торгаши, жулики, полицейские, адвокаты, ремесленники, рабочие, прислуга, нищие... Сменяются поколения в династиях былых участников войны Севера и Юга — Сарторисов, Комптонов, Сатпенсов,— возникают новые пришлые династии Снопсов, создаются и распадаются семьи, люди богатеют и разоряются, страдают и умирают, любят и убивают... На отдаленных фермах и в одноэтажных домах сонного южного городка идет неторопливая жизнь, изредка взрываемая катастрофами и скандалами.

Где-то далеко в стороне и, на первый взгляд, почти не задевая судьбы города и людей, происходят войны и социальные потрясения, вырастают огромные индустриальные города, бушуют экономические кризисы, автомобили и тракторы заполняют дороги и поля, полиция сражается с забастовщиками, а в газетах и на митингах кипят политические страсти. Но для Иокнэйпатафы и Джефферсона продажа с торгов конского табуна более значительное событие, чем Версальский мир, и вражда Снопса и де Спэйна привлекает больше внимания, чем борьба за Панаму и Филиппины.

Вначале кажется, что своеобразный фолкнеровский мир — не настоящая, не типичная Америка. В нем почти нет общеизвестных примет Нового света: небоскребов, лихорадочной жизни биржи и «большого бизнеса», гигантских фабрик, конвейеров, магнатов картелей и трестов, золотоискателей, гангстеров, кинозвезд, ковбоев, политиканов, профсоюзных и партийных боссов...

Более того, в послевоенных произведениях Фолкнера об Иокнэйпатафе — «Осквернитель праха» (1948), «Ход конем» (1950), «Панихида по монахине» (1951) и «Город» (1957) — почти нет видимых признаков того, что эти книги написаны в годы, когда США стали застрельщиком «холодной войны» против социалистических стран, когда с каждым днем нарастала зловещая активность мракобесов из пресловутой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, когда американские солдаты участвовали в преступной войне в Корее, а американские оккупационные власти в Германии все откровеннее братались со вчерашними противниками — фашистами. В книгах Фолкнера трудно обнаружить современную Америку, какой ее знают во всем остальном мире: Америку атомных котлов и международных ассамблей ООН, реактивных бомбардировщиков и массовых забастовок, угрюмую хищную державу Маккарти и братьев Даллес — и отважную трудовую страну Уильяма Фостера и Поля Робсона.

Но тем не менее — это Америка; точнее — это американский Юг.

Однако, изображая конкретные национальные и исторические особенности своей родины, Фолкнер не воплощает их в развернутых панорамах общественной жизни страны; глубинные, подпочвенные закономерности современной американской жизни преломляются в его книгах очень своеобразно — в смятенном, болезненном и уродливом развитии индивидуального сознания и чувств. Они отражены не в макрокосме великих событий, а в бесчисленных микрокосмах, в летописях семейств и отдельных человеческих судеб.

Не так просто проникнуть в Иокнэйпатафу.

Создатель, или, вернее, летописец, этого фантастически-реального мира оградил его трудно проходимыми зарослями своих повествовательных и стилистических приемов. Читателю, воспитанному на произведениях

классического реализма, приходится затрачивать немало усилий, чтобы пробраться сквозь чащи причудливых образов, блуждая по неожиданно петляющим во времени и пространстве тропам сюжетных линий, то теряющихся в хаотическом потоке ассоциаций, то вновь возникающих, чтобы запомнить десятки и сотни имен, характеров и привыкнуть к многообразию диалектной, жаргонной и просто косноязычной речи.

И не только иностранцу нелегко знакомиться с Фолкнером. Для многих его соотечественников он столь же труден или вовсе недоступен. Однако доброжелатели Фолкнера обычно доказывают, что «овчинка стоит выделки» и что мучительное преодоление сложных подступов к его творчеству не раз вознаграждается неожиданным открытием нового, многообразного мира мыслей и страстей.

Фолкнер пришел в литературу давно. Еще в 1922 году он выпустил сборник стихов. С тех пор вышло 25 его книг. О Фолкнере написаны десятки больших критических работ и сотни статей. В 1950 году его награждают Нобелевской премией.

В творчестве Фолкнера принято различать три периода. Первый, к которому относятся «Награда солдата» (1926), «Москиты» (1927) и некоторые рассказы из сборника «Эти тринадцать», характеризуется настроениями, во многом типичными для писателей «потерянного поколения». Молодому Фолкнеру свойствен еще ничем не ограниченный субъективизм в восприятии мира, в его творческой манере ощутимы влияния Шервуда Андерсона и Олдоса Хаксли. Второй период начинается романом «Сарторис» (1929), в котором тематику войны уже начинают теснить образы Иокнэйпатафы. Они становятся преобладающими в книгах «Смятение и ужас» (1929), «Когда я умирал» (1930), «Святилище» (1931), «Свет в августе» (1932), «Авессалом, Авессалом» (1936), «Непобежденные» (1938).

Впрочем, в те же годы в рассказах об индейцах, летчиках, спортсменах, каторжниках, фермерах и т. д. Фолкнер выходит за пределы своего воображаемого края.

Этот период характеризуется дальнейшим углублением субъективистского мировосприятия художника и развитием тех специфических приемов образотворчества и композиции, которые превращают его произведения в сложнейшие ребусы, густо начиненные уродливо-натуралистическими описаниями всяческих извращений, преступных или бредово-произвольных, бессмысленных поступков, патологически болезненных мыслей и хаотических животных ощущений. Однако все это неожиданно и с почти непонятной последовательностью перемежается или непосредственно сочетается с яркими глубоко поэтичными образами людей и природы, светлыми раздумьями, отблесками здорового народного юмора и живого человеколюбия.

Романом «Деревня» (1940) начинается третий период творчества Фолкнера, когда создаются повести и рассказы, посвященные людям Иокнэйпатафы — «Сойди, Мосей» (1942), «Осквернитель праха», «Ход конем», «Панихида по монахине», антивоенный роман «Притча» (1954) и второй после «Деревни» роман о Снопсах «Город».

Во всех этих книгах нарастает возникшее уже раньше стремление писателя преодолеть субъективистскую ограниченность своего мировоззрения, найти и утвердить объективно сущие нравственные законы жизни и создавать объективно правдивые художественные отражения действительности.

В американской критике у Фолкнера врагов едва ли не больше, чем сторонников. О нем высказывают самые непримиримые, решительные суждения, от сердитого отрицания как нравственных, так и художественных достоинств (Адамс, Фэдиман) до провозглашения его самым выдающимся и самым человеколюбивым американским писателем всех времен (Гарвей Брейт, О'Коннор). В нашей печати можно назвать пока только одну обстоятельную работу о Фолкнере — статью Ел. Романовой «Антивоенная тема в творчестве Фолкнера». Мы не ставили — да это и невозможно в пределах одной статьи — задачу исследовать весь необычайно сложный творческий путь Фолкнера и ограничились, по существу, только двумя частями его незаконченной эпопеи о Снопсах. Однако эти два романа — «Деревня» и «Город»* — позволяют рассмотреть некоторые проблемы, существенные для всего последнего периода его творчества.

I. „Деревня" и „Город". Летопись Снопсов

Называть произведения Фолкнера «летописью» можно, разумеется, только условно. Ведь собственно «летопись», хроника предполагает исторически последовательный во времени рассказ, спокойное перечисление событий, фактов, стремление к точности, к прослеживанию простой логической связи описываемых явлений.

Книги Фолкнера образуют такую летописную повесть Иокнэйпатафы лишь в конечном счете. И это летопись особого рода.

Она — словно огромная многоцветная мозаичная панорама, в которой многие элементы представляют собой то ли зародыш, то ли повторение общего узора, общего содержания картины. При этом часто гротескно смещаются масштабы — так, как если бы вместо портрета носатого человека рисовать один огромный нос, — возникают неожиданные, контрастные сочетания красок, резкие диссонансы; повествование то медленно течет, как заболоченная река, то внезапно ускоряется, в стремительном, синкопированном, истерическом темпе..

Поэтому невозможно передать содержание романов Фолкнера в последовательно-

* William Faulkner. The Hamlet. New York, Random House, 1940.
William Faulkner. The Town. New York, Random House, 1957.

сти авторского изложения. Ибо никакой последовательности в обычном смысле этого слова в них, как правило, нет. Она появляется в сознании читателя, и то не всегда при первом чтении, а когда он уже приближается к заключительным страницам.

Попытаемся дать итоговое, внешне последовательное и, естественно, несколько упрощенное изложение двух романов Фолкнера из задуманной им трилогии о Снопсах.

Один из старожилов Иокнэйпатафы зажиточный фермер Уил Варнер сдает в аренду участок земли пришельцу — немолодому угрюмому Эбу Снопсу, который привез в старом фургоне жену, свояченицу и троих детей: мальчика и двух девочек. Эб Снопс в годы войны Севера и Юга был полупартизаном-полубандитом (воевал на стороне южан), а также барышником и конокрадом; едва избежал виселицы. Теперь он стал бедняком-издольщиком, а в постоянных столкновениях с богатыми фермерами не останавливается и перед поджогами. Главным героем романа «Деревня», а затем и всей эпопеи становится единственный сын Эба — Флем. Он начинает с того, что нанимается приказчиком в лавку Варнера. Используя патриархальные нравы маленькой деревушки, Флем постепенно прибирает к рукам всю торговлю. Уже в юности он обнаруживает все качества прожженного и бессовестного дельца. Он затевает все более широкие и дерзкие торговые сделки, и в них ему вольно или невольно помогают его многочисленные родственники, которые один за другим появляются в деревушке.

Основные события в романе «Деревня» происходят на рубеже XIX и XX вв. Сын полунищего издольщика с темным прошлым, приказчик маленькой лавчонки превращается в самого богатого человека в деревне, женится на единственной дочери своего хозяина Варнера — красавице Юле, и ему уже становится тесно в прежних условиях.

Самый процесс развития характера Флема остается как бы за пределами повествования. Ничего не известно о его мыслях, чувствах, внутренних побуждениях. Флем всякий раз выступает перед читателем только в узловые моменты своей жизни, и его образ раскрывается главным образом во внешних проявлениях — в действиях, поступках, а также в отзывах других людей и коротких, как будто бесстрастных, но недвусмысленно выразительных характеристиках автора. Вот, например, портрет Флема: «...толстый, приземистый, рыхлый человек неустановимого возраста, с широким неподвижным лицом, на котором проступала узкая щель рта, по углам замаранного табачной жвачкой; глаза цвета стоячей воды и резко выделяющийся, неуместный, неожиданный на этом лице крохотный хищный нос, словно клюв небольшого ястреба. Могло показаться, что конструктор этого лица, сделав все, не успел закончить первоначально задуманный нос и эту работу продолжил некто, принадлежащий к прямо противоположному направлению, либо какой-то злонамеренный насмешник, либо, наконец, кто-то очень спешивший, только и успевший влепить в середину лица этот знак неистового, отчаянного предостережения».

Флем — самый удачливый представитель своего многочисленного семейства, вернее рода. Он беззастенчиво обманывает и мошенничает, но его уголовно-коммерческие операции всегда успешны, всегда приносят ему изрядный доход.

В тихую деревушку Френчмен Бенд, в ее патриархальный застойный быт Снопсы приносят новые нравы — нравы неуемного и бесстыдного хищничества, откровенного цинизма и полнейшей беспринципности, проявляющиеся даже во взаимоотношениях между ними самими.

Минк Снопс, озлобленный, жадный, завистливый неудачник, ненавидящий всех вокруг себя, в том числе и преуспевающего Флема, становится убийцей. Он убивает фермера Хаустона, преследующего его за потраву, а затем убивает своего двоюродного брата Лэмпа Снопса, который предлагает ограбить труп Хаустона (Минк зарыл его, не зная, что в кармане убитого было 50 долларов).

Айзек Снопс — омерзительный дегенерат и скотоложец.

Единственным порядочным человеком в этом пестром семействе оказывается кузнец Экк Снопс. Однако о нем речь идет главным образом уже во втором романе.

Деятельность Снопсов, по существу, не вызывает сопротивления в деревне. Только на покосившейся галерее перед трактиром, где часами сидят скучающие мужчины, жуют дешевый табак, сплевывая жвачку за перила, они время от времени то с насмешкой, то с неприязнью обсуждают новые проделки кого-нибудь из хищного племени Снопсов. Но даже самый разумный, честный и деятельный из жителей деревни Рэтлиф — агент по продаже швейных машин,— раньше других почувствовавший опасность, исходящую от Снопсов, бессилен противопоставить им что-либо, кроме своих остроумных насмешек и нескольких безуспешных попыток изобличить их наиболее наглые хищнические операции.

Юла Варнер — центральный женский образ обоих романов — воплощение чувственности. Почти лишенная духовной жизни, обжорливая, ленивая, ко всему равнодушная, она была необычайно хороша собою, очень рано развилась физически и уже с десяти-одиннадцати лет привлекала похотливые взгляды взрослых мужчин. Именно в этом возрасте она стала предметом маниакальной страсти молодого учителя Лэйбоува. Шестнадцати лет у нее был роман с местным франтом Мак Карреном, сыном плантатора; но легкомысленный любовник бежал, узнав, что она беременна. И тогда на ней женился Флем Снопс, для которого этот брак был очередной и очень выгодной сделкой, так как сомнительная репутация невесты была оплачена большим приданым.

Разбогатевший Снопс переехал в столицу округа — город Джефферсон. Это было в 1908 году.

«Город» — роман о завоевании Снопсами города Джефферсона. Повествование ведется от лица трех человек: все того же Рэтлифа и новых действующих лиц — Гэйвина Стивенса, городского адвоката, и Чарльза Мэллисона, мальчика, племянника Гэйвина. Оба они принадлежат к числу главных героев некоторых других произведений Фолкнера (романа «Осквернитель праха», серии рассказов «Ход конем»).

Отдельные факты и события предстают в освещении двух и даже трех рассказчиков, что придает книге очень своеобразный, многослойный характер. Восприятие рассказчиков, разумеется, очень субъективно. Сугубо интеллигентское рефлектирование и лирические размышления Гэйвина, грубоватый юмор и здравый смысл необразованного, но умудренного жизненным опытом добряка Рэтлифа, детская наивность и хитрость смышленого паренька «цыпленка» — Мэллисона — создают в целом очень многообразную, хотя иногда и затрудненную для читательского восприятия картину. Характерно, что Фолкнер, при всей своей эпической бесстрастности, никогда не «заглядывает в душу» персонажей, которые ему неприятны, хотя бы они и занимали такое значительное место в сюжете, как Флем Снопс. Так, например, характеризуя Флема и ему подобных, Фолкнер почти не прослеживает в них «потока сознания», который так широко используется им в других случаях. Как уже отмечалось, Снопсы раскрываются, как правило, в своих внешних проявлениях.

События в «Городе» охватывают почти два десятилетия — с 1909 по 1927 год, то есть годы, когда происходили первая мировая война и Великая Октябрьская революция, открывшая новую эру в истории человечества; годы, когда США становились самой богатой и самой мощной из империалистических держав мира. Однако внешние приметы этого необычайно значительного периода проникают в роман очень скупо. Это только одиночные эпизоды, связанные с появлением первых автомобилей, отъездом на фронт в Европу и возвращением оттуда некоторых действующих лиц — Гэйвина Стивенса и одного из Снопсов, — введением «сухого закона», внедрением электричества и т. п. И все же вполне определенные новые качества времени — периода пресловутого послевоенного «просперити» с его циничным торжеством банкиров, бессовестных и преступных, как гангстеры, и гангстеров, богатых и всесильных, как банкиры, — своеобразно, хотя, разумеется, лишь частично воплотились в романе в живой правде образов, человеческих судеб и взаимоотношений.

Все это в «Городе» прослеживается по нескольким основным сюжетным линиям, проявляется в нескольких основных сюжетных узлах.

Прежде всего это карьера самого Флема Снопса. В «Городе», как и в «Деревне», он начинает с малого: сперва он только совладелец небольшого ресторана, который купил Рэтлиф. Затем мэр города де Спэйн предоставляет ему синекуру — должность управляющего единственной электростанцией, на которой работают всего три человека. Там он, используя своих подчиненных — кочегаров-негров,— организует хищение меди со старых приборов, зарабатывает на этом и вовремя ухитряется выйти сухим из воды перед скандальным разоблачением, от которого страдают его подручные. Под конец он становится вице-президентом банка в Джефферсоне и приближается к посту президента этого банка.

По следам Флема по-прежнему идут его родственники, как стая шакалов за вожаком, покорные, пока он силен, и готовые в любую минуту вцепиться ему в глотку.

Монтгомери Уорд Снопс, проходимец, успевший побывать и на фронте и вывезший из Франции огромные запасы порнографических открыток, затевает некий своеобразный бизнес. Под вывеской фотоателье он проводит весьма доходные для него просмотры своих похабных коллекций.

Байрон Снопс, сперва подвизающийся в качестве скромного клерка в банке де Спэйна, становится просто вором, откровенно заявляя, что «банки существуют именно для того, чтобы их грабили».

А. О. Снопс — незадачливый учитель, многоженец, известен городу своими семейными скандалами.

И по-прежнему в этом племени преступников и моральных уродов выделяется семья Экка Снопса, бывшего кузнеца, ставшего после Флема совладельцем ресторана.

Экк и его сын с диковинным именем Уоллстрит Пэник (паника на Уолл-стрите) — просто честные люди. Об Экке Фолкнер говорит: «...он был угрозой для всей давней семейной традиции этих медленно вгрызающихся, неистребимых хищников; угрозой было уже само его невероятное и необычайно наивное представление, будто все люди отважны и честны; он был убежден в этом, просто веря, что в противном случае наступил бы всеобщий страх и смятение...»

Главная коллизия романа связана с историей Юлы Снопс. Ее брак с Флемом оказался не только простой бездушной сделкой, но и чистой условностью, так как Флем — импотент.

В образе злосчастной красавицы Юлы, в трагической судьбе девушки, которая шестнадцати лет, обманутая в своей первой, еще по-ребячески наивной любви, становится предметом «законной» купли-продажи, обрекается на жизнь с совершенно чужим и гадким ей человеком, воплощено фолкнеровское восприятие древнего трагического противоречия между идеалом красоты и уродливой реальностью. Женское обаяние Юлы в условиях застойного быта Джефферсона, в ее бесплодном и бездушном сосуществовании с Флемом

остается пестрой оболочкой, скрывающей сначала глубокое равнодушие к жизни, а затем безнадежное и безвыходное страдание.

В Джефферсоне она становится любовницей майора де Спэйна. Флем, как и весь город, отлично знает об этом, но мирится, поскольку ему нужна поддержка де Спэйна. Так, даже самые элементарные, веками освященные принципы семейной морали разрушаются тлетворным влиянием «снопсовщины», этого нового, цинично откровенного проявления алчного стяжательства. Флем начинает «разоблачать» жену только на восемнадцатом году ее связи с де Спэйном и только потому, что, во-первых, ему необходимо устранить де Спэйна от руководства банком и, во-вторых, так как ему самому, претендующему на пост президента банка, необходима для этого «респектабельная репутация».

С Юлой Снопс своеобразно связана и судьба одного из главных действующих лиц и «рассказчиков» романа Гэйвина Стивенса. Он безнадежно и поэтично влюблен в Юлу. Мягкий, застенчивый интеллигент, книжник, мечтатель, он с кулаками бросается на плечистого спортсмена и вояку де Спэйна Его любовь так глубока и чиста, что он отказывается от легкой связи с Юлой, которая сама предлагает ему себя, удивленная и тронутая его бескорыстным и самоотверженным рыцарством. Не сумев вырвать Юлу из удушающего, смрадного мира Снопсов. Гэйвин пытается спасти ее дочь Линду. Он старается воспитывать ее, руководит ее чтением, добивается, чтобы по окончании школы ее отпустили в колледж. Этому сопротивляется главным образом Флем, для которого Линда прежде всего наследница своего деда Варнера, и к тому же единственная — при безнадежно подорванной репутации жены — гарантия его респектабельности. Борьба за Линду и поновому осознанное материнское чувство пробуждают живую человеческую душу в Юле. Облагороженная горем, Юла впервые сознает страшную пустоту и бессмысленность своего существования. Ей внезапно открылась возможность иной, светлой человеческой жизни, возможность, которую она сама безнадежно утратила. И она приходит к Гэйвину просить, чтобы он женился на ее дочери и своей любовью спас девушку из снопсовской трясины. После этого Юла кончает самоубийством.

II. Закономерность или уродство?

«Скажем, вдруг стая тигров внезапно появилась в округе Иокнэйпатафа. Разве не лучше было бы загнать их всех за одну ограду, чтобы мы, по крайней мере, могли следить за ними и удерживать их там, даже если ради этого приходилось бы терять руку или ногу каждый раз, когда оказываешься ближе, чем в десяти футах от проволоки?.. Разве это не лучше, чем предоставить им разбрестись и свободно разгуливать по всему краю? Нет, теперь они у нас в руках, теперь они наши. Я не знаю, за какие такие заслуги нашему Джефферсону суждено это наказание, досталось это право, дарована эта привилегия. Но это именно так. И, значит, мы должны быть упорны, должны совладать с ними, должны выдержать и (если сможем) преодолеть».

Так говорит о Снопсах Рэтлиф, наивный и здравомыслящий носитель патриархальных традиций «старого Юга». По существу, он выражает мысли и ощущения автора. Отношение Фолкнера к Снопсам совершенно недвусмысленно — он их ненавидит, презирает и... боится, ощущает их жестокую, цепкую силу.

Но, создавая книги о Снопсах, Фолкнер не только выражает свое чисто эмоциональное, нравственное восприятие тигриной или крысиной (как он пишет в другом месте) природы Снопсов. Он одновременно стремится познать, уразуметь их происхождение, их подлинную сущность, движущие силы их успехов, так же как и возможности противодействия, сопротивления...

Фолкнер — художник; он мыслит не отвлеченными понятиями, а конкретными, зримыми, слышимыми, осязаемыми образами. И снопсовщину (это понятие придумано самим Фолкнером, который то и дело говорит о «снопсизме», о «снопслоре», вместо фольклора, о снопсах как видовой категории) он познает, изображая ее признаки, ее становление в развитии характеров отдельных людей.

При этом Фолкнер — художник-моралист: постоянным предметом его творчества и основным мерилом, критерием его отношения к действительности являются нравственные принципы, нравственные ценности. И в своих творческих исследованиях снопсовщины он идет, так сказать, не от истоков к устьям, не от корней к ветвям, не от причин к следствиям, а в противоположном направлении. Поэтому прежде всего он изображает уродливую безнравственность Снопсов, их растлевающее и разрушительное воздействие на жизнь и на нравы обитателей деревни и города патриархальной Иокнэйпатафы. И только непосредственно в самом процессе художественного изображения фактов, явлений и характеров художник старается познавать их причины и источники, основы подлинной сущности.

Однако морализм художника Фолкнера вырос в современной Америке — в стране, где буржуазное мировоззрение господствует в самых широких слоях общества. Нравственные идеалы Фолкнера, при всей их очевидной искренности, расплывчаты, отвлеченны. Его общественно-политические и философские взгляды внутренне противоречивы и эклектичны, передовые гуманистические идеи в них сочетаются с косными ретроградными, патриархальными иллюзиями, стихийно-материалистические элементы — с фидеизмом и даже мистикой. Поэтому возможности его познания неизбежно

ограничены и затруднены предрассудками, ложными представлениями. Фолкнер не знает подлинных законов общественно-исторического развития, тех, которые проявляются и в развитии его Снопсов, не знает и даже не подозревает, что такие законы существуют, что они постижимы.

Он ищет истину. Но, так же как и многие другие современные художники Европы и Америки, в поисках истины он часто блуждает по ложным окольным путям или забредает в тупики, в непроходимые чащи и иногда вырывается на просторы большой общественно-исторической и художественной правды. Именно потому, что, изображая ненавистных ему Снопсов, он не представляет себе их социально-исторической определенности, он воспринимает их как уродство, как зловещее, роковое, биологическое явление. Это неизбежно ведет его по пути натурализма. К тому же как раз этот путь проторен несколькими поколениями предшественников и современников Фолкнера — европейских и американских писателей конца XIX—начала XX века.

Как известно, натуралисты требовали и требуют возможно более точного, фотографического, стенографического запечатления действительности. Но в то же время они не знают, не понимают или даже отрицают самую возможность существования объективных законов общественного развития, определяющих жизнь общества и, в конечном счете, отдельных людей. Они противопоставляют им, как «единственно познаваемые», естественнонаучные закономерности. Поэтому, хотя натуралистам удается правдиво изображать отдельные клочки или мгновения живой действительности, но связи, существующие между отдельными явлениями, их развитие и целостные картины значительных общественных событий и даже становления индивидуальной психологии они неизбежно воспроизводят ложно и неправильно. Приверженность к естественнонаучному объективизму ведет к тому, что художники-натуралисты непременно преувеличивают значение чисто биологических факторов — наследственности, половой жизни, различных болезненных отклонений и извращений.

А переходя от подобных, примитивных, вульгарно-материалистических, представлений о факторах, определяющих судьбу отдельного человека, к изображению жизни общества, значительных социальных проблем и событий, наиболее «последовательные» натуралисты неизбежно срываются в субъективистские, декадентские мистификации. И тогда от стремления к предельной научной точности и объективности они приходят к фантастическим, субъективистски произвольным толкованиям или к полному отказу от возможностей рационального познания, осмысления исторических процессов, общественных явлений и отдельных человеческих судеб.

Натурализм в американской литературе возник позже, чем в Европе, но в силу ряда особенностей общественного и культурного развития США оказался там более жизнеспособным. Однако, изображая беды и страдания народа, чаще всего правдиво, взволнованно и с большой художественной силой, натуралисты оказывались тем не менее бессильными раскрыть их подлинные причины и сущность и обычно воспринимали их как стечения роковых биологических или мистически непознаваемых обстоятельств.

Немало «американских трагедий» наших дней, уже после Т. Драйзера, открыли непосредственные предшественники и талантливые современники Фолкнера: Шервуд Андерсон (именно Шервуд Андерсон был одним из первых литературных наставников Фолкнера), Эрскин Колдуэлл, Джон Стейнбек и др. Но и в их книгах правдивые картины действительности часто осложнялись, замутнялись теми же чертами натурализма.

В творчестве Фолкнера, и в частности в двух рассматриваемых здесь романах, влияние натурализма проявляется, как уже отмечалось, прежде всего в том, что автор пытается представить снопсовщину как уродство, аномалию, как явление биологическое, а не социальное.

Снопсы для Фолкнера—это «стая тигров», или «крысы», или «саранча» — воплощение врожденного, наследственного, ненасытного хищничества. Эти зоологические сравнения не случайны: все взаимоотношения, взаимопомощь и взаимная вражда Снопсов определяются не человеческими, рациональными или эмоциональными связями, а этаким звериным инстинктом рода, стаи хищников, семьи грызунов.

Фолкнеру-гуманисту они отвратительны. Фолкнер-натуралист воспринимает их антигуманистическую сущность как уродство, подлежащее объективному исследованию. Поэтому он рассматривает и воспроизводит их нравы, повадки и деятельность так тщательно, так пристально и даже увлеченно, как врач, любующийся «интересной» злокачественной опухолью, как зоолог, изучающий необычайно уродливую хищную тварь.

И поэтому он такое непомерно большое внимание уделяет собственно патологическим особенностям своих персонажей: импотентности Флема, извращенности дегенерата Айзека, маниакальной преступности Минка и т. п.

Так, порочные, ложные черты мировоззрения писателя, определяющие восприятие снопсовщины не как социально-исторического, а как социально-патологического явления, обусловили и некоторые порочные черты его художественного метода — болезненный интерес к явлениям индивидуальной патологии и вообще к биологическим, и в частности, эротическим элементам человеческой природы.

Но не только этими чертами характеризуется летопись Снопсов.

Зоркий художник Фолкнер обнаруживает и воспроизводит также и подлинные общественные, материальные основы и своеобразные социально-исторические качества исследуемого им мира.

Земля и деньги, деньги и земля — вот неизменные основы мира, в котором живут и Снопсы и их жертвы. Причем, относительное значение земли и денег изменяется со временем. Для старожилов Иокнэйпатафы, для людей 90-х годов, когда собственно и начинается летопись Снопсов, главное еще —земля. Ярким примером косной, жестокой власти земли над беспомощным человеком может служить хотя бы эпизодический персонаж романа «Деревня» даже не названный по имени старый фермер. Его дети ушли от него, едва подросли. Но старик не может покинуть своей истощенной земли и воспринимает ее как живое существо, которое «...ненавидит его и сопротивляется ему, но не может расстаться с ним и все еще неспособно извергнуть его, но, вероятно, знает, что переживет и его и его жену, которая, вероятно, так же как и он, без надежды на успех сопротивления может быть достаточно упрямой и упорной, чтобы все вынести и претерпеть».

Для Варнеров-землевладельцев их торговля — еще второстепенное дело. Флема Снопса нанимают в лавку приказчиком, чтобы обезопасить усадьбу, — отец Флема, старый бродяга Эб, известен как поджигатель. Но для Флема главным уже становятся деньги. Его стяжательство не знает пределов. Ради денег он способен на все — в них цель и смысл его существования.

Земля и деньги — материальные основы бытия в Иокнэйпатафе, как и везде в капиталистическом мире. Но если в иных краях, в иных условиях власть этих первооснов задрапирована, мистифицирована, скрыта под множеством пышных и сложных надстроек—политики, идеологии, культуры,— то здесь она выступает в своем первозданном, чистом виде. Люди, населяющие деревушку Френчмен Бенд и город Джефферсон, не знают почти никаких иных интересов, никакой иной деятельности, кроме изнурительного и отупляющего труда на земле и непрерывной погони за долларом, даже не за долларом—за центом. Их жизнь лишена какой бы то ни было духовной культуры. Вероятно, еще и потому такое непомерное значение приобретают те примитивные, биологические, полуживотные инстинкты, которым так много внимания — на наш взгляд, неоправданно много — уделяет Фолкнер, что они все же в какой-то мере свободны от власти земли и денег.

Этот мир застойного прозябания становится благоприятной питательной средой для хищников Снопсов. Но завоеватель Иокнэйпатафы Флем Снопс, хотя он и представляется иногда своему автору чужеродным, враждебным своей среде существом, вместе с тем обладает теми же свойствами, что и его жертвы.

На протяжении двух больших романов Фолкнер — писатель, который тщательно, с микроскопической точностью прослеживает мельчайшие струйки в «потоке сознания» Гэйвина, Рэтлифа и даже иных эпизодических персонажей,—не обнаруживает у своего главного героя ни одной мысли. Флем — воплощение простейшего, грубейшего инстинкта корыстолюбия, стяжательства, который едва ли не сравним с животной похотью его дегенеративного родича Айзека. Он стяжательствует почти бездумно, как амеба поглощает пищу...

Этого современного американского провинциального буржуа невозможно сравнивать с ростовщиком-философом Гобсеком — воплощением романтического периода истории французской буржуазии. И даже более близкий ему по времени английский буржуа Сомс Форсайт несоизмеримо выше Флема интеллектуально и нравственно.

Однако примитивность, элементарность Флема — отнюдь не его индивидуальная особенность, не патологическое отклонение. В этом — воплощение типических свойств капитализма, и не только национального, американского, но и капитализма вообще. Флем вырастает в своеобразный реалистический символ первичного элемента, «атома» буржуазного мира.

Более того, жизнь и карьера Флема Снопса как бы своеобразно воспроизводит действительные исторические этапы развития капитализма. От «первоначального накопления» в хищном торгашестве и ограблении разоряющихся фермеров через «солидную» коммерцию и промышленное предпринимательство (Флем — управляющий электростанцией) — к финансовому руководству городом и округой.

Судьба Юлы, казалось бы, чем-то напоминает трагические женские судьбы, воплощенные в образах Эммы Бовари, Анны Карениной, Ирэн Форсайт... Но в то же время она очень существенно, принципиально отличается от всех них.

Флобер, Толстой и Голсуорси, изображая страдания женщин в несчастливых браках, в столкновениях с жестокими, бесчеловечными законами буржуазной или дворянской лицемерной морали, в тщетной борьбе против неумолимых губительных сил внешней материальной необходимости, управляющей жизнями отдельных людей и семей в буржуазном обществе, видели при этом и все многообразные сложные последствия, и попутные явления, и противоречивые отражения их в сознании и чувствах людей. Достаточно вспомнить хотя бы, что не только Шарль Бовари, но и Алексей Каренин и Сомс Форсайт, при всей их, так сказать, социально-исторической и этической неполноценности — а в двух последних случаях и прямой порочности,— все же искренне любили своих жен и, причиняя страдания, страдали сами.

В семье Снопса все совершенно по-иному, все обнажено, все предельно просто и грубо. Здесь подлинная основа буржуазного брака освобождена от всех пестрых романтических или идиллических покровов, раскрыта во всем ее омерзительном и бездушном уродстве.

И корыстный брак такого типа, и «бескорыстный» пошлый адюльтер, и скотская патология предстают как разные стороны одного и того же тлетворного явле-

ния — гнилостного распада самых простых форм человеческих взаимоотношений в мире снопсов и де-спэйнов.

Все это только подчеркивается и оттеняется светлой и безнадежной любовью Гэйвина к Юле, доброй, шутливой и грубовато-ласковой простотой отношений в здоровой семье Мэллисонов.

Так в силу своеобразной диалектической закономерности Фолкнер — вероятно, вопреки своим собственным намерениям,— воплощая старую этическую проблему, занимавшую художников многих эпох, оказывается значительно более «социологичен», но именно примитивно, прямолинейно социологичен, чем реалисты прошлого.

Очень ярок созданный раньше, в другой книге, образ сенатора штата Миссисипи Кларенса Снопса («Святилище»), бесстыдно циничного, откровенно продажного политикана, жадного, наглого и жестокого, лишенного каких бы то ни было следов совести и чести. При всей почти гротескной схеме натуралистического изображения, он становится по сути почти реалистическим воплощением главных социально-типичных особенностей современного американского политического деятеля.

* * *

Фолкнер-художник, исследуя то, что ему представляется уродством, биологической аномалией, болезнью, в то же время невольно опровергает сам себя, и читатель в конечном счете убеждается, что *снопсовщина* — прежде всего *социально-историческое явление,* воплощающее основные закономерности развития вполне нормального, «здорового» капитализма.

III. В поисках добра

Фолкнеру, суровому летописцу Иокнэйпатафы, присущи многие предрассудки, характерные для его среды. Многие, но, к счастью, не все. Прежде всего, он почти свободен от пресловутого «американского оптимизма» и определяющих его мифов о «неограниченных возможностях процветания», о «творческой природе свободного предпринимательства», о благодатности американской демократии, о доблестях рыцарей бизнеса и т. п.

В отношении всего этого у Фолкнера нет или почти нет иллюзий. Но в то же время он в достаточной мере наделен другими предрассудками, характерными для современного «среднего американского интеллигента».

Прежде всего, это его непонимание и неспособность понять даже возможность политической активности народа, масс, его неприязненное недоверие к коммунизму, а также — уже специфически южное—патриархально-фермерское недоверие ко всякому прогрессу вообще, недоверие к разуму, к интеллектуальности.

Фолкнер живописует мрачный, безрадостный мир. И в прошлом и в настоящем своей Иокнэйпатафы он прежде всего замечает уродливые, звериные нравы, насилие, убийство, распад семей, извращения, болезни и смерти, самые различные виды человеческих страданий, унижений, самые различные воплощения зла. Именно поэтому Фолкнера обычно считают мрачным писателем, художником пессимизма и отчаяния. И несомненно, его книги дают для этого достаточно оснований. Удушливая, смрадная атмосфера царит в романе «Когда я умирал»; трагически безысходна история семьи Сатпенсов, распадающейся и уничтожаемой, словно под ударами мистического рока («Авессалом, Авессалом»); тошнотворно омерзительна вся история дегенерата — гангстера Поппи, безнаказанно творящего одно преступление за другим и казненного только по недоразумению («Святилище»),— таких и подобных примеров можно привести еще очень много.

Уже сама форма фолкнеровского повествования — его сложность, хаотическая запутанность, косноязычие, иногда почти бредовое, — воспринимается как отражение смятенного, разорванного сознания, отражение безысходности, безнадежности мировосприятия. И все же пессимизмом и отчаянием не исчерпывается содержание творчества Фолкнера.

Он изображает окружающую действительность, которая ему ненавистна, отвратительна и страшна. Такое восприятие, как и сами объективные свойства бесчеловечной действительности сказываются уже в средствах ее художественного отражения, а также в общем настроении, колорите романов и рассказов. Мрачен и страшен мир, мрачны и страшны его отражения.

Но в подлинном искусстве, так же как и в природе, даже самые мрачные, самые уродливые тени определяются не только формой отбрасывающих их предметов, но и силой света.

Где же источники света в темном царстве Иокнэйпатафы? Во имя чего отрицает Фолкнер мир снопсов и сарторисов, компсонов и сатпенсов, мир хищников и дегенератов?

Положительные, жизнеутверждающие элементы в книгах Фолкнера почти не проступают на поверхности. Менее всего можно обнаружить какую бы то ни было позитивную программу в авторских высказываниях. Очень невелико число положительных персонажей в созданной им художественной летописи, и не так уж значителен их удельный вес и в общественной жизни Иокнэйпатафы и в развитии сюжетов.

Но все же утверждающее, здоровое начало присутствует в творчестве Фолкнера. Оно проявляется прежде всего в тех критериях абстрактного гуманизма, на основе которых построена вся система образов его романов и рассказов. Эти критерии вырастают из неустанного стремления Фолкнера отыскивать добрые, светлые силы, способные действенно противостоять злу и мраку — хищной корысти, вырождению, оскотинению человека.

Где же он ищет эти силы, какими путями идет к ним?

Фолкнер не знает, не может и не хочет знать подлинных здоровых сил исторического прогресса. Мир пролетариата, мир организованной борьбы рабочего класса ему глубоко чужд. Несмотря на то, что он в молодости и сам бывал рабочим, в книгах Фолкнера почти нет даже упоминаний о великой борьбе многомиллионного промышленного пролетариата США. И совершенно не виден, словно бы и не известен ему огромный мир социализма. Более того. В последнее время он даже выступил несколько раз с весьма решительными антикоммунистическими заявлениями, которые свидетельствуют, в лучшем случае, о поразительной доверчивости писателя к американской реакционной пропаганде.

Хотя эти выступления и не свойственная ему роль политического комментатора не могут не оказывать своего воздействия на само творчество Фолкнера, все же не ими оно определяется.

В ответе на вопрос, какие же антибуржуазные, и вместе с тем непролетарские, несоциалистические, силы можно обнаружить на родине Фолкнера, следует искать основы своеобразия и трагической внутренней противоречивости всего его творчества.

Почти все романы и рассказы Фолкнера так или иначе связаны с войной Севера и Юга. В этом величайшем событии американской истории прошлого века заключены истоки главных сюжетных линий летописи Иокнэйпатафы, так же как во Французской революции заключены истоки Человеческой комедии Бальзака (при всей несоизмеримости и этих исторических событий и их литературных отражений).

Еще не прошло и столетия с тех пор, как промышленный, капиталистический Север одержал победу над рабовладельческим, сельскохозяйственным Югом, воплощавшим силы своеобразного американского феодализма.

Америка не знала социально-экономической формации феодализма, ни такой, которая многие столетия господствовала в Европе, ни такой, какая и доныне сохраняет еще позиции в ряде стран Азии и Африки. Когда Америку завоевали феодальные европейские государства, туда отправлялись и там оседали прежде всего деклассированные, а по существу буржуазно-авантюристические или буржуазно-оппозиционные (пуритане, квакеры), выходцы из европейских стран. В силу всех объективных условий экономического и социального развития в стране создавалась буржуазная экономика в самом «чистом» виде. Однако в тех областях, где преобладало крупное плантаторское землевладение, основанное на массовом рабском труде, во многом напоминавшее европейское феодально-крепостническое хозяйство *, возникали такие формы идеологического развития, которые многими чертами напоминали традиции европейской феодально-дворянской идеологии и были непосредственно с ними связаны.

Характерно, что ублюдочный американский «феодализм» и в пору своего подъема был по сути бесплоден в культуре и пробавлялся в основном тусклыми, эпигонскими отражениями европейского романтизма, подражаниями второсортным образцам.

Подлинно самобытная американская культура развивалась в борьбе против рабства, против плантаторского варварства. Но после того как рабовладельческий Юг был разгромлен промышленным Севером и стали неудержимо развиваться новые, монополистические, империалистические формы американской экономики со всеми их уродливыми последствиями в общественной жизни, возникла и своеобразная романтическая мифология Юга, в которой ложь реакционных элегий о безвозвратно утраченной мнимой героике «рыцарского» Юга сочеталась с правдой антибуржуазной, антикапиталистической критики.

Убогий, мизерный «феодализм» не создал собственного искусства, но эта мифология, развивавшаяся уже в более поздние времена, в совершенно иной социально-исторической обстановке, в условиях обостряющихся противоречий между монополистическим капиталом, с одной стороны, и разоряющимися фермерами и мелкими предпринимателями, с другой стороны, явилась источником некоторых значительных явлений в современной американской культуре, и в частности — творчества Фолкнера. К тому же пресловутая мифология Юга отнюдь не является целостной системой мировоззрения; с ней связаны иные, прямо противоположные по своей природе элементы, и в основе ее лежат не только фантастические мифы.

Американский Юг — не просто географическое и конкретно-историческое понятие; Юг в то же время, как говорят сами американцы,— особый уклад жизни. Там представлены с наибольшей силой и живучестью элементы добуржуазных патриархальных отношений в экономике (в сельском хозяйстве) и соответственно в общественной жизни и сознании, в традициях и нравах. Победа Севера была, разумеется, победой исторически прогрессивных сил. Но это был буржуазный прогресс, со всеми присущими ему особенностями, который сменял одну форму угнетения другой, нес с собой торгашеский дух, утверждал господство бессердечного и безликого чистогана. На смену бичам, цепям, собакам-«людоедам» плантаторов пришли голод, безработица, пули и костры Ку-клукс-клана...

Рабство и свобода —
Суть у них одна.
Особых нет различий,
Только имена,—

поется в старой негритянской народной песне.

* См. В. И. Ленин. «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии». Собр. соч., т. 22.

И как в те же годы в России, где «распалась цепь великая, распалась, расскочилася одним концом по барину, другим по мужику», так и в Америке непоследовательное освобождение (без земли) негров, расистский террор и плантаторская реакция, воцарившаяся после неудачных попыток демократических реформ в период так называемой «Реконструкции», и, наконец, проникновение хищнического северного капитала привели к катастрофическому, продолжающемуся до наших дней кризису. Миллионы бывших рабов, ставших полунищими издольщиками или нищими батраками и безработными, миллионы бедных белых — «белой сволочью» называли их аристократы Юга — и сотни представителей семейств разорившихся плантаторов, не сумевших приспособиться к новым условиям (именно из этой среды вышел и сам Фолкнер — потомок старинной плантаторской династии), — менее всего могли понять и приветствовать прогрессивный характер буржуазного развития. Старый Юг был исторически сложившейся устойчивой общностью — общностью хозяйственных связей, общностью традиций и нравов, общностью культуры быта. Жестокие удары, нанесенные ему гражданской войной и последующими кризисами, подорвали, но не могли окончательно разрушить эту общность.

Она существует и доныне, прежде всего в сознании тех южан — фермеров и интеллигентов,— которые, отвергая современную капиталистическую действительность, отождествляют ее со старым врагом — янки, северянином — и противопоставляют ей идеализированную мифологию старого Юга. Эта мифология в конечном счете — реакционная утопия: но именно в конечном счете, потому что легенды о «старом добром времени», идиллические пасторали из быта благородных джентльменов и прекрасных леди, окруженных толпами благоденствующих и преданных черных слуг, переплетались с идеализированными воспоминаниями о патриархальных отношениях, некогда господствовавших в фермерских общинах и маленьких городках Юга. И в этих легендах и воспоминаниях воплощалась не только тоска потомков плантаторов, но и скорбь миллионов трудящихся бедняков, обездоленных капитализмом, мечты простых «маленьких» людей о простой человечности, о возможности счастливой жизни в прекрасных долинах Миссисипи, вне удушающей власти банкиров Нью-Йорка и фабрикантов Питтсбурга и Чикаго...

Таким образом, эта по существу ретроградная, реакционная утопия в то же время многими своими корнями уходит в самую толщу народных масс американского Юга.

Таковы обстоятельства, определившие некоторые характерные черты общественного сознания, и в частности художественной литературы, развивавшейся в южных штатах Сложность внутренних противоречий антибуржуазной, и вместе с тем консервативной, идеологии, по-разному проявляющаяся в разных социальных слоях, породила и многообразную литературу.

Возникло целое направление откровенно реакционной «литературы плантации» (Пэйдж, Диксон и др.). Именно на Юге в тридцатых годах возникает архиреакционное течение, так называемый «новый гуманизм». Не случайно и в наши дни американский Юг — рассадник, заповедник самых реакционных идей и теорий.

Вместе с тем, на Юге продолжает развиваться и критика капитализма, которая, однако, ведется чаще всего тоже с реакционных позиций.

С этими же идейными, историческими и литературными предпосылками связано и творчество Фолкнера. Правда, в отличие от упомянутых и многих других его литературных земляков Фолкнер менее подвержен влияниям иллюзорных представлений о мнимой идиллии старого Юга. Но в то же время в поисках сил, способных противостоять растлевающему воздействию капитализма, он неизменно обращается к добуржуазным традициям своей родины.

При этом в сознании Фолкнера неотделимо и причудливо сочетаются и народные патриархальные элементы этих традиций, и очень своеобразно переплавленные, реакционно-мифические представления южной аристократии. Он не то чтобы идеализирует своих героев, представителей плантаторских династий, он изображает их такими, какими они были — порочными, вырождающимися, бесчеловечными. Однако в его романах, особенно ранних («Сарторис», «Смятение и ужас») и даже некоторых более поздних («Авессалом, Авессалом» и «Непобежденные»), звучит элегия о безвозвратно ушедших временах плантаторского процветания.

Но если в романе «Сарторис», где впервые появляются Снопсы, им противостоит аристократ Боярд, бывший летчик, отважный, неудержимо страстный спортсмен, погибающий в бессмысленно дерзком испытательном полете, то в романе «Город», написанном двадцать восемь лет спустя, собрат Сарториса, майор де Спэйн, уже не антагонист, а лишь жалкий, побежденный конкурент Снопсов.

Кто же противостоит Снопсам в «Деревне» и в «Городе»? Прежде всего Рэтлиф, Гэйвин Стивенс, семья Экка Сноупса и некоторые эпизодические персонажи. В чем же социально-историческая и идейно-нравственная основа этих героев Фолкнера, в ряде случаев явно отражающих мироощущение автора?

Подыскивая слова для того, чтобы охарактеризовать Рэтлифа, его приятель Гэйвин говорит так: «это не оптимизм, не храбрость, даже не надежда, а скорее здоровье и, может быть, наивность...» И действительно — это здоровая наивность простого сына глухой патриархальной деревушки, сохранившего незамысловатые, но твердые принципы порядочности, честности, сознания нравственного долга, принципы

фермерской общины. С этих позиций он и судит о Флеме Снопсе в ту пору, когда тот уже завоевывает Джефферсон: «...этот парень, вышедший оттуда, откуда он вышел, как только стал достаточно взрослым, чтобы уметь считать деньги, решил, что он сделал открытие, что деньги — это все, что ему может понадобиться и захотеться когда-либо в жизни. И на этом он построил всю свою жизнь и все свои поступки, готов был на любую пакость, когда считал, что ему это нужно, и не испытывал даже угрызений совести. Никого не щадил, потому что знал, что и ему самому нечего надеяться на пощаду, если бы вдруг и ему также привелось...»

Рэтлиф не только судит Снопсов. Он пытается и противодействовать им, и даже «воспитывать» их. Он помогает дегенерату Айзеку, созывает что-то вроде родового совета Снопсов, пытаясь пробудить в них чувство семейной чести (по поводу все того же Айзека). Он единственный, кто заботится о семье осужденного за убийство Минка Сноупса, от которого отступились все его родичи. В одном случае он даже пытается бороться со Сноупсом его же средствами, втягивая Флема в явно проигрышную спекуляцию козами,— впрочем, безуспешно...

Другим более последовательным и более сознательным, но не более удачливым противником Сноупсов является Гэйвин Стивенс.

Этот неуемный донкихот Иокнэйпатафы в отличие от Рэтлифа образован, интеллигентен. Он закончил два университета, в том числе один европейский — в Гейдельберге. Весь смысл его жизни — в защите справедливости. Фолкнер очень любит Гэйвина и не раз обращается к этому образу. В сборнике детективных рассказов «Ход конем» Гэйвин выступает в своеобразной роли местного Шерлока Холмса — моралиста. В романе «Осквернитель праха», в драме «Панихида по монахине» он борется против линчевателей, против судебной коррупции и звериных инстинктов, воспитываемых расизмом. В «Городе» тот же Гэйвин — борец против сноупсовщины.

Судьба Гэйвина Стивенса — очень своеобразная попытка решения давней и мучительной проблемы: отношение американской интеллигенции к своему народу.

Пожалуй, ни в одной другой стране не существует такой пропасти между интеллигенцией и всеми другими общественными слоями. Достаточно напомнить, что, по данным Института общественного мнения (обследовавшего страны «английского языка» за 1955 год), люди, регулярно читающие книги, составляли в Англии 55% населения, в Австралии — 34%, в Канаде — 31%, а в США — только 17%.

Трагическая изоляция американских интеллигентов является постоянной темой статей, специальных исследований и художественных произведений.

В книгах Синклера Льюиса («Главная улица», «Эрроусмит», «У нас это невозможно») возникает образ интеллигента-одиночки, противостоящего косной враждебной среде, значительно более сильной, чем он сам, подавляющей или извергающей его.

Однако Гэйвин хотя и не похож на своих сограждан, но не противостоит им; он отличается от них, но вместе с тем органически связан с ними: причастен к их общности — примитивной, смутно сознаваемой общности традиций, мироощущения и даже материальных интересов населения маленького южного городка, еще не насквозь разъеденного капиталистическими нравами.

И Гэйвин Стивенс вместе со своим автором противоборствует миру Сноупсов, миру буржуазной безнравственности, буржуазной бесчеловечности, во имя якобы вечных, а по сути добуржуазных идеалов патриархальной общины.

Он отнюдь не революционер, как и все жители округа, а скорее консервативен. Он не восстает против Сноупсов и вовсе не отвергает существующий порядок вещей. Скорее он даже защищает некий вневременный и якобы реально существующий «нравственный порядок» от его безнравственных нарушителей Сноупсов.

Программа Гэйвина очень проста: «спасти Джефферсон от Сноупсов — значит добиться оздоровления, исполнить необходимый долг; спасти Сноупса от сноупсов — это почетная заслуга, дело доблести и чести».

Под стать Гэйвину — и его родня, семья Мэллисонов. Это интеллигентные люди, гуманные, очень порядочные и также неразрывно связанные с Джефферсоном.

«Когда я говорю «мы» — это означает Джефферсон, и когда я говорю «мы думали» — это означает «Джефферсон думал». Так начинает свою часть повествования маленький Чарльз Мэллисон, верный помощник своего дяди Гэйвина. Этими словами может быть выражено отношение ко всему происходящему в мире и Гэйвина Стивенса, и Рэтлифа, и многих других героев Фолкнера: почти буквально те же слова произносит один из персонажей-рассказчиков в сборнике «Ход конем».

«Мы — это Джефферсон»; в этой формуле патриархального общинного мышления — одна из существенных особенностей мироощущения самого Фолкнера.

В книге «Осквернитель праха» Гэйвин Стивенс говорит своему племяннику: «Лишь немногие знают, что только единство и общность народных качеств создают всё, все непреходящие национальные ценности — литературу, искусство, науку, простейшую необходимую государственность, которая обеспечивает всяческую свободу, и, что, пожалуй, самое главное, национальный характер...»

Показателен такой эпизод в «Городе»: Монтгомери Сноупс был разоблачен как распространитель порнографии. Его нужно судить. Но такой скандальный процесс унижает достоинство всего города. И тогда с участием городских властей и Гэйвина в ателье Монтгомери подбрасывают несколько ящиков виски, чтобы затем судить его за... нарушение «сухого закона». Шериф Хэмптон так говорит об этом: «...Черт по-

бери... Главное — Джефферсон. Ведь мы здесь живем. Мы должны прежде всего думать о Джефферсоне. Он важнее, чем удовольствие от расправы с этим мерзавцем».

Такая психология очень двойственна по своей природе. С одной стороны, она выражает те косные, по существу реакционные, силы сельского, захолустного идиотизма, которые препятствуют всякому поступательному развитию, всякой новизне. Эти силы часто служат питательной средой для бонапартистской, фашистской контрреволюции и образуют маскировочные, декоративные покровы ханжеской добропорядочности и респектабельности для любых гнусностей и преступлений, совершаемых в буржуазном мире. Именно эти свойства американской провинциальной патриархальности разоблачил Марк Твен в своей блестящей сатирической повести «Человек, который соблазнил Гэдлиборо».

Однако, с другой стороны, в сохранившихся еще элементах патриархальной общности живы и силы, противостоящие современному нигилистическому буржуазному индивидуализму. Это силы социального сцепления, выражающие объективную невозможность существования одного человека независимо от других. В условиях современного капиталистического города этот постоянный закон истории человеческого общества затемнен, многообразно осложнен и опосредствован, как бы оттесняется волчьими законами борьбы за существование, конкуренции. Правда, там этот закон проявляется в конце концов и в самой высокой форме — как развитие классового сознания революционного пролетариата, потому что пролетарская солидарность является наивысшей — достижимой в классовом обществе — формой взаимных связей между людьми. Но именно здесь-то как раз предел, граница, за которую не проникает мысль большинства буржуазных интеллигентов-гуманистов, не понимающих и не принимающих классовой борьбы, живущих только нравственными, а не социально-историческими понятиями. К их числу принадлежит и Фолкнер.

И поэтому все его надежды и упования на возможность лучшей, здоровой жизни людей, не разобщенных, не мешающих, а помогающих друг другу, вырастают из той общественно-исторической почвы, которая только и доступна его предметному, образному восприятию художника, то есть из патриархальных традиций его родного Юга: «Я — это мы, мы — это Джефферсон».

Двойственность, глубокая внутренняя противоречивость социально-этического идеала Фолкнера существенно определила и внутреннюю противоречивость его творчества.

IV. В поисках художественной правды

Художественное мастерство Фолкнера, так же как и его мировоззрение, характеризуется прежде всего непрерывными, настойчивыми и зачастую безуспешными исканиями.

Фолкнер напряженно ищет пути художественной правды там же, где пытается отыскать и свои социально-этические идеалы, то есть в захолустной Иокнэйпатафе, на улицах маленького Джефферсона, в мире простых до убожества мыслей, примитивных до грубости чувств, где человеческие отношения предельно обнажены, жизнь представляется первозданно «естественной» и люди говорят сочным, образным языком, почти не связанным правилами синтаксиса и грамматики...

Однако фолкнеровская Иокнэйпатафа расположена не в безвоздушном пространстве, не на отдаленном острове, а в современной Америке, в современном капиталистическом мире.

Одной из характерных черт современного буржуазного общественного сознания во всем мире, и особенно в Америке, является крайний индивидуализм, субъективизм в восприятии мира.

Именно этим объясняются и многие стороны современного эстетического развития на Западе. Из этого вырастают все субъективистские формы в литературе и искусстве, основанные на погружении в глубины индивидуального и чаще всего смятенного, неустойчивого сознания, на копании в тайниках сугубо индивидуальных эмоций. Отсюда стремление к полному отрыву искусства от общественной жизни, повышенный интерес ко всему нетипичному, исключительному, даже патологическому. С наибольшей силой и выразительностью эти черты общественного и эстетического сознания воплотились в творчестве таких «властителей дум» современного Запада, как Пруст, Кафка и Джойс, но в большей или меньшей степени они присущи и таким значительным писателям, как Томас Манн, Грэхем Грин, Ремарк и Стейнбек.

И в этой же идейно-эстетической атмосфере развивается творчество Фолкнера.

Однако в разреженном воздухе субъективизма, в постоянных сумерках трагического одиночества трудно дышать и творить настоящему художнику-гуманисту. Поэтому все честные писатели и поэты за рубежом стремятся вырваться из тесных пределов индивидуалистического сознания, преодолеть ограниченность субъективистского мировосприятия и приобщиться к какой-либо значительной объективной социально-исторической силе.

Наиболее последовательно это осуществили и осуществляют те из них, кто вырываются на широкие просторы большой исторической правды, становятся не только свидетелями, но и участниками великой борьбы за счастье человечества. Молодой Маяковский, с такой изумительной поэтической силой причастившийся «великому чувству по имени класс», Элюар, воспевший переход от узкого горизонта одного к широкому горизонту всех, Арагон, Бехер, Брехт, Неруда, Хикмет, Незвал — все они разными путями победно преодолевали уз-

кие тропы субъективизма, стали певцами «всеобщей песни» трудящегося человечества.

Тоска по такой причастности, стремление к ней, хотя и чаще всего безуспешное, но искреннее и настойчивое, рождали и рождают лучшие страницы современной западной литературы.

Эпиграфом к роману Э. Хемингуэя о Гражданской войне в Испании служит стихотворение английского поэта XVII века Джона Донна, начинающееся словами «Человек не остров...» и насыщенное вдохновенным отрицанием эгоистического индивидуализма. Об этом же говорит один из героев Хемингуэя, лишь перед смертью осознав, что «человек один не может ни черта» («Иметь и не иметь»).

Хемингуэй упорно, хотя далеко не всегда последовательно, ищет пути к преодолению этого страшного одиночества то в слиянии с великой объективной правдой природы, в образах охотников и рыбаков, то на полях боев, в приобщении к борцам-антифашистам, героям Испанской республики («Пятая колонна», рассказы на испанские темы, сценарий «Испанская земля»).

Фолкнер, который в своих нравственных и творческих исканиях пытается противопоставить современному буржуазному индивидуалистическому аморализму традиции общинной патриархальности, в то же самое время и в своем мировоззрении и непосредственно в его художественных воплощениях продолжает испытывать очень сильные влияния индивидуализма и субъективизма.

Одинокими, исступленными или угрюмыми, злобными и патологически ущербными индивидуалистами являются все отрицательные персонажи Фолкнера — Флем, Минк и другие Снопсы («Деревня», «Город»), Поппи («Святилище»), Кристмас («Свет в августе»), Квентин Комптон («Авессалом, Авессалом»).

Но одиноки, в конечном счете, и его добрые герои, особенно те, кто ближе всего самому автору,— Гэйвин («Город», «Ход конем», «Осквернитель праха»), Гораций Бэнбоу («Святилище»), Лука Бошам («Осквернитель праха») и др. Они одиноки даже в своих стремлениях деятельно помогать другим людям. И в их общественных идеалах патриархальное общинное сознание неотделимо от индивидуалистического сознания «свободного» фермера — хозяина своей земли, своего дома.

Таким образом, и сознание и тем более непосредственно литературное творчество Фолкнера испытывают значительные субъективистские влияния. Именно этими влияниями, несомненно, определяется и усложненная форма многих его произведений. Все его творчество представляет собой как бы «энциклопедию» современной модернистской прозы: записи «потока сознания», стенограммы косноязычных диалогов, звукопись и аллитерации, доходящие порой до зауми, тщательное прослеживание всяческих болезненных, уродливых, но зато «единственных в своем роде», необычайных отклонений человеческой психики, хаотическая рыхлость композиции, неожиданные сложно-ассоциативные переходы в развитии фабулы, внезапные появления и исчезновения действующих лиц и т. д. и т. п. Все это воплощает субъективистские черты мировосприятия писателя.

Но в то же время многие особенности трудного фолкнеровского повествования связаны и с его стремлением преодолеть ограниченность собственного мировосприятия. Он ищет, мучительно, напряженно ищет выразительные метафоры, образы, определения, слова, необходимые, чтобы правдиво и ощутимо воспроизвести мир, объективную сущность которого он ощущает как художник, но во многом не может постичь своим субъективистски ограниченным сознанием. И поэтому его книги часто напоминают недостроенные здания с неубранными лесами. Он дает читателю не только зрелые плоды своего творчества, но словно раскрывает перед ним самый процесс творения, «процесс производства»: склады беспорядочно нагроможденного сырья и весь ход черновой обработки; показывает и собственно «технологические процессы» писательского труда, весь путь превращения «заготовки» в пластический образ и возникающие при этом отходы и мусор.

Когда он пишет об Иокнэйпатафе, о мире патриархальной простоты, примитивности, он стремится глядеть на жизнь глазами простого, неиспорченного, наивного человека. Так, в романе «Город» действительность раскрывается как бы в трех плоскостях наивного восприятия. Это ребяческая наивность Чарльза Мэллисона, здравомыслящая фермерская наивность Рэтлифа и донкихотская интеллигентская наивность Гэйвина. Значительная, порою решающая роль, которую играет и в других книгах Фолкнера («Авессалом, Авессалом», «Ход конем», «Непобежденные» и др.) рассказ от имени самих действующих лиц или, чаще всего, от имени свидетелей-наблюдателей,— отнюдь не просто литературный прием. Писатель предоставляет слово тем людям, чьи мысли, чувства, нравственные представления, духовные интересы и даже язык являются для него наиболее близкими, больше всего соответствуют его идеалам подлинной человечности и справедливости.

Фолкнер очень скромен как писатель, он сознает ограниченность своего мировоззрения: «я не писатель, я фермер» — постоянный припев всех его публичных выступлений. И в своих произведениях он как бы не решается ни на одно мгновение быть выше своих героев. Но даже лучшим людям Иокнэйпатафы — героям и вдохновителям Фолкнера — присущи очень ограниченный, куцый кругозор, множество старых и новых предрассудков. Старомодная патриархальность сочетается в них с вполне современным буржуазным индивидуалистическим эгоизмом. Их духовные интересы почти не проникают за пределы тесного мирка местных сенсаций, сплетен и мелких происшествий. Они мыслят трезво, но примитивно, беспорядочно, и речь их образна, но

косноязычна... А писатель стремится возможно достовернее, возможно точнее и подробнее запечатлеть все это в своих книгах. Отсюда непоследовательность и скудость их идейного содержания: неожиданные смешения света и теней, смешение целомудренной чистоты — и смрадной грязи; тупого, жестокого отчаяния — и умного, доброго юмора. Отсюда и необычайная противоречивая пестрота средств художественного выражения: ясность реалистического повествования — и темные омуты «потоков сознания»; предельная простота наивных рассказов — и сложнейшие нагромождения жаргонных, недовысказанных, недодуманных словоизлияний, бессмысленно точных записей бреда или пьяной болтовни; нежный лиризм, серьезные раздумья — и грубо натуралистические, лишенные элементарной брезгливости описания патологических уродств.

Так, противоречивое своеобразие литературной формы Фолкнера становится непосредственным выражением внутренней противоречивости его мировоззрения и той конкретной общественно-исторической почвы, из которой вырастает его творчество.

Говоря о «почвенности» и национальных традициях творчества Фолкнера, необходимо особо отметить еще одно существенное обстоятельство — его органическую связь с негритянской культурой, с этой очень своеобразной частью американской национальной культуры.

Фолкнер является противником расовой дискриминации негров, свою Нобелевскую премию он отдал на строительство школ для негритянской молодежи и неоднократно решительно выступал против зверств линчевателей и гнусных антинегритянских процессов.

Но в то же время отношение Фолкнера к конкретному решению «негритянской проблемы» так же противоречиво, как и все его мировоззрение. Он считает дискриминацию и сегрегацию негров «наследственным позором», однако столь же решительно он отвергает и всякие попытки устранить сегрегацию законодательным путем или любым вмешательством правительства. На эту тему Фолкнер многократно высказывался (он вообще гораздо больше выступал по политическим вопросам за последние годы, чем за всю предшествующую жизнь).

При этом в его аргументации проявляется не только старая ненависть южанина к северянину-янки и недоверие «свободного» фермера к государственной машине, но и сочувствие вековым предрассудкам рабовладельческого Юга.

Таким образом, защитник негров Фолкнер сегодня объективно оказывается в одном лагере с самыми яростными южными расистами.

Однако этими фактами не исчерпывается характеристика отношения Фолкнера-писателя к негритянскому народу.

Многие американские писатели были благородными защитниками негров, искренне сочувствовали им, сострадали, даже самоотверженно сражались за них. Но собственное творчество этих «белых друзей черного племени» развивалось почти совершенно независимо от самобытной негритянской культуры и повседневного существования миллионов трудового населения пресловутого «черного пояса» южных штатов.

А для Фолкнера негры — не просто персонажи его книг и не объект этнографических бытописаний; они создают необходимый, органически неотъемлемый элемент его мира и его собственного идейного и творческого развития. Во всем мироощущении Фолкнера, в его системе нравственных критериев, в приемах образотворчества, в языке, в музыкальном строе речи ощутимо непосредственное родство с негритянским национальным характером, с негритянской народной поэзией и мифологией.

Некоторые буржуазные критики, не имея возможности обойти эту особенность творчества Фолкнера, пытаются объяснить ее тем, что писатель обращается к негритянской среде и негритянскому фольклору якобы только вследствие своей склонности к примитивизму и своих стремлений поэтизировать иррациональные, чувственные элементы простейшей естественной человечности, которые он противопоставляет рассудочной, искусственной современной цивилизации.

Такое объяснение содержит некоторые зерна истины, но в нем внешние признаки и следствия выдаются за сущность и причины.

Не из неоромантических умозрений, не из эстетского снобизма вырастают те народные — и в том числе негритянские — элементы, которыми насыщено творчество Фолкнера. Они сами являются его питательной почвой, они-то и есть тот Юг, который вырастил Фолкнера,— Юг черных и белых людей, больших и малых ферм, хлопковых и маисовых полей, причудливых былей о династиях прежних плантаторов и заунывных страстных песен негров-батраков, пылкого библейского пафоса негритянских проповедников и негритянских духовных гимнов «спиричуэлз», ласкового юмора негритянских колыбельных песен и озорных, грубоватых сказок.

* * *

Творческие искания Фолкнера, как уже отмечалось, не выводят его за пределы современного буржуазного эстетического сознания, и поэтому он блуждает в густых зарослях субъективистских представлений и модернистских приемов художественного изображения действительности.

Однако, хотя многие страницы его произведений изобилуют формалистическими элементами, было бы неверно называть Фолкнера формалистом, ибо то, что для формалистов является самоцелью, — для него лишь средство, вернее непрерывное искание средств изображения и повествования, соответствующих тому, что он описывает, о чем рассказывает.

Нравственно здоровых людей и все, что с ними связано, он изображает, как прави-

ло, реалистически, но, описывая уродливые, патологические явления в жизни общества и в жизни отдельных персонажей, Фолкнер прибегает к самым разнообразным средствам модернистского повествования. Впрочем, в последней своей книге, в «Городе», он уже явно отдает предпочтение спокойной эпической манере.

Так же неправильно причислять Фолкнера к декадентам, хотя он воспринял немало элементов болезненного, упадочного искусства современного декаданса. Но для декадентов характерно прежде всего циничное утверждение относительности всех нравственных ценностей. А Фолкнер верит в существование добра, реального живого добра, и настойчиво ищет его; правда, ищет он не там, где прорастают самые плодотворные, самые мощные, исторически закономерные силы добра, и поэтому блуждает, так сказать, на задворках истории, в ее вчерашнем дне, но все же он упорен в своих поисках.

Декаденты смакуют уродства и извращения, видя в них главную сущность человеческой природы. Фолкнер, пристально, иногда даже слишком навязчиво, исследуя и изображая болезненные отклонения психической или физиологической природы человека, подчеркивает их ненормальность, стремится познать их причины и видит в них либо проявление бесчеловечных условий действительности, либо уродливую игру каких-то внешних, роковых, враждебных человеку сил, но никак не естественную сущность современных людей. Именно таковы самые отвратительные персонажи Фолкнера — старик Сатпенс в «Авессаломе...», Поппи в «Святилище», Кристмас в «Свете в августе», Снопсы в «Деревне» и «Городе». Изображая их, он мучает читателя, но и мучается сам.

И в то же время Фолкнер совершенно недвусмысленно противопоставляет свое творчество и теории и практике декаданса. «Я отказываюсь верить в вырождение человека... Я верю, что человек не только вытерпит, но и победит... Долг писателя, долг поэта — писать об этом. Почетная обязанность писателя — помогать человеку переносить все тяготы, возвышая его дух, напоминая ему о мужестве и чести, и надежде и гордости, и сострадании и жалости, и жертвах — обо всем, что было его славой в прошлом. Слово поэта не должно быть простой записью дел человеческих — оно должно быть прочной опорой, помогающей человеку выстоять и победить», — так говорил Фолкнер в речи при вручении ему Нобелевской премии.

Декаденты полностью растворяют свое искусство в беспросветной тоске, печали, бесстрастно, снобистски смакуя болезни, тление, смерти.

Фолкнер даже в самых горьких, самых трагических своих произведениях сохраняет, пусть иногда лишь смутное, лишь скрытое, где-то в глубине общего фона, но все же явственное, ощущение неистребимости жизни. Рожденнем ребенка заканчивается мрачный роман «Свет в августе». Гибнет старый южный род Сатпенсов, вырождаясь в распутстве и преступлениях, но Джим Бонт, отпрыск двух смешанных браков южан-аристократов с негритянками, уходит в неведомые края, унося неумирающую жизненную силу своих разноплеменных предков («Авессалом, Авессалом»).

Сам Фолкнер, в ответ на вопросы о его литературных учителях и его эстетических идеалах, неизменно называет своим любимым чтением библию, «Дон-Кихота» и романы Диккенса, Бальзака, Толстого и Достоевского.

Этим писатель облегчает работу исследователей его творчества. Но, пожалуй, и независимо от таких биографических сообщений, внимательное рассмотрение книг Фолкнера привело бы именно к этим источникам идейно-эстетических традиций.

В наивной патриархальности Ветхого завета, в светлом человеколюбии романов Сервантеса и Диккенса, в могучих творениях Бальзака, Толстого и Достоевского и особенно в неуемных творческих исканиях и страстных мечтах о счастье людей и общественной справедливости, вдохновлявших русских писателей, Фолкнер несомненно находит многое, что близко его мироощущению и его собственным идейным и творческим поискам.

Творчество Фолкнера — арена острой внутренней идейно-художественной борьбы. Какие элементы одержат победу в этой борьбе — покажет будущее.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нам отвечают

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ О СОВЕЩАНИИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Редакция журнала «Иностранная литература» обратилась к ряду выдающихся зарубежных деятелей культуры с просьбой ответить на вопрос, какое значение, по их мнению, могла бы иметь встреча глав правительств для развития международных культурных связей.

В этом номере публикуются полученные редакцией ответы.

Англия

Айвор Монтегю

Было еще темно. Палатка, в которой юноши поселились на время каникул, стояла в долине. Кругом высился лес. Где-то журчал ручей.

— Проснись! Да проснись же! — кричал Поль, тряся друга за плечо.

— Что случилось? — спросил тот, приподнимаясь и протирая глаза.

— Если бы ты только слышал, Томас! Если бы ты только слышал! Это чудесно!

— Что чудесно?

— Специальный выпуск последних известий. О результатах совещания.

Томас сразу сел на постели.

— Скорей рассказывай!

— Достигнуто полное согласие. Ну, конечно, не все сразу. Но важнейшие вопросы разрешены. То, чего все так ждали. Немедленное прекращение испытаний атомного и водородного оружия. Создание «безатомной» зоны в Европе. Невмешательство в дела стран Ближнего и Среднего Востока. Немедленный допуск Китая в ООН. Сроки следующих совещаний. И еще многое другое. Ты и представить себе не можешь!

Рот Томаса открывался все шире и шире. Его глаза прямо лезли на лоб.

— Не верю! — воскликнул он.— Почему ты не разбудил меня раньше? А еще что?

— Сразу и не вспомнишь,— ответил его друг.— О холодной войне. Они сказали, что для достижения полной договоренности на будущих конференциях недостаточно прекратить вражду. Для этого нужно то, что они назвали «сознательными усилиями, направленными на сближение народов путем установления взаимопонимания».

— Ну, а как же они собираются этого достигнуть?

— Разработана целая программа. Взаимный обмен студентами и преподавателями. Специальные кинотеатры для иностранных фильмов, театры для гастролирующих трупп, залы для художественных выставок. Перевод книг. Регулярный обмен теле- и радиопрограммами.

— А откуда они возьмут деньги?

— И это предусмотрено. Все мероприятия вместе взятые обойдутся дешевле нескольких линкоров и тяжелых бомбардировщиков. Эх, я забыл самое важное!

— Что?

— Молодежный туризм. Создана комиссия для отбора военных кораблей и самолетов, в которых уже больше не будет нужды, для обслуживания туристов. А фестивали молодежи! Ты ни за что не поверишь! Даллес сказал, что сделал ошибку, пытаясь сорвать прошлогодний фестиваль в Москве, и предложил приступить к совместной организации фестиваля

в США. Он сказал, что все американские молодежные организации примут участие в его подготовке.

— Что это на него нашло?

— Слушай дальше. Было решено, что ежегодно будет проводиться шесть фестивалей, по одному на каждом континенте. Все они смогут соревноваться между собой в стремлении к доброй воле и миру.

— Он на это согласился?

— А что ему оставалось делать? Правда, он поклялся, что американский фестиваль будет самым лучшим.

— Пусть его! Если даже и так, все будут только рады.

— Да, достигнута полная договоренность. Первый азиатский фестиваль проводится в Индии — в Дели или Калькутте, будет решено позже, а второй — в Пекине. Африканский — или в Гане, или в Египте, а через два года — в свободном Алжире.

Томас встал.

— И я проспал все это!

Над грядой холмов забрезжил рассвет, начали бледнеть звезды.

— Это заря нового мира!

Вдруг Томас зажег фонарик и нагнулся к часам, лежавшим рядом с его постелью.

— Послушай, Поль, ведь до первой передачи еще почти час?

Поль не ответил.

— Ты все придумал, Поль! Не было этой передачи!

Минутная пауза. Потом Поль ответил:

— Да, я придумал. Но разве не стоило этого сделать? Вспомни-ка, что мы перечувствовали за эти минуты. Самое невозможное казалось достижимым! И кто знает — все это еще может оказаться правдой! Через час будут передавать сообщение о результатах совещания.

— Но ведь оно могло ни к чему не привести,— раздраженно сказал Томас.— Оно могло привести к новому разрыву, к усилению вражды. Или к каким-нибудь пустякам — например, Макмиллан разрешит, наконец, балетной труппе Ковент-Гарден поехать в Москву на гастроли.

— И это уже кое-что,— спокойно ответил Поль.— А приведет ли совещание к значительным результатам или нет, зависит от того, насколько нам — простым людям — удалось воздействовать на руководителей правительств до того, как они встретились. В конце концов, все зависит от тебя и от меня, от того, что мы сделали и продолжаем делать.

...Я, право, не знаю, в какой стране произошел этот разговор. Собственно говоря, он мог произойти всюду. Но как бы то ни было, Поль прав. Не так ли?

Шон О'Кейси

Встреча глав правительств и обмен мнениями между ними приведет к лучшему взаимопониманию, лучшее взаимопонимание уменьшит международную напряженность, это приведет к более действенному миру, а более действенный мир приведет к более близкому знакомству с достижениями культуры разных стран и к более полной их оценке. Война, раз начавшись, может уничтожить не только культуру, но и жизнь. Обсуждение — это начало взаимопонимания. Прежде чем мы сможем жить в согласии, мы должны узнать друг друга, а чтобы узнать друг друга, мы должны говорить друг с другом. Если главы правительств встретятся и будут разговаривать между собой — как они могут и должны говорить — без взаимной враждебности, не нападая друг на друга, тогда и народы их стран смогут сделать то же самое. Будем держать совет, — сказал бог человеку. А если бог с человеком могут держать совет, то тем более это могут сделать человек с человеком. Мы ничего не сможем достичь без разумного разговора. Это единственно верный путь к прочному миру. Мы не можем торговать без переговоров; не можем любить и уважать культуру друг друга без переговоров. Радости тесной дружбы невозможны без переговоров, которые должны принести мир всем народам.

Бразилия

Жоржи Амаду

Я полагаю, что встреча глав правительств великих держав — учитывая нынешнюю международную обстановку и необходимость отыскания путей для прекращения холодной войны и расширения международного сотрудничества — будет самым наилучшим образом содействовать развитию культурных связей между народами.

Мировая культура принесена в жертву холодной войне; на ней пагубно отражается недоверие, существующее между правительствами, ее развитие тормозится гонкой вооружений. Достаточно вспомнить, сколько денег тратится в разных странах на приобретение или изготовление оружия — денег, которые могли бы быть использованы на благо культуры. С другой стороны, холодная война наносит ущерб широкому и свободному международному культурно-

му обмену, установлению более тесных контактов на самой широкой основе между деятелями культуры различных стран. Таким образом, холодная война затрудняет развитие культуры и в национальных границах, и в международном масштабе. У себя в стране мы, деятели культуры, испытываем многочисленные затруднения, вызываемые холодной войной. Холодная война ограничивает международный культурный обмен.

Вот почему я верю в то, что расцвет культуры в большой степени зависит от встречи глав правительств, которая привела бы к реальной разрядке международной напряженности, а это, в свою очередь, положило бы конец холодной войне.

Голландия

Тойн де Фрис

Ваш журнал любезно попросил меня написать, что я думаю о проведении в ближайшем будущем совещания государственных деятелей на высшем уровне и особенно о том, какое значение оно может иметь для развития международных культурных связей.

Как и большинство людей во всем мире, я был бы очень рад такому совещанию. Ведь оно имеет важное, если не сказать решающее, значение для ответа на основной вопрос — будет ли война или удастся сохранить мир? Будут ли наши дети ходить в школу, играть и расти, не ведая страха перед самым страшным изобретением человеческого хитроумия, которое грозит массовым уничтожением или, что, может быть, еще хуже, тяжелыми, неизлечимыми болезнями? Будет ли наша человеческая изобретательность, наш человеческий труд служить, как и должно, созданию лучшей и более счастливой жизни для трудящихся масс? Будут ли ученые и художники творить? Подобных вопросов можно было бы задать множество. Вероятно, одно совещание не сможет дать ответа на все вопросы, но оно, по крайней мере, может покончить с роковой угрозой войны.

Это — самое главное. Но, я полагаю, почти все — за обычным исключением кучки твердолобых — согласятся, что смягчение напряженности не будет единственным результатом подобного совещания. Оно окажет благотворное влияние на все, что служит делу мира. После него легче будет жить по-человечески, жить, не зная страха перед завтрашним днем, который может принести войну, голод, безработицу, болезни,— жить так, чтобы в каждом сыне и дочери каждого народа раскрывались их лучшие качества, которые все еще попираются государствами, построенными на алчности и пренебрежении к человеческой жизни.

Сознание, что наш мир сумел избавиться от призрака войны, само по себе станет источником вдохновения для литературы и искусства. Ведь период беспросветного уныния, «черной литературы», истерической музыки, судорожных экспериментов в живописи, переживаемый капиталистическими странами, порожден неверием в будущее. Этот период кончится, и в искусстве сможет быть воплощен истинный дух нашего века — века полного освобождения человечества от всех видов политического и экономического рабства.

Считают, что голландцы, в силу определенных экономических условий, люди практические. Поэтому я, с вашего разрешения, хочу взглянуть на вопрос с практической точки зрения. Если состоится совещание руководителей государств, на котором будет достигнута договоренность,— культурные связи между капиталистическими и социалистическими странами восстановятся в самое короткое время. Известно, что обмен научными и техническими открытиями и изобретениями способствует развитию науки. Благодаря объединению проводимых в настоящее время параллельно и независимо друг от друга исследований будет не только достигнута значительная экономия человеческой энергии, времени и средств, но и сама наука сможет стать тем, чем она и должна быть — мировой наукой. Какие возможности откроются, например, перед медициной в ее борьбе против страшных бичей человечества вроде рака или полиомиелита, не говоря уже об ужасающих антисанитарных условиях, в которых вынуждено жить множество людей в колониальных и зависимых странах! Говоря об этих народах, которые теперь находятся на пути к освобождению, мы не можем заранее предсказать, какой конкретный вклад внесут они завтра в мировой прогресс, но мы знаем, что они уже неоднократно доказывали, какие замечательные силы скрыты в них.

Обмен достижениями науки и культуры, обмен учеными, преподавателями, студентами, путешествия писателей и художников, экономистов и журналистов, широкое развитие туризма — все это поможет сближению людей разных стран, позволив им ближе узнать жизнь друг друга. Обмен телевизионными программами — «Евротелевидение», например, создание которого вполне реально и достижимо,— может стать источником эстетического воспитания, образования и даже простого удовольствия для миллионов взрослых и детей. А обмен спортсменами! Пусть молодежь

мира вместе бегает, плавает, состязается, получает лавровые венки в дружеском соревновании, развивая красоту тела и духа.

И в заключение — некоторые соображения, касающиеся лично нас, голландцев; было бы весьма желательно подписание соглашений по вопросам культурного обмена между моей родиной и СССР, Китаем и всеми социалистическими странами. Слишком долго наши окна открывались только в ту сторону, где заходит солнце. Пора снова распахнуть их навстречу утреннему свету с востока. Наш национальный характер во многом складывался благодаря обширной международной торговле и тесному соприкосновению с иностранной наукой и искусством. Мы, неизменно сохраняя свои особенности, умели выбрать и использовать то, что принесли нам ветры. И разве мы не будем рады показать другим народам, что писали и пишут наши художники, что создают наши строители плотин и архитекторы, какие цветы мы выращиваем, какие корабли мы можем строить, какой мир красоты создают наши музыканты и певцы? Да, мы хотим получать и давать. Все народы хотят этого. Пора покончить с темными силами, которые при помощи лжи и запугивания все еще хотят помешать здоровому стремлению миллионов людей добиться мира на всем земном шаре. Пора уничтожить препятствия на пути мирового прогресса.

Дания

Ханс Шерфиг

У Ханса Кристиана Андерсена есть сказка, которая называется «Самое невероятное». В ней рассказывается, как в одном королевстве было объявлено, что тот, кто совершит «самое невероятное», возьмет в жены принцессу и полкоролевства. В назначенный день каждый должен был показать свое искусство, и тут взорам судей открылась целая выставка «невероятных» вещей. Но все сошлись на том, что «самое невероятное» — это большие часы, которые были снабжены искусным, мудреным механизмом. Во время боя дверца часов отворялась и наружу выходили различные живые фигурки, которые пели и разговаривали. «Это и есть самое невероятное», — решили люди.

Мастер, создавший часы, был сердечный, веселый юноша, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих старых родителях. Он заслуживал и руки принцессы и полкоролевства. Но вдруг, откуда ни возьмись, появился огромный мускулистый детина — право, если бы сказка не была написана сто лет назад, можно было бы подумать, что это американский сенатор! Детина взмахнул топором, и чудесные часы превратились в груду обломков. Колесики и пружинки — все было уничтожено. «Вот каков я,— заявил силач.— Одним ударом я поразил и его творение и всех вас. Значит, я совершил самое невероятное!» «Разрушить такое чудо искусства,— толковали судьи.— Да, это самое невероятное».

И вот пришлось присудить принцессу злодею-разрушителю, хотя принцесса очень огорчилась. Но в самый момент бракосочетания в церкви вдруг появились часы и встали между женихом и невестой. «Мы прекрасно знаем,— пишет Андерсен,— что умершие люди не могут вернуться к жизни. Но вот произведение искусства может!» Дверцы часов распахнулись, фигурки вышли наружу, на глазах у всех стали расти с невероятной быстротой, и та из них, которая появилась последней, бросилась на злодея и ударила его своим жезлом по лбу. «Сгинь!» — сказала она. И настоящий победитель состязания, тот, кто создал искусные часы, женился на принцессе.

Когда Советский Союз, участвуя в научных работах по проведению Международного геофизического года, послал в межпланетное пространство первый спутник, который стал вращаться вокруг Земли, народы всего мира сошлись на том, что это почти невероятное деяние. Ведь человек послал в небо новую маленькую звезду, которая движется по точно вычисленной орбите среди других, старых звезд; у этой маленькой звезды свой собственный голос, она регулярно сообщает по радио о своем местонахождении; мы все слышали этот голос. А вскоре затем мы узнали, что Советский Союз осуществил запуск еще одного спутника и что в этом спутнике оборудована лаборатория со сложной, искусной аппаратурой; специальные механизмы делают расчеты, записывают их и передают на Землю сообщения с этого чудесного создания человеческих рук, которое с непостижимой скоростью вращается вокруг нашей планеты. «Это и есть самое невероятное»,— решили люди.

Но тут в Америке появился силач. Его зовут Джон Маршалл. Это имя будут вспоминать, как вспоминают гнусное имя Герострата.

«Вы послали его в небо! А мы собьем его и заставим спуститься на землю. Думаю, что нам это удастся!» — заявил мистер Джон Маршалл. И хотя ему так и не удалось это сделать, его заявление кажется невероятным.

Появление в небе искусственных спутников Земли — одно из достижений научной программы Международного геофизического года. Его совместно проводят ученые всего мира, независимо от их национальной принадлежности и политических убеждений,

в целях расширения наших познаний о мире, в котором мы живем. Вклад каждого из участников этих исследований ценен для всех. Триумф одного из участников — всеобщий триумф. Речь идет не о покорении неба в интересах одной страны, а о расширении наших познаний об окружающем мире. Советский спутник продолжает свой путь в небе как символ мира, который никому не угрожает, который не сеет ни страха, ни ужаса. Он — друг человечества. То, что он видит, испытывает и регистрирует на своем удивительном пути, обогащает знания всего человечества.

Но, конечно, великим счастьем для всего земного шара является то, что эта замечательная научная и техническая победа впервые одержана трудящимися социалистической страны. Эта победа еще раз подтверждает преимущества нового социалистического строя перед старым, буржуазным, а кроме того, она свидетельствует о том, что капитализм оказался не способен идти впереди в области научного и технического прогресса. В мире частной собственности всякое техническое достижение приносит горе и бедствия большинству человечества. Усовершенствование машин и автоматов означает прибыль для немногих и безработицу и нищету для огромного большинства. Величайшее открытие нашего времени — освобождение ядерной энергии — привело в капиталистическом мире к созданию разрушительного оружия, бомбы, которая была испытана на живых людях. Первое испытание атомной бомбы стоило жизни около 200 000 мирных жителей, нанесло увечья примерно стольким же, обрекло на страдания и болезни неизвестное число еще не родившихся детей.

Советский спутник никому не причинил ущерба, разве что вызвал падение некоторых акций и замешательство на капиталистических биржах. Миролюбие нового небесного тела превращает его в достояние всех народов, в дар советских людей всем людям на земном шаре.

В культурной жизни народов всегда существовало нечто общее. В ходе истории никакие расовые, государственные, языковые границы не могли остановить распространение культуры.

Культура «заразительна». Культурные традиции, характерные для того или иного народа, развиваются в процессе общения с другими народами. В течение тысячелетий люди учились друг у друга. Даже язык, на котором мы говорим, носит на себе следы этих заимствований. Это ничуть не обеднило его, напротив, даже обогатило. Заимствованные из иностранных языков слова расширили возможности национального языка в передаче тончайших оттенков различных значений. Английская спортивная, итальянская музыкальная и бухгалтерская терминология, арабские числа и математические термины вошли во все языки, не говоря уже об огромном количестве греческих и латинских слов. В датском языке часто встречаются слова, иноземное происхождение которых давно забыто. Даже в условиях первобытных общественных форм жизни народы мира постоянно учились друг у друга, заимствовали друг у друга открытия и изобретения, перенимали обычаи. Историкам удалось составить карту путей распространения и развития культур и показать, как тесно эти процессы связаны с процессами общения народов, развитием их торговых связей. Это происходило еще в те времена, когда расстояния на земном шаре были огромны. Теперь расстояния сократились. Пути культурного общения облегчены. Границы нашего познания раздвинулись, и люди стали ближе друг к другу.

В то время, когда я пишу эту статью, на копенгагенском аэродроме приземлился советский самолет «ТУ-104». Открыта новая прямая воздушная трасса Москва— Копенгаген. Теперь расстояние между нашими столицами можно преодолеть за два часа. Теперь Москва совсем рядом! Теперь до Копенгагена рукой подать! Все говорят с восхищением о новом летающем чуде техники. И хотя победу эту одержало социалистическое государство, польза от нее — всем. Вот оно мирное созидание во имя всеобщего блага!

Теперь культуры разных народов приблизились друг к другу. Величайшие открытия и изобретения не могут и не должны быть частной собственностью отдельных народов. Покорение природы — дело всего человечества. Лекарствами, техникой, научными достижениями должны владеть народы всего мира. Каждое новое открытие делает честь его автору и служит всеобщему благу.

Результаты общения между народами отражаются на развитии культуры. Понятие культуры включает не только искусство, литературу и науку. Культура — в широком понимании этого слова — охватывает и обычаи, и нравы, и повседневное поведение людей. Зависимость отдельных людей от окружающей среды, взаимное влияние, отношение друг к другу, манера мыслить, чувствовать, действовать — все это образует культуру народов. И мы по-настоящему познаем ее только посредством личных контактов.

С другой стороны, сотрудничество, взаимопомощь, совместное владение благами науки и культуры вовсе не означают посягательства на своеобразие каждой национальной культуры. Но культура народа не может развиваться особняком. Без взаимодействия не может быть обновления. Холодная война, закрывающая границы и отделяющая народы друг от друга, тормозит развитие культуры. Чем больше мы сближаемся друг с другом, тем шире становится наш мир. Чем больше общего у народов, тем богаче национальная культура каждого народа в отдельности.

Знакомство с искусством другого народа дает очень многое. Но это еще не все. Встречи с людьми дают гораздо больше.

В нашей стране имеют представление о советской литературе, музыке, балете, театре, кинематографии и изобразительном искусстве. Многие произведения советских писателей переведены на датский язык, в Данию приезжали отдельные мастера советского искусства и художественные ансамбли. Эти визиты имели большое значение, они проложили путь к взаимопониманию и дружбе, они обогатили культурную жизнь обеих стран. Посредничество искусства помогло избавиться от некоторых предрассудков и заблуждений; оказалось, что мы не так уж отличаемся друг от друга, как считали некоторые и как кое-кто пытается нам внушить.

Мы увидели советских людей, отраженных в зеркале литературы, и поняли, что у нас с ними много общего. Люди с необычными для нашего слуха именами стали близки и дороги нам. Среди литературных персонажей у нас появились друзья. Нам кажется, что мы хорошо знаем и понимаем их, и нам дорого их счастье. Но жизнь всегда значительней литературы. Никакое чтение не может заменить встречу с живыми людьми. Личные контакты всегда останутся надежнейшим путем к взаимопониманию. Это касается не только контактов между государственными деятелями стран с различными общественными системами, не только контактов между деятелями искусства и учеными, которые в разных концах земли трудятся над одними и теми же проблемами. Это касается контактов между людьми всех специальностей. Когда люди встречаются лицом к лицу, уменьшается опасность недоверия и подозрительности.

У Х. К. Андерсена есть маленький шедевр в прозе, он называется «Муза нового века». Это не сказка, а своеобразная мечта или видение. Андерсен пишет о грядущем веке, который ему самому уже не доведется увидеть. Писатель предсказывает мощное развитие техники, когда наука даст человеку крылья. Перед взором писателя встает «эпоха, гремящая машинами», бескровные автоматы работают день и ночь; и Андерсен уверен, что машины станут слугами и рабами человека. Он предвидит новые средства сообщения, которые приблизят людей друг к другу. «Скоро рухнет китайская стена: европейские железные дороги достигнут закрытого архива азиатской культуры, и тогда встретятся два потока, две культуры!» Андерсен предсказывает ниспровержение старых божеств и «великий прогресс человечества, осознавшего свою свободу».

Так писал сто лет назад замечательный датский сказочник.

«Далекий» Китай перестал быть далеким. Расстояние от Москвы до Пекина теперь можно преодолеть за один день. В годы моего детства Китай был действительно неизведанной и таинственной, как Луна, страной. Нам приходилось видеть китайцев только на фарфоре, где их изображали рядом с драконами и другими фантастическими существами...

Одна из предпосылок относительно высокого культурного и технического уровня жизни в Дании—традиционный нейтралитет этой страны и ее дружеское отношение к другим странам мира. Когда принцип нейтралитета был нарушен ради пагубной политики НАТО, это произошло без одобрения датского народа. Правительство не решилось провести по этому вопросу плебисцит. Но несмотря ни на что стремление датского народа к искренним дружеским отношениям с другими народами осталось неизменным.

Вряд ли в моей стране найдется хоть один человек, который был бы против встречи глав правительств. Для всех очевидно, что такая встреча привела бы к миру и разрядке напряжения. Мир — самая важная предпосылка развития культуры. Мир, дружеские отношения, расширение торговли, сотрудничество между народами будут способствовать культурному обмену, который обогатит культуру каждой отдельной страны, даст новый толчок ее развитию. Таким образом, встреча глав правительств стран Запада и Востока послужит делу развития культуры.

Я уверен, что еще до истечения нашего столетия Луна тоже перестанет быть «далекой». Спутник, который, точно падающая звезда, прочертил новогоднее небо, расширил границы мира, в котором мы живем.

Старое поверье говорит, что, глядя на падающую звезду, надо загадать желание. Глядя на новую звезду, мы загадываем: пусть в этом году расширяются границы познания нашего мира, а люди всех стран становятся все ближе друг к другу.

Египет

Абд ар-Рахман аль-Хамиси

Идея созыва совещания глав правительств способствует сохранению мира и изгнанию призрака войны с лика Земли; она бережет улыбки детей, матерям она приносит успокоение, а старикам дает отдых и покой; она позволяет людям расширить планы созидания и строек на нашей планете. Эта идея нашла отныне отклик во всех благородных сердцах в любом уголке земного шара, ее поддерживают миролюбивые силы во всем мире.

Вот почему эту идею подхватили все мыслители и литераторы, все деятели культуры и искусства, сознающие свою

гуманистическую миссию, борющиеся за жизнь и цивилизацию, отдающие свою энергию во имя мира, во имя Человека.

Под сенью мирного сосуществования благотворно развиваются культурные связи между всеми странами, более широко происходит обмен шедеврами искусства. Мирное сосуществование ведет к укреплению и широкому развитию культурных связей между различными странами. В области культуры и искусства эти связи в свою очередь будут содействовать духовному сближению народов, которые взаимно протягивают друг другу руки. Однако сближению народов преграждают путь искусственные препятствия и препоны.

Человечество внимательно вглядывается в будущее. Мы, в Африке, как и другие народы в Азии, Европе, Америке и Австралии, с надеждой обращаем свои взоры к совещанию на высшем уровне. Мы надеемся, что, состоявшись, оно откроет широкие перспективы мирного развития.

Мы с надеждой и воодушевлением всматриваемся в тот день, когда упрочатся основы мирного сосуществования и сотрудничества, когда Азия увидит искусство народов Европы, когда Африка сможет поделиться опытом с Америкой,

Как прекрасны мечты о завтрашнем дне, и человек в силах обеспечить себе мирное счастливое будущее!

Деятели культуры страстно желают взаимного обмена произведениями литературы и искусства, и совещание глав правительств будет способствовать развитию культурных связей между различными странами, ускорит осуществление тех благородных идеалов, к которым стремятся народы.

Индия

Мулк Радж Ананд

До недавнего времени западная пресса много писала об абсолютном оружии. Но с тех пор, как были запущены советские спутники Земли, а вслед за ними и американский «эксплорер», основной, решающей силой в деле защиты мира во всем мире является воля народов.

Даже на Западе эти факторы заметно усилили тяготение общественности к созыву совещания на самом высоком уровне. Люди хотят, чтобы было покончено с холодной войной, чтобы было достигнуто соглашение о разоружении.

Тем не менее, находятся еще силы, которые всеми правдами и неправдами оттягивают созыв совещания, надеясь выиграть время для создания какого-нибудь нового абсолютного оружия.

В то время как некоторые страны—участницы НАТО — высказались против создания на их территории складов атомного оружия и стартовых площадок для ракет, другие страны, подписавшие Багдадский пакт, настойчиво просят своего хозяина, Америку, предоставить в их распоряжение атомное оружие, которое они могли бы использовать в «лучшем случае» для угроз в адрес соседних стран.

Тучи, которые могли бы быть развеяны совещанием глав правительств, будь оно созвано немедленно, сгущаются еще более. И причину этого следует искать в том, что кое-кто до сих пор надеется сделать человекоубийство выгодной статьей дохода.

Но каковы же аргументы в пользу немедленного созыва совещания глав правительств?

По мнению маршала Булганина, Джавахарлала Неру и маршала Тито, так же как и ряда других общественных деятелей и публицистов, например лорда Рассела, разработка способов использования атомной энергии уже достигла своего предела, по крайней мере в области ее военного применения. Поэтому настало время более решительно говорить об использовании энергии атома в мирных целях. Кроме того, неудача подкомитета по разоружению, который собирался в Лондоне, привела к разочарованию в надеждах, которые ранее возлагались на первоначальные планы сокращения вооружений и запрещения испытаний атомного оружия. Общественное мнение требует, чтобы правительства сделали новые шаги на пути ослабления международной напряженности, вызванной создавшимся положением, при котором человечество не знает, куда оно идет.

Но нужно с чего-то начать, а кто может это сделать лучше, чем люди, облеченные политическим и моральным правом действовать от имени своих народов.

Те же, кто захлопывает двери перед совещанием глав правительств, заявляя, что сначала-де нужно добиться какого-то соглашения, еще больше обостряют международное положение. Ведь к соглашению можно прийти как раз во время совещания, а это соглашение, в свою очередь, создаст атмосферу, необходимую для сосуществования наций, и явится предпосылкой для развития культурного обмена.

Какая же атмосфера необходима для сосуществования?

Никто не может отрицать того, что мировой цивилизации со всеми ее достижениями в настоящее время угрожает большая опас-

ность. Страх перед атомной войной незаметно подтачивает жизненные силы человечества, подавляет творческий импульс человека. Можно даже сказать, что большая часть произведений современной литературы и искусства, особенно на Западе, создана под воздействием чувства страха и отчаяния. Но отчаяние и безнадежность не всегда проступают на поверхности этих произведений. Часто авторы пытаются скрыть за философскими рассуждениями свой более или менее ярко выраженный скепсис; иногда это ощущается по тому, как автор устраняется от описываемых событий и равнодушно наблюдает их. Эти произведения оставляют чувство неверия в возможность мирной жизни, они полны скепсиса, протеста против всякой веры вообще, за исключением мистического экстаза, проповедуемого церковью.

Поэтому те, кому не безразличны судьбы цивилизации, должны положить конец ненависти, порожденной холодной войной.

Требование народов созвать совещание глав правительств подсказано глубоким чувством ответственности, чувством, которое не позволит отчаянию взять верх до тех пор, пока существует человечество. Отрицание же необходимости немедленного созыва совещания глав правительств равносильно отрицанию прав человека на жизнь и счастье.

Бхабани Бхаттачария

Свой ответ на вопрос журнала «Иностранная литература» я хотел бы начать с упоминания о том, с какой огромной радостью я, в числе других деятелей культуры, читал послания председателя Совета Министров СССР президенту Соединенных Штатов и премьер-министру Индии, содержащие предложения, которые могут привести к установлению новых отношений во всем мире. Эти предложения, если они будут приняты, приведут к избавлению от кошмара, который преследует нас, который накладывает тень на наше творчество... Атмосфера безумной холодной войны замораживает наши лучшие порывы, и подчас мы пишем по привычке, не вкладывая всей души в свое творчество.

В далекие времена человек, ударив кремнем о кремень, добыл огонь. Это первое научное открытие послужило толчком к развитию, которое сейчас достигло такой стадии, когда искусственный спутник Земли уже не «научная фантастика», а явление повседневной жизни. Однако даже искусственный спутник — это только первый шаг, первая веха на нашем пути в неведомое и безмерное. Сотни таких вех еще впереди. Нам предстоит огромный творческий труд по покорению новых миров (мирному покорению), а в то же время над нами висит угроза потерять наш мир, созданный тысячелетними усилиями цивилизации.

Холодная война искусственно, в пропагандистских целях развязана людьми, которые не понимают даже основных интересов собственного народа, не говоря уже с человечестве. Атмосфера психоза отрицает человеческие ценности, рвет связи между народами и является, по сути дела, опасной болезнью. Микроб этой болезни надо уничтожить, пока он не уничтожил нас самих.

Взаимопонимание может быть достигнуто только на основе дружеских контактов. Недавно мы видели этому прекрасный пример. Наверное, никогда ни один государственный деятель не дал за столь короткое время такого количества интервью представителям прессы, как Н. С. Хрущев. Его замечательное красноречие и ясное изложение точки зрения советского правительства не могли не оказать влияния даже на консервативные взгляды такого человека, как Херст. Вернувшись на родину, он высказал свою уверенность в том, что больше всего русские хотят мира.

Атмосфера уверенности и взаимопонимания, которую может создать совещание на высшем уровне, будет также атмосферой налаживания культурного сотрудничества между народами. Нетрудно представить себе результаты тесного контакта и взаимного обмена идеями между советскими и американскими учеными и инженерами, союз которых приведет к новым победам над природой. Не меньше пользы извлечет из него и искусство.

Международная напряженность воздвигла между Востоком и Западом искусственные барьеры, противные духу гуманности. Сегодня народы всего мира требуют их устранения. Да, если развеются черные облака смерти, культурные связи между народами позволят вписать новые блестящие страницы в историю прогресса человечества.

Все деятели культуры, которые читали выступление Н. С. Хрущева на сессии Верховного Совета СССР, с воодушевлением встретили его слова:

«Мы будем делать все для того, чтобы наступающий 1958 год был мирным годом, годом спада или полной ликвидации «холодной войны», чтобы люди жили без волнений за свою судьбу, за судьбу своих детей, жен и матерей; чтобы соревнование между двумя системами развивалось на мирной основе, на основе подъема экономики и культуры, более полного удовлетворения материальных и духовных запросов человека».

Канада

Джо Уоллес

Сегодня утром я встал на два часа раньше обычного и впервые за много месяцев достал свою пишущую машинку.

...Перед моими глазами образы двух людей. Первый — это генерал-майор Кризи, начальник химической службы армии Соединенных Штатов, возглавляющий отдел, который разрабатывает планы химической, бактериологической и радиологической войны.

В своем недавнем выступлении генерал Кризи с большим воодушевлением говорил о работе своего отдела смерти: «Наше оружие не соперничает с атомным оружием, а дополняет его, так как его применение способствует сильному увеличению человеческих потерь». И это он сказал на той же неделе, когда его главнокомандующий, президент Эйзенхауэр, упомянул о возможности совместной борьбы против малярии...

Второй — это Глен Гулд, канадский пианист. Он только что кончил играть Баха в концертном зале имени Чайковского и потрясен восторженным приемом московских слушателей. Прошло много месяцев с тех пор, как я видел его в этом зале, но воспоминание об этом приходит ко мне, словно песня. Если бы все канадцы видели Глена Гулда в то время, когда он стоял там, кланяясь в ответ на гром аплодисментов, не так-то просто было бы разлучить канадский клен и русскую березу...

Можно также вспомнить, как принимали у нас советских хоккеистов. Это был энтузиазм, смешанный с уважением, которое советская команда завоевала своей спортивной, в высшей степени корректной игрой.

Однако этого недостаточно.

Как умножить эти культурные связи, чтобы обогащалась духовная жизнь многих миллионов людей, а угроза войны становилась все менее реальной? Для этого есть много путей, но сейчас и в ближайшем будущем почти все в той или иной степени зависит от нового и более широкого, чем Женевское, совещания глав государств.

Нет никаких сомнений, что первое, Женевское, совещание отперло двери: если бы это было не так, Глен Гулд не получил бы разрешения на выезд из Канады, а советские хоккеисты — на въезд в нее.

Второе совещание может не только подтвердить, что дверь была отперта, но и выбросить за ненадобностью ключ от нее.

***

P. S. Чтобы хорошенько оценить следующий незначительный эпизод, вы должны помнить, что фамилия «Уоллес», хотя и не очень редкая, встречается в Канаде не так уж часто.

Когда Уилсон Макдональд, ведущий канадский поэт, вернулся из своей поездки в Москву, он выступил с докладом, в котором с восторгом отзывался обо всем, что он там увидел и узнал. После того как он кончил, я прошел к эстраде, чтобы пожать ему руку. Но меня опередила какая-то женщина, которая сказала ему: «Моя фамилия — Уоллес. Я тоже совершила поездку по России и могу подтвердить все, что вы сказали». Мне оставалось только повторить ее фразу слово в слово (это была Клер Уоллес, радиокомментатор).

Китай

Лао Шэ

Встреча глав правительств будет способствовать дружбе и взаимопониманию между государствами и, таким образом, сохранению мира во всем мире. Дружба между правительствами безусловно укрепит дружбу между народами. Культурный обмен — ключ к углублению взаимопонимания между народами; правительства и народы должны сообща прилагать усилия для его осуществления и развития.

Румыния

Тудор Аргези

Я не знаю, как понимают слово «культура» остальные люди и народы. Означает ли она начитанность и наличие библиотеки? Августин, который был высокообразованным человеком своего времени, говорил, что боится людей, прочитавших в жизни всего лишь одну книгу.

Если в существительное «культура» и производные от него слова вкладывать логический смысл, чувство меры, то есть

мудрость, то можно было бы сказать, что мудрость не является уделом исключительно образованных людей и она в виде здравого смысла есть также и у людей, подозреваемых в необразованности. В кратких народных пословицах и фольклоре столько же мудрости, сколько и в книгах, полных глубокой мысли, а иногда, может быть, и больше...

Нельзя представить себе, что мудрость глав государств не могла бы повлиять, и даже исключительно благотворно повлиять, на развитие культурных связей между народами. Распространенная на целые народы психология культуры приобретает несравненно большее значение, чем одно это понятие и чувство. Это — жизнь, согласие и спокойствие всего человечества, которые ныне находятся под угрозой.

Михай Бенюк

Культурные связи между народами стали особенно укрепляться после второй мировой войны. Различные делегации, художественные, театральные и музыкальные ансамбли, научные работники, деятели искусства и писатели пересекали из конца в конец весь мир, неся с собой послания дружбы и укрепляя повсюду убеждение в том, что мир и культурный прогресс составляют то единственное, что может обеспечить жизнь на земле.

Встреча на самом высоком уровне между руководителями государств с целью найти средства добиться такого положения, при котором атомная бомба перестала бы отравлять атмосферу мира и прогресса, с целью замедлить и прекратить гонку вооружений была бы проявлением подлинной мудрости. Если бы эта встреча увенчалась успехом, она принесла бы не только доказательства доброй воли всех сторон, но и повлекла за собой конкретные решения и меры в духе удовлетворения чаяний народных масс всех стран.

Такая встреча придала бы еще больший размах культурным связям и внушила народным массам уверенность в том, что будут прилагаться новые усилия для расширения производства и строительства, для материального и морального благосостояния народов мира.

Только тот, кто не верит в человеческий разум и прогресс, мог бы счесть невозможной встречу на самом высоком уровне между руководителями государств. Но такой Фома неверующий наших дней должен был бы сгореть со стыда перед подавляющим большинством человечества, которое придерживается другого мнения, ибо всем ясно, что встреча послужила бы серьезным шагом к взаимопониманию. В своей недавней статье философ Бертран Рассел говорил, что он не считает проблему взаимопонимания между людьми в духе мира более трудной, нежели само открытие атомной энергии. И я думаю, что он совершенно прав. О его словах должны были бы подумать все те, кто призван участвовать во встрече на самом высоком уровне.

Недавно мне довелось увидеть Парфенон — чудесное творение человеческого разума, воздвигнутое в честь мудрости, света и жизни.. Известно, что это чудо архитектуры больше всего пострадало в сравнительно позднее время — в XVII веке, когда оно подверглось бомбардировке венецианцев во время их войны с турками, превратившими это здание в пороховой склад.

Из Парфенона человеческой культуры следовало бы окончательно удалить атомное оружие и в конце концов всякое вооружение, так как в противном случае нас больше чем когда-либо подстерегает опасность нанести непоправимые разрушения зданию, в котором мы обитаем, зданию современной цивилизации, созданной с таким трудом всем человечеством.

Встреча на самом высоком уровне убедила бы деятелей культуры всех стран, что никто не хочет, чтобы земля стала пороховым погребом, угрожающим жизни человечества. Тогда связи между учеными, художниками и литераторами стали бы еще более теснными, а уровень культуры поднялся бы еще выше на этой планете, где мирное сосуществование не только возможно, но и необходимо.

Франция

Эмманюэль д'Астье де ля Вижери

Совещание на высоком уровне необходимо, чтобы положить конец холодной войне.

Когда человечество освободится от атомного кошмара, люди разных стран смогут, наконец, поддерживать друг с другом нормальные человеческие отношения. В более благоприятной политической атмосфере их знакомство с умственной и художественной жизнью других народов будет несомненно более непосредственным и плодотворным. Они смогут свободно сопоставлять свои точки зрения на все челове-

ческие проблемы. Это даст им возможность лучше понимать друг друга и относиться с уважением друг к другу даже в тех случаях, когда их вкусы и взгляды в области литературы и искусства не совпадают.

Ибо человек — всюду человек; он менее отличается от других людей, чем ему кажется, и более связан с ними, чем думается.

Робер Мерль

Я целиком и полностью являюсь сторонником встречи глав правительств. На этой встрече должны быть урегулированы нерешенные проблемы как Европы, так и других частей света. Совершенно очевидно, что за такого рода совещанием должны последовать переговоры, имеющие целью установить и развивать в духе полной свободы культурные связи между Востоком и Западом. Это, в частности, касается книгообмена, а также обмена студентами и преподавателями.

Я особенно подчеркиваю необходимость последнего, ибо сам являюсь преподавателем университета. За последние годы уже имели место поездки французских лицеистов в СССР и советских студентов во Францию. Это было замечательно. Во Франции сейчас вновь возрождается очень большой интерес ко всему русскому: языку, литературе, цивилизации. В средних и высших учебных заведениях организуется изучение русского языка, чему мешают лишь трудности с поездками будущих учителей в Россию.

Мне кажется, нет никаких препятствий на пути к достижению соглашения, которое позволило бы будущим преподавателям русского языка во Франции пройти годичную стажировку в советском университете, а советским преподавателям французского языка — во Франции.

От расширения этих отношений мы можем ожидать лишь лучшего знакомства друг с другом, достаточно глубокого, чтобы избежать недоразумений, рассеять предрассудки, а также установить прочную дружбу.

Жан Эффель

Я получил вашу телеграмму, в которой вы просите меня высказаться по поводу расширения культурных связей и встречи глав правительств...

Я, разумеется, глубоко убежден, что культурные связи могут получить развитие лишь в условиях мира и что встреча глав правительств в той мере, в какой она будет способствовать укреплению мира, сможет лишь благоприятствовать развитию культурных отношений.

Я хорошо понимаю, что эти общие слова не очень интересны вашим читателям, но я не компетентен выступать с заявлениями... Как вы знаете, я стараюсь вложить мысли, которые считаю полезными и разумными, в свои рисунки...

Япония

Хироси Нома

На встречу глав великих держав я возлагаю в настоящее время самые большие надежды и жду, когда эта встреча станет реальностью. Серое небо над нами — прояснится ли оно когда-нибудь? — опять покрыто тяжелыми тучами. А сколько людей выступало с требованием, чтобы мир разогнал сгустившиеся на небе тучи. И в Японии также было много сделано для этого. И вот в такое время мы прочли о предложении относительно встречи глав правительств.

Письмо Н. А. Булганина, в котором эта предлагаемая встреча характеризуется как наиболее эффективное средство, обеспечивающее возможность мирного сосуществования, по-настоящему, конкретно очерчивает контуры надвигающейся на мир опасности и показывает пути ее преодоления. Я поддерживаю этот призыв и хочу, чтобы он разнесся по всему миру и осуществился как можно скорее.

Я думаю, что на этой встрече будут обсуждаться вопросы прекращения холодной войны, приостановки гонки вооружений, укрепления основы мирного сосуществования и, кроме того, вопросы развития сотрудничества в области науки, культуры и спорта. Поэтому я возлагаю на эту встречу большие надежды. Эта многообещающая встреча явится лишь первой в серии ей подобных. Она вселяет в меня, японского писателя, большие надежды.

Культура Японии в результате войны и проведения милитаристской политики была изолирована от остального мира. Когда военная изоляция была ликвидирована, началась холодная война. Страх перед

атомной войной препятствует сегодня общению нашей культуры с мировой культурой. Японская литература в эпоху после революции Мэйдзи почерпнула много полезного из произведений Толстого, Достоевского, Маяковского, Шолохова, Эренбурга. В такой же степени японская литература многим обязана Диккенсу и Шекспиру, Марку Твену, Фолкнеру и Стейнбеку, Бальзаку и Арагону, а также Лу Синю, Мао Дуню и Тагору. И сегодня мировая литература является могучим двигателем дальнейшего развития нашей литературы. Едва ли есть другие писатели, которые с таким увлечением читают произведения мировой литературы и черпают в них силы, как это делают японские писатели.

Однако в настоящее время мы не имеем возможности свободно поехать в те страны, которые дали миру наших любимых писателей. Формальности, связанные с поездками, требуют больших хлопот и очень обременительны. Культура сближает один народ с другим и сама рождается из этого сближения. Именно взаимообмен и есть проявление самой культуры. Однако ведущаяся в настоящее время холодная война препятствует этому.

Культура принадлежит народу, и естественно, она принадлежит и всему человечеству. Я думаю, что предстоящая встреча глав великих держав послужит делу укрепления той идеи, что культура является достоянием всего человечества.

Если в результате переговоров будет открыт путь к культурному обмену, тогда, вероятно, культура обретет силу, будет способна объединять незнакомых людей, принадлежащих к разным национальностям, делать их близкими, неразлучными друзьями. Тем самым будет создано широкое поле культурной деятельности для всего человечества. Тогда опасность разрушительных и губительных войн между людьми, ставшими близкими друзьями, постепенно отдалится.

Многие японцы низведены до нищенского существования, расходы на оборону в стране достигают огромных сумм. В случае успешного завершения переговоров глав великих держав, вероятно, уже не будет необходимости навязывать народу такие огромные военные расходы. С этой точки зрения сообщение о предполагаемой встрече глав великих держав нашло большой отклик в Японии. Разумеется, я с нетерпением ожидаю дня, когда вместо нищеты народу станет доступна культура, этого требует большинство японского народа. И для достижения этой цели мы должны отдать все свои силы.

День, когда вместо нищеты японскому народу будет предложена культура, всемирная культура, недалек.

Сунао Токунага

В прошлом году в Японию для переговоров с премьер-министром Киси приезжал премьер-министр Индии Неру. И хотя японское правительство готовилось встретить его обособленно от народа, простые люди смогли выразить нашему гостю свое горячее чувство симпатии.

Этот прием еще более контрастно выделил отрицательное отношение японского народа к побывавшим у нас в стране государственному секретарю США Даллесу и специальному представителю правительства Чан Кай-ши, хотя власти делали все, чтобы те почувствовали теплое отношение к себе.

О чем говорит этот факт?

Он говорит о том, что японский народ горячо поддерживает пять принципов мирного сосуществования, выдвинутые Джавахарлалом Неру и Чжоу Энь-лаем. Кроме того, исходя из задач укрепления национальной независимости различных стран, японский народ неустанно выступает в поддержку интересов Индии.

Ярким доказательством этого явилась история вопроса, по которому Киси и Неру во время переговоров никак не могли достичь согласия, а именно по вопросу о запрещении атомного и водородного оружия независимо от решения вопроса о всеобщем разоружении. Отрицательная позиция премьер-министра Киси вызвала большое недовольство японского народа.

Встречи глав правительств, безусловно, содействуют развитию культурного обмена. Примером этому служит тот факт, что в результате переговоров Киси и Неру в Японии теперь с большим интересом переводятся и читаются произведения индийской литературы. А после того как в прошлом году премьер-министр Хатояма посетил Москву и подписал там соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Японией и Советским Союзом, все более укрепляется дружба между японским и советским народами. Этому способствовали также гастроли в Японии балетной труппы Большого театра, пианиста Гилельса, поездка писателя Эренбурга.

И можно утверждать, что развитие культурных связей и обмена ставит руководителей государств в такое положение, когда они уже не могут не вести переговоров.

Например, японские ученые, не получив поддержки японского правительства по вопросу о ядерном оружии, по собственной инициативе обратились к ученым всех стран мира, приводя в качестве доказа-

тельства губительного действия ядерного оружия результаты атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Даже в условиях режима правительства Аденауэра западногерманские ученые горячо выступили с аналогичным воззванием. Даже в Соединенных Штатах группа ученых отважилась обратиться к своему правительству по вопросу о губительном действии ядерного оружия и необходимости использования атомной энергии в мирных целях.

Самоотверженный поступок этих ученых получил много откликов во всем мире. Их обращения поддерживают те, кто выступает за взаимопомощь и взаимопонимание между народами различных стран.

Японские ученые начали действовать раньше всех в этом направлении, опираясь на то обстоятельство, что многие миллионы японцев поставили свои подписи под воззванием о прекращении испытаний атомных и водородных бомб.

Мы полностью поддерживаем идею созыва совещания на высшем уровне. Если это совещание пройдет успешно, то опасность войны будет отодвинута настолько, что миролюбивые народы смогут, наконец, спокойно жить.

Общий вид Зимнего велодрома в день книжного базара Национального Комитета писателей 1957 года.

Жан Фревиль

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЕМ

Книжный базар Национального Комитета писателей

Гигантский Зимний велодром в радостном гуле голосов.

Это самое вместительное помещение Парижа на вторую половину дня превращено в книжную лавку с наибольшим во Франции числом посетителей и покупателей. Известные писатели склонились над книгами и беспрестанно ставят на них свои автографы; рядом — звезды театра и кино; звучат, сменяя друг друга, веселые мелодии... Такова ставшая уже привычной для парижан атмосфера ежегодного книжного базара Национального Комитета писателей.

Последний базар, состоявшийся 14 декабря 1957 года, был посвящен Альфреду де Мюссе и Шарлю Бодлеру. Такова традиция — каждый из книжных базаров Национального Комитета писателей посвящается памяти того или иного крупного писателя прошлого: в прежние годы это были Золя, Беранже, Жюль Верн.

Национальный Комитет писателей, который был создан подпольно в 1941 году во время гитлеровской оккупации с целью объединения литераторов, стремившихся бороться против захватчиков, за независимость Франции, организует книжные базары ежегодно, начиная с 1945 года. Таким образом, они стали уже традицией и являются одним из наиболее значительных событий парижского сезона.

Принимая решение о проведении книжных базаров, Национальный Комитет писателей ставил задачу упрочить свое положение в интеллектуальной жизни страны, укрепить свою роль защитника литературы и культуры. Он стремился привлечь в свои ряды новых писателей, оказать влияние на их развитие, помочь им установить непосредственный контакт с широкими кругами читателей.

Книжные базары и выставки во Франции устраиваются обычно крупными писательскими организациями. Каждая из них ориентируется на определенные общественные круги. Базары, организуемые Ассоциацией писателей-ветеранов войны, ПЕН-клубом и т. д., в противоположность базару Национального Комитета писателей, носят скорее светский, чем культурный характер.

Что касается Национального Комитета писателей, то он, организуя свой базар, ориентируется на народ и преследует цели развития культуры. В этом подлинная причина растущей популярности его книжных базаров. Сюда приходят покупатели, жадно стремящиеся познакомиться с хорошими книгами, прочесть то, что способствует интеллектуальному обогащению. Книжный базар как в зеркале отражает подлинное развитие идей и, как общественное мероприятие, в свою очередь оказывает влияние на идейную жизнь.

14 декабря 1957 года состоялся двенадцатый по счету базар, организованный Национальным Комитетом писателей. Какой путь пройден от начала, в общем довольно скромного! Первый базар состоялся сразу после войны в «Отеле Ротшильда». Потом он проводился в Доме французской мысли. Но эти помещения были слишком малы, и базар перешагнул на другой берег Сены — в Пале д'Орсэ. Но даже залы этого дворца стали ему тесны. С 1952 года базары устраиваются на Зимнем велодроме.

Расширение площади — свидетельство все возрастающего успеха — сопровождалось, естественно, постоянным увеличением сборов. Суммы, полученные от распродажи книг, росли из года в год. Девять с половиной миллионов франков в 1955 году, четырнадцать миллионов — в 1957.

А в 1956? — спросите вы. Это единственный год, когда базар не состоялся. Национальный Комитет писателей сам принял решение не проводить его, чтобы избежать провокаций и беспорядков, которые наме-

Эльза Триоле на книжном базаре.

Арагон беседует со своим читателем.

ревались организовать фашистские молодчики, уже набившие себе руку на попытках поджечь помещения Коммунистической партии и разгромить редакцию «Юманите».

«Книжный базар Национального Комитета писателей окончательно погребен»,— объявили реакционные газеты.

Но реакция, пустившая в ход шантаж и угрозы, ликовала преждевременно. Ее предсказания опровергнуты успехом книжного базара 14 декабря 1957 года.

Успех этот, однако, не пришел сам собой. Силы, враждебные миру и прогрессу, сделали все возможное, чтобы воспрепятствовать проведению базара. Как обычно, «большая пресса», именуемая «прессой информации», хранила полное молчание по этому поводу. Зато в течение нескольких месяцев она нападала на руководителей Национального Комитета писателей и вела систематическую кампанию, чтобы вырвать из-под влияния прогрессивных идей студенческую молодежь и широкие слои интеллигенции. В этих условиях успех книжного базара Национального Комитета писателей приобретает еще большее значение.

Преобладающее большинство покупателей состояло из молодежи — учащихся, рабочих, служащих...

— Ах, если бы были деньги...

— Я уже все истратил... Ничего не осталось... А так бы хотелось купить еще..

Как часто можно было слышать подобные слова, произнесенные с искренним огорчением!

Налоговые обложения, невероятно раздутые в результате войны в Алжире, и постоянное повышение стоимости жизни, связанное отчасти с той же причиной, а отчасти с обычным ходом развития капиталистического общества, крайне ограничили бюджет трудящихся и свели на нет их небольшие сбережения. Основная же масса покупателей книжного базара состоит именно из тех людей, чье материальное положение наименее благоприятно, чьи средства весьма скромны.

И однако, несмотря на тяготы и огорчения сегодняшней жизни, взгляды посетителей светились доверием, энтузиазм согревал их сердца. Чем же объясняется это возрождение интереса к прогрессивной литературе?

Глубокому и непреодолимому течению, выявляющему с каждым годом все большее число покупателей прогрессивной литературы, в 1957 году способствовало сенсационное событие: 4 октября был запущен искусственный спутник Земли, а меньше чем через месяц — и второй, на этот раз с живым существом.

Тем самым советская наука открыла перед человечеством эпоху межпланетных путешествий. Сегодня мы являемся свидетелями растущего интереса и симпатии к

передовой советской науке со стороны интеллигенции Запада. Даже самые недоверчивые должны были сдаться перед очевидным фактом, даже самые равнодушные увидели те безграничные горизонты, которые открылись перед человечеством. Прогрессивное движение уже ощутило и в дальнейшем еще в большей мере будет ощущать на себе благотворное воздействие этой блистательной победы.

Так советские ученые неожиданно внесли существенный вклад и в успех книжного базара Национального Комитета писателей 1957 года...

* * *

Политические события, социальные противоречия отражаются на всех конкретных проявлениях культурной жизни. Книжный базар Национального Комитета писателей не является исключением из этого правила.

Национальный Комитет писателей всегда стремился к тому, чтобы как можно более полно и правильно представить на своих ежегодных базарах картину современной французской литературы. В значительной мере ему удалось выполнить поставленную перед собой задачу, потому что все выдающееся во французской литературе связано с идеями мира, национальной независимости, свободы и прогресса. В книжных базарах Национального Комитета писателей не участвуют только те, кто не хочет принимать в них участия, те, кто отвергает благородные традиции, которыми питается в течение столетий французская литература.

Известно, какое значение придают некоторые французские круги литературным премиям, присуждаемым в конце года. Значение это не всегда соответствует действительной ценности премированных произведений, как правило не являющихся ни лучшими, ни наиболее характерными книгами года. Тем не менее, книги, отмеченные премиями, выходят самыми большими тиражами. Роману, который удостоен премии «Фемина» или Гонкуровской премии обеспечена продажа 60.000 или даже 100.000 экземпляров, в то время как такой же, а может быть, и лучший роман, не получивший премии, может в настоящее время рассчитывать во Франции на весьма ограниченный круг читателей. Коммерческая спекуляция, завладев литературой, приводит к созданию ложных ценностей: литературная продукция превращается в товар, подчиняющийся законам рекламы и биржевой котировки; умственный, творческий труд становится лотереей, где вознаграждение распределяется в зависимости от игры влияний, комбинаций и закулисных маневров.

Андре Стиль (сидит справа) ставит подписи на новом романе «Завтра мы полюбим друг друга».

В этом году один из четырех лауреатов — Кристиан Мегре, получивший премию «Фемина» за роман «Перекресток одиночеств»,— не был приглашен участвовать в книжном базаре. В его романе рассказывается о том, как молодой американец-негр встречается летом 1944 года, во время битвы в Нормандии, с молодой советской крестьянкой, образ которой от начала до конца состряпан по рецептам клеветы на Советский Союз. Может ли быть интересна трудящимся эта книга?

Три других лауреата — Роже Вайян, Бютор и Гимар — были приглашены. Однако Вайян не присутствовал на базаре.

Роман Роже Вайяна «Закон», удостоенный Гонкуровской премии, рассказывает о событиях, которые происходят в маленьком портовом городке Южной Италии; он проникнут довольно странной философией, созвучной тем упадочническим настроениям, которые свойственны определенным слоям французского общества.

Бютор и Гимар приняли участие в базаре. Эти молодые писатели считают себя реалистами.

Реализм Бютора в романе «Изменение» — мелочен, детален, фотографичен; роман повествует о путешествии женатого буржуа из Парижа в Рим. Уезжая, герой собирается привезти с собой в Париж любовницу, которая ждет его в Риме. Но прибыв в Рим, он решает по-прежнему делить свою жизнь между парижской супругой и римской любовницей. Этим, собственно, и ограничивается сюжет книги. Но рассуждения автора, анализ психологии, отступления, возвращения к прошлому увеличивают книгу до таких огромных размеров, что за время, необходимое для ее прочтения, можно успеть проехать в поезде из Парижа в Рим.

Совсем иной тональности реализм Гимара, он поэтичен и гуманен. Трогательная история, рассказанная в его романе «Рю дю Гавр», дает писателю возможность ярко нарисовать простых людей, живущих в предместье.

Эти два лауреата премий Теофраста Ренодо и «Энтераль» впервые принимали участие в книжном базаре Национального Комитета писателей. «Встреча с огромной массой трудящихся,— заявили они по окончании базара,— произвела на нас глубокое впечатление и запомнится надолго. Мы в восторге от этого плодотворного для нас контакта».

Подобное же чувство общности интересов, чувство поддержки, рождающееся от проявления симпатии и дружеского внимания тысяч незнакомых читателей, испытали все писатели, участвовавшие в базаре. Каждый из них с большей или меньшей глубиной ощутил это чувство,

Жан Фревиль подписывает свою последнюю книгу «Инесса Арманд — выдающаяся деятельница русской революции», написанную к сороковой годовщине Октября.

Стенд Пьера Куртада (сидит в центре).

каждый нашел в нем новый творческий стимул. Таково общее впечатление, основанное на собранных нами заявлениях писателей—участников базара. Разумеется, писатели-коммунисты радовались этой встрече больше всех.

Поль Жамати, автор пользующейся известностью книги об Уитмене, сказал, что счастлив «встретиться на книжном базаре Национального Комитета писателей с рабочим читателем, с которым можно обменяться впечатлениями и мыслями». «Поэзия,— подчеркивает Поль Жамати,— это, по самой своей сути,— действие. Если поэзия не выражает надежд, тревог и радостей народа, она — лишь ничтожная игра, не находящая отклика».

Симона Тери, последний роман которой «Вы, не знающие колебаний...» был с интересом встречен публикой, касается в связи с базаром Национального Комитета писателей проблемы положения писателя-коммуниста в капиталистической стране: «Попробуйте спросить наши книги у обычного книготорговца,— говорит она,— у него их нет. Радио, буржуазная печать, информирующие своих читателей по вопросам литературы, никогда не упоминают ни наших имен, ни названий наших книг, за исключением тех, которые изданы буржуазными издательствами.

Среди всего этого гнетущего молчания звучит только голос нашей печати, но у нее мало места, чтобы писать о книгах; я уже не говорю о том, что читатели наших газет бедны: при существующих во Франции ценах покупка книг часто является для них непосильной жертвой...

Какое счастье для писателя увидеть лица своих читателей, своих неведомых друзей, тех, кто говорит с горящими глазами: «Ну, Симона,— новая книга? Наконец-то! Подпиши-ка мне ее, я ведь читал другие твои книги, я давал их читать друзьям!» И тех, которые, обращаясь к вам, говорят «мадам» и изумленно глядят на вас, пораженные тем, что у вас нет ножа в зубах!.. С каким удовольствием пожимаешь руку и этим тоже, потому что знаешь — завтра и они станут друзьями, знаешь, что посеянное зерно увеличит будущую жатву...

Да, эта ежегодная встреча с теми, для кого мы пишем, этот праздник книги на Зимнем велодроме — самая большая радость, самое прекрасное вознаграждение для писателя-коммуниста!»

Нам захотелось узнать, что думают писатели, не являющиеся коммунистами. Мы обратились к Роже Пейрефитту, романы которого, рассказывающие о быте дипломатов и закулисной жизни Ватикана, выходят большими тиражами.

«Базар Национального Комитета писателей,— сказал нам автор «Ключей святого Петра»,— интересует меня больше

Андре Вюрмсер и его читатели.

других литературных базаров и мероприятий, потому что здесь вступаешь в самый непосредственный контакт с народом. Писатель, если ему дороги литературные традиции, не может не хотеть, чтобы его произведение проникло как можно глубже в гущу народа, так как именно народ испытывает наибольшую потребность и в совершенстве формы и в правде, и зачастую может оценить их лучше, чем кто-либо другой.

Подлинной помощью для литературного произведения является поддержка тех, кого обычно именуют «безыменными читателями»; именно с этой категорией читателей удается встретиться на базарах Национального Комитета писателей, именно эти читатели придают подлинный смысл нашей писательской жизни.

Я стараюсь осветить в своих книгах среду, мало известную широкой публике. Обычно я принимаюсь описывать события объективно, в соответствии с избранным мною сюжетом; но вскоре сюжет увлекает меня в определенную сторону, туда же ведет он и читателя. Таким образом, в известной степени независимо от моей воли, создается картина современного общества, с обвинениями против которого я, в итоге, выступаю.

Действие моих книг обычно развертывается в Италии. В моем следующем романе оно происходит на Капри в начале XX века; я собрал все воспоминания о пребывании там Максима Горького, которые мне удалось найти».

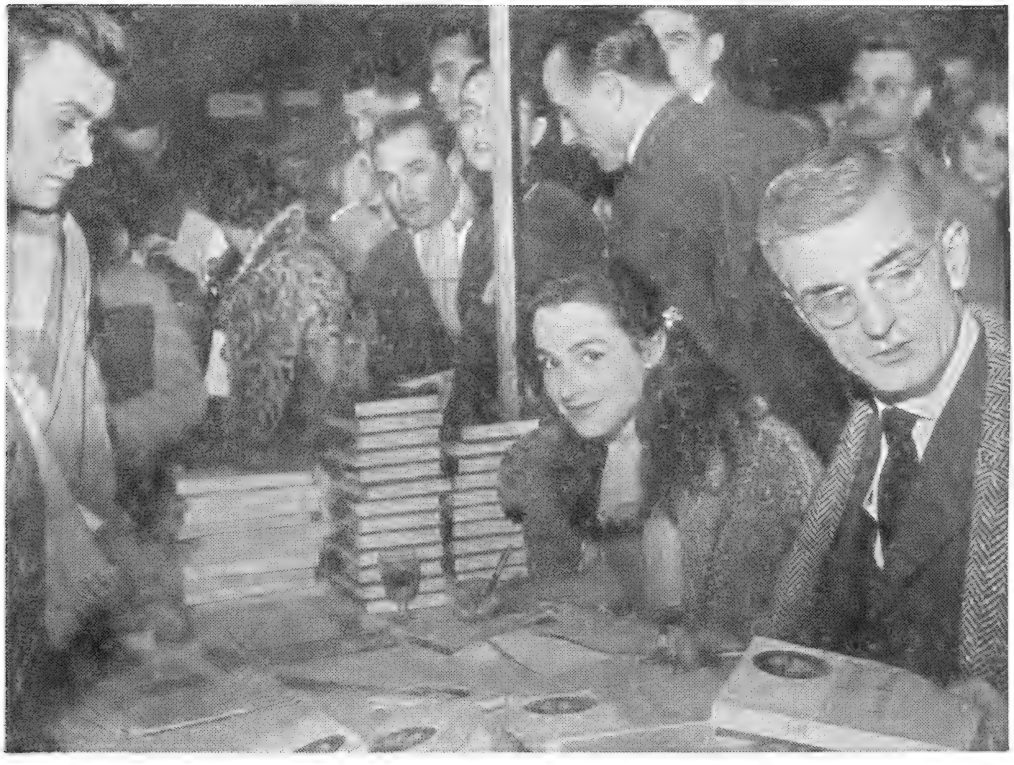
Получив эти интервью, мы обратились затем к одному из инициаторов базаров Национального Комитета писателей Эльзе Триоле. Ее всегда отличала страстная любовь к книгам, желание способствовать широкому распространению хороших произведений. Она неутомимо заботилась об умножении контактов между писателями и публикой. Ежегодный базар Национального Комитета писателей является самым значительным мероприятием такого порядка.

Мы спросили ее: «Что в особенности поразило вас в этом году?»

«Меня поразило,— ответила она,— большое число молодых писателей и новых произведений. Да, этот базар прошел под знаком молодости и таланта. Для писателей, достигших зрелости, большая радость видеть, что смена им обеспечена и что самые молодые пойдут тем же путем, которым шли старшие, что их воодушевляют те же стремления».

Этот действительно важный факт свидетельствует о преемственности поколений, вселяет в нас уверенность в завтрашнем дне нашей литературы.

Есть и другой факт, в той же мере знаменательный: разнообразие книг, тем, задач, жанров. Работы по теории марк-



Паскаль Одре на книжном базаре.

сизма-ленинизма соседствуют с романами и поэтическими сборниками; философское эссе стоит рядом с книгой по истории или искусству; научные работы громоздятся подле детских книжек; роскошные издания в искусных переплетах — около дешевых популярных брошюр... Здесь есть произведения на любой вкус.

Каждый автор, каждый жанр, каждый сектор привлекает толпу покупателей. Пользуются, как обычно, огромным успехом Пикассо со своими иллюстрациями к «Кармен» Мериме, Арагон и Эльза Триоле с их произведениями. Андре Стиль ставит автограф на проданных экземплярах своего последнего романа «Завтра мы полюбим друг друга», направленного против войны в Алжире, Гароди — на книге о гуманизме марксизма. Люсьен Барнье — автор научных трудов, писатели Куртад, Гамарра, Андре Вюрмсер вновь встречаются здесь со своим верным читателем. Очень большим спросом пользуются направленные против колониализма работы Арно, Мемми, Парафа и Будри, а также книга Мишлины Морель, рассказывающая о жестоких страданиях тех, кто был вывезен в Германию,— «Самый обычный лагерь». Леон Муссинак не мог присутствовать на базаре из-за болезни, но его «История театра, от возникновения до наших дней», которая только что вышла в свет, была принята самым лучшим образом, так же как посвященные кино работы Жоржа Садуля. В честь и поэзия, благодаря стихам Назыма Хикмета в переводе Добжинского. У стенда «Воспоминаний» толпа: люди теснятся, чтобы купить произведения крупных писателей, ушедших из жизни,— Поля Элюара, Робера Дено, Жака Декура. Нам следует особо остановиться на Мишеле дель Кастильо, молодом писателе, два первых романа которого — «Танги» и «Гитара» — свидетельствуют о блестящих литературных данных. Актриса Паскаль Одре беспрерывно подписывает «Дневник Анны Франк». Каждый вечер она заставляет плакать парижскую публику, выступая в роли Анны Франк — еврейской девочки из Амстердама, которую хватают нацистские палачи, чтобы отправить в лагерь смерти.

Базар Национального Комитета писателей — это не только встреча творцов и читателей. Это мощный поток произведений, каждое из которых, вызывая отклик в душе человека, затрагивает сердце того, кто является судьей последней инстанции — народа.

Выходя с базара, представляешь себе иное общество, общество будущего, где литература будет избавлена от всего, что ее унижает, искажает, делает предметом торговли, общество, где рухнут барьеры, воздвигнутые капиталистическим строем между писателем и его аудиторией.

Париж.

«ВЫШЕГРАДСКАЯ УЛИЦА» ЙОЖЕФА ЛЕНДЕЛЯ

□

József Lenguel. Visegrádi utca, 1957.

□

Четверть века назад, когда книга Йожефа Лендела о венгерской революции 1919 года «Вышеградская улица» впервые увидела свет, читатели и критики напрасно ломали себе головы над тем, к какому жанру отнести это необычное по тону и структуре произведение. Определения были только отрицательными: не историческое исследование, не роман, не мемуары. Тем не менее, в книге Й. Лендела можно было найти элементы всех этих трех жанров, спаянные воедино теплым лиризмом и боевым революционным мировоззрением. И сегодня, начиная читать книгу Лендела и еще не окончив ее, мы уже знаем, что это произведение о классовой борьбе, а закрывая книгу, постигаем ее несомненную ценность, вечную истину и непреходящую красоту. Сегодня эта книга волнует больше, чем в момент своего появления.

* * *

Начиная с 1917 года, молодой Й. Лендель участвовал в венгерском антимилитаристском движении. Руководителями этого движения были Отто Корвин и Имре Шаллаи. В предисловии к книге Лендела Бела Кун, характеризуя антимилитаристское движение, пишет: «Эта группа, несмотря на свои пацифистские убеждения, в известной степени революционно боролась против империалистической войны, против господствовавшего в Венгрии класса угнетателей, бюрократической верхушки Венгерской социал-демократической партии и реформистских профсоюзов». Так, осуждая идеологические основы группы Корвина, Бела Кун по справедливости высоко оценивал моральные качества молодых революционеров, тех революционеров, которым удалось преодолеть недостатки своей идеологии и которые, не считаясь с жертвами, беспощадно критикуя собственные недостатки, добрались от ручейка до океана, пришли к коммунистической партии. Они смело и последовательно приняли участие в борьбе сил социализма против империалистической реакции. Отто Корвин и Имре Шаллаи погибли мученической смертью от рук фашистских палачей.

В результате распада Габсбургской монархии образовалась Венгерская республика, политику которой направляла буржуазия. Антимилитаристы, сыгравшие немалую роль в образовании республики, были в оппозиции, несмотря на победу. Не о такой республике они мечтали, и теперь они отчетливо осознали, что только победа социалистической революции может удовлетворить законные требования рабочего класса и трудового крестьянства. Однако для них все еще был неясен путь, ведущий к цели. Исторический поворот в освободительной борьбе венгерского народа начался после возвращения из Советской России бывших венгерских военнопленных. Вернувшиеся на родину военнопленные сражались в Советской России с оружием в руках под руководством большевистской партии за свободу человечества и знали, что самой первой и наиболее важной задачей в борьбе является создание коммунистической партии. Ручеек, путь которого прослеживает Лендель, побежал в океан.

Трудно, почти невозможно кратко передать то, что пишет Лендель о жизни этого океана. Он стремится в каждой капле показать бесконечность океана и неодолимость его силы. Но о двух моментах я не могу не сказать. Во-первых, о том, как Йожеф Лендель изображает руководителей молодой коммунистической партии.

Руководители компартии жили одной жизнью с рабочим классом, с трудовым народом Венгрии, делили с ним и радость и горе. Они не носили парадной одежды, их вера, работоспособность были так велики, их человечность проявлялась столь блестяще, что свет ее, словно маяк, поднимающийся над морем, указывал путь и тогда, когда сами они пали под секирой палачей. Простые люди и, в то же время, особенные. В первых главах книги Лендель разносторонне характеризует Корвина и Шаллаи. Описывая дни падения Габсбургской монархии, он рисует образ Яноша Лекаи, молодого рабочего-коммуниста. Рассказывая об организации

партии и ее борьбе, писатель стремится показать Бела Куна руководителем, который излучает энергию, горит и светит, находит в себе силы и смелость выступать против грозных опасностей, руководит самыми трудными делами, и в то же время, как человек, настолько прост, скромен и непосредствен, что люди, недостаточно хорошо знавшие его, не могли поверить, что они говорят с легендарным Бела Куном, пожимают его руку.

В предисловии к книге Йожефа Ленделя Бела Кун с беспощадной самокритичностью перечисляет ошибки, совершенные Венгерской коммунистической партией под его руководством, и указывает на источники этих ошибок: руководители молодой коммунистической партии не были последовательными ленинцами, с них еще не слетела социал-демократическая шелуха.

Другой вопрос, разрешаемый И. Ленделем без лишнего теоретизирования и мудрствования, — передача нашему поколению бесценного опыта революционного рабочего класса. Мы видим будапештских рабочих в феврале 1919 года, когда по приказу лидеров социал-демократической партии они участвуют в антикоммунистической демонстрации. Тех же рабочих автор показывает несколько дней спустя, когда они, поняв, что их направили по ложному пути, выступают против социал-демократического руководства, желавшего использовать их в контрреволюционных целях. Рабочие решительно присоединяются к коммунистической партии, а затем с оружием в руках под руководством коммунистов сражаются за революцию. Здесь книга Йожефа Ленделя повествует уже как бы о сегодняшнем дне.

В дни Венгерской Советской республики Йожеф Лендель был сотрудником «Вереш уйшаг» («Красная газета»), руководил молодыми рабочими, часто сталкивался с интеллигенцией. Велик был приобретенный им горький опыт. До тех пор, пока казалось, что Советская республика в Венгрии победит, буржуазные журналисты были в большей степени коммунистами, нежели сами коммунисты. Но когда они увидели, что Венгерская Советская республика истекает кровью, они тотчас же потребовали «чистой демократии» и объявили коммунизм чуждой венгерскому народу импортированной идеологией. Читая книгу, я невольно задавал себе вопрос, когда же Лендель писал ее, ибо казалось, что это было сейчас, а не двадцать пять лет назад.

Первая венгерская пролетарская революция была потоплена в крови, но уроки ее живы и поучительны до сих пор. Необходимо, чтобы герои этой революции служили примером для трудящихся народно-демократической Венгрии и в первую очередь для молодежи. Существует немного книг, которые бы так верно передавали революционные традиции, как книга Йожефа Ленделя, в такой степени убедительно показывали бы величие героев пролетарской революции, недосягаемый героизм революционного рабочего класса Венгрии. Откровенное признание совершенных революционерами ошибок во многом повышает убедительность книги.

Йожеф Лендель пишет выразительным, чистым языком, стиль его строг и четок, создаваемые им картины красочны и незабываемы. Он одновременно историк и критик, романист и лирик. И. Лендель несправедлив лишь по отношению к одному человеку — к самому себе. Он не только принижает свою роль в революции, но и — что еще более несправедливо — умалчивает о моральной чистоте своего примера и той большой воспитательной роли, которую он мужественно и честно выполнял. В самые тяжелые дни и месяцы венгерской истории ученики И. Ленделя доказали, что прошли отличную школу. И сейчас еще есть немало людей, которым Йожеф Лендель проложил путь в коммунистическую партию, в лагерь борцов за свободу.

Венгерская молодежь мало слышала и читала о Бела Куне, а если и читала, то, главным образом, клевету, написанную врагами. Немало клеветы было вылито и на славную венгерскую пролетарскую революцию. Теперь, в новом издании, эта книга покажет венгерской молодежи, как жил, боролся и учил, каким товарищем и человеком был Бела Кун, один из самых выдающихся (даже с его ошибками и заблуждениями) борцов за свободу в истории Венгрии.

Бела Иллеш
«Элет эш иродалом»,
Будапешт.

«ЭШЕЛОН ЧЕРЕЗ БРЕННЕР»

□

Ruggero Zangrandi. La tradotta del Brennero. Milano, Feltrinelli Editore, 1956.

□

Осенью 1957 года премия «Прато» — одна из основных литературных премий в Италии, ежегодно выдаваемая за лучшее произведение, посвященное движению Сопротивления,— была присуждена журналисту-коммунисту Руджеро Дзангранди за его книгу «Эшелон через Бреннер», получившую высокую оценку прогрессивной критики.

Книга повествует о судьбе узника фашистских тюрем и лагерей, возвратившегося в Италию после разгрома гитлеровской Германии. Многие места в книге, и особенно эпилог, по своей форме и силе художественного воздействия не уступают лучшим произведениям современной итальянской литературы,

портреты некоторых действующих лиц нарисованы так ярко, а действие — несмотря на внешнюю монотонность — развертывается так увлекательно, что книга читается с неослабевающим интересом. Именно в этом сочетании заключается, на наш взгляд, ее главное достоинство: с одной стороны — суровая простота и правдивость документа, хроники дней и событий, с другой — эмоциональность, психологическая глубина образов, придающие книге черты художественного произведения.

Паоло, посаженный итальянскими фашистами в римскую тюрьму Реджина-Чели, был перед самым концом войны передан гестаповцам и вместе с группой других заключенных неожиданно препровожден в Берлин. Поезд, в котором пленников везли в Германию, был обстрелян самолетами, и все сопроводительные документы сгорели. В Берлине не знали точно, что делать с заключенными, да и обстановка в городе была такова, что этой группой иностранцев просто было некогда заниматься. Пленники страдали от голода и болезней, но не подвергались пыткам и издевательствам. И все же Паоло не раз имел случай убедиться в зверствах нацистов.

Внимание автора в этой части книги привлекают психологическое состояние Паоло и его соседей по камере — английского парашютиста, голландского патриота, польских аристократов, итальянских интеллигентов, парижского жулика, неизвестно за что арестованных немцев — и взаимоотношения внутри этого пестрого мирка. Кульминационный момент пребывания Паоло в тюрьме— встреча с немецкими коммунистами - заключенными, которые пытались организовать его побег.

После перемещений из одной тюрьмы в другую Паоло и его друзья, вернее, те из них, против кого немцы не имели прямых улик, фактически оказываются на свободе: их посылают в неохраняющийся лагерь для иностранцев в пригороде Берлина. Советские войска подходят к столице, в городе неразбериха, и никому нет дела до горстки итальянцев. Для Паоло и его приятелей начинаются странные, полные опасностей дни в подвергающемся бомбардировкам Берлине. Агонизирующий город живет какой-то бредовой, призрачной жизнью: под обстрелом советской артиллерии работают фешенебельные рестораны, открыты подозрительные притоны, торгуют все магазины — фашисты решили до последней минуты делать вид, будто «ничего не случилось». Вместе с тем идут лихорадочные приготовления к уличным боям, возводятся доты, роются глубокие укрытия, подземные тоннели, в подворотнях стоят в засаде танки и орудия. Эта часть книги — самая интересная, особенно для советского читателя. Дзангранди показывает нам бои за Берлин с «той» стороны фронта. Автор рассказывает о быте берлинцев, о знакомстве Паоло с испанцем-антифашистом Камильо — действующим в одиночку мстителем, который по ночам охотится за нацистами; о том, как мирные жители ожидали прихода русских; живо рисует сцены вступления победоносных советских войск в поверженный Берлин.

Однако пассивное поведение самого Паоло и его друзей в дни боев за Берлин не может не вызвать некоторого удивления. Проявляя симпатию и участие по отношению к простым немцам, страдающим от ужасов войны, они активно не проявили своей ненависти к нацистам.

После освобождения у Паоло и его друзей только одно желание — поскорее вернуться на родину к своим семьям. Но в Германии около 15 миллионов иностранцев, так называемых перемещенных лиц. Репатриация — дело сложное и не такое скорое. Для Паоло вновь начинаются скитания по лагерям. Он теряет своих товарищей, находит новых, в том числе русского крестьянина по имени Иван, и вновь теряет их.

Но вот, наконец, эшелон, везущий Паоло на родину, перевалил через Бреннер— тот самый пограничный перевал, через который его когда-то увезли в таком же товарном вагоне в Германию. В сильно написанном эпилоге Дзангранди, так же как и в эпизодах, описывающих падение Берлина, достигает поистине высокого драматизма. Паоло снова в родном Риме, но он чувствует себя там чужим. Шумный послевоенный Рим захлестнула мутная волна принесенной американскими «освободителями» безудержной спекуляции и коррупции. Никому нет дела до тысяч людей, возвратившихся из гитлеровских концлагерей и тюрем. Ими не занимается правительство, им не находится работы, на них косятся прохожие — и без них в Италии много голодных и безработных. Не ждала Паоло и его жена: она примирилась с мыслью о его смерти, пошла работать в какое-то американское учреждение, в ее жизни ему нет места. Однажды, встретив на вокзале очередной эшелон, пришедший через Бреннер, Паоло вскакивает в поезд и смешивается с толпой репатриантов. Он

едет до какого-то тихого городка в Калабрии и там, в ночной темноте, сходит со станции — один, без вещей, наедине со своими воспоминаниями. Так для Паоло кончается старая жизнь.

Трагедия Паоло — и гитлеровские тюрьмы, и неустроенность, и безработица по возвращении на родину — была трагедией десятков тысяч итальянцев: после капитуляции Италии в сентябре 1943 года немцы превратились из «союзников» в оккупантов и начали угонять в Германию солдат распавшейся итальянской армии и всех трудоспособных мужчин.

Искренняя и взволнованная книга Дзангранди привлекла в Италии большое внимание.

Г. Богемский

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ

□

"Wspomnienia Polaków o Rewolucji Październikowej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1957.

□

Нам дорога каждая строка воспоминаний, написанных о Великой Октябрьской социалистической революции ее участниками и свидетелями. «Воспоминания поляков об Октябрьской революции», вышедшие в варшавском издательстве «Ксёнжка и ведза»,— новая документальная страница в летописи революции.

Книга, проникнутая пафосом пролетарского интернационализма, представляет собой небольшой сборник воспоминаний непосредственных участников революционных событий 1917—1918 годов в России. Она, без сомнения, интересна даже для того читателя, который хорошо знаком с богатой отечественной мемуарной литературой о первых годах Октябрьской революции.

На страницах сборника воссоздаются незабываемые дни борьбы рабочих и солдат под руководством партии большевиков за установление Советской власти по всей стране. В книге описаны многие эпизоды, участниками которых были польские товарищи, принявшие сторону революции: октябрьские бои 1917 года в Москве, события в местах сибирских ссылок после февральской революции 1917 года, революционные преобразования в России, отражение натиска контрреволюции, усиление борьбы пролетариата в Польше. В рассказах очевидцев оживают образы польских революционеров - интернационалистов: Феликса Дзержинского, Юлиана Мархлевского, Станислава Будзынского, Станислава Бобинского и других товарищей. В ряде воспоминаний возникает незабываемый образ вождя революции — Владимира Ильича Ленина.

Вот Ленин выступает на съезде делегатов «Северной Коммуны» в Петрограде. «На этом съезде мне неоднократно удалось слушать Ленина,— вспоминает старейшая польская писательница Хелена Бобинская.— Навсегда остался в моей памяти хрипловатый, вдохновенный, полный внутренней силы голос Ленина, когда он говорил:

«Над моим столом висит карта России. Я ежедневно отмечаю на ней красными флажками города, где возникают Советы Депутатов. Товарищи! Сегодня уже во всех наших городах имеются Советы Депутатов! Сегодня вся карта России красная!»

Другой эпизод. Ленин говорит польскому коммунисту Будзынскому, назначенному народным комиссаром социального обеспечения, но сомневающемуся, справится ли он с порученной работой: «Никто из нас, товарищ Будзынский, не учился управлять государством рабочих и крестьян. А пришлось — ничего не поделаешь! Мы должны учиться, товарищ Будзынский, все мы должны учиться!»

Вот над головой Ленина перекрещиваются стальные клинки: его приветствует

революционный Варшавский полк, отправляющийся на борьбу с контрреволюцией летом 1918 года. Ленин поднимается на трибуну и, прежде чем произнести пламенную речь, говорит с шутливым упреком: «Эх, товарищи поляки, без эффекта никак не можете... Хотя бы предупредили! А то, ей-богу, испугался!» Полк отвечает единодушным «Да здравствует Ленин!»

В воспоминаниях польского коммуниста Станислава Бобинского, одного из руководителей польского революционного движения и организаторов Варшавского полка, рассказывается о несгибаемом революционере, бесстрашном солдате революции Феликсе Дзержинском, «Юзефе», как называли его польские товарищи: «Дзержинский был человеком, вся система мышления которого, все отношение к жизни, к людям и окружающему миру находились в полнейшем соответствии с

исключительной активностью его натуры. Он был как будто создан для борьбы, а в еще большей степени сам подготовил себя для борьбы, для революции. «Юзеф» был глубоко убежден, что ценность имеет только деятельность человека, а не сама жизнь, все, что мы можем сделать, создать, изменить, сотворить».

С документальной точностью в воспоминаниях воспроизведены многие эпизоды вооруженной борьбы за установление Советской власти в Москве: уличные баррикадные бои красногвардейцев против юнкеров и казаков, взятие центральной телефонной станции, гостиницы «Метрополь», бои за дом генерал-губернатора и, наконец, штурм Кремля, в котором засели юнкера.

Светлой памяти сынов Польши, отдавших жизнь за победу Октябрьской революции, посвящены заключительные страницы книги. Здесь названы имена рабочих, крестьян, солдат, интеллигентов — рядовых борцов и руководителей, жизнь которых явилась вкладом польского народа в дело победы пролетарской революции в России.

А. Мельников

РОМАН О ЖУРНАЛИСТАХ

□

Patrick Kessel. Les ennemis publics. Paris, Julliard, 1957.

□

«Враги общества» — так назвал свой второй роман молодой французский писатель Патрик Кессель. И это не только броское название книги, но и вывод, к которому пришел автор в результате многолетней работы в парижской печати. Если внимательно прочесть книгу, написанную безусловно на основе личных впечатлений, книгу, являющуюся попыткой правдиво показать практику буржуазной печати, ее, так сказать, методологию, можно согласиться с авторским заключением, вынесенным в заголовок произведения. Впрочем, не следует искать в ней каких-либо открытий. Среди многих других книг на сходную тему она привлекает внимание своей искренностью, достоверностью.

В рекламе издательства говорится, что этим романом П. Кессель не только хотел дать представление «о современной журналистике, но и рассказать историю двух людей, из которых один намного старше другого, людей, которые пришли в газету разными путями, но оба разочаровываются в своей профессии...»

Один из этих двух — опытный и талантливый журналист Этьен Пелла, получивший прозвище «Фаталитас». После того как он потерял работу в прогрессивной газете «Кри», которая перестала выходить из-за финансовых затруднений, Пелла связывает свою судьбу с реакционным правым еженедельником «Сьекль». Он скоро убеждается, что его надежды сохранить здесь свое доброе имя напрасны: для того чтобы продвинуться, надо слепо выполнять задания хозяев. А эти задания внушают ему отвращение. На наших глазах хороший газетчик Пелла теряет мастерство, становится равнодушным к своему делу. Эту медленную агонию талантливого человека автор показывает с большим психологическим мастерством. Мы видим, как отвращение к работе, к самому себе приводит «Фаталитаса» к моральному опустошению, к пьянству. Он говорит своему молодому и полному иллюзий коллеге Пьеру Декре, что журналистика — «прекрасное занятие, если работать в настоящей газете». А затем продолжает:

«Прекрасное занятие, да? Но погляди на меня, чудак! Вот что оно со мною сделало! Конечно, не все журналисты пьют, иные любят своих жен: находятся женщины, которые терпят их. Но ради чего все это? Хочешь знать, что такое газета? Фабрика для изготовления неудачников. Посмотри на меня, на всех нас. И не только неудачников в профессиональном плане, но и в личной жизни, во всех отношениях... Понаблюдай за работающими в газетах сорокалетними типами, которые трутся в кулуарах Национального собрания, за кулисами театров и в дамских альковах. Они возвращаются счастливые: схватили информацию. «Унтель, мой друг Унтель сказал мне, что правительство скоро падет», или «М-ль NN зарабатывает 38 миллионов на каждом фильме, хотя думали, что она получает 29 миллионов». Или пишутся отчеты о конкурсе рыболовов, выставке кошек, конгрессе виноделов... Если кого-либо из этих ребят выставить за дверь, ни одна газета их не возьмет. Что они умеют еще делать? Ничего! Держать перо и легко писать по-французски? Их стиль? Они давно его убили. Однажды они проснутся, и им останутся в жизни одни воспоминания...»

Это горькая речь разочарованного человека. Тщетно пытается Пелла убедить Пьера, что тому лучше бросить «Сьекль». Но сама жизнь, повседневная работа показывает Пьеру, сколько правды в словах его старшего товарища. Практика правой печати, о которой можно судить не только по тому, как она освещает забастовку рабочих, но и личную жизнь молодого писателя лауреата Гонкуровской премии, а также некоторые другие события, служит яркой иллюстрацией к филиппикам Пеллы.

Через весь роман проходит галерея деятелей бур-

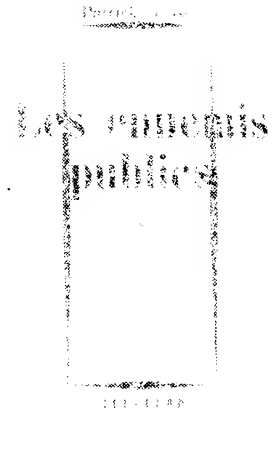
жуазной журналистики. Тут и преследующие определенные политические цели дельцы (вроде «человека в черном» или «князя» — иначе они не именуются автором), которые перерастают в символические фигуры, и полные зловещей таинственности редакционные работники типа Триве и Пюльви, которые дерутся за место главных редакторов, и многие другие. Запоминаются образы беспринципного заведующего отделом информации Вилли и его помощника, прожженного негодяя фотографа Сартиса.

Может возникнуть вопрос: что же противопоставляет Патрик Кессель этому справедливо осужденному им миру? И тут—основная слабость его книги, ибо прогрессивные тенденции газеты «Кри» описаны более чем поверхностно, и почему она называется левой, нам не совсем ясно. Лишь второстепенный образ талантливого журналиста Сержа, перешедшего из «Кри» в одну из демократических газет (хотя это прямо и не сказано автором), недвусмысленно показывает, на чьей стороне симпатии автора. Не случайно Пелла завидует Сержу, потому что тот работает с удовольствием, потому что, оказывается, «радость жизни можно познать без самоотречения, оставаясь цельным человеком».

Разумеется, материал, которым располагал Патрик Кессель, давал ему возможность написать более сильное произведение. Чувствуется, что он многое понял, работая в печати, и ничего не забыл, но он, видимо, еще не решился на создание такого произведения. В своем романе он о многом говорит намеками, предлагая читателю самому сделать нужные выводы. Но в целом его приговор безжалостной «газетной машине» капитализма, ломающей жизнь человека и смешивающей с грязью его самые светлые устремления, звучит совершенно определенно.

Это как раз и выделяет в своей рецензии газета «Юманите», подчеркивая, что молодой автор «смело выступил с такой темой в тот самый момент, когда органы печати, родственные описанному им «Сьеклю», особенно широко применяют свои недостойные методы воздействия... Патрик Кессель написал интересную и полезную книгу».

Патрик Кессель предпослал своей книге следующий эпиграф из Бальзака: «Кто хоть раз оказался в горниле журнализма или еще горит в этом котле, тот стоит перед жестокой необходимостью приветствовать людей, которых он презирает, улыбаться своим худшим недругам, соглашаться на самые большие подлости,



пачкать руки, желая отплатить своим врагам их же монетой. Здесь привыкают видеть, как совершается зло, как дают ему дорогу, начинают даже одобрять и кончают тем, что сами совершают его. В конце концов перед лицом постоянных и постыдных уступок душа человека мельчает, а рессоры благородных мыслей ржавеют».

Так писал Бальзак о нравах французской буржуазной печати в XIX веке. С тех пор прошло более столетия; насколько актуально звучат сегодня эти слова, безусловно подтверждает талантливая книга Патрика Кесселя.

А. Брагинский

НОВАЯ КНИГА ПОЛЯ ДЕ КРАЙФА

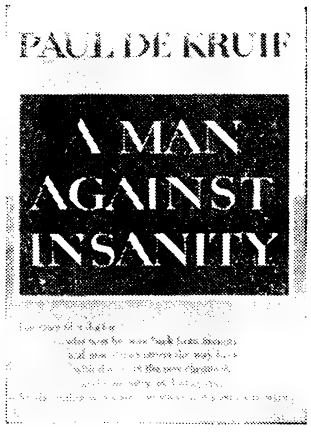
□

Paul de Kruif. A Man Against Insanity. New York, Harcourt, Brace and Co, 1957.

□

Научная жизнь бактериолога Поля де Крайфа складывалась вполне благополучно. Двадцати лет он уже преподавал в одном из университетов США, и его работы цитировались в солидных трудах. Быстрой карьере ученого способствовало и то, что он вышел из обеспеченной семьи и «никогда не сталкивался с подлинной человеческой нуждой». Научный мир современной Америки, в котором стал вращаться де Крайф, был, по его собственному признанию, отгорожен каменной стеной от страданий трудящегося народа.

Молодого исследователя увлекла история микробиологии — науки, которая за короткий срок дала миру множество замечательных открытий, вооружив человека в борьбе с болезнями.



Поль де Крайф старался проникнуть в тайны труда ученых, понять их ошибки и сомнения, а не только блестящие победы. Так возникла книга «Охотники за микробами». Автор не испытывал благоговейного трепета, рассказывая о делах великих основателей микробиологии. Он заглядывал в крошечный чулан под крышей одного из парижских домов, где начал трудиться гениальный Пастер, он правдиво изобразил путь к вершинам науки сельского врача Роберта Коха. Левенгук в изображении де Крайфа «был похож на молодого щенка, который, пренебрегая всеми правилами приличия и учтивости, с любопытством обнюхивал каждый новый предмет в окружающем мире». Порой в своих оценках автор «Охотников за микробами» был несправедлив и на редкость субъективен. Никак нельзя, например, согласиться с его трактовкой образа замечательного ученого И. И. Мечникова.

Успех книги «Охотники за микробами», вышедшей из печати более тридцати лет назад, решил судьбу автора. Одним способным бактериологом стало меньше, но миллионы людей во всем мире полюбили своеобразного писателя Поля де Крайфа, обладавшего прекрасным качеством — умением показать величие научного подвига, благородство цели ученого. Известно, что многие ныне маститые бактериологи избрали свою специальность еще на школьной скамье, прочитав «Охотников за микробами».

Одаренный и честный исследователь Поль де Крайф видел, что усилия ученых в капиталистическом мире наталкиваются на непреодолимые препятствия, и вскоре ему «стало невмоготу заниматься писанием приятных рассказов в научно-приключенческом жанре». В следующих своих книгах он из увлекательного рассказчика о приключениях «охотников за микробами» превращается в обличителя социального неравенства. Он начал «открытую атаку на экономический строй, в котором господствует доллар».

«Стоит ли им жить?» — так назвал де Крайф книгу о судьбе детей трудящихся Америки, о страданиях миллионов людей в стране «величайшего изобилия». Он смело рассказал об участи «цветных», которые из обыкновенных рабов превратились в рабов капитала. Героями Поля де Крайфа становятся не великие ученые прошлого, а скромные врачи, проникающие в трущобы американских городов, спасающие рабочих на заводах Форда от смертельных ожогов... До каких же пор, с горечью спрашивает писатель, «здоровая экономика» (то есть капитализм — *С. Н.*) будет безнаказанно убивать наших детей?»

Во Франции в годы первой мировой войны к военному врачу де Крайфу принесли тяжело раненного солдата. Слова молодого американца, пролившего кровь в сражении при Мез-Аргоне, запомнились надолго: «Я знаю только одно. Если бы мистер Вильсон посидел со мною там, в воронке, он вынул бы свое вечное перо и живо подмахнул перемирие». Полю де Крайфу, как и знаменитым и безвестным героям его книг — борцам со смертью,— глубоко ненавистна сама мысль о войне.

Последняя книга Поля де Крайфа «Человек, борющийся с безумием» носит более специальный характер, чем те, которые в свое время привлекли внимание советских читателей: в ней ставится проблема лечения психических заболеваний в современной Америке. Известно, что число душевнобольных в США с каждым годом растет. Социальные причины, способствующие развитию психозов, усугубляются в обстановке военной истерии и «охоты за ведьмами». Рассказывая историю американского врача Джека Фергюсона, автор не претендует на широкие обобщения; он не идеализирует своего героя, упоминает даже о его попытках «сделать бизнес» на торговле виски. Однако Фергюсон фанатично предан своему делу. Преодолев наркоманию и психическую болезнь, он стал руководителем отделения большой больницы для душевнобольных. Фергюсон отдал дань повальному увлечению лоботомией — операциям на головном мозгу для лечения психозов. И здесь автор рассказывает о появлении новых лечебных средств — серпазила (резерпина), риталина и других. Джек Фергюсон решил испытать действие этих лекарств в психиатрической клинике.

Когда де Крайф писал о Левенгуке или Пастере, открытия этих великих людей уже давно заняли свое большое место в истории науки. События, о которых повествует автор в последней книге, еще только развертываются. Писатель идет по следам врача и его замечательных помощниц — медицинских сестер. Сейчас рано говорить об окончательных результатах этих опытов, но все же эти работы Фергюсона намечают какой-то новый путь в труднейшем деле — лечении психозов,— и они заинтересовали научную общественность Америки. И хотя редакторы журнала Американской медицинской ассоциации обнаружили в короткой статье Фергюсона 200 грамматических и стилистических ошибок, ее опубликовали...

Не в этом дело! — говорит Поль де Крайф. Как часто замечательные открытия совершаются не в респектабельном Гарварде, а рядовыми людьми, практиками. И тут он вновь вспоминает своих «охотников», которые были долгое время «посторонними» людьми в науке: ведь министр просвещения Франции заявил Пастеру, что он не даст ему ни одного су для всех этих колб, термостатов и микроскопов.

Еще в 1936 году Поль де Крайф говорил, что его герой, человек, который больше всего сделал для науки,— это Павлов, великий русский физиолог. Павлов-

ское учение о высшей нервной деятельности, по определению де Крайфа, открывает для человечества огромные возможности. И в последней своей книге автор с большим уважением вспоминает труды Павлова.

«Человек, борющийся с безумием» лишен многих привлекательных качеств, присущих бескорыстным «охотникам за микробами». Фергюсон энергично испытывает в клинике новейшие препараты, которые, надо думать, не без рекламных соображений передают ему фармацевтические монополии США. Об удачливом враче, исцеляющем «бедных умалишенных», пишут в сенсационном духе американские газеты. Порой даже кажется, что и сам Поль де Крайф начинает верить в какое-то «сверхновое» средство, способное исцелить американцев от недугов, которые обусловлены пороками социального строя их страны.

С. Навашин

ЛАРЕГИБ — СУМАСБРОДНЫЙ ГОРОДОК

□

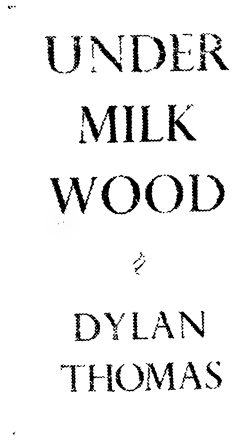
Dylan Thomas. Under Milk Wood. A Play for Voices. London, J. M. Dent and Sons, 1957.

□

«У Молочного леса. Пьеса для голосов» — последнее прозаическое произведение Дилана Томаса (1914—1953), уэльского поэта и новеллиста, умершего от алкоголизма во время поэтического турне по США. Английская и американская критика уделяет Томасу очень большое внимание. Правда, часть литературы о нем носит отнюдь не литературоведческий характер. Такова, например, книга американского «импрессарио» поэта Бриннина, где в угоду обывательскому интересу смакуются интимные подробности из жизни Томаса. Но в большинстве работ звучит искренняя горечь, что так рано и нелепо погиб талантливый писатель, внесший что-то свое в английскую поэзию нашего времени. Этой горечью исполнено и стихотворение Джека Линдсея «Последний разговор с Диланом Томасом», которое рисует образ поэта очень человечного, глубоко ранимого злом и неправдой окружающего его мира.

Поэтическое творчество Томаса — очень сложное, трудное для восприятия и неровное, но безусловно талантливое — требует совершенно особого разговора; однако и проза его, к которой он все чаще обращался в последние годы, своеобразна и ярка. Выступая в роли рассказчика (а пьеса «У Молочного леса», по существу, — повествование в лицах), лирик Томас во многом раскрывается по-новому. Проза его всегда пронизана юмором. Юмор этот особый: сплавленный с нежностью, со щемящей печалью, с озорной насмешкой, а подчас переходящий в злой гротеск. «У Молочного леса» пользуется большой популярностью на Западе, но менее всего — на родине Томаса, в Южном Уэльсе. И это обстоятельство не удивляет, когда знакомишься с обитателями созданного поэтом Ларе́гиба — крохотного уэльского городка, прилепившегося на морском побережье, у леса, который носит странное название «Молочный».

Голос чтеца начинает повествование о Ларе́гибе, начинает очень мягко, лирично; он говорит о ночном море, на котором покачиваются рыбачьи баркасы, о беззвучном шествии весенней ночи над спящим городком. Это вступление, в сущности,— стихотворение в прозе, которое перекликается с лучшими стихами Томаса об Уэльсе. Но вот чтец-автор раскрывает перед слушателями сны, которые видят жители Ларе́гиба. Сны эти и начинают действие пьесы, если слово «действие» применимо к бессюжетной смене крохотных эпизодов, из которых образуется повседневная жизнь городка, откровенно и бесстыдно «сдвинутая набекрень», как она представляется Дилану Томасу.



Ларе́гиб населен, мягко выражаясь, чудаками, точнее людьми малость свихнувшимися, и первый вариант пьесы так и назывался «Свихнувшийся городок». Некоторые обитатели его явно симпатичны автору: городской старожил слепой капитан Кэт, добродушная и бескорыстная «утешительница» городских обывателей и окрестных фермеров Полли Гартер, преподобный Эли Дженкинс — летописец и поэт, без устали прославляющий в наивных и старомодных куплетах красоту своего края... Но есть чудаки менее безобидные и не такие приятные. Городской почтальон распечатывает чужие письма, а потом торжественно излагает их содержание адресатам. Влюбленная пара — галантерейщик и кондитерша — усердно копит деньги и ежедневно обменивается пылкими посланиями, но они, видно, так и не увенчают свою страсть, потому что все им кажется, что мало еще на-

коплено. Сапожник, фанатичный ловец и обличитель городских грешников, преследует их даже во сне. Мясник, по общему и справедливому мнению, пополняет запасы своей лавки мясом беспризорных кошек и собак. Солидная учительская чета существует во взаимной ненависти, и жалкий, угодливый супруг вынашивает утонченные планы отравления жены. Но самая, пожалуй, кошмарная обитательница Ларе́гиба — это сжившая со света двух мужей миссис Огмор-Причард. Злобно и чванно глядит она на мир из окошка своего безукоризненно гигиеничного дома.

Два голоса ведут неторопливое повествование об этих людях, об их маленьких чувствах, задавленных желаниях, об их прихотях, о мелкой злобе и зависти, о неистовых сплетнях и неаппетитных радостях. В Ларе́гибе не считают нужным прикрывать свое неприглядное бытие покровом внешней респектабельности — в этом и заключается «безумие» городка.

Но пьеса «У Молочного леса» — меньше всего бытовая, скорее ее можно назвать аллегорической фантазией, окрашенной местным колоритом. Да, такова жизнь, как бы говорит Томас, многое в ней перепутано и грязновато, и смешно и страшно, и любовь принижена, и смерть идет по пятам человека — и все же сколько вокруг чудес: море, весенний воздух, Молочный лес, детский гомон на улицах Ларе́гиба, и любовь, и рождение, и вечное обновление жизни...

Дилан Томас был, конечно, романтиком, романтиком внутренне раздвоенным: влюбленность в жизнь постоянно воевала в нем с отчаянием. Эта двойственность, ощущаемая во всех его стихах, определяет и звучание пьесы «У Молочного леса».

Кажется, что может быть отвратительнее, чем его смешные уродцы? И вместе с этим, вопреки этому, вся пьеса пронизана удивительно мягким, насмешливо-жалостливым, грустным светом, который, может быть, и придает ей главную притягательность. Без него перед нами оказалась бы, пожалуй, просто искусно выполненная кунсткамера, а сколько таких кунсткамер в декадентской литературе современного Запада! Но Томас вовсе не равнодушен к своим сугубо негероичным героям. К некоторым из них — самым простым, искренним и добрым — он относится с большой и чуть насмешливой теплотой; к другим, тем, кого он изображает совершенно беспощадно,— с жалостью. Они ведь сами жертвы, не они виноваты в своей душевной деформации, явственно подсказывает автор. Кто же виноват? Этот вопрос в пьесе не возникает. Но все творчество Дилана Томаса говорит о его глубочайшей тревожной неудовлетворенности миром, в котором он жил.

В жизни Томас не отгораживался от насущных проблем современности, он был, в частности, одним из деятельных участников движения в защиту мира в своей стране. И хотя как художник он редко обращался к социальной теме, даже в самом общем ее выражении, все же творчество его обращено к людям, проникнуто подлинной жаждой гармонии между человеком и природой, между человеком и обществом.

И. Левидова

ПИСЬМА ИТАЛЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ

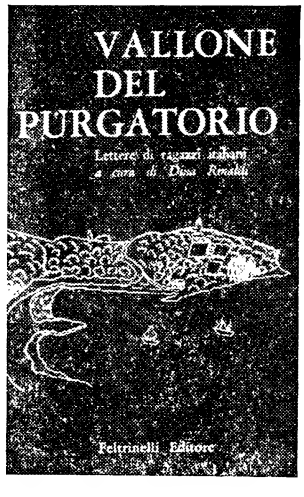
□

"Vallone del Purgatorio" Lettere di ragazzi italiani a cura di Dina Rinaldi. Milano, Feltrinelli Editore, 1957.

□

На одной из окраин Неаполя есть место, которое называют «Долиной Чистилища». До недавнего прошлого там была огромная свалка, где часами рылись дети бедняков, надеясь извлечь оттуда что-либо годное. Однажды в «Долине Чистилища» погиб мальчик: он был похоронен заживо под обрушившейся на него лавиной отбросов. Мы не знаем, состоялась ли заупокойная месса, сказал ли представитель муниципалитета несколько вежливых слов соболезнования над могилой ребенка. Но в память о маленьком неаполитанце «Долиной Чистилища» названа замечательная книга, коллективный автор которой — сто пятьдесят итальянских детей.

Писатель Карло Леви в своем предисловии к «Долине Чистилища» образно говорит, что эти детские письма — «мазки кистью», которые создают «картину бедного общества, повседневной нужды, нехватки работы, отсутствия уверенности в завтрашнем дне, картину общества, которое не дает даже времени, чтобы расти, чтобы полностью пережить отпущенное каждому человеку время детства».



Сто пятьдесят писем — это сто пятьдесят подлинных человеческих докумен-

тов, к которым не притронулась рука редактора. Составитель сборника Дина Ринальди имела в своем распоряжении около четырех тысяч детских писем: часть их была прислана в редакции детских журналов, другие были опубликованы в различных педагогических изданиях; многие письма получила сама Ринальди от детей, которых знала и с которыми поддерживала переписку на протяжении нескольких лет. Возраст детей колеблется от семи до четырнадцати лет, письма имеют разные даты — от 1951 до 1956 года,— в книге указаны все адреса маленьких корреспондентов.

Вначале предполагалось составить книгу писем детей из самых различных слоев общества, но в процессе работы стало очевидным, что это невозможно: контрасты были слишком разительны. Поэтому был установлен иной критерий для отбора материала. В сборник вошли письма детей из народа — детей крестьян, рабочих, мелких служащих, безработных, живущих в различных городах и селах страны, письма детей, которые «быть может, слишком рано познали конкретное значение слов, принадлежащих к словарю взрослых: работа, заработок, безработица, государство, муниципалитет, общественная благотворительность».

Книга условно разделена на несколько частей: семья, школа, работа, мечты о будущем и т. д. Практически эта классификация писем вряд ли нужна, потому что письма — подлинные, живые капельки жизненного потока — не укладываются ни в какую схему. В них нет и намека на условный «детский мир», нет ничего общего с идиллически-сентиментальными картинками «счастливого детства». Подростки и дети из народа являются неотъемлемой частью всего общества, они активны, вдумчивы и требовательны, они терпеливы и настойчивы, они умеют прямо и смело смотреть в лицо жизни — а для них жизнь часто не мать, а злая мачеха,—они хотят и умеют мечтать.

Множество писем говорит о неприкрытой, жестокой нужде: нет обуви, нет платья, нет книг, нет тетрадей, нет теплых вещей, трудно в башмаках на деревянных подошвах добираться до школы, дома часто приходится сидеть полуголодным. Девятилетняя Симонетта Бьянкини почти все время голодна, но не говорит об этом родителям, потому что они ведь тоже голодны; ее особенно заботит вопрос, как семья сможет отпраздновать Рождество. Лоренцо Полуцци как-то спросил отца, сколько тот заработал за год, и отец доказал ему, что денег едва хватает на то, чтобы прокормиться, а об игрушках и думать нечего. Лоренцо и не думает об игрушках, но в школе каждый день учительница бранит его за то, что он не приносит краски, однажды его даже наказали за это, но он не падает духом, потому что надеется, что его все-таки переведут в четвертый класс: ведь он не виноват, что не приносит краски, «и отец тоже не виноват, что у него так мало работы, а виновато...— пишет мальчик,— правительство».

Десятки авторов писем — не школьники. Закончив четыре класса, они не имеют возможности учиться дальше и в одиннадцать лет начинают работать. Они работают на поле, спускаются в шахты, мостят дороги, строят дома, учатся мастерству во всевозможных мастерских. Им платят гроши, они не только видят, но и испытывают на себе всю тяжесть капиталистической эксплуатации. Некоторые дети мирятся со своей судьбой. Одиннадцатилетняя Эрминия Коппо, отданная ученицей к портнихе, пишет: «Я не смогу, значит, больше ходить в школу, и мне очень обидно. Но что же делать? Раз нельзя — значит нельзя». Но другие дети рассуждают иначе. Джорджо Тавалоцци учится в четвертом классе и отлично успевает по арифметике, истории, географии и естественным наукам; он хотел бы учиться дальше, но это невозможно, так как отец Джорджо работает не больше шести месяцев в году. Мальчик пишет: «Я надеюсь, что к тому времени, когда мне надо будет посещать высшую школу, у нас будет правительство, которое даст родителям работу на весь год, и они смогут посылать своих детей учиться, если те в самом деле этого хотят».

В этом письме явственно звучит чувство братства и человеческой солидарности, которым пронизано большинство собранных в книге писем и которое делает их поистине «исключительным документом», как говорит Леви. Джорджо Тавалоцци думает не только о себе и о своем будущем, он думает обо всех родителях и обо всех детях, которые хотят учиться, он думает о справедливости. О справедливости, о дружбе и братстве думают многие дети.

Армандо Виргаллито восемь лет. Он хотел бы стать доктором. Правда, его родители бедняки, но он все-таки надеется, что «победит Мир» и что он сможет стать доктором. «И тогда,— пишет Армандо,— я не буду поступать, как наш доктор, который не хочет прийти и помочь больному, если тот умирает ночью. А я буду делать как раз наоборот».

Ауро Гейдини работает учеником у мясника. Если он будет мясником, когда вырастет, то намерен «бороться за то, чтобы цены на мясо были снижены... для того, чтобы все дети могли есть побольше мяса». А вот письмо Пеппуччо Канжелози: «Я хотел бы стать строителем, чтобы работать вместе с моим дядей и потому что я считаю нужным построить дома для людей, которые, как и я, их не имеют».

Десятилетняя Грациелла Ланди любит сказки о феях. Добрая фея вручила Грациелле магическую палочку, и она полетела в Калабрию, увидала «бедную, необработанную, каменистую землю, голые холмы, высохшие речки и ударом палочки превратила эту бесплодную землю в прекрасную и пло-

дородную, на которой можно было все взрастить, построить плотины, каналы, дома, церкви, школы».

Во многих письмах звучит тема интернационализма, дружбы между народами, тема мира. Эльда Лоренци считает, что «человек, если он захочет, сможет своим умом и волей преобразовать самые трудные вещи, и весь мир, и всю вселенную». Тринадцатилетняя Мария Галлани хочет, «чтобы все народы стали всерьез друзьями и не воевали между собой, потому что войны хороши только в книгах, где собраны старинные сказки».

«Долина Чистилища» могла бы заставить призадуматься многих, кто занимается в Италии «высокой политикой». Голосами коллективного автора этой книги говорят те, кто через несколько лет постарается сказать свое слово по всем жизненным вопросам, волнующим итальянский народ.

Ц. Кин

«ГЯУР» НИКОСА ПАПАПЕРИКЛИСА

□

Νίκος Παπαπεριπλῆς (Γλαύκος). Γκιαούρ Μυθιστόρημα. Ἀθῆνα, Δεκέμβρης 1956

□

Никос Папапериклис — один из наиболее известных в Греции журналистов и писателей. Он уже немолод, писать начал давно. За свои убеждения Н. Папапериклис неоднократно сидел в тюрьме, был в ссылках. Сейчас писатель сотрудничает в афинской газете «Авги», где ведет постоянную рубрику «Дневник простого человека», подписываясь псевдонимом «Ириникос» («Мирный»). За последние годы Папапериклис выпустил три сборника фельетонов и рассказов («Отзвуки жизни», «Светает», «На земле мир»), а также серию статей о Румынской Народной республике, которую он недавно посетил.

Роман «Гяур» — наиболее значительное произведение писателя. Действие книги происходит в Малой Азии накануне и в самом начале первой мировой войны. Малоазиатское побережье и его центр Смирна (Измир) в течение многих веков были заселены греками, которые вели непрерывную борьбу против турецких угнетателей. Автор романа сам уроженец Малой Азии. Ему хорошо знакома жизнь этих районов, быт и нравы их населения.

Основная тема романа — борьба народа против угнетения. «Дух свободы пронизывает все произведение Папапериклиса», — писал поэт Василис Ротас. Главным героем романа является Яннакос Гяур, представитель семьи Гяуров из греческого села Талассокастро (по-гречески — морская крепость). Гяур — это даже не фамилия, а бранная кличка, которой наградил турецкий ага какого-то упрямого предка этой семьи и которая так и осталась за ними. Отец Яннакоса погиб, защищая интересы рабочих-шахтеров. Юношей Яннакос пошел работать на шахту, где работал отец, и смело выступал в защиту рабочих, которых обирали хозяева. За это турецкие власти заточили его в крепость. Убежав из крепости вместе со своим другом, старым черкесом Шахом Бахри, Яннакос организует в горах партизанский отряд.

После начала первой мировой войны и объявления мобилизации к Яннакосу уходят все, кто не желает служить в турецкой армии. Отряд мстит за обиды, нанесенные турецкими ага беднякам, спасает жителей села от кровавой расправы за уклонение от мобилизации, отбивает на горной дороге пойманных дезертиров и т. д. Жители Талассокастро и окрестных деревень видят в Яннакосе своего защитника, помогают ему, снабжают хлебом. Все мальчишки в селе мечтают стать такими же, как Гяур, и тайком собирают кухонные ножи и сухари, готовясь удрать к нему в отряд.

Читатель встречается в романе с представителями трех поколений семьи Гяуров. Все они смелые, честные, сильные люди. Глава этой семьи —Ламброс Гяур, дядя Яннакоса,— с первых

же страниц завоевывает симпатии читателя: с друзьями старый Гяур добр и весел, не прочь выпить и погулять, с врагами хитер и беспощаден. Жители Талассокастро потребовали от епископа, чтобы тот назначил Ламброса их священником. Старый контрабандист Ламброс Гяур надел рясу, но под рясой он носит оружие, а сад, пасеку и даже аналой в церкви он превращает в склад оружия и боеприпасов. Когда в село врываются турки, чтобы расправиться с уклоняющимися от мобилизации, Ламброс возглавляет вооруженное сопротивление, пока на помощь не приходит «крылатая кавалерия» его племянника. Гяур произносит перед прихожанами революционные проповеди. «Христос распятый, без надежды на спасение не стоит ни гроша,— говорит он. — Христос воскресающий, со знаменем в руках — вот это Христос!.. Христос воскрес! Человек воскрес!» — провозглашает он во время пас-

хального богослужения. В проповедях он осуждает греков-мельников за то, что они притесняют бедных турецких крестьян. Разоблачая подлые проделки богачей, старый Гяур учит прихожан не питать вражды к туркам-беднякам: «У них, как и у нас, земля под ногтями. Отличайте бедняков от зверей-ага».

Идее интернационализма и солидарности угнетенных автор остается верен на протяжении всего повествования. Простых людей не может разделить ни язык, ни религия, утверждает Папапериклис. Объединяет же их общее несчастье и борьба против общего врага — тирании.

Наряду с часто встречающимся в новой греческой литературе образом священника-борца автор создал в романе образ лживого и жестокого епископа, которому чужды интересы его народа. Когда один из Гяуров, врач, обращается к нему с просьбой помочь в организации приютов для детей, чьи родители умерли от холеры, тот отказывается и одновременно цинично предлагает ему стать предателем: выдать турецким властям своего двоюродного брата, неуловимого командира «крылатой кавалерии».

В книге много ярких и по-настоящему драматических эпизодов. Описываемое в романе тревожное время и события не могли не влиять на детские умы. Папапериклис дает в романе сцену, где сельские мальчишки решают казнить своего товарища за то, что его отец, староста села, якшается с турками. «Раз предатель отец, значит предатель и сын. Смерть предателю!» Только своевременное вмешательство взрослых спасает мальчика.

Книга написана ярким и сочным языком. Несмотря на тяжелые события и переживания героев, несмотря на смерть многих из них, она вызывает чувство подлинного оптимизма, заставляет верить в возможность лучшей жизни. «Жизнь никогда не кончается» — эти слова звучат в романе лейтмотивом

Книга Папапериклиса невелика, в ней немногим более двухсот страниц. Состоит она из небольших глав, каждая из которых могла бы стать самостоятельным рассказом. Здесь, по-видимому, сказалась склонность автора к работе над короткими рассказами и фельетонами. Образ молодого Гяура, командира партизан,— единственный образ, который проходит почти через все главы книги и объединяет их в одно целое.

Автор, посвятивший свой роман «...честным и героическим предкам», писал: «Будем надеяться, что наше скромное искусство хоть в какой-то мере сумело отразить величие их простой человеческой жизни. И пожелаем, чтобы наш предок Гяур, преисполненный чувством любви к людям, тронул твою душу, читатель, как человек, как символ, как твой брат».

Т. Кокурина

Ш. С. Хоскот

ИНДИЙСКИЙ ХУДОЖНИК ХЕББАР

После нескольких лет блужданий, экспериментов, подражания западным и древнеиндийским образцам наша живопись, наконец, нашла себя. Она вышла из своего кокона и приобрела неповторимые, свойственные только ей черты. Среди бомбейских художников, внесших свою лепту в развитие национального искусства, одним из самых талантливых и интересных является, несомненно, К. К. Хеббар.

Хеббар — новатор; новатор настолько, что с этой точки зрения его картины могут удовлетворить любого самого искушенного знатока. Он освободился от пут красивости, условности и академизма. Своим мастерством, смелостью приемов, а главное, изумительным чувством ритма и движения он напоминает лучших европейских художников недавнего прошлого. Но хотя Хеббар многому научился у них, как и у других художников, источник его творчества — традиции и жизнь индийского народа, и все оно проникнуто той простотой и самобытностью, которые не могут быть объяснены никакими «влияниями» — иностранными или местными.

Яркое своеобразие творчества Хеббара во многом объясняется особенностями его биографии. На формирование сознания и личности художника решающее влияние оказали впечатления его детства. Хеббар родился в Конкане. Красная земля, серые скалы, синее море и зеленые леса оставили неизгладимый след в чуткой душе мальчика. В его память врезалась и «якшагана» — жизнерадостный танец-пантомима южной Каннары, и красочные религиозные празднества этого края — их песни, их музыка. За годы, прошедшие с тех пор, Хеббар, увлекаемый неутолимой любознательностью и любовью к приключениям, перевидал много людей и стран, но воспоминания и впечатления детства остаются главным источником и животворным началом его творчества. Он неутомимо ищет новое и становится в буквальном смысле слова народным художником.

В молодости Хеббар был беден; это спасло его от убивающей живую душу, нивелирующей рутины университетского образования того времени. И хотя он был вынужден терпеть лишения, неизбежные при бедности, это научило его любить и уважать жизнь и труд простых людей; благодаря этому он избежал бессмысленной аффектации и

Туалет

нелепостей ультрамодернистов. «Я всегда экспериментирую,— говорит он,— чтобы найти наиболее простое и ясное выражение моего мироощущения». Именно это страстное стремление к простоте и искренности, эта верность правде, какой он ее увидел и ощутил, определяет новые, им созданные формы и цветовые гармонии, возвышает его картины до уровня выдающихся произведений искусства.

Глубокий гуманизм Хеббара, благоговение перед жизнью характеризуют все его произведения — от ранних до самых последних. Тем не менее, его поздняя манера поразительно не похожа на раннюю. Его ранние картины нередко создают впечатление, что художник стремился найти и воссоздать в красках красоту — красоту природы, искусства, старинных празднеств.

Уличная сценка (Кашмир)

Народный танец на празднике весны (Центральная Индия)

Пенджабский народный танец

Эти полотна, вдохновленные его любовью к прекрасному, обладают всеми достоинствами лучших образцов академической живописи — ярким реализмом, правильной перспективой, точным рисунком.

Однако избитые сюжеты и традиционные приемы недолго удовлетворяли Хеббара. Его страстное сочувствие всем бедным и страдающим, его возмущенный протест против жестокости и бездушия кучки привилегированных заставили художника искать новые формы выражения — формы глубоко индивидуальные и одновременно во всем отвечающие нуждам и стремлениям окружающих его людей. Так родился новый Хеббар.

Музыка на улицах (Девушка, продающая игрушечные музыкальные инструменты)

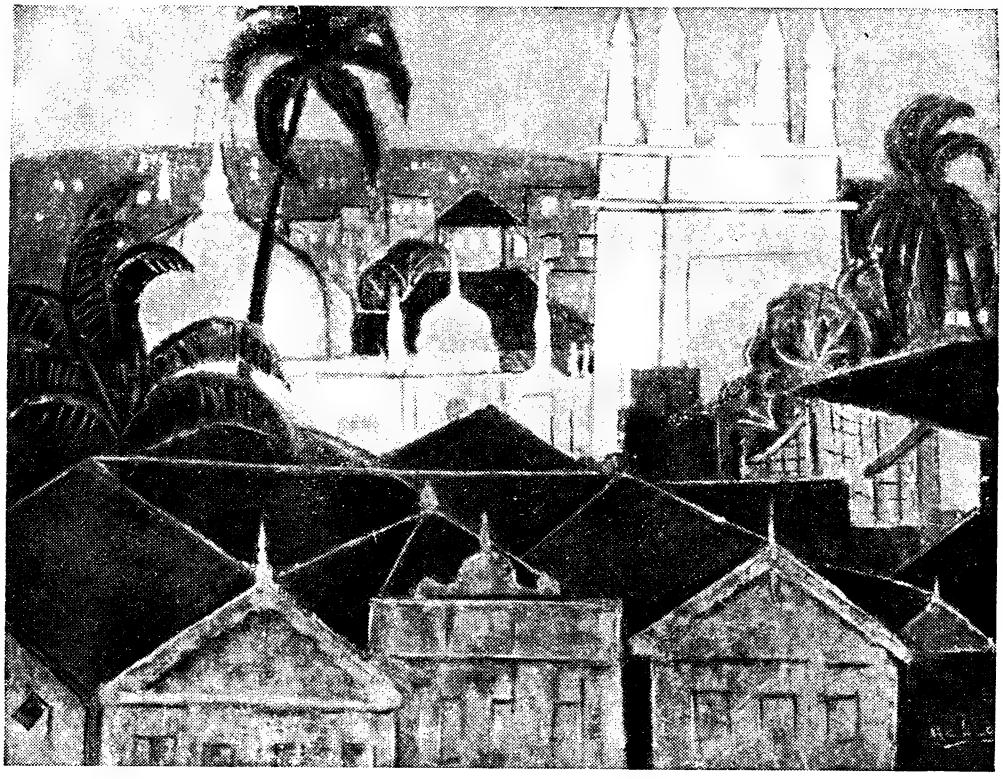
К. К. ХЕББАР

Толкут рис

Танец

Ритм

Музыка



Пейзаж

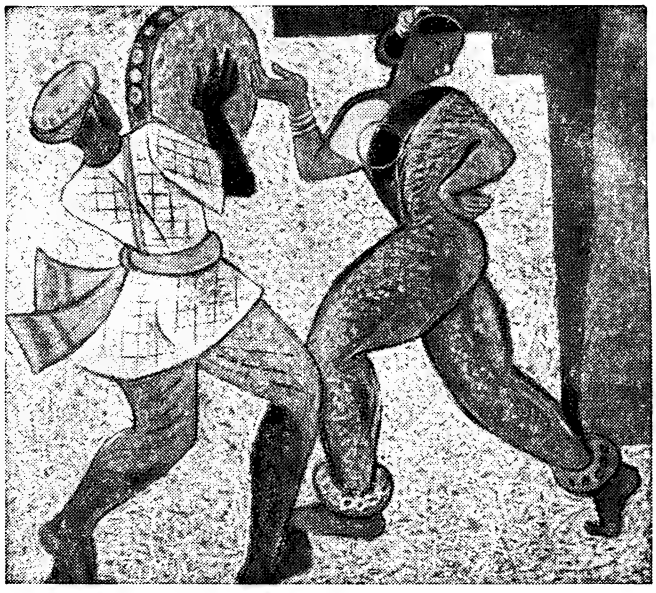
Праздник весны

Молотьба риса

У реки (Кашмир)

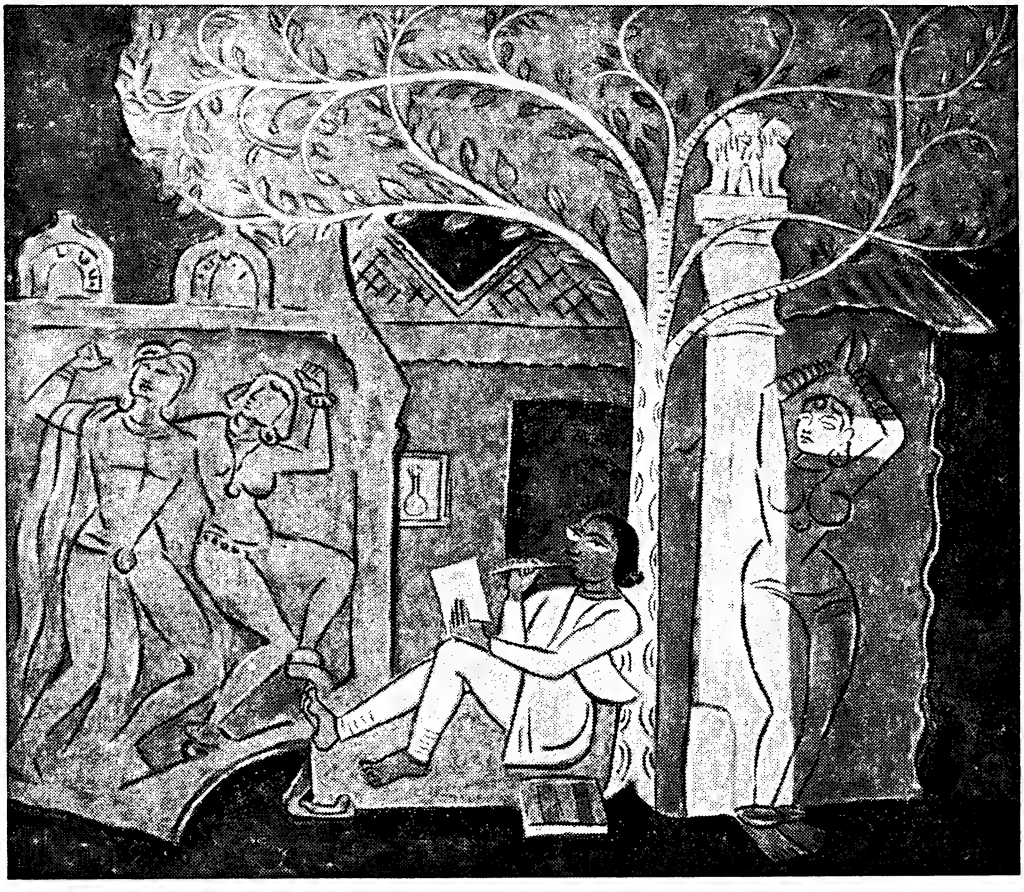
Сила его манеры заключается в ее строгости и скупости. Хеббара не интересуют подробности, он сосредоточивается на раскрытии сущности темы. Он стремится не к фотографической точности, а скорее к символике, к тончайшим ассоциациям. При помощи минимума умело примененных изобразительных средств он создает образы необычайной живости, напряжения и драматичности.

В произведениях Хеббара замечательны не столько их краски или детали, сколько безупречная композиция и ритм. По пластичности и динамизму его лучшие картины не имеют себе равных среди произведений других современных индийских художников. Пишет ли Хеббар птиц или зверей, рабочих



Религиозный народный танец (Махараштра)

Мечта поэта

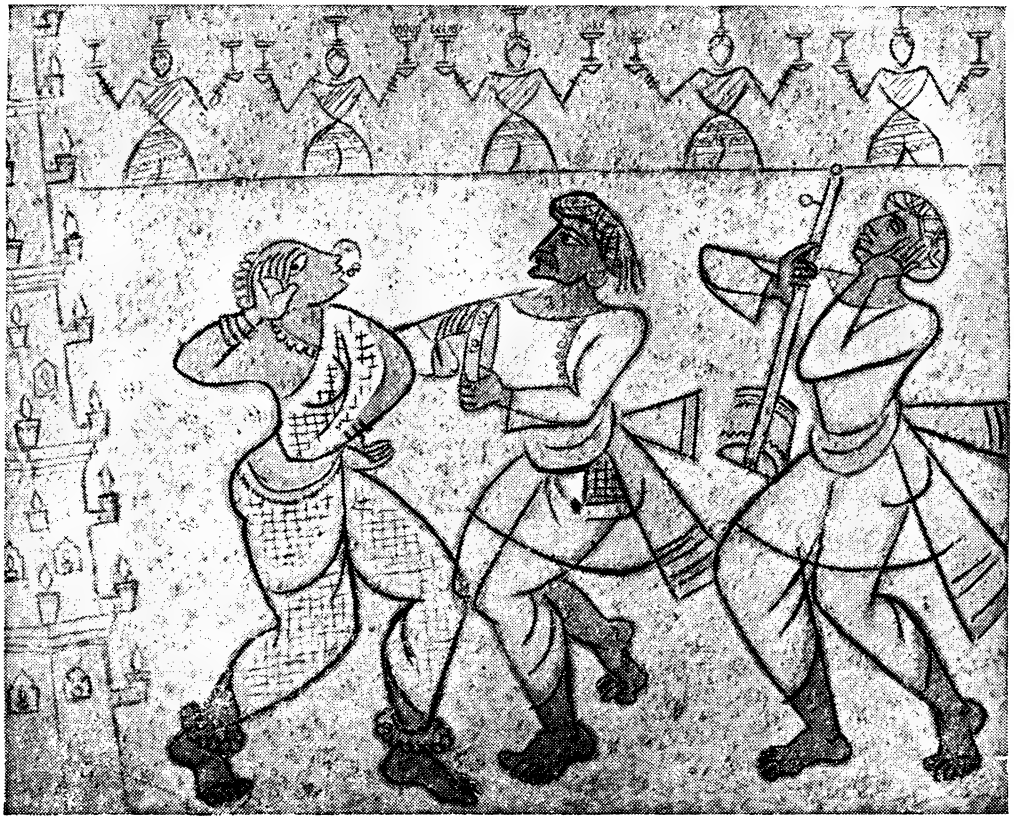


Композиция (Полировка изразцов на фабрике)

или танцовщиц — он всем им придает ритмичность, благодаря которой его полотна становятся столь жизненными и приобретают такую силу воздействия.

В 1945 году Хеббар устроил в Бомбее свою первую выставку. С тех пор состоялось еще шесть его выставок, причем последняя в Бомбее, совсем недавно — в октябре 1957 года. Несомненно, его картины займут почетное место в любой коллекции индийской живописи. Еще учась в бомбейской художественной школе, Хеббар принимал участие в нескольких художественных выставках, и многие его картины были отмечены премиями и золотыми медалями индийских художественных обществ. В 1949 году, когда Хеббар ездил в Европу, выставки его работ были организованы в Англии, Швейцарии и Франции. После возвращения на родину ему три года подряд присуждалась премия Академии изящных искусств, членом которой он был избран. Ему также была присуждена премия правительства штата Бомбей и почетный приз Художественного

Усталым шагом



Народный танец

общества Индии, президентом которого он является уже в течение трех лет.

Большинство картин Хеббара находится в частных собраниях. Некоторые из них, однако, выставлены во многих музеях мира — в Парижском музее современного искусства, в чехословацком Государственном музее, в Варшаве, в Москве, в Национальной галерее современной живописи в Нью-Дели, в Бомбейском и Нагпурском музеях, в Государственном музее современного искусства в Мадрасе.

Хеббару только сорок пять лет. Как ни замечательно то, что он уже создал, есть все основания ожидать, что его творчество станет еще более ярким. Хеббар никогда не останавливается на достигнутом. «Приступая к новой картине,— говорит он,— я стараюсь забыть мои прежние удачи и ищу новых путей, которые привели бы к лучшим результатам». Вот почему все любители живописи с таким жгучим нетерпением ожидают каждую новую картину Хеббара.

Бомбей

Русский народный танец

А. Рубинштейн

В. Г. КОРОЛЕНКО В РУМЫНИИ

В отделе рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, в архиве В. Г. Короленко, бережно хранятся записные книжки писателя. Среди них шесть «Румынских записных книжек» различного формата, в красных, зеленых, черных, коричневых обложках, на которые наклеены листки бумаги с надписями, сделанными рукой писателя: «Дунай и Рум[ыния]», «Добруджа», «Румыния. Петр Мих [айлов]», «Рум. Рассказы Петра Мих.», «Дунай, Кытерлез» (Кытырлез — *А. Р.*), «К Америке и Добрудже».

Так же как ряд других, недавно прочитанных документов, относящихся к жизни и творчеству В. Г. Короленко, они проливают яркий свет на историю русско-румынских культурных связей.

О глубоком интересе выдающегося русского писателя В. Г. Короленко к Румынии, его горячей симпатии к труженикам этой страны известно давно. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что писатель побывал в Румынии несколько раз: в 1893, 1897, 1903, 1904, 1907, 1911 и 1915 годах. Он посетил Бухарест и Плоешти, Тулчу и Галац, Сулину и Сланик, Кытырлез, Слава Русэ и другие румынские города и села. Стремясь ближе познакомиться с жизнью румынского народа, он бывал на рыбных промыслах и в деревнях, беседовал с крестьянами, портовыми рабочими и рыбаками на берегу моря, у ночных костров.

Под впечатлением этих интересных встреч Короленко делал записи. Из них и вырос цикл очерков о Румынии: «Наши на Дунае», «Над Лиманом», «Нирвана», «Турчин и мы» и другие.

Содержание «Румынских записных книжек» очень разнообразно. Здесь и конкретные факты, и навеянные ими размышления писателя. Много страниц заполнено простонародными выражениями и оборотами речи; воспроизведены целые диалоги. Очень выразительны рисунки, сделанные рукой В. Г. Короленко. Взятые в целом, эти книжки дают яркую картину творческих и общественных интересов писателя.

В. Г. Короленко, пламенно любивший свою родину, любивший слушать, как «лес шумит», смотреть, как «река играет», глубоко полюбил и природу Румынии.

Рисунок В. Г. Короленко из «Румынских записных книжек».

Здесь он не испытывал такой тоски по родине, как в Западной Европе и в Америке. Сама природа Добруджи напоминала ему юг России. В «Дневнике» писателя есть такая запись, датированная 3/15 сентября 1893 года: «...перед нами раскинулась своеобразная широкая панорама Добруджи. Своеоб-

Рисунок В. Г. Короленко из «Румынских записных книжек».

разная, красивая сторона, освещенная родным солнцем нашего русского юга, овеянная его воздухом, проникнутая его трогающей простотой, его своеобразной задумчивой ленью».

Зоркими и умными глазами писателя-демократа всматривался Короленко в румынскую действительность, и перед ним встает картина бедствий и нищеты народа в помещичье-буржуазной монархии Гогенцоллернов.

В одной из «Записных книжек» 1897 года, озаглавленной «Дунай и Рум[ыния]», читаем: «О чем думает этот чабан? Солнце над ним всходит, взмывает туча, льют дожди... Чабан мокнет вместе с травой и вместе с травой высыхает на жгучем солнце. И тот же ветер обвеет его загорелую грудь, и та же непогода опять промчит над его головой... Пасутся и жуют коровы, вяло плетутся к воде *(нрзб.)* и чабан с ними ...и это человеческая жизнь! И сколько их, таких человеческих жизней...»

С душевной болью говорит писатель в очерке «Турчин и мы» о тяжелой доле румынского крестьянства: «Деревня стонет в невероятной темноте, бесправии, вырождении». Жадно прислушивается он к тоскливым народным песням-дойнам, в которых, по его словам, душа румына «плачет, и нежится, и тоскует» и в которых отражаются «все нашествия, напоившие землю кровью его предков, и греческое, и римское, и турецкое владычество, и притеснения своих бояр». В маленькой записной книжке 1897 года в темно-красном матерчатом переплете с надписью «Добруджа» можно найти несколько дойн, записанных В. Г. Короленко на румынском языке. Одна из них — «Цэрани» («Крестьяне»), судя по почерку, была записана в тряской телеге:

Нам твердит уже годами
Вся газетная молва,
Что имеем с господами
Нынче равные права.

Толковал префект не раз:
«Конституция у нас...»
А хорош закон иль плох —
Знает разве только бог.

Мы крестьяне из предгорий,
Ох, беда нам на земле:
Нет ни куриц на подворье,
Ни малая* — на столе.

Толковал префект не раз...

У крестьян тяжка работа,
Днем и ночью, в стужу, в зной
Мы работаем до пота,
Лишь бы сдать налог большой.

Толковал префект не раз...

А не сдашь того налога
И пол-литра наперед —
Доробанц** приходит строгий,
Начинает свой расчет.

Утку, гуся он хватает —
Все, что может унести,
По загривку попадает,
Если встанешь на пути.

С ним опасны разговоры:
Попадешься прокурору.

(Перев. Л. Кондрашенко).

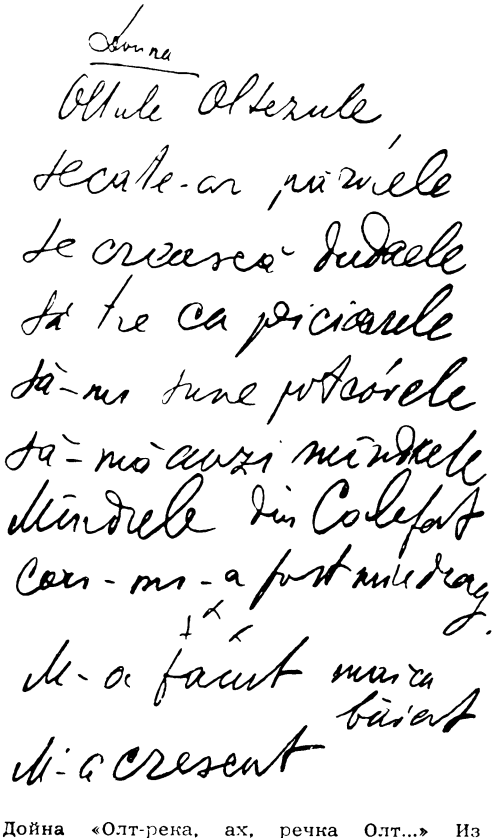
* Блюдо из кукурузной муки *(рум.)*.
** Солдат *(рум.)*.

Интересно отметить сочувственное отношение В. Г. Короленко к рабочему движению в Румынии. Не трудно обнаружить, что заметки о борьбе румынского рабочего класса, сделанные писателем в одной из записных книжек в 1897 году, послужили ему ценным источником в работе над очерком «Наши на Дунае». В этом очерке, опубликованном в 1909 году в журнале «Русское богатство», писатель нарисовал привлекательный образ молодого румынского марксиста, сапожника по профессии, Дениса Катриана.

Особого внимания заслуживает переписка В. Г. Короленко с выдающимся румынским критиком К. Доброджану-Геря, с которым русский писатель познакомился во второй половине июля 1893 года в Лондоне. Знакомство скоро перешло в дружбу, окрепшую с годами. В письме к своей жене В. Г. Короленко писал о Геря:

«Вчера мы проводили Костику, который уехал в Швейцарию. Я уже писал тебе, какое впечатление он произвел на меня —

Зарисовка В. Г. Короленко из «Румынских записных книжек».



Дойна «Олт-река, ах, речка Олт...» Из «Румынских записных книжек» В. Г. Короленко.

это впечатление живого, умного, энергичного человека, сумевшего отлично сохранить и на чужбине живые интересы и стремления».

Ряд еще не опубликованных писем румынского критика к русскому писателю, также хранящихся в отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина,— наглядное свидетельство того, с каким уважением и любовью относился К. Доброджану-Геря к В. Г. Короленко.

Эти письма, написанные по-русски, охватывают почти четырнадцатилетний период: первое датировано 17/30 января 1904 года, последнее—18 сентября 1917 года. Они прекрасно отражают историю продолжительной дружбы выдающихся представителей двух культур.

11 ноября 1910 года К. Доброджану-Геря, потрясенный кончиной Л. Толстого, писал Короленко:

«...Как вы живете-можете, дорогой?..
Итак, вы опять под судом! Ну и жизнь в России! Смерть гиганта Толстого и вся трагическая обстановка, при которой она совершилась,— это настоящий символ всей теперешней русской жизни. Умер и Толстой! Не верится. Такое огромное зарево света и исчезло! Исчезновение Толстого

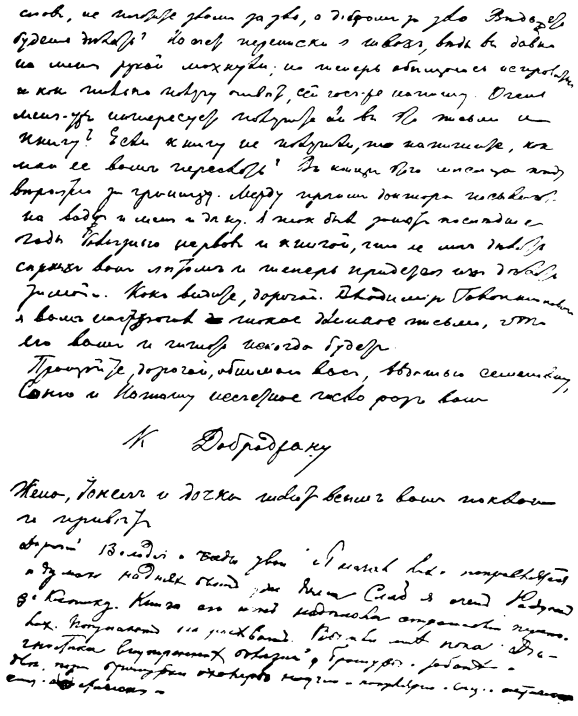
на русского должно производить такое же впечатление, как если бы кто заснул у подножия Гималаев и, проснувшись, увидел бы перед собой бесконечную долину песков сыпучих. То была не гора, а целая цепь гигантских гор... и вдруг долина песочная!

Благодарю вас, дорогой, от всей души за присылку вашего последнего замечательного произведения*. Не удивляюсь нисколько, что над ним плакал Толстой. Заплачешь небось! Как только отдохну и очухаюсь, постараюсь, чтоб оно вышло на румынском языке, и, если смогу, напишу к нему предисловие...»

Задумав серию очерков о Румынии и ее людях, В. Г. Короленко, естественно, проявил живой интерес к румынскому языку, изучил его грамматику и лексику, так что вскоре смог читать румынские газеты (в фонде писателя хранятся специальные папки с вырезками из газет «Адевэрул», «Диминяца», «Факла» и др., помеченные его рукою).

* Добруджану-Герея имеет в виду цикл статей В. Г. Короленко «Бытовое явление. Заметки публициста о смертной казни», направленных против разгула реакции в России.

Зарисовка В. Г. Короленко из «Румынских записных книжек».



Последняя страница письма К. Добруджану-Герея, адресованного В. Г. Короленко 11 ноября 1910 года (письмо хранится в отделе рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина)

«Записная книжка» 1897 года содержит ряд записей, свидетельствующих о том, что русский писатель, которому шел тогда уже 45-й год, часто упражнялся в спряжении румынских глаголов. В письме, датированном 3 октября 1909 года, Добруджану-Герея, по просьбе Короленко, сообщает ему ряд сведений, касающихся румынского языка:

«...Теперь к делу. Ваши очерки из жизни Румынии, конечно, обратят на себя здесь внимание, как все, что пишется о Румынии известными иностранными писателями. Теперь постараюсь, насколько возможно (есть слова по-русски непереводимые), дать вам нужные сведения. Сельский мэр (Primar, Primarul) вы-

бирается крестьянами, а в Добрудже назначается правительством.

Свобода (Libertatea); слово — Slobod, Sloboda (свободный, свободная) происхождения и смысла плебейского... (т. е. разговорного, а не литературного языка — *А. Р.*)».

В письмах Доброджану-Геря к Короленко ясно видна большая личная дружба, теплота отношений. Зная, как любил русский художник слова великолепную природу Румынии, Геря пишет ему 17/30 января 1904 года:

«Вы не можете себе представить, как было грустно у нас после вашего отъезда, тем более грустно, что Синая делалась все красивее и красивее и не с кем было ею любоваться. Я вам говорил, помните, что Синая особенно хороша поздней осенью. Тогда и температура более постоянна, и воздух еще более прозрачен (aer dulce — сладкий воздух, как говорят румыны). А главное, горы принимают вид и цвет прямо фантастический...

...Вы не можете себе представить, Владимир Галактионович, как я жалел, что вас всех не было с нами, чтобы любоваться вместе всеми этими чудесами! Жалел за вас и за себя: ибо эстетические наслаждения тогда только имеют настоящую цену и смысл, когда есть с кем ими поделиться».

Очень интересно письмо К. Доброджану-Геря от 4 августа 1912 года, в котором он сообщает В. Г. Короленко о смерти своего лучшего друга, крупнейшего румынского драматурга И. Л. Караджале.

«Другое событие, необычайно печальное для нашей Румынии, это смерть Караджале. Он умер в мае в Берлине скоропостижно от синкопы сердца. Я с женой в мае начали было в Говоре (минеральные воды) принимать серные и йодистые ванны, но получили это ужасное известие из Берлина и конечно сейчас же уехали туда... Для страны это огромная потеря, а также для меня лично это потеря страшная...

Караджале по уму это самый большой человек, которого мне пришлось встретить в жизни. При печальных и мизерных условиях страны он и сотой части не дал из того, что в нем заложил бог всевышний. И вот этот человек огромного ума и таланта умирает и кроме маленькой Румынии никому это неизвестно, никто об нем словом не обмолвился. Вероятно, и вы, дорогой Владимир Галактионович, до сих пор ничего не знали об его смерти. Бедные и несчастные наши маленькие и отсталые страны, а еще беднее и несчастнее — большие люди, рождающиеся в этих маленьких странах».

Произведения замечательного румынского писателя-классика хорошо известны миллионам советских читателей. Глубоко знаменателен живой интерес, проявлявшийся В. Г. Короленко еще в те годы к его творчеству. В рукописном фонде Короленко хранятся сделанные им переводы рассказов Караджале «Телеграммы» и «Тема и вариации»*.

Сейчас, когда советско-румынские культурные связи непрерывно ширятся и углубляются, эти страницы истории, одинаково близкие и дорогие как советскому, так и румынскому народам, представляют несомненный интерес.

---

* Эти переводы обнаружены С. Чиботару.

ИСПЫТАННЫЙ ДРУГ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Все, кто заинтересован в развитии дружественных отношений и культурных связей между советским и японским народами, понесли тяжелую утрату: после продолжительной болезни умер в Токио Хирокити Отакэ — видный японский прогрессивный публицист, учредитель издательства и книжного магазина «Наука».

Впервые Х. Отакэ прибыл в Россию сорок лет назад — в разгар интервенции империалистических держав на Дальнем Востоке. Он оказался одним из немногих буржуазных журналистов, которые, правильно поняв смысл нашей революции, стали правдиво освещать советскую действительность. И этот путь последовательного, бескорыстного служения истине привел Отакэ в первые ряды прогрессивных сил Японии. Он учредил издательство «Наука» для выпуска книг о Советском Союзе и книжный магазин специально для распространения книг, изданных в СССР. Его издательство и магазин стали одним из главных центров изучения Советского Союза, опорным пунктом для передовых японцев — друзей советского народа.

В годы фашизма издательство и магазин «Наука» подверглись разгрому, а Отакэ был брошен в тюрьму. По окончании войны он возобновил свою деятельность с еще большей энергией. Он явился одним из зачинателей движения японских мичуринцев. Это движение распространилось по всей Японии. Тяжелая болезнь не помешала Отакэ в течение последних лет настойчиво собирать материалы об исторических связях русских и японцев и изучать историю культуры славян.

Всю свою сознательную жизнь Отакэ посвятил благородному делу сближения народов Советского Союза и Японии. Образ этого замечательного человека, верного, испытанного друга советского народа навсегда останется в наших сердцах.

И. Е. ГЛУЩЕНКО, академик ВАСХНИЛ
Р. Н. КИМ, писатель
Н. И. КОНРАД, член-корреспондент АН СССР

АЛБАНИЯ

НОВЫЕ КНИГИ

Журнал «Нендори» сообщает о выходе новых книг современных албанских авторов. Сборник стихотворений Алекса Чачи «Было когда-то болото» посвящен труду албанских крестьян, осушающих заболоченную местность Тэрбуф. Сборник стихов «Под синим небом» Александра Бануши включает поэтические произведения о подвигах албанского народа в период национально - освободительной борьбы и послевоенных лет созидательного труда.

Жизнь и деятельность Александра Моисси (Моисиу) — знаменитого драматического актера, албанца по происхождению — подробно освещается в книге писателя и режиссера Сельмана Вачари, который, по сообщению журнала «Нендори», «на основе обширного библиографического материала и сообщений близких и знакомых актера написал интересное произведение... Это первая работа албанского автора о жизненном и творческом пути Александра Моисси».

Карикатура О. Домье (1808—1879) «Мечты изобретателя игольчатого оружия», обличающая маньяка, который мечтает о войне, ведущей к уничтожению человечества.
(Газета «Дейли уоркер»).

АНГЛИЯ

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ

В Лондоне вышла книга Вернера Гофмана «Карикатура — от Леонардо до Пикассо», в которой рассказывается об истории возникновения и развития карикатуры.

Особое внимание автор уделяет эпохе Возрождения, анализируя творчество известных болонских карикатуристов братьев Карачи, живших в конце XVI века.

Газета «Дейли уоркер» пишет о произведении Гофмана: «Это очень интересная книга... призывающая к дальнейшему изучению роли сатирического рисунка в освещении политических и социальных конфликтов».

СПОР О ЗАВЕЩАНИИ ШОУ РАЗРЕШЕН

Придавая большое значение работе по созданию нового английского алфавита, в основе которого лежал бы фонетический признак, Дж. Б. Шоу завещал на проведение этой работы часть своего состояния. Британский музей опротестовал этот пункт завещания Шоу (см. «Иностранную литературу», № 8, 1956 г. и № 5, 1957 г.). В случае, если бы точка зрения Британского музея о «нецелесообразности» завещания Шоу была принята судом, три юридических наследника — Британский музей, Королевская академия драматического искусства и Национальная галерея Ирландии — должны были бы поделить между собой оставленную драматургом сумму. Около семи лет длился в Англии судебный процесс по этому делу. Недавно в апелляционном суде было, наконец, вынесено компромиссное решение: три наследника обязались выделить сумму в 8,3 тыс. фунтов стерлингов для ведения научно-исследовательских работ в области лингвистики и для опубликования, по крайней мере, одной книги, написанной согласно предложенным Шоу орфографическим правилам. Деньги поступают в распоряжение доверенного лица, которое уполномочено провести открытый конкурс на лучший проект английского алфавита. В соответствии с завещанием Б. Шоу, в новом алфавите должно быть сорок букв, из них шестнадцать гласных. Как сообщает газета «Нью-Йорк таймс», Шоу хотел, чтобы его пьеса «Андроник и Лев» была напечатана на основе старого и нового алфавитов и чтобы оба текста были опубликованы в одном томе. Эта книга должна быть бесплатно передана всем публичным библиотекам стран Британского содружества и США, национальным библиотекам других стран всего мира, а также выпущена в продажу.

Одна из последних фотографий Бернарда Шоу (июль, 1950 г.).
(Журнал «Нью-Йорк таймс мэгэзин»).

«БУРЯ» ШЕКСПИРА В ПОСТАНОВКЕ ПИТЕРА БРУКА

Как отмечает обозреватель журнала «Тиэтр уорлд», одной из самых интересных постановок нынешнего театрального сезона явилась «Буря», поставленная Питером Бруком в Шекспировском театре в Стрэтфорде-он-Эйвоне. Эта романтическая пьеса трактуется режиссером как «драма мести». В центре спектакля — величественная фигура изгнанника Просперо, роль которого исполнил известный английский актер Джон Гилгуд. Обозреватель считает, что Гилгуду удалось создать образ «талантливого и энергичного человека, охваченного решимостью отомстить».

В рецензии отмечается своеобразие декоративного и музыкального оформления спектакля, которое также принадлежит Питеру Бруку. Особенно сильное впечатление производит сцена кораблекрушения, в которой «шум ветра, вспышки молнии, раскачивающиеся канаты» создают полную иллюзию разбушевавшейся стихии.

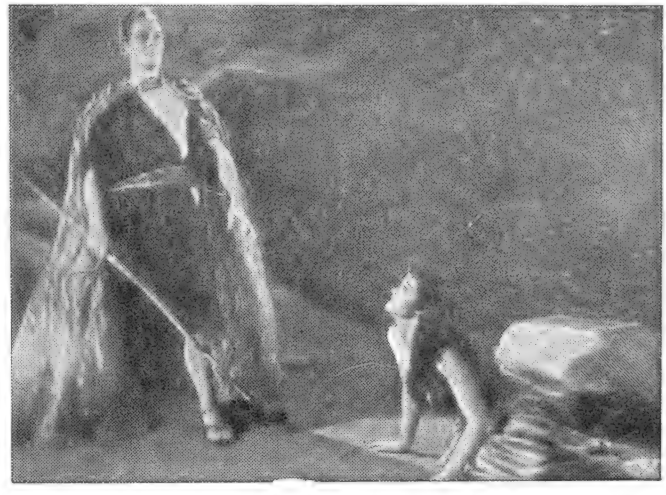
Премьера спектакля, по сообщению «Тиэтр уорлд», встречена зрителями с большим интересом и прошла с успехом.

БОЛГАРИЯ

БОЛГАРСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ О МАНИФЕСТЕ МИРА

Орган Союза болгарских писателей газета «Литературен фронт» обратилась к

Сцена из пьесы Шекспира «Буря» в постановке Питера Брука. В роли Просперо — Джон Гилгуд, в роли Миранды — Дорин Эрис.
(Журнал «Тиэтр уорлд»).



болгарским литераторам с просьбой высказать свое мнение о Манифесте мира, подписанном представителями 64 коммунистических и рабочих партий в Москве. Газета опубликовала ответы 23-х писателей, в том числе О. Василева, Д. Талева, Н. Фурнаджиева, Л. Стефановой, Д. Методиева, А. Каралийчева, М. Грубешлиевой и других. Единодушно одобряя исторический документ, деятели болгарской литературы призывают еще шире развернуть борьбу за мир.

Манифест мира отозвался в сердцах всех народов...— пишет газета. Еще отчетливее обрисовалось будущее человечества, подобно тому, как это произошло сто с лишним лет назад после появления «Коммунистического манифеста», наметившего путь коммунизма.

СОВРЕМЕННУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПЬЕСУ — В ЦЕНТР РЕПЕРТУАРА!

Под таким лозунгом деятели болгарского театра открыли нынешний театральный сезон. Сейчас подведены первые итоги большой работы над произведениями современной болгарской драматургии. Как сообщает газета «Отечествен фронт», на сцене болгарских театров идут 28 пьес современных болгарских авторов, из которых 19 поставлены впервые.

В числе новых спектаклей «Отечествен фронт» отмечает «Незабываемые дни» Лозана Стрелкова в Народном театре им. Крыстю Сарафова. Этот спектакль посвящен освобождению страны в сентябрьские дни 1944 года. Пьеса «Белые ночи» Славко Красинского (театр Народной армии) воскрешает в памяти героизм бойцов Сентябрьского восстания 1923 года. В пьесе «Закон Патриция» драматург Камен Зидаров высмеивает и разоблачает проявления старого, отжившего уклада.

В ряде театров идут пьесы известных авторов, впервые выступающих в качестве драматургов. Это «Апрельские огни» Веселина Ганчева, «Каждый осенний вечер» поэта Ивана Пейчева, «Моя тайна» — вторая пьеса Павла Вежинова. На театральных афишах встречаются и новые имена: П. Косев, Л. Владков, Е. Енчев и другие. Отмечая, что современный репертуар болгарских театров расширился и обогатился, газета призывает закрепить первые успехи и создавать высокохудожественные спектакли, которые смогли бы выдержать испытание временем.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ОКТЯБРЯ»

В честь 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции в Софии под таким названием издан недавно сборник стихов болгарских поэтов.

Сборник открывается произведениями поэтов старшего поколения — Димитра Полянова и Христо Смирненского. Стихотворения посвящены В. И. Ленину, Октябрю, Москве, Советской Армии.

НОВИНКИ БОЛГАРСКОГО КИНО

Всего несколько лет назад был создан первый болгарский художественный фильм. В настоящее время болгарские кинематографисты выпустили на экраны значительное число новых фильмов.

Режиссеры Бинка Желязкова и Христо Ганев закончили кинокартину «Партизаны». Она посвящена нерушимой солдатской дружбе.

Фильм Рангела Волчанова и Валери Петрова «На маленьком острове» рассказывает о находчивости и стойкости антифашистов в годы второй мировой войны, о том, как группа патриотов, заключенных на островке в Черном море, сумела подготовить и осуществить побег с этого «острова смерти».

Фильм «Закон моря» посвящается людям трудной и мужественной профессии — водолазам и показывает, как постоянная борьба с природой учит честности и смелости.

Кадр из нового болгарского кинофильма «Закон моря». В главных ролях — Богомил Симеонов и Ани Дамянова.
(Журнал «Киноизкуство»).

ЮБИЛЕЙНАЯ ПОВЕСТЬ ГЕОРГИЯ КАРАСЛАВОВА

Болгарский писатель Георгий Караславов к 40-летию Октябрьской революции написал повесть «После ноября», которая была опубли-

кована в юбилейном номере журнала «Септември».

Действие происходит в одном из сел Болгарии в годы Октябрьской революции.

...Сильно поссорились старые друзья — Ангел Лоев и Добри Гашков. С давних пор оба крестьянина питали уважение и любовь к России, унаследованную ими от отцов. Но вот свершилась революция, и оказалось, что существуют как бы «две России»: одна — Россия царя, помещиков и капиталистов, другая — Россия большевиков, революционного трудового народа. Добри Гашков, богатый крестьянин, оказался на стороне помещичьей России; Ангел Лоев встал на сторону большевиков...

Писатель прослеживает постепенное классовое расслоение в деревне, которое тормозится долголетними родственными патриархальными связями. Различное отношение крестьян к Октябрьской революции — одно из проявлений этого процесса.

...С фронта возвращаются сыновья стариков. Война оказала на них огромное влияние. Илия, младший сын Лоева, становится организатором коммунистической группы на селе. Опустела корчма, молодежь тянется теперь в клуб «тесняков», где на самом видном месте — портрет В. И. Ленина. В клуб начал ходить и старый Лоев, который окончательно понял, что «на свете было и есть две правды: правда богатых и правда бедных..» Добри Гашков не желает признавать перемен. Он примкнул к адвокату Божкову и его «русофильской» партии, которая после свержения русского царизма всеми силами стремится отгородить Болгарию от революционной России.

Но правда берет свое: единственный сын Гашкова Русин становится коммунистом и в финале повести порывает с отцом. Этот разрыв как бы предвещает в стране победу идей социализма и освобождение всего трудового крестьянства Болгарии.

БРАЗИЛИЯ

ИЗДАНИЕ ПЬЕС НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ

В Рио-де-Жанейро начала выходить серия «Бессмертные произведения», которая включает наиболее известные драматургические произведения авторов всех стран, изданные в переводе на португальский язык. В эту серию вошли, в частности, пьесы Шекспира, Шиллера и другие классические и современные произведения. Особый раздел серии составляют пьесы наиболее известных современных бразильских авторов, в том числе полное собрание сочинений Мильора Фернандеса, пьеса «Рука Эвридики» Педру Блоха, «Трагедия смеха» Гильерме Фигерейду, комедии Жоакима Мануэля де Аламейду.

ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ КНИГИ

Журнал «Американас» сообщает о том, что в 1958 году в Рио-де-Жанейро будет проведен второй фестиваль американской книги. Первый фестиваль проходил в 1956 году в Каракасе (Венесуэла). Экспонировалось более сорока тысяч томов, присланных странами американского континента, а также различными международными организациями. На фестивале в Рио-де-Жанейро будут открыты стенды искусства Мексики, Перу, Бразилии; предполагается устроить экспозицию редких книг, обложек, иллюстраций и т. д.

ВЕНГРИЯ

ОТКРЫТИЕ «ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕАТРА»

В Будапеште открыт «Литературный театр». С его сцены каждый вечер звучит голос чтеца, мастера художественного слова. В репертуарном плане театра — циклы литературных концертов «Венгерский Парнас», «Поэты Просвещения»

Кадр из нового венгерского кинофильма «По приказу императора». В главных ролях Ева Руттkai и Ференц Бешшени.
(Журнал «Филм-Синхаз-Мюзика»).

и «Большой мир», авторские вечера поэтов-современников — Дьюлы Ийеша, Йожефа Фодора, Ференца Янковича, Жени Варнаи. Большой интерес, по сообщению газеты «Непсабадшаг», вызывает цикл «Кривое зеркало веков», в который включены фрагменты из лучших сатирических произведений мировой литературы, а также программа «С пером и у станка», составленная из малоизвестных произведений венгерских пролетарских поэтов и писателей-антифашистов.

«Литературный театр» ставит также одноактные пьесы классиков — Чехова, Гольдони, Уайльда, Караджале, Нушича и современных авторов.

НОВЫЙ ВЕНГЕРСКИЙ ФИЛЬМ

Среди выпущенных венгерскими студиями новых фильмов — цветной художественный фильм «По приказу императора». Он посвящен «венгерским якобинцам», которые в конце XVIII века подняли знамя борьбы за свободу родины. В центре фильма, сценарий которого написан писателем Тибором Барабашем, — образ организатора тайного общества, ученого и писателя, выходца из народа Йожефа Хайноци (артист Ференц Бешшени). Как отмечает газета «Элет эш иродалом», постановщикам фильма удалось создать живые, полнокровные образы на достоверном историческом фоне.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«ЛЮБОВЬ ГЕРДЫ ГЕЛЬШТЕДТ» — НОВЫЙ РОМАН БЕННО ФЁЛЬКНЕРА

В 1957 году писателю Бенно Фёлькнеру была присуждена Национальная премия ГДР за роман «Люди из Карвенбруха».

Издательство «Трибюне-ферлаг» выпустило новый роман Фёлькнера — «Любовь Герды Гельштедт». Оба произведения отражают жизнь немецкого крестьянства. Сюжет первого произведения относится к 1900 — 1945 гг., действие второго развертывается в 1946—1947 гг.

...Молодая Герда Гельштедт, потеряв во время войны кров и родителей, попадает в маленькую мекленбургскую деревню Болтен, где встречает бывшего солдата, забредшего в эти края в поисках работы. Они женятся и начинают создавать на голом месте новое хозяйство, становясь теми, кто в послевоенной Германии получает название «нойбауэр» — «новые крестьяне». Жизнь поначалу тяжела, не хватает самого необходимого. Муж Герды попадает под влияние гросбауэра — кулака, отдаляется от Герды, становится орудием в руках бесчестного человека и кончает тюрьмой... Герде Гельштедт приходится еще раз начинать жизнь заново... Но она не остается одна, с ней друзья, простые люди, которые поддерживали ее в трудное время.

Своим новым романом, отмечает еженедельник «Зонntаг», Фёлькнер «сделал шаг вперед, в современность». В то время как беднякам из Карвенбруха приходилось вести ожесточенную, но скрытую борьбу с землевладельцами и фашистами, люди из Болтена не менее ожесточенно, но зато более успешно борются со свергнутыми эксплуататорами, мошенниками и спекулянтами.

Говоря о предпосылках успеха обоих романов Бенно Фёлькнера, «Зонntаг» напоминает, что их автор боролся в подполье против фашизма, а после 1945 года долгое время жил в деревне. Литератор, заключает «Зонntаг», который, подобно Фёлькнеру, не теряет связи с народом, всегда сумеет не только отображать прошлое, но и привлекать внимание людей к злободневным вопросам современности.

На пленуме Союза немецких писателей, посвященном сельской тематике в немецкой литературе, Бенно Фёлькнер заявил, что собирается написать продолжение романа «Люди из Карвенбруха».

КНИГА О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В Берлине издана книга, в которой собраны репортажи немецких писателей о Советском Союзе.

«Народы, слушайте сигналы!» — так звучит в немецком переводе первая строчка припева к «Интернационалу». Заглавие книги, выпущенной берлинским издательством «Ауфбау», представляет собой перефразировку этой строки: «...И услышали сигналы».

Начиная с воспоминаний Альфреда Куреллы о 1 Мая 1919 года в Москве, в сборнике последовательно воспроизводятся впечатления немецких писателей, повидавших Советский Союз в разное время, на разных этапах его великой стройки.

О СССР рассказывают в сборнике Эгон Эрвин Киш и Франц Вайскопф. Незабываемая эпоха Великой Отечественной войны отражена в корреспонденциях Вилли Бределя, Эриха Вайнерта, Фридриха Вольфа. Ганс Марквица выступает на страницах сборника как автор вдохновенного гимна «Октябрю-великану».

«Нейес Дейчланд» отмечает, что эта книга несомненно будет способствовать укреплению германо-советской дружбы.

«МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» В ПОЭТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА

В творческом наследии Бертольта Брехта обнаружены рукописные варианты стихотворного переложения «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1945 году Брехт предпринял несколько попыток переложить «Манифест» на стихи. Эта работа — двенадцать стра-

ниц стихотворного текста — впервые опубликована теперь в журнале «Зинн унд форм».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАДИОКОНКУРС

Немецкое демократическое радио организовало литературный конкурс, призвав поэтов и писателей создавать радиопьесы, рассказы и стихи, посвященные борьбе за мир и безопасность народов.

Участникам конкурса предлагается в своих произведениях учесть желание немецкого народа видеть территорию Германии свободной от складов атомного оружия.

В жюри, сообщает газета «Дер морген», входят деятели культуры как ГДР, так и ФРГ: Леонгард Франк (Мюнхен), Вилли Бредель (Берлин), Ганс Грюндиг (Дрезден).

ВЫСТАВКА ФОТОМОНТАЖЕЙ ДЖОНА ХАРТФИЛЬДА

Немецкая Академия искусств в Берлине устроила большую выставку, посвященную творчеству известного художника, мастера фотомонтажа Джона Хартфильда (см. «Иностранную литературу», № 1, 1958 г.). Выставка его работ, первая в Германии за последние 25 лет, вызвала интерес общественности.

«На этой выставке демонстрируется нечто большее, чем результаты творчества крупного художника», — пишет газета «Нейес Дейчланд». Работы Хартфильда, по мнению газеты, отвечают на вопрос «что такое партийность в искусстве, что является современным и что устарело...»

Фотомонтажи Хартфильда, сделанные с помощью фотообъектива, карандаша, пера и кисти, всегда актуальны, всегда бьют в цель. Большой известностью за пределами Германии пользуются его послевоенные фотомонтажи.

«Творчество Джона Хартфильда, — пишет еженедельник «Зонntаг», — уже стало неотъемлемой частью истории немецкой рабоче-крестьянской власти». Кроме фотомонтажей, на выставке представлены также работы Хартфильда в области театрального искусства (декорации, театральные афиши) и иллюстрации книг, издававшихся в Берлине, Лондоне, Праге и Москве.

Театральная афиша Джона Хартфильда к комедии Арно Хольца «Социальные аристократы» (1955 г.) *(Еженедельник «Зонntаг»).*

ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВОЛЬФГАНГА БОРХЕРТА

В издательстве «Миттельдейчер ферлаг» (Халле) вышел в свет однотомник умершего в 1947 году талантливого западногерманского писателя Вольфганга Борхерта (см. «Иностранную литературу», № 2, 1958 г.). Сборник включает художественные и публицистические произведения автора — пьесу «За дверью», циклы рассказов, цикл стихов «Фонарь, ночь и звезды», а также другие, не изданные при его жизни, стихотворения и рассказы. Это первое издание собрания сочинений В. Борхерта в ГДР.

Отмечая десятилетие со дня трагической смерти Вольфганга Борхерта, журнал «Нейе дейче литератур» называет его «честным искателем правды».

Газета «Нейес Дейчланд» пишет, что произведения Вольфганга Борхерта полны «гневного возмущения бессмысленной войной, которая уничтожила гуманность».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ОТВЕТ Л. ФЕЙХТВАНГЕРА МЮНХЕНСКИМ ВЛАСТЯМ

Как сообщает газета «Нейес Дейчланд», в Мюнхене состоялось заседание городского совета, на котором обсуждался вопрос о «поведении Лиона Фейхтвангера». Оказалось, что Фейхтвангеру был послан официальный запрос относительно его приветствия советскому народу в связи с сорокалетием Великой Октябрьской социалистической революции. Приветствие писателя пришлось не по вкусу правящим кругам Мюнхена.

Писатель ответил на полученный им запрос следующей телеграммой: «Взаимопонимание с Советским Союзом — единственный путь к воссоединению Германии. Радуюсь любой возможности способствовать этому. Приветствие было послано мной. Лион Фейхтвангер».

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА ТОМАСА МАННА И ГЕНРИХА МАННА

Газеты «Дер Морген» и «Ди Вельт» сообщают о продаже с аукциона в Гамбурге писем Томаса Манна и Генриха Манна.

Из пятидесяти писем, написанных Томасом Манном в период 1903—1918 гг. и адресованных его брату, сорок пять еще не были опубликованы. В них содержатся высказывания Т. Манна по ряду творческих проблем, а также сообщения о его литературных планах.

Двадцать писем Генриха Манна относятся к послед-

Леонгард Франк в рабочем кабинете.
(Журнал «Дас шёнсте»).

ним годам жизни писателя. Значительное место в них, сообщает газета «Ди Вельт», занимают размышления Генриха Манна о возвращении на родину (писатель, как известно, хотел переехать в Германскую Демократическую республику, однако смерть помешала свершению его планов).

«СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ»

Имя Ганса Гельмута Кирста сделалось популярным в Германии благодаря успеху его трилогии «08/15», проникнутой в известной степени антимилитаристскими настроениями. Правда, не все романы трилогии Кирста равноценны в идейном отношении, писатель не был последователен до конца в своем творчестве. В 1955 году, в связи с выходом в свет заключительного тома трилогии, журнал «Тагебух» (ГДР) отметил, что Кирст, «воодушевленный успехом, написал свой третий роман довольно интересно, но поверхностно... В этом произведении автор также боится вскрыть подлинные причины войны...»

После выхода второго произведения Кирста — романа «Последней картой играет смерть» — пресса отметила тенденцию писателя к отходу от темы своего предыдущего произведения. «Завоеванное по праву доброе имя можно быстро запятнать, — писала газета «Фрейес Фольк» в 1956 году.— Кирст находится на кратчайшем пути к этому... Форма и содержание книги могут разочаровать самого доброжелательного читателя... Как мог Кирст посвятить свое вдохновение излюбленной теме бесчисленных бульварных писак? Не в угоду ли некоторым влиятельным лицам, которым очень не понравилась книга «08/15» и которые чувствовали себя задетыми ею, ибо она мешала их планам? Во всяком случае, создается впечатление, что Кирст поддался давлению...»

Отклики прессы на его последний роман «Своими собственными руками», опубликованный издательством «Курт Деш-ферлаг» в Мюнхене, свидетельствуют о том, что писатель уступил натиску реакционных кругов.

То, о чем он рассказывает в этой книге, пишет журнал «Форум» (ГДР), ни в коей мере не соответствует реальной жизни. Писатель полностью игнорирует действительность вообще и западногерманскую действительность в частности. Роман «Своими собственными руками», — заключает журнал, — это решающий шаг в сторону тотальной творческой посредственности. Кирст стал проводником идеологии, которая опасна тем, что отупляет. Действительно ли «своими собственными руками» пишет Кирст?

ЧТО ЖЕ ДОЗВОЛЕНО САТИРИЧЕСКИМ ЖУРНАЛАМ?

После того, как в ФРГ было объявлено о закрытии литературно - художественного журнала «Тексте унд цейхен», прекратил свое существование также и сатирический журнал «Дер дейче Михель», издававшийся в Дюссельдорфе.

«Мы вынуждены, к сожалению, сообщить, — писала редакция журнала в своем уведомлении, адресованном книжному экспортно - импортному объединению в Лейпциге, — что «Дер дейче Михель» отныне издаваться не будет. Редакция и издатель полны решимости выяснить судебным путем, что дозволено у нас сатирическому журналу и что не дозволено».

ФИЛЬМ ОБ АЛЬБЕРТЕ ШВЕЙЦЕРЕ

По сообщению газеты «Монд», в Кольмаре состоялась премьера фильма, посвященного жизни и деятельности известного врача, выдающегося ученого и философа Альберта Швейцера. Постановщики — Джером Хилл и Эрика Андерсон — создавали этот фильм в течение шести лет; три года съемки производились в Африке. По словам газеты, это не беллетризованная биография Альберта Швейцера, а своего рода документальный фильм. Текст к нему читает сам Швейцер и французский актер и режиссер Жан-Луи Барро.

ДАНИЯ

«ЖАННЕТТА» — ПОСЛЕДНИЙ РОМАН АНДЕРСЕНА-НЕКСЕ

В издательстве Гюльдендаль вышел роман Мартина Андерсена-Нексе «Жаннетта». Это последняя книга трилогии «Мортен Красный» («Мортен Красный», «Потерянное поколение», «Жаннетта»).

Как пишет газета «Ланд ог фольк», в этом романе писатель хотел дать широкую панораму жизни датского общества из недавнего прошлого. Последняя книга Нексе осталась незавершенной и состоит из ряда глав. Тем не менее, по словам газеты, читатель найдет в ней ряд художественно законченных образов. Это, прежде всего, сама Жаннетта, молодая жена стареющего Мортена; юноша, принадлежащий к армии безработных тридцатых годов, и другие.

«Главы, составляющие последнее произведение Мартина Андерсена-Нексе,— это мощный аккорд любви, гнева и сочувствия к людям»,—пишет газета.

ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬМЫ «НОРДИСК-ФИЛЬМЗЕЛЬСКАБ»

Одно из старейших кинообществ мира — «Нордиск-фильмзельскаб», отметившее свое 50-летие, выпустило три первых цветных художественных фильма.

Сатирическая кинокомедия «Интервенция», как отмечает журнал «Фильмшпигель», высмеивает «законодателей» копенгагенских мод.

Режиссер Бьерн Хеннинг-Йенсен, участвовавший в создании художественного фильма «Дитте — дитя человеческое» (по роману М. Андерсена-Нексе), снял в Гренландии фильм «Там, где сочатся горы». Постановщики фильма ставили перед собой задачу показать обычаи и жизнь гренландских эскимосов. Третий цветной фильм — «Кьивиток» — снят режиссером Баллингом и также посвящен эскимосам. Эта кинокартина, указывает журнал, включает интересные документальные материалы.

ИНДИЯ

ФИЛЬМ ПО РАССКАЗУ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

Шестьдесят лет назад Рабиндранат Тагор написал рассказ «Человек из Кабула». Калькуттские кинематографисты — сценарист Премен Митра и режиссер Тапан Синха — недавно сделали по этому рассказу фильм, который вскоре после выхода на экраны получил Золотую и Серебряную медали президента Индии. Журнал «Бхарат джиоти» сообщает, что фильм «Человек из Кабула» с успехом демонстрировался не только в Калькутте, но и в Бомбее. Это доказывает, пишет журнал, что жители различных частей Индии вполне могут оценить искусство друг друга, несмотря на различие в языке.

Сама идея фильма, рассказывающего о том, как бедняк-афганец приезжает в Калькутту на заработки и всем сердцем привязывается к маленькой девочке из Бенгалии, заменившей ему оставленную на родине дочь, заключается, подчеркивает журнал, в утверждении братских, человеческих отношений между людьми вопреки национальным и языковым особенностям.

Индийская пресса отмечает прекрасную игру актера Чхаби Бисваса, а также родственницы Тагора — Тинки Тагор, выступающей в роли бенгальской девочки.

АВТОБИОГРАФИЯ ПРЕЗИДЕНТА ИНДИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Недавно опубликована автобиография выдающегося политического деятеля, президента Индии Раджендры Прасада. Эта книга, как отмечает «Хинду уикли ревью», является не столько жизнеописанием, сколько историей национально-освободительного движения индийского народа с 1917 по 1947 год. Лишь небольшую часть книги автор посвящает описанию своего детства, прошедшего в глухой деревушке Бихара, и юности. В 1917 году Прасад включается в национально-освободительную борьбу индийского народа и становится одним из ее активнейших участников. С 1920 по 1947 год Раджендра Прасад — член Рабочего комитета партии Национальный конгресс. Он проводит большую и разнообразную работу, путешествует по стране, организуя собрания и митинги.

По словам газеты, в книге приведены многие исторические факты и даны портреты политических деятелей Индии.

ИРАН

СОЗДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ШАХРАМ»

По сообщению литературного журнала «Сохан», в Иране основано литературно-просветительное общество «Шахрам». Цели этого общества, как указывается в его программе, следующие: популяризация творчества выдающихся иранских писателей, ученых и деятелей искусства; выявление и охрана исторических и культурных памятников Ирана; установление и присуждение ежегодных денежных премий за лучшее произведение в различных областях искусства и науки; организация выставок книг; созыв ежегодных съездов для обсуждения различных проблем развития искусства и науки в Иране.

Ежегодно общество будет присуждать три премии в размере 50 тыс. туманов каждая «лучшему каллиграфу», «лучшему художнику», «лучшему писателю».

На заседании Высшего совета общества в клубе Тегеранского университета его председателем избран д-р Аля. Избранное на этом же заседании Правление будет определять дальнейшую практическую деятельность общества и устанавливать порядок проведения конкурсов и съездов.

Гравюра художника Пезешк-Нийа «Кофейня». *(Журнал «Донийа-е джадид»).*

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКА ПЕЗЕШК-НИЙА

Как сообщает литературно-общественный журнал «Донийа-е джадид», в Тегеране, в Зале культуры, открыта выставка произведений известного современного иранского художника Хушенга Пезешк-Нийа, которая привлекла внимание общественности. На ней экспонировалось более 40 картин, посвященных изображению разнообразных сторон жизни иранского народа.

Основные персонажи его картин — простые иранцы: обедающие под тенистым деревом рабочие, толпа ребятишек, собравшихся вокруг бродячего фокусника, люди, отдыхающие в кофейне, и т. д.

На выставке представлены картины, считающиеся, по мнению журнала, лучшими произведениями художника: «Мать», «Продающий корову», «Розы», «Заснеженная улица» и другие.

Большое место в творчестве Пезешк-Нийа занимают гравюры. На этой же выставке Пезешк-Нийа демонстрировал два изготовленных им диафильма. Один фильм называется «Игрушечный козел», другой воспроизводит фрагмент из «Шах-наме» о Ростеме и Сохрабе.

Кадр из нового кинофильма испанского режиссера Х. Бардема «Жнецы». В роли крестьянина Луиса — итальянский актер Раф Валлоне, в роли Андреи — Кармен Севилья. *(Еженедельник «Контемпоранео»).*

ИТАЛИЯ

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА СОПРОТИВЛЕНИЯ»

Недавно в Италии вышла книга «Библиографическая панорама Сопротивления». Как известно, движение Сопротивления в 1943—1945 годах носило массовый характер, в него были вовлечены самые широкие слои итальянского населения, боровшегося против немецкой оккупации. О периоде Сопротивления написано много книг, начиная от мемуаров и кончая романами и поэмами. Составители «Панорамы» Э. Бартолини, Г. Маццон и Л. Меркури поставили перед собой цель не только собрать библиографические данные обо всех книгах, посвященных движению Сопротивления в 1943—1945 годах, но и включить в нее всю антифашистскую литературу, выходившую в Италии легально и нелегально во времена фашистского режима.

«Библиографическая панорама Сопротивления» включает много тысяч названий, составители проделали колоссальную работу, и им удалось,— пишет «Унита»,— выпустить первый в Италии сборник такого рода. В частности, в него вошли также записки типа «местной хроники Сопротивления», не претендующие ни на обобщения, ни на высокое литературное качество, но правдиво и точно излагающие факты, называющие даты, имена и события. Достаточно внимательно ознакомиться с «Библиографической панорамой Сопро-

тивления», чтобы представить себе подлинно всенародный характер этого движения, подобного которому не было во всей истории Италии».

«ДАНИЛО ДОЛЬЧИ ХОРОШО ИСТРАТИЛ ПРЕМИЮ ВИАРЕДЖО»

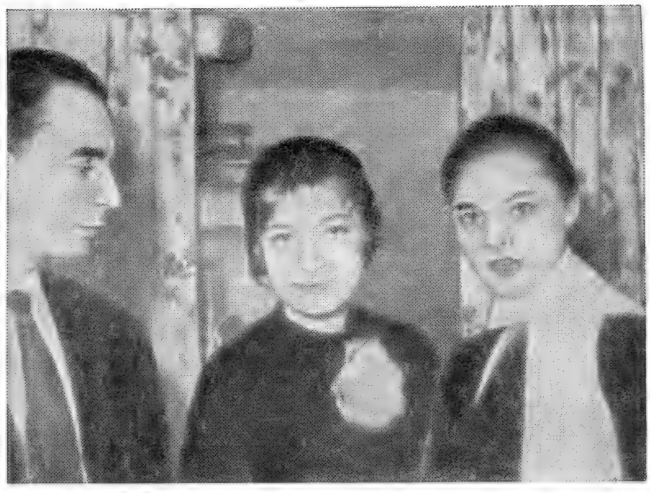
Под таким заголовком еженедельник «Контемпоранео» поместил сообщение о состоявшемся в Палермо совещании по вопросам борьбы с безработицей в Италии. Совещание было организовано сицилийским писателем лауреатом Международной Ленинской премии Мира Данило Дольчи, который для этой цели ассигновал полученную им премию Виареджо за книгу «Расследование в Палермо», посвященную крестьянам Сицилии. В совещании приняли участие итальянские экономисты, представители профсоюзных организаций, политические деятели, писатели и журналисты.

Автор статьи в «Контемпоранео», известный экономист Энрико Нобис, приветствует инициативу Данило Дольчи и выражает мнение, что совещание в Палермо будет способствовать созданию единого общеитальянского плана борьбы с безработицей, который учитывал бы, в частности, необходимость промышленного и культурного развития южных провинций Италии.

ИЗДАНИЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ М. ГОРЬКОГО

Произведения Максима Горького пользуются в Италии широкой известностью. Первые переводы отдельных произведений великого русского писателя появились в Италии в 1901 году.

Ныне издательство «Эдитори риунити» выпускает Полное собрание сочинений М. Горького. Первые тома уже вышли в свет. Изданный недавно очередной том включает ранние произведения Горького — «Макар Чудра», «Девушка и смерть» и другие; некоторые из них публикуются в Италии впервые. Всего предполагается выпустить 20 томов.



Режиссер Микельанджело Антониони с актрисами его труппы Мониной Витти и Вирной Лизи.
(Еженедельник «Контемпоранео»).

Сообщая об издании Полного собрания сочинений Максима Горького, газета «Унита» пишет, что это событие приобретает сейчас особенно большое значение потому, что в разгар битвы за реализм в искусстве и литературе предоставляется возможность вновь обратиться к творчеству великого революционного писателя и извлечь ценный опыт.

КИНОРЕЖИССЕРЫ — ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЩИКИ

Римская печать сообщает о дебюте в качестве театрального режиссера и драматурга видного кинорежиссера Микельанджело Антониони, поставившего такие принесшие ему известность неореалистические фильмы, как «Хроника одной любви», «Подруги», «Крик». Антониони создал труппу молодых актеров и поставил в римском театре «Элизео» пьесу американского драматурга Джона Ван Друтена «Я — фотоаппарат». Вторым спектаклем, поставленным этой труппой, была пьеса, написанная самим Антониони совместно с Элио Бартолини, «Тайные скандалы».

Работа кинорежиссеров в качестве театральных постановщиков, так же как и работа театральных режиссеров в области кино, отметил еженедельник «Контемпоранео», довольно частое явление в современной Италии. Так, например, Лукино Висконти — один из наиболее известных театральных режиссеров Италии — является в то же время одним из наиболее выдающихся представителей неореалистического направления в итальянской кинематографии, постановщиком популярных фильмов «Земля дрожит», «Самая красивая», «Белые ночи». В последние годы Висконти ставит также и оперные спектакли. Кинорежиссер Федерико Феллини собирается поставить новую пьесу драматурга Диего Фаббри. Успешно выступает в области кинорежиссуры драматург Эдуардо Де Филиппо, создавший три фильма по своим произведениям — «Неаполь — город миллионеров», «Филумена Мартурано», «Призраки» — и кинокартину «Неаполитанцы в Милане». Как кинорежиссер выступил также известный театральный режиссер Этторе Джаннини, поставивший фильм-ревю «Неаполитанская карусель».

БОРЬБА ЗА ПЕРЕДОВУЮ КУЛЬТУРУ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ

Марксистский еженедельник «Контемпоранео», который в течение четырех лет

вел большую плодотворную работу, освещая культурную жизнь страны, превращается отныне в ежемесячное издание. В последнем номере еженедельника, в статье, озаглавленной «Знамя, которому мы не изменим», редакция обращается ко всем читателям в Италии и за границей со словами благодарности и привета и сообщает о причинах, по которым пришлось принять решение о превращении еженедельника в журнал, выходящий раз в месяц. Это, прежде всего, непреодолимые финансовые трудности. Типографские расходы все время возрастают, тогда как «Контемпоранео» не имеет других средств на издание, кроме подписной платы и поступлений от рабочих организаций. Следует принять во внимание, что другие органы печати получают в Италии огромные субсидии от различных финансовых и промышленных групп и крупных издательств. «Контемпоранео» же, являющийся органом прогрессивных деятелей культуры, наталкивается, ко всему прочему, и на бойкот агентств, организующих рекламу.

Подводя итоги четырехлетней работы, «Контемпоранео» пишет о своей борьбе за новую культуру, за творческий марксизм, «за реализм, как единственное не академическое, не конформистское, глубоко гуманистическое направление в искусстве». Редакция с законной гордостью сообщает в последнем номере еженедельника о том, что она всегда стояла на позициях идейной, последовательной борьбы за демократическую культуру.

Переходя на ежемесячное издание, «Контемпоранео» будет реже попадать к читателям, но он полностью сохранит характер боевого органа итальянского рабочего класса и прогрессивной интеллигенции, заявляет редакция. Он по-прежнему будет посвящать свои страницы вопросам литературы, изобразительных искусств, архитектуры, кинематографии, театра, музыки, давать информацию о культурной жизни за границей.

В Канаде снят фильм по роману Ф. Купера «Последний из могикан». В роли Соколиного Глаза — Джон Харт, в роли Чингачгука — Лон Чейни.
(Газета «Кенэдиен трибюн»).

КАНАДА

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛУ СИНЯ

В издательстве «Прогресс букс» в Торонто вышла первая книга четырехтомного собрания избранных произведений Лу Синя в переводе на английский язык. В первую книгу вошли рассказы, стихотворения и статьи. Среди рассказов — «Записки сумасшедшего», «Закалка меча», «Кун И-цзи», «Подлинная история А-Кью».

НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСУНКИ ГОЙИ

В Канаде, в частной коллекции произведений искусства, долгое время хранился альбом с восемьюдесятью одним рисунком неизвестного мастера.

Канадец, владелец альбома, переслал рисунки в Европу на экспертизу. Как сообщает газета «Национальцейтунг», два эксперта — немецкий искусствовед в городе Эрлангене и сотрудник Югославской академии искусств — признали, что это рисунки Франсиско Гойи, которые были созданы великим художником приблизительно в 1770 году.

КИТАЙ

«ЗА ПОХОД В ЖИЗНЬ»

Как сообщает газета «Жэньминьжибао», по призыву Коммунистической партии в стране развернулось массовое движение среди писателей и деятелей искусства под лозунгом «За поход в жизнь». Не кратковременные визиты писателей на стройки и в деревню, а постоянное общение с народом — такова задача, пишет газета, поставленная в настоящий момент Коммунистической партией перед творческими работниками Китая. Она состоит в том, чтобы последовательно проводить в жизнь партийную линию в области культуры — ставить литературу и искусство на службу народу. «Кратковременные выезды на заводы и в деревню не решают дела,— пишет газета «Жэньминьжибао». — Писатели выступают в этом случае не как сыновья рабочих и крестьян, живущие с ними одной жизнью, делящие с ними радость и горе, а как недолгие гости».

Многие из китайских писателей уже откликнулись на призыв партии и отправились на места их нового жительства, другие соби-

раются выехать в провинции в ближайшее время.

К числу писателей, поселившихся в различных районах страны, относятся известные прозаики Цао Мнн, Лэй Цзя, Чжао Шули. Недавно к ним присоединился большой отряд других писателей. Среди них Лю Бай-юй, Чжоу Либо, Чжан Тянь-и, Кан Чжо, Тянь Цзянь и многие другие.

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ ПРОВИНЦИИ ФУЦЗЯНЬ

В г. Фучжоу (провинция Фуцзянь) начал выходить литературный журнал «Жэфэн» («Горячий ветер»), который пришел на смену журналу «Юаньди», служившему рупором и проводником идей буржуазных правых элементов в литературе.

Новый журнал публикует разнообразные материалы, в том числе стихи, посвященные крупнейшей стройке провинции — железной дороге Интань—Сямынь, поэмы, рассказы, песни народности таошань (о. Тайвань), народные песни Западной Фуцзяни и т. д. Большое место занимают литературные произведения, посвященные борьбе с буржуазными правыми элементами.

ЛИВИЯ

«МЕЧТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ»

Так называется поэтический сборник стихов ливийского поэта Али Сидки Абд аль-Кадира, которого называют в Ливии «певцом молодежи». Тунисский журнал «Аль-Фикр» поместил большую рецензию на сборник ливийского поэта. Рецензент пишет, что автор стихов достоин того, чтобы называться не просто «певцом молодежи», а «народным певцом антиимпериалистической революции» благодаря тому чувству глубокого патриотизма, которым проникнуты его стихи.

Сборник состоит из двух разделов. В первый входят стихотворения, посвященные антиимпериалистической борьбе. Второй раздел посвящен воспоминаниям поэта о его молодости.

«ЛИГА ПИСАТЕЛЕЙ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Журнал «Аль-Адиб» сообщает, что в г. Триполи создано литературное объединение «Лига писателей завтрашнего дня». Лига будет издавать журнал и печатать книги авторов, входящих в состав этой писательской организации.

МЕКСИКА

АЛЬФОНСО РЕЙЕС — ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Мексиканская общественность отметила шестидесятилетие со дня рождения видного мексиканского писателя Альфонсо Рейеса, который недавно избран президентом Академии языка и литературы Мексики. Рейес — один из крупнейших мастеров рассказа Латинской Америки, известный общественный деятель. Его работы в различных областях мексиканской культуры, последовательная пропаганда лучших произведений литературы и искусства Мексики и других латиноамериканских стран снискали ему широкую известность и авторитет не только у него на родине, но и за границей. Альфонсо Рейес — почетный член многих латиноамериканских и европейских литературных ассоциаций, лауреат ряда международных и отечественных премий.

Крупнейшее литературное издательство «Фондо де культура экономика» предприняло издание полного собрания сочинений писателя.

НОВЫЙ РОМАН ФЕРНАНДО БЕНИТЕСА

Фернандо Бенитес — писатель и журналист,—опубликовал недавно свой новый роман «Хенекен — драма народа и растения». Роман, как сообщает журнал «Интеркамбио культураль», посвящен жизни сборщиков хенекена в юго-восточных штатах Мексики. Тяжелая доля мексиканских пеонов, безработица, произвол плантаторов, коррупция, протест тружеников земли против несправедливостей власть имущих — все это нашло реалистическое отражение в романе Бенитеса, пишет журнал.

РУБЕН ДАРИО — ПЕРЕВОДЧИК М. ГОРЬКОГО

В одном из букинистических магазинов г. Мехико обнаружен экземпляр романа М. Горького «Фома Гордеев» на испанском языке. Как выяснилось, перевод произведения М. Горького сделан с французского языка крупнейшим латиноамериканским поэтом Рубеном Дарио. В его переводе «Фома Гордеев» был выпущен незначительным тиражом в начале XX века мексиканским филиалом испанского издательства «Маучи» и ныне представляет собой библиографическую редкость.

В связи с упомянутой букинистической находкой мексиканский журнал «Интеркамбио культураль» пишет: «Все те, кто восхищается талантом великого русского писателя и талантом знаменитого поэта Латинской Америки, не могут не радоваться при виде их имен, стоящих рядом в этой книге».

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«ЛИТЕРАТУРА И АРАБСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ»

Состоявшийся в Каир Третий съезд арабских писателей прошел под знако дальнейшего укреплени единства литераторов Араб ского Востока. На съезд принят ряд резолюций. Не сколько резолюций объеди нены общим названием «Ли тература и арабский нацио

нализм». Съезд заявил, в частности, что «арабский национализм служит выражением решимости арабского народа бороться за свободу и единство арабской нации, чтобы активно участвовать в строительстве нового мира, свободного от пагубных идей империализма и агрессии, чтобы способствовать развитию цивилизации... Арабская литература должна стоять на страже арабского национализма и направлять его...»

Исходя из этого, съезд рекомендовал писателям «правдиво отображать страдания и чаяния арабской нации и прилагать старания к тому, чтобы способствовать борьбе арабов за единство и полное освобождение».

Съезд призвал арабских писателей «воздерживаться от сотрудничества с издательствами, публикующими империалистические пропагандистские листки и другие издания, цель которых — вызвать распри между арабскими народами».

В общих рекомендациях, принятых съездом арабских писателей, предлагается организовать литературные фестивали в различных арабских странах, проводить встречи для знакомства арабских писателей друг с другом и для дискуссий, поощрять переводы литературных произведений в целях обогащения арабской литературы. Участники конгресса обратились с призывом к писателям всего мира и с посланием к Организации Объединенных Наций, заявив о своей солидарности с алжирским народом в его борьбе за независимость и свободу.

ПАКИСТАН

«МЫСЛИ ИКБАЛА»

В 1958 году исполняется двадцать лет со дня смерти крупнейшего поэта и философа Мохаммеда Икбала (1873—1938). За сорок лет литературной деятельности Икбал создал много лирических стихов и произведений на остро социальные темы, полемических статей и философских работ.

Недавно в Лахоре, в издательстве «Базм-е-Икбал», вышла на языке урду книга доктора Халифа Абдула Хакима «Фикр-е-Икбал» («Мысли Икбала»). Рецензент газеты «Пакистан таймс» Б. А. Дар отмечает, что автору удалось популярно изложить основы философии поэта и дать анализ развития его философского мышления. Доктор Хаким пишет, что Икбал подвергал критике капиталистическую систему, ее политические институты, а также осуждал восточный мистицизм и теологию. Рецензент отмечает, что глава «Икбал и социализм»—одна из самых сильных в книге.

«ГАЛИБ — ЕГО ЖИЗНЬ И ПЕРСИДСКАЯ ПОЭЗИЯ»

Под таким заголовком в Карачи в издательстве «Аллайс букс корпорейшн» вышла книга Арифшаха Гилани, посвященная жизни этого поэта-классика. В приложении к книге помещено около тысячи персидских газелей Галиба.

В Гливице (Силезия) воздвигнут памятник великому польскому поэту Адаму Мицкевичу. Автор памятника — профессор Франтишек Старынкевич.
(Газета «Трибуна люду»).

ПОЛЬША

«ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЮТ НАРОДЫ»

В Москве, в Издательстве иностранной литературы, недавно вышел сборник избранных рассказов выдающейся польской писательницы Марии Домбровской. В связи с этим Мария Домбровская направила в издательство письмо, адресованное к советским читателям, где, в частности, пишет:

«До сих пор я мало общалась с русскими читателями и еще менее — с читателями других республик Советского Союза. Несколько высказываний о моей повести «На деревне свадьба», помещенных в журнале «Иностранная литература», беседа об изданном еще в 1928 году в Ленинграде сборнике моих рассказов «Люди оттуда», письма незнакомой читательницы с Нижней Волги, отзывы молодых московских литературоведов, читавших по-польски мой роман «Ночи и дни»,— это, пожалуй, и все. Но немногочисленные отзывы о моем творчестве были живыми, теплыми и благожелательными». М. Домбровская выражает надежду, что новый сборник ее избранных рассказов будет также встречен с тем дружественным интересом, который, по словам писательницы, является отличительной чертой советских читателей.

«Литература и искусство, — пишет далее М. Домбровская, — объединяют народы. В наше время, как бы наперекор всем недоразумениям и противоречиям, существующим в мире, народы всех стран с удивительным упорством прокладывают новые, разнообразные пути к сближению. В этом сложном процессе литература продолжает оставаться весьма существенным звеном духовной связи. Правда, сближе-

ние на почве литературы не предотвратило некоторые большие конфликты, но все же эта почва — плодородная, благодатная для развития дружбы и улучшения отношений между людьми и народами. Даже при изображении того, что́ разделяет людей, литература ищет то, что́ их объединяет.

Передавая в ваши руки часть моего скромного творчества, я хочу сказать, что буду счастлива, если вы обнаружите в нем хотя бы частицу того, что объединяет людей в их общих радостях и горестях, мечтаниях и чаяниях».

«КОНЕЦ ЛЬГОТНОГО ТАРИФА»

Под этим названием в газете «Трибуна литерацка» помещена статья о репертуаре польских театров. При всем различии существующих в Польше театров, пишет автор статьи Щепаньский, необходимо ориентироваться на «общие идейные основы, которые обязательны или должны быть обязательными для каждого театра в народной Польше». Театр в народно-демократическом государстве, говорится в статье, должен идейно воспитывать зрителей, а не пропагандировать всякого рода халтуру; репертуар театра должен содействовать разрешению стоящих перед обществом задач, а не приносить вред. К сожалению, отмечает автор, в репертуаре польских театров имеется еще не мало второразрядных и халтурных произведений, которые оттесняют пьесы талантливых национальных и зарубежных авторов и даже классиков. «Разного рода экспериментальные театры, такие как «Театр на Тарчинской» (Варшава), «Крикот II» или «Театр Рапсодычны» (Краков), при всем положительном значении их творческих поисков, на деле остаются в стороне от главного направления в развитии театрального искусства».

Щепаньский выступает против политики тех театральных руководителей, которые «поддаются «западному» снобизму, забывая о чувстве собственного достоинства; которые «спасают кассу» доморощенной либо западной позавчерашней, вчерашней и сегодняшней халтурой». В качестве положительного явления критик отмечает постановку «Войны и мира» по роману Л. Толстого в Варшавском театре «Повшехным». Статья заканчивается призывом к театрам Польши «выполнить почетную задачу популяризации высокой театральной культуры».

ХУДОЖНИК ДВУХ НАРОДОВ

Исполнилось 125 лет со дня смерти выдающегося живописца и графика А. Орловского. Уроженец Варшавы, поляк по происхождению, он большую часть своей жизни работал в России.

Недавно в Национальном музее в Варшаве была торжественно открыта художественная выставка, посвященная творчеству А. Орловского. На выставке экспонировалось около 1200 работ из польских и советских музеев, в том числе из Третьяковской галереи.

Отмечая это событие в культурной жизни, З. Квециньская в статье «Художник двух народов», опубликованной в газете «Трибуна люду», пишет, что Александр Орловский был художником, который, как говорил Адам Мицкевич, воспел Польшу. Русский поэт Вяземский писал, что карандаш Орловского увековечил лицо старой Руси. Оба поэта были правы, отмечает З. Квециньская. Творчество Орловского — это необычайно яркий пример единения и взаимопроникновения двух культур — польской и русской.

В рисунках «польского периода» художника (примерно 1790—1802 гг.) на первый план выступает тема освободительной борьбы. Активный участник восстания Костюшко, Орловский, создал такие произведения, как «Битва под Мацеёвице», «Штурм Праги», многочисленные зарисовки из жизни повстанцев, портреты Костюшко и т. п. Много работ этого периода посвящено польскому пейзажу.

Тадеуш Костюшко — рисунок пером А. Орловского (Народный музей в Кракове). *(Газета «Трибуна люду»).*

С 1802 года до своей смерти (1832 г.) А. Орловский жил и работал в России. Художник часто обращался к темам из жизни национальных меньшинств России.

«На выставке,— пишет автор статьи, — поражает творческая многогранность художника. Мы встречаем богатое собрание портретов, пейзажей, жанровых сценок, рисунки животных, аллегорические сцены, карикатуры...» В статье сообщается, что Государственный институт искусства и Национальный музей подготавливают научную сессию, посвященную творчеству А. Орловского.

РУМЫНИЯ

«ПЕСТРЫЕ СТИХИ» ТУДОРА АРГЕЗИ

Вышел последний том Собрания сочинений старейшего поэта Румынии Тудора Аргези, называющийся «Пестрые стихи». В рецензии, помещенной в журнале «Тынэрул скриитор», критик Аурел Мартин пишет, что в то время, как некоторые молодые поэты, не имею-

Иллюстрации художника Жюля Перахима к сборнику Тудора Аргези «Пестрые стихи».

щие достаточного художественного и жизненного опыта, «предпочитают замыкаться в рамках личного мира и творить вне времени и пространства, крупнейший румынский поэт Аргези активно участвует в современной жизни, отражая ее проявления в своем творчестве...

...Аргези написал книгу злободневной патриотической поэзии, лишенной условности и серости...» Во многих стихотворениях этого тома, отмечает рецензент, проявляется искусство Аргези как баснописца. Он является автором таких сатирических произведений, как «Таблетки из страны Кути» и «Маленький учебник практической морали». В этот том включены и сонеты Т. Аргези.

Подчеркивая разнообразие форм и боевой характер творчества нестареющего поэта, рецензент указывает, что «Пестрые стихи» Тудора Аргези насыщены высоким гражданским пафосом — и в этом их особенность. Газета сообщает, что иллюстрации к книге Т. Аргези выполнены известным художником Жюлем Перахимом.

НОВОСТИ КИНО

Как сообщает еженедельник «Контемпоранул», студия художественных фильмов «Букурешть» выпустит на экраны в 1958 году художественный фильм «Телеграммы» по одноименному рассказу Йона Луки Караджале. Будет экранизирован также роман венгерского писателя М. Жокаи «Бедные богачи». Фильм создается совместными усилиями румынских и венгерских киноделтелей. Журнал «Сцена и экран» сообщает о том, что производятся съемки фильма «Когда рассеивается туман», в основу которого положены три повести писателя Александру Сахии. Заканчиваются съемки кинокартины «Семейные драгоценности» по роману писателя Петру Думитриу.

Фильм «Извержение» будет посвящен самоотверженному труду румынских нефтяников. Сюжет новой кинокартины «За соснами» отражает события, предшествовавшие дню 23 августа 1944 года, когда румынская армия повернула оружие против фашистских оккупантов. «Контемпоранул» сообщает также, что для детей будут сниматься кукольные фильмы «Девочка со спичками» по сказке Андерсена и «Царство ледяных цветов» по сценарию Миоары Кремене и Боба Кэлинеску.

США

В ТРУЩОБАХ НЬЮ-ЙОРКА

Книга американского журналиста Эдмунда Дж. Лава, появившаяся недавно на книжном рынке США, показывает изнанку «американского образа жизни». Само название книги, «Подземка для сна», дает читателю некоторое представление о ее содержании. Автор рассказывает о судьбах людей, с которыми он встречался и разговаривал, людей, которых выбросила за борт жизни пресловутая «американская демократия».

Эдмунд Лав окончил Мичиганский университет, во время войны был военным корреспондентом, затем, после ее окончания, остался без работы. Вместе с тысячами других американских интеллигентов он оказался «на дне», среди людей, единственная мечта которых — выбраться из трущоб и нищеты.

Книга Э. Дж. Лава — беллетристическое произведе-

ние, но в ней приведен интересный фактический материал, пишет «Нью-Йорк таймс бук ревью».

ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ЖИВОПИСИ

В США вышла книга Александра Элиота «Триста лет американской живописи». В ней дается анализ творчества 147 наиболее известных американских художников — с середины XVII века по 1957 год. В книге представлено творчество таких художников, как Ашер Браун-Дьюранд, Теодорес Стамос, Уильям Базнотес, Макс Вебер, Артур Дав, Джорджия О'Киф, Уильям Кейнбуш, Чарльз Барчфильд, Ричард Флорсхейм, и других. В книге помещено около 250 цветных репродукций, которые дают читателю представление о развитии американской живописи за последние три века.

ФРАНЦИЯ

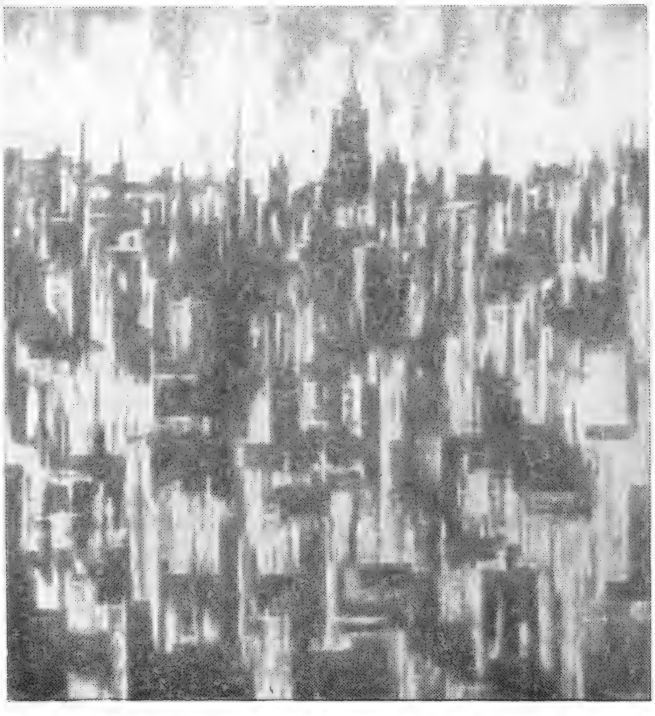
ДНЕВНИКИ БРАТЬЕВ ГОНКУРОВ

Недавно вышли в свет дневники Эдмона и Жюля Гонкуров — «Воспоминания о литературной жизни». Согласно завещанию, оставленному Эдмоном Гонкуром, дневники должны были быть опубликованы в 1916 году. Однако воспоминания Гонкуров, издававшиеся до сих пор в отрывках, полностью опубликованы лишь сейчас. Это короткие заметки о современниках, записи наблюдений и бесед писателей на литературные темы, светские и литературные анекдоты, наброски отдельных эпизодов, вошедших впоследствии в их книги. «Дневники, — пишет «Леттр франсез», — представляют собой легкое, увлекательное чтение, хотя и не дают цельной картины литературной жизни Франции того времени...»

ХРОНИКА ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ

Литературная критика положительно отзывается о новом произведении

Произведения американских художников: Ашер Браун-Дьюранд — «Одинаковое настроение» (1849 г.); Ричард Флорсхейм — «Ночной город» (1956 г.)
(Газета «Нью-Йорк таймс»)



Анжелины Барден «Вы, идущие по дорогам». Автор — в прошлом батрачка, воспитанница сиротского дома. Книга Анжелины Барден своеобразна по форме и замыслу — она не имеет единой связующей линии и представляет собой хронику жизни родной деревни писательницы. «Анжелина Барден вышла из народа и никогда не отрывалась от него. Это прирожденная рассказчица... являющаяся подлинным народным писателем»,— пишет еженедельник «Летр франсез».

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ ЖЕРАРА ФИЛИПА

Известный французский киноактер Жерар Филип исполняет главную роль в новом фильме «Накипь», который поставлен режиссером Ж. Дювивье по роману Золя. В дневниках писателя имеются следующие строки, посвященные этому произведению: «...Говорить о буржуазии, значит составлять беспощадный обвинительный акт против французского общества... значит показать буржуазию такой, какова она в действительности, показать ее отвратительной, хотя она считает себя источником честности и порядочности». Газета «Юманите» пишет о новой кинокартине: «Она точно передает содержание романа. Сохранены многие диалоги. Дом, в котором живут герои, низменность их чувств, прикрытая маской добродетели, — все изображено так, как это видел Золя».

Жерар Филип снимается также в главной роли в фильме «Игрок» по мотивам повести Достоевского. Этот фильм ставится силами французских и польских киноработников.

НАЙДЕНЫ НЕИЗВЕСТНЫЕ РУКОПИСИ А. ДЮМА

Как сообщает газета «Ар», в одном из старых дворцов Богемии (Чехословакия) найдена рукопись трагедии в стихах «Ромео и Джульетта» Александра Дюма-отца. Кроме этого, обнаружены тысячи рукописных страниц прозаических произведений писателя, а также его многочисленные письма, адресованные дочери.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ЖИВЫЕ?»

Так называется новый роман Ф. Пехачковой, вышедший в издательстве «Млада фронта». Это история жизни простой крестьянки из южноморавской деревушки — Полюшки Севериновой. Повествование охватывает периоды первой и второй мировых войн и доведено до наших дней.

Говоря о содержании романа, критик Иржи Гаек в своей рецензии, опубликованной в газете «Литерарни новины», подчеркивает, что сюжет «настолько прост, насколько проста сама жизнь бедной деревенской женщины...» Однако, замечает И. Гаек, образ Полюшки — «собирательный образ, в котором отражены характерные черты данной среды и данного времени». Благодаря этому, по мнению рецензента, «роман Пехачковой «Почему молчат живые?» следует отнести к наиболее выдающимся произведениям современной чешской прозы». И. Гаек пишет, что Ф. Пехачкова поднимает ряд серьезных вопросов. Ныне в Чехословакии покончено с трагедией нищеты и власти денег над людьми. Однако в новую эпоху перед деревней возникают и новые моральные проблемы, в частности — проблема взаимоотношения личного и общественного. Повествуя о судьбе своей героини Полюшки, автор не только ставит, но и пытается найти ответ на эти вопросы.

В заключение рецензент отмечает, что новый роман Пехачковой вызовет, вероятно, много откликов и споров, но это «послужит лишь на пользу и самому автору и всей чешской прозе».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МОНОГРАФИИ ИРЖИ ТАУФЕРА

Иржи Тауфер опубликовал две литературные монографии: о Б. Вацлавке и о В. Незвале.

Рецензент В. Пекарек на страницах «Руде право» пишет: «Появились две новые книги о двух писателях-коммунистах—Б. Вацлавке и В. Незвале... книги о деятелях, которые, как может показаться на первый взгляд, так не похожи друг на друга и все же так близки между собой. Они оба являются старыми членами Коммунистической партии... В. Незвал не принадлежит к литературной группе, которую возглавлял Б. Вацлавек и которая уже к концу существования первой республики в определенной степени восприняла принципы социалистического реализма. Тем не менее, Вацлавек способствовал политическому созреванию Незвала...»

В. Пекарек заканчивает рецензию словами о том, что издание монографий И. Тауфера о Б. Вацлавке и В. Незвале делает произведения этих авторов еще более близкими и понятными читателям.

К СМЕРТИ ЙОЗЕФА ЛАДЫ

Накануне своего 70-летия умер народный художник Чехословакии Йозеф Лада. Продолжатель лучших национальных художественных традиций, Лада пользовался большой любовью своих соотечественников. Слава художника распространилась за пределы его родины. Иллюстрации Лады к «Бравому солдату Швейку» стали неотъемлемой частью романа Ярослава Гашека.

Й. Лада родился в деревне Гусицы, недалеко от Праги, и на всю жизнь остался певцом природы родного края. Он начал рисовать в семилетнем возрасте. Вскоре после

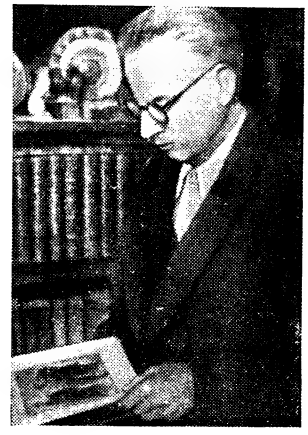
окончания школы мальчика отдали в ученики в одно из книжных издательств Праги. Это определило его жизненный путь. Лада начинает с подражательных рисунков для юмористических журналов, но скоро находит свою индивидуальную манеру и в 1910 году издает знаменитый «Букварь», текстом которого служат народные поговорки. В этом произведении уже выявилась характерная для Лады выразительность рисунков, их мягкий юмор. Лада издает ряд детских книжек, в которых ему принадлежат не только иллюстрации, но и текст.

Художник иллюстрирует огромное количество книг, в том числе произведения чешского классика К. Гавличка-Боровского: «Крещение святого Владимира» и «Эпиграммы», а также книги Рахлика. Лада издает две книги «Иллюстрированных поговорок и пословиц».

Йозеф Лада известен и как театральный художник, оформивший такие спектакли, как «Проданная невеста» и «Волынщик из Страконицъ».

В «Записках», посвященных своему жизненному пути, художник пишет, что для осуществления всех его замыслов ему нужно было бы прожить «еще хотя бы 50 лет».

Смерть Й. Лады — большая потеря для искусства Чехословакии.



Йозеф Лада в своем кабинете. Снимок сделан незадолго до смерти художника. *(Газета «Литерарни новины»).*

Яромир Печирка написал монографию «Народный художник Йозеф Лада». На снимке обложка книги с рисунком Й. Лады.

Обложка Иржи Трнки к книге сказок, собранных Р. Грубиным.

НОВАЯ КНИГА СКАЗОК

«Культурны жи́вот» сообщает о выходе в издательстве «Чехословацкий писатель» книги сказок, собранных и обработанных поэтом Франтишеком Грубиным и иллюстрированных известным художником кукольных фильмов Иржи Трнкой.

Еженедельник «Литерарни новины», отмечая большой успех этой книжки, пишет: «Герои сказок снова встретились с детьми, и встреча была очень радостной. Два больших мастера привели к детям их любимых героев, которые всегда сражались со злом и всегда побеждали...»

ШВЕЙЦАРИЯ

«И В МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ ЕСТЬ СВОЯ ЛИТЕРАТУРА...»

Журнал «Швейцер бухxандель» опубликовал недавно статью под названием «Незамеченная Швейцария».

Указав на то, что один из специальных выпусков «Литерари сапплмент» — лондонской газеты «Таймс» — был посвящен современной литературе стран мира, журнал выражает свое удивление, что «редакция литературного приложения, кажется, не знает о существовании маленькой страны под названием Швейцария».

Журнал подчеркивает, что литературная жизнь есть и «в стране, где процветают точные науки». Правда, указывает «Швейцер бухxандель», швейцарские правящие круги не очень жалуют писателей и художников, и поэтому в Швейцарии стало традицией руководствоваться мнением заграницы в оценке творчества собственных деятелей культуры. «Однако и в маленькой стране есть своя литература,— пишет далее журнал,— которая не ограничивается именами Фриша, Дюрренматта и Мушга, между прочим названными «Литерари сапплмент» в разделе... «Западная Германия».

О ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ Ч. ЧАПЛИНА

Как сообщает журнал «Синемонд», новый комический фильм Ч. Чаплина будет посвящен Наполеону. Предполагается, что роль Жозефины исполнит жена Чаплина — Уна Чаплин.

ЮГОСЛАВИЯ

«КОЛОНИСТЫ» БРАНКО ЧОПИЧА

Сараевское издательство «Светлост» выпустило юмористический роман Бранко Чопича «Колонисты».

Газета «Политика» пишет: «В последнее время Чопича все более привлекает изображение нашей послевоенной жизни в городах, там, где происходит столкновение старожилов и пришельцев, людей разных убеждений и общественных слоев, там, где новое сменяет старое...»

ДЕСЯТИТОМНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ БРАНИСЛАВА НУШИЧА

В связи с 20-й годовщиной со дня смерти выдающегося сербского юмориста и сатирика Бранислава Нушича, сообщает газета «Политика», югославское газетное издательство «Еж» готовит к печати избранные сочинения писателя в десяти томах. В первый том входит «Автобиография» писателя и статья Велибора Глигорича о жизни и творчестве Нушича.

ОПЕРА «ГОРНЫЙ ВЕНЕЦ» ПО ПОЭМЕ НЕГОША

По сообщениям газеты «Борба» и еженедельника «НИН», в Белградском оперном театре с успехом прошла премьера оперы Николы Херцегоня «Горный венец». Либретто написал Радомир Плаович по известной поэме югославского классика П. Негоша (1813 — 1851), которая переведена на многие иностранные языки, в том числе на русский. Свою поэму Негош посвятил героической народно-освободительной борьбе черногорского народа против турецких завоевателей в XVIII веке.

В своем интервью композитор Херцегоня заявил, что героическая борьба черногорцев против фашистских оккупантов во время второй мировой войны вдохновила его на создание оперы «Горный венец», над которой он работал несколько лет.

Газета «Борба» пишет: «Опера «Горный венец», которую Никола Херцегоня посвящает черногорским пролетарским бригадам, представляет собою удачное музыкальное сценическое произведение, являющееся значительным вкладом в наше еще небогатое оперное творчество».

Югославская печать отмечает умелое использование композитором черногорской народной музыки и танцевального искусства.

ЯПОНИЯ

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ РОМАН СУНАО ТОКУНАГИ

Произведения недавно скончавшегося известного японского писателя Сунао Токунаги посвящены простым людям Японии, их борьбе за свои права, за лучшие условия жизни. Сунао Токунага, родившийся в бедной крестьянской семье, прошел тяжелый жизненный путь, на собственном опыте познал изнурительный труд японского рабочего. Ему удалось окончить только начальную школу, но его большой жизненный опыт и талант позволили ему выдвинуться в ряды крупнейших прогрессивных писателей Японии.

Сунао Токунага хорошо известен в Советском Союзе. На русский язык переведены его романы «Улица без солнца», «Токио — город безработных», «Тихие горы», а также ряд рассказов.

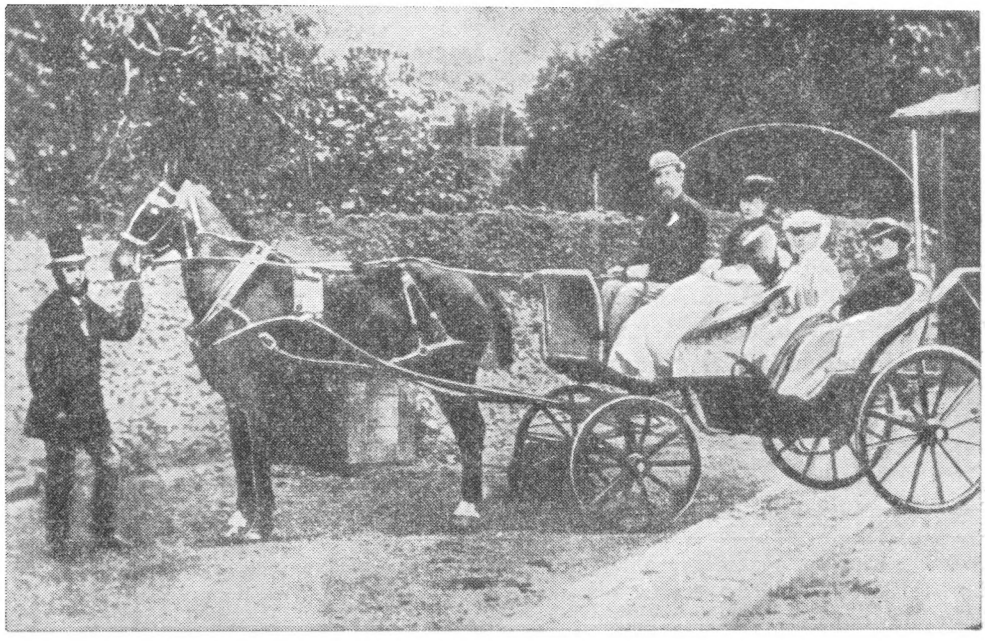
В июле 1957 года журнал «Син нихон бунгаку» начал печатать новый роман писателя «Одна история». Это — последнее, оставшееся, с сожалению, незавершенным, произведение Сунао Токунаги.

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

РЕДКАЯ фотография

На воспроизводимых нами снимках великий английский писатель Чарльз Диккенс запечатлен в кругу своих близких.

(Журнал «Пари матч»)



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Дашцевгийн Сэнгээ (род. в 1916 г.) — монгольский писатель. В № 10 журнала «Иностранная литература» за 1957 год была напечатана статья Сэнгээ «Высокий долг писателей МНР». Публикуемые стихи взяты из книги «Правда» («Унэн», 1956).

Клара Бихари — Klára Bihari — венгерская писательница. Известен сборник ее рассказов «Сестра Бригитта» ("Brigitta nővér", 1956). Роман «Жажда» ("Szomjúság") вышел в Будапеште в 1957 году.

Робер Вивье — Robert Vivier (род. в 1894 г.) — бельгийский поэт и прозаик, член Бельгийской Академии. Печататься начал в 1922 году. Автор романов и нескольких сборников стихов; последние из них — «Печать забвения» ("Tracé par l'Oubli", 1951) и «Во имя ропота и крови» ("Pour le Sang et le Murmure", 1955).

Жорж Буйон — Georges Bouillon (род. в 1915 г.) — бельгийский поэт, один из издателей литературно-художественного журнала «Дриад». Его стихами «Искусство поэзии» ("Art poétique") открывается бельгийская «Антология мира» ("L'Antologie de la Paix", 1950).

Раймон Кино — Raymond Quinot (род. в 1920 г.) — бельгийский писатель, член редколлегии «Журналь де поэт». Печататься начал с 1944 года. Выпустил несколько сборников стихов; последние книги — «Голубое небо» ("Ciel Bleu", 1952) и «Блюзы» ("Bluses", 1955).

Шарль Муасс — Charles Moisse (род. в 1910 г.) — бельгийский поэт, печататься начал с 1938 года. В 1956 году опубликовал книгу стихов «Надписи на стене» ("Ecrit sur le Mur"). Автор статей о Гоголе, Горьком, Атилле Йожефе, Ш. Петефи и других.

Фридрих Дюрренматт — Friedrich Dürrenmatt (род. в 1921 г.) — швейцарский писатель, автор пьес «Так написано» ("Es steht geschrieben", 1947), «Слепой» ("Der Blinde", 1948), комедии «Ромул Великий» ("Romulus der Grosse", 1949), «Брак господина Миссисипи» ("Die Ehe des Herrn Mississippi", 1952) и других. Премьера трагической комедии «Визит старой дамы» ("Der Besuch der alten Dame") состоялась в Цюрихе в январе 1956 года.

Пьер Куртад — Pierre Courtade (род. в 1915 г.) — французский писатель, автор сборника рассказов «Обстоятельства» ("Circonstances", 1946), романов «Черная река» ("Rivière Noire", 1953), «Джимми» ("Jimmy", 1953) и других. Роман «Джимми» издан на русском языке в 1953 году. Публикуемые рассказы взяты из сборника «Высшие животные» ("Les Animaux Supérieurs", 1956).

Хан Юн Хо (род. в 1932 г.) — корейский поэт и драматург. Стихи Хан Юн Хо печатались в журнале «Иностранная литература» (см. №№ 4 и 6 за 1957 год). Публикуемое стихотворение передано редакции в рукописи.

Спиро Джаи — Spiro Xhai (род. в 1917 г.) — албанский писатель-новеллист, автор рассказов на современные темы. Повесть «Пять писем» вышла в Албании отдельным изданием в 1956 году.

Жан Фревиль — Jean Freville (род. в 1898 г.) — французский писатель, критик и публицист. Статья Жана Фревиля «Некоторые проблемы французской литературы» печаталась в № 3 журнала «Иностранная литература» за 1957 год. Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

Шьям Субрао Хоскот (род. в 1918 г.) — преподаватель Бомбейского университета, доктор философии, специалист по литературе на языке каннада и английской литературе. Выступает со статьями в газетах и журналах. Печатаемая статья получена редакцией в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефоны: В 3-51-47, В 1-15-08.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 02942. Сдано в производство 17/I 1958 г. Подписано к печати 13/III 1958 г.
Бумага 70×108 1/16 = 8,0 бум. л. + 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 170.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.